# Русская литература

2

1997





## Р УССКОЯ ЛИТЕРОТУРО

**№** 2

Историко-литературный журнал

1997

Издается с января 1958 года Выходит 4 раза в год

#### СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. Е. Багно. Россия и русские глазами испанцев	3 14
О. Н. Кулишкина. Жанр афоризма в художественно-философском творчестве В. Ф. Одоевского 1820-х годов	32
из материалов конференции, посвященной 125-летию со дня рождения л. н. андреева	
Н. П. Генералова. Леонид Андреев и Николай Бердяев (к истории русского персона-	
лизма)	40 55 63 67 77
пувликации и сообщения	
Н. Е. Мясоедова. Рукою Грибоедова	88 103
В. Д. Рак. Рецензия Н. И. Надеждина •Современное состояние сатиры во Фран-	
дии»	123 132

м. м. навлова. из творческой истории романа Ф. Сологуоа «Мелкий бес» (отвергну- тый сюжет «Сергей Тургенев и Шарик» и его место в художественном замысле и идейно-образной структуре романа)	138 154 203 224
заметки, уточнения	
Т. Н. Суздальцева. Листок из ежедневника М. А. Кузмина	231 232
овзоры и рецензии	
А. П. Дмитриев. Притяжение Оптиной: американский исследователь об «иконном видении» в русской литературе	234 238
тия	240 245
хроника	
Г. В. Старостина. Третьи Карамзинские чтения	254

#### Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора), Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Б. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев Адрес редакции: 199084, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

#### РОССИЯ И РУССКИЕ ГЛАЗАМИ ИСПАНЦЕВ

Принято считать, что за удаленностью, да и за ненадобностью (по крайней мере из-за удаленности), Россия не привлекала особого внимания испанцев. В лучшем случае речь могла идти о неких стереотипах, усвоенных из «вторых» — прежде всего французских — рук, или об удовлетворении любопытства небольшого числа путешественников, и уж никак не об образе России и русских в испанском национальном сознании. Как и любой из мифов, данный миф вряд ли может быть полностью развеян, однако поколеблен — может, но не отдельными цитатами, пусть даже весьма выразительными, давно известными специалистам, а неким сводом представлений, оценок, впечатлений, интерпретаций, подготовка которого требует долгого, методичного, скрупулезного и энтузиастического труда. Замечательная антология «Испанские путешественники в России»,1 составленная испанским эрудитом и знатоком России Пабло Сансом Гитианом на основе собиравшейся им в течение всей жизни «русской» библиотеки, дает наконец возможность реконструировать *образ России в* испанском сознании. В антологию включены небольшие фрагменты ста сорока шести дневников путешествий испанских миссионеров. дипломатов, политиков, военных, писателей, журналистов, ученых, волонтеров Голубой дивизии, побывавших в России на протяжении девяти веков. Впечатляет уже само их количество, тем более что критерием отбора была публикация дневника путешествия отдельной книгой, и автор лишь в самых редких, специально оговариваемых случаях учитывал тексты, опубликованные в периодике. Каждый раз фрагмент предваряется библиографической справкой об авторе записок, о котором нередко только из этой справки теперь и можно будет что-либо узнать. При составлении антологии было сделано несколько допущений. С одной стороны, П. Санс счел необходимым учесть в ней впечатления гранадца Абу Хамида, представителя испано-арабской культуры, побывавшего на территории нынешней России в начале XII века, с другой — счел возможным включить в нее описания областей бывшей Российской Империи или Советского Союза, ныне к России не относящихся, однако воспринимавшихся испанцами во время их путешествий как часть России.

Проделанная П. Сансом работа уникальна, и ни одному из специалистов, интересовавшихся данным вопросом, не была известна и малая доля тех воспоминаний, дневников, донесений, записок, репортажей, которые с такой скрупулезностью собраны и описаны. Одним из немногих неизбежных в такого рода работе упущений является книга Р. П. Эйсагирре «В красной преисподней». В ней, как и в других записках, дневниках и воспоминаниях попавших в плен волонтеров Голубой дивизии, стали-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanz Guitián P. Viajeros españoles en Rusia. Madrid: Ed. Compañía Literaria, 1995.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eisaguirre R. P. En el abismo rojo. Memorias de un español 11 años prisionero en la URSS. Madrid, 1955.

В. Е. Багно

низм увиден изнутри, но вместе с тем как бы и со стороны, ибо при всей своей вине перед народом «национальной» вины за сами эти ужасы, будучи иностранцами, они не несли. В книге Эйсагирре подробно, без прикрас, хотя и не бесстрастно, рассказано о том, как семнадцатилетним юношей он записался в Голубую дивизию, как он оказался в плену, как в лагере для военнопленных повариха предлагала ему обменять еду на порнографические открытки, если таковые у него имеются, а коль скоро их у него не оказалось, накормила даром, о вавилонском столпотворении в лагерях для военнопленных, где наряду с немцами и итальянцами были румыны, венгры, испанцы, бельгийцы, французы, поляки, о разборках между уголовниками, вместе с которыми работали военнопленные, о бунте против польского «землячества», пользовавшегося в лагере особыми привилегиями, о том, как его спасли от мести уголовников врачи, дав ему справку, согласно которой с шахты его должны были перевести в колхоз, о том, как удивляло его обилие в лагерях советских людей, по разным причинам неугодных режиму, о том, как рядом с ним умирали его соотечественники, и, наконец, о том, как после одиннадцати лет лагерной жизни он был освобожден и смог вернуться в Испанию.

Для появления образа или, точнее, некоторого набора образов, сменявших друг друга, однако подчас и сосуществовавших в инонациональном сознании, необходим был некий опыт многовекового заинтересованного отношения друг к другу. Речь идет необязательно о глубоком знании, как это обычно бывает между народами, имеющими общую границу или даже общую историю. Войны, союзы, однородность или чуждость религий, общие или различные этнические корни — все это способствует созданию образа того или иного народа в инонациональном сознании вне зависимости от того, насколько соответствует этот образ представлениям данного народа о себе, хотя на самом деле представления этого народа о себе могут совпадать с инонациональными или даже формировать их. Естественно, что в Испании не было и не могло быть опыта, подобного польскому, немецкому, турецкому или болгарскому, по-разному заинтересованного, однако вовсе не однозначного в каждом случае, отношения к России, опыта сосуществования и соседства, иногда скорее духовного, чем территориального, как в случае с православными балканскими народами и культурами.

Как и в любом ином случае, творцами образа России в Испании оказались как люди, побывавшие в России, подчас по разным причинам в ней жившие или даже навсегда в ней оставшиеся (впрочем, ассимилируясь со средой и теряя связь с родиной, они нередко лишались реальной возможности участвовать в создании образа России как образа инонационального), так и те, кто имел о России и русских представление на основе прочитанного и услышанного. Если в истории России и ее культуры огромную роль сыграли выдающийся военачальник Хосе де Рибас и гениальный инженер Агустин Бетанкур и Молина, прожившие в России долгие годы и там же скончавшиеся, то образ России в Испании складывался без их участия, между тем как значение имели «Записки» Хуана Ван Галена, в авантюрной биографии которого не последнее место занимает не столь уж продолжительный «русский» эпизод (1818—1821),5

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> См.: Скальковский А. А. Адмирал Де Рибас и завоевание Хаджубея. 1764—1797. Одесса, 1889; Яковлев В. А. Биография Де-Рибаса, Ришелье и Воронцова. Одесса, 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> См., например: Боголюбов А. Н. Августин Августинович Бетанкур. М., 1969; Garcia-Diego J. A. En busca de Betancourt y Lanz. Madrid, 1985.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> См.: Mémoires de Don Juan Van Halen, écrits sous les yeus de l'auteur par Charkes Rogier.

«Письма из России» Хуана Валеры, побывавшего в Петербурге и Москве в составе испанского посольства, в а еще большее — книга Эмилии Пардо Басан «Революция и роман в России», хотя и намеревавшейся совершить вместе с Гальдосом поездку в Россию, но так своего намерения и не осуществившая.

Перефразировав Хосе Фернандеса Санчеса, автора библиографического справочника «Русские путешественники в Испании XIX века», можно сказать, что у тех испанцев, которые в XIX столетии добровольно решили отправиться в Россию, никакой иной причины, кроме желания узнать эту страну, не было.

Уже в XX веке образ России в Испании складывается в основном из трех мощных и в сути своей принципиально различных потоков реальных впечатлений очевидцев: политиков и публицистов, побывавших в Советской России до гражданской войны в Испании, во время сближения между республиканской Испанией и Советским Союзом; так называемых испанских детей, вывезенных в Россию после поражения Республики и ставших на многие годы не только свидетелями, но и творцами истории второй для них родины; добровольцев Голубой дивизии, увидевших страну глазами оккупантов, как правило сочувственными по отношению к народу и непримиримыми по отношению к режиму, и прошедших затем во многих случаях все круги ада сталинских лагерей.

Возникновение образа, т. е. более или менее устойчивым, наследуемым, хотя нередко и недолговечным, представлениям, предшествовал период накопления впечатлений, просеивания сведений о далекой стране, населяемой христианским народом, для испанцев, впрочем, куда более экзотическим и загадочным, чем пограничный с ними мусульманский мир Северной Африки.

Среди накапливаемых, а затем отсеиваемых представлений о землях настолько удаленных, что любые фантастические рассказы о них могли приниматься на веру, были, например, некоторые сведения в «Описании путешествия» Абу Хамида (впрочем, сам Абу Хамид на достоверности этих сведений не настаивает, ибо они относятся к разряду услышанного, а не увиденного). Так, весьма колоритным и знаменательным является его рассказ о промысле кита в Ледовитом океане, а на самом деле впечатляющее описание того, как Рыба-Кит кормит собою человека: «Каждому человеку ежегодно нужен новый меч, дабы бросать его в Море Мрака, ибо только если они бросают мечи, бог позволяет выплывать к ним из моря рыбе, похожей на огромную гору, преследуемой другой рыбой, значительно большего размера, которая хочет ее съесть. Меньшая

Bruxelles, 1827. О пребывании Ван Галена в России см., например: Додолев М. А. Ван-Гален в России (1818—1820 гг.) // История России. 1980. № 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> О пребывании Валеры в России см.: Васильева-Шведе О. К. Автограф Хуана Валеры в архиве С. А. Соболевского // Русско-европейские литературные связи. Сб. статей к 70-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева. М.; Л., 1966. С. 371—373; Schanzer G. O. Russia and United States in the Eyes of a Nineteenth Century Spanish Novelist // Thought Patterns. 1959. № 6. Р. 167—195; Azaña M. Valera en Rusia // Azaña M. Ensayos sobre Valera. Madrid, 1971. Р. 161—197.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> См.: Багно В. Е. Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании. Л., 1982. С. 72. <sup>8</sup> ◆Для русских, у которых в избытке были воображение или деньги, поездки по Европе носили почти ритуальный характер. Те, кого волновало пошатнувшееся здоровье, вкупе с рулеткой, отправлялись в Баден-Баден; любители прекрасного устремлялись в Рим; в поисках развлечений наведывались в Париж. Для получения образования ехали в Берлин, а оппозиционеры облюбовали Женеву. Тем самым все находили веские причины, чтобы отправляться в дорогу. У путешествий же в Испанию не было никаких посторонних побудительных мотивов, и ничем иным, кроме как желанием узнать Испанию, они не объяснялись (Fernández Sánchez J. Viajeros rusos por la España del siglo XIX. Madrid, 1985. P. 7).

В. Е. Багно

рыба, спасаясь от большей, устремляется на землю, в поисках безопасного места, из которого она уже не может вернуться в море, но куда большая рыба не может добраться и возвращается в море. Тогда обитатели Йура садятся на лодки и, подплыв в меньшей рыбе, отрезают мясо с ее боков, в то время как рыба этого и не замечает и не уплывает, и даже забираются на ее спину, ибо она подобна огромной горе. Так они наполняют свои жилища мясом этой рыбы, отрезая его от нее, пользуясь тем, что рыба находится неподалеку. Каждый, кто бросил свой меч в море, получает свою долю. Как только начинается прилив, рыба вновь обретает свободу движений и уплывает в море; но ее мясом успели наполнить сто тысяч жилищ, а то и больше».9

Единственными свидетельствами испанца о русской жизни, давно попавшими в поле зрения отечественных ученых, являются «Записки дюка Лирийского», испанского посла в России в период правления Анны Иоанновны. При Эпохи наполеоновских войн первостепенный интерес, помимо «Записок» Ван Галена, представляет дневник Рафаэля де Льянсы у де Вальс, оказавшегося в России вместе с наполеоновскими войсками, бывшего свидетелем пожара Москвы, отступавшего вместе с французами, а затем вернувшегося на родину после непродолжительной службы в российской армии. 11

Одним из непременных элементов записок испанцев о пребывании в России является русская «экзотика».

В «Донесении» Дона Хуана Персидского находим яркое описание приема при дворе Бориса Годунова, 12 в «Записках» Педро Куберо — любопытнейшие свидетельства очевидца о пребывании в Астрахани, городе, с одной стороны, поразившем испанского миссионера своей многоязыкостью, а с другой — почти полной необитаемостью, следствием недавнего разгрома восстания Разина. 13 От острого взгляда герцога Лирийского не ускользнули особая любовь русского народа к мундирам, а также пристрастие русской знати к иностранцам и в то же время боязнь, как бы это пристрастие не было замечено, 14 Рафаэля де Льянсы — чрезмерность в выпивке, 15 Одона де Буэн — беспардонность извозчиков и ямщиков, на которых в России нет управы, 16 Энрике Гомеса Каррильо —

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abu Hamid el Granadino y su Relación de viaje por tierras Eurasiáticas // Texto árabe, traducción e interpretación por Cesar E. Dubler. Madrid, 1953. P. 59.

<sup>10</sup> См.: Записки Дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского. 1727—1730 гг. СПб., 1845; Письма о России в Испанию Дука де Лирия, бывшего первым испанским посланником в России при имп. Петре II и в начале царствования Анны Иоанновны ∥ Осмнадцатый век. 1869. Кн. 2. С. 5—198; Кн. 3. С. 27—132.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Itenerario de Don Rafael de Llanza y de Valls, Comandante del antiguo Regimiento de Infantería de Guadalaxara desde su salida de España hasta su feliz vuelta a ella, mandando el primer Batallón del nuevo Regimiento de Infantería Imperial Alexandro, formado por su M. I. en la Corte de San Peters-Bourge // Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 1953—1956. P. 235—282.

<sup>12</sup> Relaciones de Don Juan de Persia. Madrid, 1946. См.: Sanz P. Op. cit. P. 66—68. Авантюрная биография перса Урук Бека, входившего в посольство, посланное в 1599 году персидским шахом Аббасом II ко двору Филиппа III, побывавшего по пути в Астрахани, Казани и Москве, в Испании перешедшего в католичество, крестившегося под именем Хуана Персидского и написавшего свои «Донесения», переведенные на многие языки, заслуживала бы особого разговора.

<sup>13</sup> Cubero Sebastián P. Peregrinación del mundo. Madrid, 1943. P. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Conquista de Napoles y Sicilia y relación de Moscovia, por el Duque de Berwick. Madrid, 1890. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 36—37.

<sup>15</sup> Llanza y de Valls R. Op. cit. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 95.

<sup>16</sup> Buen O. de. De Kristiania a Tuggurt (Impresiones de viaje). Madrid, 1887. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 152.

всевластие вездесущих шпиков. 17 Впечатляющие описания русских бань, в которых мужчины моются вместе с женщинами, находим в «Кратком обзоре русской истории и современного состояния России» Луиса дель Кастильо, побывавшего в России в самом конце XVIII столетия с целью изучения французского, немецкого (sic!) и русского языков, 18 сибирской зимы и замерзших сибирских рек — в «Донесении» Луиса Фернандеса де Кордова, официального представителя в России испанского военного ведомства в период русско-японской войны, 19 казацких песен (чем больше выпили — тем чище голоса) — в репортажах Сатурнино Хименеса 1877 года, военного корреспондента в период русско-турецкой войны, 20 дорог из бревен — в книге Хосе Мартинеса Эспарса «С Голубой дивизией в России». 21 Мостовые в ухабах — одно из самых устойчивых, «наследуемых» впечатлений испанцев от их пребывания в России.

Остановимся на двух путешествиях: Абу Хамида, знаменательного уже хотя бы потому, что арабская географическая наука в начале XIII века еще превосходила европейскую, и Хуана Валеры, «Письма» которого являются самыми яркими с художественной точки зрения описаниями русской природы, русских обычаев и русской культуры середины XIX столетия, принадлежащими перу испанца.

Абу Хамид подробно описывает те законы, которыми руководствуются славяне при различных правонарушениях: «Сагалибы следуют очень строгим нормам. Если кто-либо посягнет на рабыню, сына или коня своего соседа или совершит любое иное преступление против него, нарушитель обязан деньгами возместить ему ущерб. Если денег у него нет, для возмещения необходимой суммы идут с торга его сыновья, дочери или его жена. Если же ни семьи, ни потомства у него нет, то рабом становится он сам и служит человеку, в доме которого он оказывается, до самой смерти или до тех пор, пока не вернет той суммы, за которую он был продан, причем выполняемая им работа на его хозяина в расчет не принимается». 22 Сильнейшее впечатление на Абу Хамида произвела красная икра, которой он посвящает специальный восторженный комментарий: «В их реке водятся рыбы, каких вы не встретите больше нигде. Есть такие, вес которых тянет на вес взрослого мужчины; или такие рыбины, которые по весу не уступают упитанному верблюду. Есть также рыба, которая не столь велика по размеру, без костей в голове и без зубов; по вкусу она напоминает баранью ляжку, наполненную белым куриным мясом, а пожалуй, и лучше, она нежнее и вкуснее жирной баранины. Эту рыбу поджаривают, и, поданная с рисом, она вкуснее баранины или куры. Каждая рыбина, которая тянет на сто манн, стоит пол-даник. Ее жир используют для освещения жилищ, и хватает его на целый месяц, а из ее желудка добывают по меньшей мере пол-манн икры. Для долгого хранения ее просушивают на солнце, и она становится продуктом долгого хранения, которому нет равных; цветом она напоми-

<sup>17</sup> Gómez Carrillo E. La Rusia actual. Paris, 1906. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 204.

<sup>18</sup> Castillo L. Compendio cronológico de la historia y del estado actual del Imperio ruso.
Madrid 1796

<sup>19</sup> Memoria que eleva al Excmo. Sr. General Jefe del Estado Mayor del Ejército el Coronel D. Luis Fernández de Córdova y Remon Zarco del Valle, Marquéz de Mendigorría. Jefe de la Comisión Militar Española agregada al Ejercito Ruso. Campaña Ruso-Japonesa. Madrid, 1908. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Martínez Esparza J. Con la División Azul en Rusia. Madrid, 1943. См.: Sanz P. Op. cit. P. 425—426.

<sup>22</sup> Abu Hamid. Op. cit. P. 63.

В. Е. Багно

нает прозрачный красноватый янтарь: ее не варят и не жарят, а просто едят с хлебом». $^{23}$ 

Знаменательным свидетельством древнерусского извода охоты на ведьм является описание Абу Хамидом «универсального» способа, применяемого, по его сведениям, в бассейне Оки и хорошо известного по другим описаниям, отличающегося, впрочем, в данном случае особым размахом: «Когда ведьм становится слишком много и они начинают оказывать дурное влияние на молодых девушек, местные жители хватают, не разбирая, всех (sic!) старух, связывают им руки и ноги и бросают в воду. С тех, кто идут ко дну, обвинение снимают, а тех, кто барахтается на поверхности, сжигают на костре живыми».<sup>24</sup>

Хуан Валера побывал в России в составе дипломатической миссии совсем еще молодым человеком в конце 1856-го—начале 1857 года. Можно утверждать, что именно «Письма из России» определили его судьбу и создали ему славу писателя. Об этих письмах, знаменательных во многих отношениях, ниже пойдет еще речь, здесь же хотелось бы привести некоторые яркие и проницательные наблюдения Валеры. Заинтересованность, талант, безукоризненный вкус и чутье высокоодаренного человека позволили ему создать цельное произведение, классическое в своем жанре, не уступающее лучшим описаниям России, принадлежащим перу иностранцев.

Не слишком озабоченный религиозными вопросами и уж тем более не испытывая особого расположения к православию, перезимовавший в Петербурге Валера чрезвычайно остро предощутил приход весны. В письме от 2 февраля 1857 года к Леопольдо Аугусто де Куэто он дает любопытнейшее природно-климатическое объяснение особой предрасположенности русского православного сознания именно к празднику Пасхи. Объясняет он это тем, что только такая зима, как в России, позволяет в полной мере ощутить поэтическое и религиозное величие весны, знаменующей собой Воскресение Господне. Интуиция большого художника позволила Валере, не знавшему русского языка, предвосхитить грядущее величие русской литературы, плоды которой в дальнейшем могут иметь громадное влияние на развитие человечества. В

Уникальные наблюдения над русской природой и глубокие мысли об общественном устройстве России, русской вере, русских женщинах, русских обычаях мы находим и во многих других записках испанских путешественников, равно как и в воспоминаниях испанцев, по доброй или недоброй воле оказавшихся, подчас на долгие годы, в России. В этом калейдоскопе зарисовок, мыслей и чувств любопытство сменяется недоумением, ужас — симпатией, сострадание — восторгом.

Поскольку русская армия считалась в XIX веке одной из лучших в мире, немалое число из опубликованных донесений и записок принадлежит перу испанцев, официально командированных испанским правительством в Россию по военному ведомству, нередко непосредственно в зону военных действий: в Крым во время Крымской войны или на Дальний Восток во время русско-японской. Так, в донесениях Педро Хевенойса, испанского военного атташе, обращает на себя внимание восторженная характеристика русского пехотинца, тем более знаменательная, что Испания со времен Карла V гордилась своей пехотой, долгое время считав-

<sup>23</sup> Ibid. P. 51.

<sup>24</sup> Ibid. P. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Valera J. Obras completas. Madrid, 1947. T. 3. P. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid. P. 122.

шейся лучшей в Европе: «По моральным качествам он не знает равных; в мире нет солдата более выносливого, более отважного, более дисциплинированного, чем русский солдат, в особенности пехотинец. Его мужество, бесстрашие, стойкость, сила духа, которому неведомы пораженческие чувства, выше всяческих похвал. Судя по всему, это лучший солдат в мире, и я убежден, что ни одна армия не была бы способна сохранить моральный дух при тех потерях, которые понесла русская в последнюю кампанию (...) Русская пехота после этой войны вполне заслуженно должна считаться лучшей в мире. Ее способность переносить потери превосходит все известные доселе пределы; мы видели батальоны, потерявшие шестьдесят человек из ста, но не сдававшиеся и продолжавшие сражаться. Презрение к смерти и готовность пожертвовать ради родины жизнью были настолько присущи буквально всем, что мы никогда не слышали и намека на готовность сдаться, даже в самых безвыходных ситуациях». 27

Странно было бы ожидать, что испанцы, по разным причинам и с разными целями попадавшие в Россию, не увидят в чужой и чуждой для них стране комических, отталкивающих, странных особенностей и черт. При этом нельзя сказать, что кто-либо исходил из изначального чувства отчуждения, неприятия, отторжения, антипатии к русскому народу и к его культуре, когда стремление утвердиться в своих ожиданиях выливается в лихорадочный поиск негативного (если, конечно, речь не идет о политических мотивах и оценке коммунистического режима). Еще более странно было бы ожидать, что все свидетельства и оценки будут беспристрастны, безошибочны, объективны и убедительны, не говоря уже о том, что, хотя это впечатления представителей одного и того же народа, многие из них диаметрально противоположны. Не только у русских, например, вызовет возражение характеристика Сибири как земли без своей судьбы, своей земли, своего народа, своей религии, которая дается в воспоминаниях Хуана Гарсиа Оливера, видного деятеля анархистского движения в Испании.28

Первоначальное чувство отчуждения нередко возникало у испанцев по «климатическим» причинам. Россия отталкивала и пугала необъятностью своих просторов, дремучими лесами, лютыми морозами, пасмурной погодой. На многих испанцев наводил тоску промозглый петербургский климат, особенно если перед этим они побывали в средней полосе России или на юге. Шоковое состояние подавленности от отсутствия солнца и тепла, от бескрайних и безлюдных просторов, неба, затянутого тучами, снега и длинных ночей — сочетания, в высшей степени дискомфортного для жителя Средиземноморья, — испытывали почти все испанцы, попавшие в Россию в составе Голубой дивизии, тем более что произошло это зимой. «Когда я приехал в Россию, — читаем, например, в воспоминаниях Луиса Руидаветса де Монтес, — в разгар зимы, повсюду лежал снег, мороз достигал 40 градусов, и были бесконечными ночи. В девять утра еще не светало, а в четыре вечера уже темнело, тем самым жители этой далекой и таинственной страны не видели солнца, небо было белесым и грязным, так что рассветов, создающих радостное настроение, к которым так привыкли мы, испанцы, можно сказать, что и не было. Глядя на эти бескрайние унылые пространства, покрытые вечными снегами, понима-

<sup>27</sup> Jevenois P. Consecuencias tácticas de la guerra ruso-japonesa. Madrid. 1907. P. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> García Oliver J. El eco de los pasos. El anarcosindicalismo en la calle, en el Comité de Milicias, en el Gobierno, en el exilio. Barcelona, 1978. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 343.

10 В. Е. Багно

ешь, что русскому народу не слишком повезло, поэтому-то он и фаталист, смирившийся со своим уделом, — жить на этих пространствах или в многомиллионных перенаселенных городах, таких, как Москва и Ленинград, не замечая, в каком удручающем однообразии протекают его дни и годы. Похоже, что большевики запретили и солнце, подобно тому как они запретили Бога».<sup>29</sup>

На основе природно-климатических ощущений возникал психологический образ, весьма близкий им по своей тональности. Эулалия де Бурбон, вспоминая по прошествии многих лет свое первое впечатление от России, встретившей ее 4 января 1905 года пасмурной погодой и тридцатиградусным морозом, признается, что прежде всего, кроме холода и низкого серого неба, ее поразили лица зевак, собравшихся по случаю ее приезда: «Они ничего не выражали, однако не от удивления, а от физического и духовного безразличия, свойственного русским, неторопливым в речах, мыслях и желаниях (...) Я чувствовала себя оторванной от Европы, попавшей на самый настоящий Восток, однако Восток полуварварский. Скуластые монголовидные мужчины, лишенные изящества женщины, грязные дети перемещались медленно, на каждом шагу, без всякой причины, останавливаясь, как будто лишенные природной энергии. Повсюду я видела восточный фатализм, усталость древних цивилизаций, замешанную на варварстве». 30

Сочетание холода и бескрайних просторов, с одной стороны, и фатализма и терпимости — с другой, станет одной из инвариант образа России, увиденной испанцами, в ней побывавшими. В книге «Зимняя песнь на Востоке. Хроника Голубой дивизии» Х. Л. Гомеса Тельо находим впечатляющее, полное риторических красот описание русского леса, столь же величественного, жуткого и чуждого, как и русский народ: «Там, на ледяной границе раскинулся лес, обманчивый, дремотный, с его призрачными соснами, влекомый неведомыми грезами и горизонтами, ибо на то у него и глаза, чтобы проникать за пределы сгущающихся ночных стен. И уши, чтобы чуять наши шаги и наше безмолвие; и руки — его ветви, — чтобы схватить и остановить нас (...) Но вот он и позади, этот бесформенный лес. Он безобразен, неопрятен, непривычен и сер, как славянская душа и как вся эта земля, над которой возвышаются сосны, как огромные тенистые свечи, готовые сгореть, лишь бы унестись на какую-нибудь звезду». 31

В то же время именно природа, ее величие и своеобразие открывали испанцам, южанам, не привыкшим ни к бескрайним равнинам, ни к долгим снежным и морозным зимам, глаза на лучшие качества русского народа. Так же как в случае с предубеждением и неприятием, открытость, симпатия и восторг позволяли создавать единый образ, в котором природа и национальный характер неразрывно связаны между собой.

Неудивительно, что испанцы, как правило, очень остро, когда сочувственно, в русле общехристианских убеждений, когда настороженно, памятуя о разногласиях между католиками и православными, реагировали на положение религии в жизни русского народа. Особенно сочувственными оценки стали в тот период, когда религия в России оказалась почти под запретом. Русская вера, выдержавшая испытание антирелигиозной

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ruidavets de Montes L. Estampas de la vieja Rusia (Recuerdos de un voluntario de la División Azul). Madrid, 1960. Цит. по: Sanz P. Op. cit. P. 452—453.

<sup>30</sup> Eulalia de Borbón. Memorias. Buenos Aires, 1944. P. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Gómez Tello J. L. Canción de invierno en el Este. Crónicas de la División Azul. Barcelona, 1945. P. 157-158.

пропагандой и разнузданными репрессиями, вызывает у испанцев восхищение. Более того, испытания и гонения лишь усилили и очистили церковь, которая, согласно, например, Л. Ойосу Каскону, напоминает теперь разбросанных и скрывающихся в катакомбах, но единых в своих убеждениях первых христиан, сохранивших, несмотря на все гонения, свою веру чистой и неприкосновенной. 32

Религиозное чувство русского народа является, согласно Рикардо Баэсе, выдающемуся испанскому эссеисту и публицисту, главной опасностью для большевиков, и рано или поздно оно свернет им шею. Ни один атеистический реформатор, каким бы гениальным и искренним он ни был, считает Баэса, не добьется ничего, что имело бы долгую жизнь в России, и русский крестьянин все равно будет ждать, как манны небесной, окончания большевистского кошмара. Мнение Хуана Валеры, полагавшего, что место истинной религиозности в России занимает патриотизм и русофилия и что в России те, кто озабочены вопросами веры, склоняются более к католицизму, протестантизму или к метафизике, чем к православию, Является, скорее, диссонансом. Объясняется оно (что и сам Валера неоднократно отмечает как одну из особенностей своих писем) тем, что круг его знакомых был весьма ограниченным, и принадлежали к нему почти исключительно представители высшего света, в своем большинстве западнической ориентации.

В то же время в записках испанцев, смотревших на православие сквозь призму либо католицизма, либо социализма, нашлось место и филиппикам против православия, консерватизма и фанатизма (при этом оценке Победоносцева как русского Торквемады),<sup>35</sup> и критике слепой веры русского народа и политических амбиций церкви,<sup>36</sup> и страстной мольбе об обращении этих заблудших христиан в истинную веру.<sup>37</sup>

Первостепенный интерес представляют соображения испанцев о русском национальном характере. При этом вполне естественно, что в типичные черты возводились подчас прямо противоположные качества. Так, если Эулалия де Бурбон настаивает на особой предрасположенности русских ко всему загадочному и таинственному («Трудно представить себе народ более суеверный, более доверчивый, более предрасположенный ко всему таинственному, чем русский. Вне зависимости от уровня культуры, аристократия, подобно простолюдинам, безраздельно отдается всему загадочному»),38 то Хуан Валера склоняется к мысли об эмпиричности русского сознания, о большем, по сравнению с западноевропейскими народами, прагматизме русского народа: «Мне кажется, что эти люди скорее предрасположены к практической стороне жизни, чем к высоким метафизическим материям; то, что они видят, им понятнее, чем то, что они слышат, а то, что они ощущают, понятнее, чем то, что они видят; они скорее имитируют, чем изобретают, и в глубине души они скорее сенсуалисты, чем спиритуалисты (...) Этому народу ближе этическая сторона христианства, чем его таинства». 39 О противоречивом русском характере,

 <sup>32</sup> Hoyos Cascón L. El meridiano de Moscú o la Rusia que yo ví. Madrid, 1933. P. 79-80.
 33 Baeza R. Bajo el signo de Clio. Itenerarios (Inglaterra, Rusia, Extremo Oriente, Brasil, Mallorca). Madrid, 1931. P. 210-211.

<sup>34</sup> Valera J. Op. cit. P. 173.

<sup>35</sup> Gómez Carrillo E. Op. cit. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 206-207.

<sup>36</sup> Llopis R. Como se forja un pueblo (la Rusia que yo he visto). Madrid, 1933. См.: Sanz P. Op. cit. P. 174.

<sup>37</sup> Verdaguer J. Op. cit. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 77-78.

<sup>38</sup> Eulalia de Borbón. Op. cit. P. 149.

<sup>39</sup> Valera J. Op. cit. P. 108.

предрасположенном к крайностям в отстаивании своих убеждений, пишет Рафаэль Митхана, испанский дипломат, побывавший в России накануне первой мировой войны. 40

При желании пресловутое русское долготерпение могло истолковываться как стоицизм — качество, которое в глазах испанцев является безусловным достоинством, коль скоро многие из них, и не без оснований, склонны видеть корни национального характера в философии Сенеки, уроженца Испании. Так, с очевидной симпатией пишет Эмилио Эстебан Инфантес о простых русских людях, с природным стоицизмом переносящих нашествие, несмотря на то что имел к этому нашествию самое прямое отношение. 41

Особого внимания заслуживают размышления испанцев о «пограничной» судьбе России, тем более что в них сказался «пограничный» опыт самой Испании, ее маргинальное, периферийное по отношению к остальной Европе положение и одновременное соседство и сосуществование, чреватое самыми разнообразными следствиями и проявлениями, с неким «Востоком» — если не с Азией, как в случае с Россией, так с Африкой и Америкой. 42

Призма испанского «опыта» очевидна в размышлениях Валеры об осуществленном Россией синтезе двух цивилизаций, Востока и Запада: «Здесь не стыдятся, а, наоборот, гордятся тем, что есть в них что-то азиатское, равно как и тем, что они стянули в единый узел две цивилизации, азиатскую и европейскую, осуществив их синтез. Они полагают, что от европейцев они унаследовали любовь к искусству и чувство прекрасного, свойственные итальянцам, практицизм англичан, равно как и острый галльский esprit. Что же касается азиатского наследия, то, по их убеждению, они в действительности являются созерцательными, степенными, неприхотливыми и глубоко верующими». 43

Россия — и не Европа, и не Азия, утверждает Луис Мороте. С Азией ее роднит самодержавный строй, да и вообще тип власти, к Европе она примыкает этнически, культурно, своими нравами и обычаями. Ч Рикардо Баэса также настаивает на том, что русские — народ пограничный, а не однозначно европейский. И в этом он видит предостережение Европе, которой следует сделать шаг навстречу России, даже советской, ибо в противном случае Россия навсегда отвернется от «неблагодарной» и чурающейся ее Европы и обратит свой взор к Азии, с которой ее и так связывают общие корни. 45

Коль скоро речь идет о путешествиях, географическая терминология оказывается более чем уместной. Поэтому в часто цитируемых размышлениях Хосе Ортеги и Гассета о России и Испании говорится о двух крайних точках «великой европейской диагонали», 46 а воспользовавшись

<sup>40</sup> Mitjana R. Recuerdos de Rusia. El teatro simbólico de Leonidas Andreiev // La Lectura. 1919. T. 2. Mayo. Cm.: Sanz P. Op. cit. P. 61.

<sup>41</sup> Infantes E. E. La División Azul (Donde Asia empieza). Barcelona, 1956. См.: Sanz P. Op. cit. P. 441.

 $<sup>^{42}</sup>$  См. развернутую концепцию маргинальной судьбы и пограничного опыта обеих наций в книге мексиканского философа Леопольдо Сеа «Трактат о маргинальности и варварстве» (Zea L. Discurso desde la marginación y barbarie. Barcelona, 1988), а также мою статью «Граница как категория культуры» (Русская литература. 1995. № 3. С. 6-12).

<sup>43</sup> Valera J. Op. cit. P. 145.

<sup>44</sup> Cm.: Morote L. La Duma (La Revolución en Rusia) segunda parte de Rebaño de Almas. Valencia, [S. a.]. P. 13.

<sup>45</sup> Cm.: Baeza R. Op. cit. P. 228-229.

<sup>46</sup> Ortega y Gasset J. España invertebrada. Madrid, 1922. P. 146.

мало кому известным словосочетанием, принадлежащим перу Луиса Ойоса Каскона, можно истолковать образ России в Испании как близкий или чуждый, но неизменно влекущий мир, лежащий на «другой духовной широте». 47

И наконец, не будет, по-видимому, преувеличением сказать, что в случае с Испанией и Россией образ «другого» не в последнюю очередь был способом самопознания.

<sup>47</sup> Hoyos Cascón L. Op. cit. P. 223.

### СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА КОЗЛОВА «ВЕНЕЦИАНСКАЯ НОЧЬ» И «БЕЙРОН»

(К ИСТОРИИ РУССКОГО БАЙРОНИЗМА)

Хорошо известно, как высоко ценят Байрона в России. Хотя заслуги по открытию Байрона и байронизма в России правильно приписываются Жуковскому, можно сказать, что наиболее тесное родство связывает Байрона с поэтом-переводчиком Иваном Козловым. Там, где более сдержанный Жуковский принимал Байрона и байронизм с оговорками, Козлов вместе с большинством своих современников-романтиков полностью принял байроновский образ гордого одиночки, социального изгнанника и страдающего революционного героя. В действительности Козлов существенно повлиял на русское восприятие Байрона, пропагандируя образ, который превратился для русских как в подлинную, так и в поэтическую правду. Русский байронизм не допускает ничего менее грандиозного, чем героизм и трагическое мученичество. Специалисты не без основания часто цитируют оценку Байрона, данную Козловым в своем дневнике в 1819 году: «Шедевр поэзии, мрачное величие, трагизм, энергия, сила бесподобная, энтузиазм, доходящий до бреда, грация, пылкость, чувствительность, увлекательная поэзия — я в восхищении от него...»<sup>2</sup>

Феноменальная память Козлова, так же как его способность к иностранным языкам, хорошо известны. Его современники сообщают, что, прослушав стихотворение один раз, он мог не только запомнить его, но и мысленно перевести на один из языков, которые он знал. Он перевел «Абидосскую невесту» на французский до создания своего до сих пор канонического русского перевода; он писал стихотворения на французском, итальянском и английском. Он работал как поэт и переводчик при помощи своей дочери, которая читала ему вслух, писала под диктовку и разбирала заметки слепого поэта. Как поэт-переводчик, не видящий большой разницы между переводом и созданием оригинального сочинения, Козлов следовал в этом примеру Жуковского. Козлов переводил Бернса,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Для исследования русского байронизма см.: Diakonova N., Vatsuro V. Byron and Russia // Byron's Cultural and Political Influence in Nineteenth-Century Europe / Ed. Paul Graham Trueblood. Atlantic Highlands, New Jersey, 1981. P. 143—153; Зверев А. Байрон и русская поэзия // Байрон Джордж Гордон. Избранная лирика. М., 1988. С. 13—35; Лашкевич А. В. Байрон и байронизм в литературном сознании России первой половины XIX века // Великий романтик Байрон и мировая литература. СПб., 1991. С. 160—175; Сахаров В. И. Байрон и русские романтики // Там же. С. 143—159. О байронизме Козлова см.: Русские писатели. М., 1994. Т. 3. С. 5—8; Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 269—284, 333—334.

<sup>2</sup> Козлов И. И. Дневник // Старина и новизна, 1906. Кн. 2. С. 40.

 $<sup>^3</sup>$  О жизни и поэзии Козлова см.: Гликман И. Д. И. И. Козлов // Козлов И. И. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. Л., 1960. С. 5—51.

<sup>4</sup> Об этом см.: Левин Ю. Д. О русском поэтическом переводе в эпоху романтизма // Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972. С. 246. О Жуковском и проблемах переводной поэзии см.: Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. Л., 1985. С. 8—25.

Скотта и Чарльза Вульфа, Шенье и Ламартина, Петрарку, Данте, Тассо и Ариосто. Его переводы «Крымских сонетов» Мицкевича открыли для России польского национального поэта. Его перевод «Вечернего звона» Томаса Мура превратился в популярный русский романс; своей высокой репутацией в России Мур обязан прежде всего версиям Козлова «Лаллы Рук», «Любви ангелов» и нескольких из «Ирландских мелодий». 6

Настоящая статья ставит перед собой задачу исследования Байрона и байронизма в России в том виде, как они были восприняты сознанием поэта, который был одновременно его поклонником, адептом и переводчиком. Одно из стихотворений Козлова — странная и по-своему уникальная фантазия «Венецианская ночь» — будет проанализировано в связи с байроническим и авторским подтекстом стихотворения «Бейрон», написанного непосредственно перед «Венецианской ночью» и дополняющего ее. Сложная структура «Венецианской ночи» выстраивается при помощи интра- и интертекстуальных звеньев и формируется посредством процесса стилистического обогащения системой переплетающихся лексико-семантических повторов. Словесные сцепления этого многоуровневого стихотворения проходят круговоротом через поэзию Байрона и развитие байронизма в России. Мультиассоциативные образы этой фантазии часто кажутся неясными, но знакомство с байроническим подтекстом (в том числе и вампирским, и оссиановским, воспринятыми через призму байронизма) помогает объяснить то, что скрывается за словом «фантазия».

Одна из причин сближения России с Байроном, безусловно, заключается в увлечении Италией — идеалом южной красоты, теплой и солнечной страной, так непохожей на Россию. Это и послужило импульсом к формированию характера «Венецианской ночи». Стихотворение написано четырехстопными хореическими стихами в двенадцати восьмистишиях, состоящих из двух катренов, с чередованием мужской и женской рифм (АбАбВгВг). Первый его катрен создает впечатление традиционной романтической элегии, эпитеты и фразировка которой обычны для романтического поэта:

Ночь весенняя дышала Светло-южною красой; Тихо Брента протекала, Серебримая луной...<sup>7</sup>

Это четверостишие могло бы быть написано Жуковским, что можно сказать и о последующих стихах — таких, как «Блеск прозрачных облаков» и «И любовный свет луны». Перед нами в тексте этого стихотворения полный набор условных фраз и эпитетов: «Веют легким ветерком», «дух унылый», «задумчивые очи», «печальное лицо». Венеция в стихотворении отмечена яркой образностью. Во второй части первого восьмистишия — зеленые берега Бренты, огни, облака и волны:

Отражен волной огнистой Блеск прозрачных облаков, И восходит пар душистый От зеленых берегов.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> О Козлове-переводчике см. статьи Левина в сборнике «Ранние романтические веяния» (с. 246—258), а также: Веденяпина Э. А. Мастерство И. И. Козлова-переводчика (особенности стиля) // Метод, мировоззрение и стиль в русской литературе XIX века. М., 1988. С. 26—33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Гиривенко А. Н. Поззия Томаса Мура в русских переводах первой половины XIX в. // Международные связи и проблемы реализма. Горький, 1988. С. 76—86.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Козлов И. И. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. Л., 1960. С. 91—94. Далее ссылки в тексте с указанием страницы.

Стихотворение также создает аллюзии — Венеция в нем такая, какой мы ожидаем ее найти. Мы слышим «томный ропот / Чуть дробимыя волны» Бренты, «И вдали напев Торквата / Гармонических октав». Мы видим город на воде — «По водам скользят гондолы».

Однако этот шедевр русской романтической поэзии совсем не традиционен. Это оригинальная фантазия, в которой при помощи повторяющихся образов прозрачных огней и темных теней и слегка дезориентирующих синестетических тропов создается не реальная, а чуть не сюрреальная картина легендарного города на юге. Такие эпитеты, как «От зеленых берегов» и «томный ропот», или даже необычные стихи вроде «Чуть дробимыя волны», не захватывают нашего внимания. А «Звуки нежной баркаролы» и «Упоенья аромата / И цветов и свежих трав» — это неизбежные атрибуты стихотворений о Венеции. Но эпитет «Отражен волной огнистой», как и стих «Искры брызжут под веслом», производят неожиданный эффект. Мы ожидаем почувствовать аромат «Померанцев, миртов», но никак не ожидаем услышать их «шепот». Даже в фантазии, где «Все вливает тайно радость», нас поражает стих, в котором «Чувствам снится дивный мир».

В четвертом восьмистишии на смену живому и четкому изображению Венеции приходят тревожно смутные образы. Мы и видим, и слышим эти перемены. Но в этом пейзаже мы не видим и не слышим «Той красавицы младой»...

Чья улыбка, образ милый Волновали все сердца И пленяли дух унылый Исступленного певца.

Она скрывается от мира в своих мечтах и воспоминаниях:

Не мила ей прелесть ночи, Не манит сребристый ток, И задумчивые очи Смотрят томно на восток.

Мы ничего не знаем ни о ней, ни об исступленном певце, не знаем мы и почему она смотрит на восток; однако внезапно она, «прекрасная», возникает из темноты беззвучной ночи:

Вот прекрасная выходит На чугунное крыльцо; Месяц бледно луч наводит На печальное лицо...

У нее «на персях белоснежных / Изумрудный талисман!». Она спускается вниз, плывет в сторону темного моря:

> Уж в гондоле одинокой К той скале она плывет, Где под башнею высокой Море бурное ревет.

Что это за скала и что это за башня высокая, под которой ревет море? Говорится только, что «Там любви очарованье» и «Там певца воспоминанье / В сердце пламенном живей». Здесь мы находим излюбленный русскими поэтами романтический мотив утлого челна в бурном море, образами или словами-сигналами которого является челн и кормщик, море и буря. Но необычность этих образов в трактовке Козлова дает нам

основание предположить, что речь идет о мечте. Читая, как под звуки моря «И в мечтах она внимала», нам кажется, что это мечта прекрасной, хотя, может быть, это мечта самого поэта: фантастическая венецианская ночь, рожденная воображением слепого русского поэта. Но, учитывая синестетический эффект, создаваемый многими из необычных образов, возможно и то, что мечта — это результат нашего дезориентированного восприятия. И, между прочим, что имеется в виду под странными образами-эпитетами, которым она внимает в мечтах?

И в мечтах она внимала, Как полночный вещий бой Медь гудящая сливала С вечно-шумною волной.

Внезапно в этой мечте, или фантазии, или пригрезившемся венецианском пейзаже собирается шторм. Наступает кромешная тыма, «Затмевается луна / Ясный свод оделся мглою» и

Вдруг гондола осветилась, И звезда на высоте По востоку покатилась И пропала в темноте.

С такой же неожиданностью гондолу сменяет челнок, плывущий с востока:

И во тьме с востока веет Тихогласный ветерок; Факел дальний пламенеет, — Мчится по морю челнок.

В челноке сидит «Тень знакомая». Рядом с ней лежит арфа, и «Меч под факелом блестит». Должно быть, речь идет о певце, но уверенности в этом нет потому, что наше восприятие смущают неожиданное вознесение гондолы в небеса и ее превращение в звезду. Мы даже не можем быть уверены в том, что неожиданно введенный в текст челнок певца — это не трансформированная гондола прекрасной. Это смещение образов так и не проясняется до конца стихотворения. Некто (певец? тень? поэт?) приказывает: «Не играйте, не звучите, / Струны дерзкие мои: / Славной тени не гневите!..» Возможно, это певец говорит о тени или тень говорит о себе. В любом случае голос, завершающий стихотворение, не принадлежит певцу. Должно быть, это голос поэта:

О! свободы и любви Где же, где певец чудесный? Иль его не сыщет взор? Иль угас огонь небесный, Как блестящий метеор?

Стиль «Венецианской ночи» характеризует Козлова как зрелого романтического поэта золотого века. Это структурально и стилистически сложное стихотворение, заключающее в себе единое целое, загадочно и во многом дезориентирует восприятие читателя. Его текст предполагает множество вопросов, но не дает на них ответа. Существенные для контекста как фантазии, эти вопросы являются основным элементом интертекстуальности стихотворения; ответы на них открывают необыкновенно многоплановую систему связей с другими стихотворениями Козлова и с байроническим характером его поэзии в целом. Мы можем проследить,

как действует эта система, исследуя вклад Козлова в русский байронизм, внесенный его стихотворением, названным именем поэта.

В стихотворении «Бейрон» (с. 88—91) Козлов говорит, что поэт воспевал свободу и был «Страданий любви исступленной певец». Здесь, как и в «Венецианской ночи», пейзаж строится на образах света и тьмы, моря и бури: «То радугой блещет, то в мраке ночном»; «И снова он мчится по грозным волнам». В Греции певец обнажил меч и пел под аккомпанемент свой арфы. Там, «на Востоке», его «сияющий гений» горит «Звездой возрожденья и славы». В «Венецианской ночи» певец назван исступленным и чудесным, в «Бейроне» он «вдохновенный» и «изумленный». Здесь мы находим и предшественника певца с арфой в «Венецианской ночи». Под звуки волн «Он арфу хватает дрожащей рукой», жмет ее к сердцу и мы слышим, как «Таинственно струны звенели». Настоящим же прообразом этого певца был, конечно, Байрон или — более определенно — его Чайльд-Гарольд. Как и певец или тень в «Венецианской ночи», как и Байрон в стихотворении «Бейрон», Чайльд-Гарольд ударяет по струнам своей арфы на корабле в море: «Взял арфу он, на ней простые трели порою брал он, трогая струну... / А сейчас он легких струн касался, / И песнь прощальную он с сумраком сплетал; — / Пока летел корабль, его крыла белела...» (1, 13).8

Смерть Байрона была воспринята русскими как трагедия, тем более что многие из них связывали участие поэта в греческой революции с собственными мечтами о свободе. Козлов принял эту новость «как смерть дорогого сына». 9 «Бейрон» — его реакция на смерть поэта — представляет собой длинное лирическое стихотворение, объединяющее тринадцать десятистрочных строф, построенных на чередовании четырехстопного амфибрахия с мужскими клаузулами и трехстопного с женскими (аБаБввГддГ). Как и другие стихотворения русских романтиков, посвященные смерти Байрона, оно и технически совершенное, и эмоционально экспансивное излияние сильных чувств. 10 У Козлова Байрон — изумленный певец, рожденный «Среди Альбиона туманных холмов» и предназначенный роком к жизни, полной страданий. Байрон был вдохновенным певцом, «И царская кровь в вдохновенном текла» — биографический факт, который Козлов подчеркивает, добавляя в сноске, что «Лорд Бейрон происходит от царей: шотландский король Иаков II был предок его матери». Байрон был всегда вдохновлен любовью к свободе «в бурных порывах всех чувств молодых». В его «душе горделивой» пылало «И острое пламя страстей роковых». Он был кипучей бездной «огня и мечты». Байрон Козлова, отвергнутый обществом и страдающий от тоски, покинул свой бесчувственный мир для странствий «в восточных краях». Половина восьмой и девятая строфы заключены в кавычки и представляют собой свободный перевод-пересказ адресованных дочери Байрона стихов в начале и в конце третьей песни «Чайльд-Гарольда» (III, 1, 115—118, особ. «О, спи за морями, спи ангельским сном / В далекой твоей колыбели!») и мотив четвертой песни «Проклятье то — Прощение!..» («That curse shall

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Мои переводы в прозе основаны на изданиях: *Байрон Д. Г.* 1) Избр. произв. М., 1953; 2) Собр. соч.: В 4 т. М., 1981; цитаты на английском даются по: *Byron, lord.* The Complete Poetical Works: 7 vols / Ed. Jerome J. McGann. Oxford, 1980—1983 (далее при ссылке на поэму в скобках указывается римской цифрой песня, арабской — строфа, стихотворение имеет ссылку на том и страницу).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Цит. по: Гликман И. Д. Указ. соч. С. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Жуковскому не очень нравились «некоторые излишки» этого стихотворения, и он не включил его в отредактированное им посмертное издание Козлова 1840 года (см.: Козлов И. И. Полн. собр. стихотв. Комментарий. С. 450).

be Forgiveness», IV, 133—137): «Не я ли обречен бороться со своей судьбой? / Не я ль страдал от зла, мучителям прощая? / Не мне ли мозг сожгли, пронзая сердце, / Надежды смяв, мне имя очернив, жизнь Жизни отравив враньем?» В своем панегирике Байрону Козлов представляет его как обреченного гения, который страшился верить надеждам, но «На рок непреклонный с презреньем смотрел». Этот чайльд-гарольдский Байрон, надежды которого смяли, имя которого очернили, прежде всего — революционер, умирающий за свободу Греции:

Эллада! Он в час твой кровавый Сливает свой жребий с твоею судьбой! Сияющий гений горит над тобой Звездой возрожденья и славы.

Воспевая Байрона, Козлов приводит в «Бейроне» стихи и фразы из других стихотворений поэта. Из песни «Стансы для музыки» 1815 года он особенно выделяет известный байроновский эпитет «магнит путеводный», подчеркивая притягательность чувств и мыслей поэта, в своем паломничестве бросающего вызов морю и буре:

И снова он мчится по грозным волнам; Он бросил магнит путеводный, С убитой душой по лесам, по горам Скитаясь, как странник безродный.

Однако излюбленным источником Козлова определенно является «Чайльд-Гарольд». Венецианские строфы «Чайльд-Гарольда» (IV, 3 и далее) наложили печать как на «Бейрона», так и на «Венецианскую ночь»:

> In Venice Tasso's echoes are no more, And silent rows the songless gondolier; Her palaces are crumbling to the shore, And music meets not always now the ear; Those days are gone — but Beauty still is here...

(«В Венеции смолкло эхо тассовых октав, / Без песен гребет гондольер; / Дворцы уныло смотрят, обветшав, / И редко звуки музыки прольются; / Те дни прошли, но Красота здесь есть...»).

Козлов оставил без внимания сообщение Байрона о том, что венецианские гондольеры больше не поют песен Тассо. В своем желании создать идеализированные образы Венеции и самого Байрона он определенно предпочитает байроновское наблюдение, что «Красота здесь есть». Он не проявляет интереса к строфам Байрона, посвященным славному прошлому Венеции, но идея «Венецианской ночи» как фантазии, включая образное использование перехода света в тьму, навеяна причудливо-нереальными стихами Байрона о наступлении ночи над темными водами Бренты в «Чайльд-Гарольде» (IV, 29):

Fill'd with the face of heaven, which, from afar, Comes down upon the waters; all its hues, From the rich sunset to the rising star, Their magical variety diffuse.

And now they change; a paler shadow strews...

(«И все лицо небес из дали / Склоняется на ширь воды; и все его оттенки, / От пышного заката до утренней звезды, / В магическом разнообразье тают. / И вдруг меняются; и тень бледнеет...»).

Не хотелось бы упустить тот важный момент, что «Венецианская ночь» написана как «напев Торквата / Гармонических октав». Козлов отдает

себе отчет в том, что некоторые из байроновских образов восходят к Петрарке, Данте и Тассо. Он читал Тассо в оригинале и перевел отрывки из «Освобожденного Иерусалима»: «Смерть Клориды» (1832) и «Видение Танкреда» (1825). Он также обнаруживает свою осведомленность в байроническом стихотворении «К Италии», в котором он, обращаясь к своей фантазии, восхваляет «Торкватову землю»:

Лети со мной к Италии прелестной, Эфирный друг, фантазия моя! Земля любви, гармонии чудесной, Где радости веселая семья Взлелеяна улыбкою небесной, Италия, Торкватова земля, Ты не была, не будешь мною зрима, Но как ты мной, прекрасная, любима!

Не случайно это стихотворение написано в октавах по Тассо (аБаБаВв), и Италия — «прекрасная», как и в последнем стихе только что процитированной первой октавы и в последних стихах восьмой и завершающей октавы: «Скажи земле певца Ерусалима, / Как мной была прекрасная любима!» И в этом стихотворении ночь тоже опускается на южный пейзаж, который слепой поэт никогда не увидит, но в котором он слышит звуки и байроновской песни, и торкватовых октав «с любовью и мечтами». 11

Козлова влекли к себе байроновские ночные морские пейзажи. Это относится не только к их описательным элементам — сходству визуальных образов, — но и к байроническому ночному настроению. Козлов хорошо знал «Дон Жуана». Он воспроизвел две строфы поэмы (I, 122—123) как свободное подражание «Из байронова Дона Жуана» (с. 172—173) и его выбор пал на описание ночной Венеции. Несмотря на свободный перевод, как и в «Венецианской ночи», впечатление достигается путем сдвига от визуального восприятия к слуховому и апелляции к обоим чувствам, что, несомненно, усиливает красочность передачи настроения итальянской ночи:

О, любо нам, как месяц полный Адриатические волны Подернет зыбким серебром, И как пловец, звуча веслом, Стремит гондолы бег урочный И мчит волна напев полночный!

Как и в фантазии, здесь «Звезда вечерняя восходит», и мы видим серебристые волны и водяные капли под веслом. Версия Козлова довольно точно следует оригиналу, сохраняя жужжание пчел, и лай собаки, и «лепетанье / Детей, и прелесть первых слов!». Как и все, связанное с Байроном, в поэзии Козлова любовь, описанная в «Венецианской ночи», полна тайн и загадок. Это чистосердечное чувство, почти святое в религиозном смысле этого слова. Оно должно быть чистым. Такая же чистая любовь выражается как нельзя ярче в строфах поэмы «Дон Жуан», в которых идеализируется невинная любовь Дон Жуана к Гайде. Любовная сцена в пещере в нависшей над ночным морем скале (II, 185) имеет много

<sup>11</sup> О Тассо в отношении к стихотворению «К Италии» см.: Горохова Р. М. «Напев Торкватовых октав»: (об одной итальянской теме в русской поэзии первой половины XIX века) // Русская литература и зарубежное искусство. Л., 1986. С. 109—112. Стихи Козлова близки к стихам в первой главе «Евгения Онегина» (строфы 48—49), в которых Пушкин называет Байрона поэтом, открывшим Италию для России.

общего с «Венецианской ночью»: «Они смотрели в небесную высь, / Раскинутую как розовый океан, обширный и светлый; / Смотрели вниз на сверкающее море, / Посеребренное всплывающей из него луной; / Слышали как волны улеглись, и ветер стих».

В контексте с ночным пейзажем проясняются некоторые из самых загадочных образов в тексте «Венецианской ночи». Образ чугунного крыльца в сочетании с образом высокой башни на скале над морем вовсе не посторонняя реалия. Именно это сочетание играет важную роль в поэзии Байрона. В поэме «Корсар» Медора умирает, потому что не может жить без Конрада, который, возглавляя набег разбойников на турков, попадает в плен. Как и «прекрасная» в «Венецианской ночи», Медора оплакивает возлюбленного, ошибочно считая его погибшим. Как и «прекрасная» у Козлова, «...она, печальная звезда, / Чей нежный свет ему сиял всегда». Она умирает в башне Конрада («watch-tower») высоко над заливом Пиратского острова «...на уступах скал, / На мысе, где стан дозорной башни встал». В поэме «Корсар» есть и другие аналогии с «Венецианской ночью». В начале поэмы появляется «домой возвращающийся челн». В конце поэмы, после смерти Медоры, Конрад исчезает в море на своем челноке. Ранее покинутая Конрадом и подавленная своим горем Медора «На утес / Спешит через крыльцо портала» («the portal's porch») у башни Конрада высоко на скале. Это не случайные звенья. Когда Козлов в 1837 году решил перевести отрывок из «Корсара» под названием «Стансы» (с. 289), он выбрал строфы 2-5 из части 14, т. е. именно песню бессмертной любви, которую Медора поет перед отходом Конрада. Слушая, как поет Медора, Конрад подходит к своей башне, и Байрон опять обращает внимание читателя на эту «старинную башню, увенчавшую пик» скалы и на «тень ее портала».

Образ башни на скале над морем играет важную роль и в поэзии, и в биографии Байрона. Здесь берут начало те же образы в «Венецианской ночи» Козлова. Подтверждение этому найдется в сходстве с образом башни на скале над морем в «Чайльд-Гарольде» (III, 41):

If, like a tower upon a headlong rock,
Thou hadst been made to stand or fall alone,
Such scorn of man had help'd to brave the shock;
But men's thoughts were the steps which paved thy thone,
Their imagination thy best weapon shone...

(«Когда б, как башня, увенчавшая камень на скале, / Заставили тебя стоять и пасть одиноко, / Щитом презренье людей ты бы сделать мог; / Но мысли людей стали ступенями, ведущими к твоему трону, / Их воображение твоим верным мечом стало...»).

Самое главное в этом образе то, что он трактуется Козловым в аспекте известной символики, которую специалист по Байрону Вудринг называет «наполеонической конфигурацией энергичной деятельности». 12 Нельзя не отметить, что байроновские образы «камень», «башня», «скала над морем» символизируют французского императора как полного энергии человека, старательно обдуманные планы и сильная воля которого вознесли его на вершину победы, а жестокая судьба бросила в пучину поражения. Многие романтики хорошо знали острую байроновскую формулировку этой символики, выдвинутую в стихотворении «Ода к Наполеону Бонапарту»:

 $<sup>^{12}</sup>$  Woodring Carl. Politics in English Romantic Poetry. Cambridge, Massachusetts, 1970. P. 179.

Since he, miscall'd the Morning Star, Nor man nor fiend hath fallen so far.

(v. 3, p. 259)

(«Ни человек, ни дух зла с высот таких не был так свергнут, / Как он, ложно названный Денницей»).

Современники Байрона знали также, что в его размышлениях о судьбе Наполеона — в образах, где падший покоритель предстает как мрачная фигура изгнанника — Байрон часто прибегал к параллелям с судьбой Прометея, например в «Оде к Наполеону Бонапарту»:

Or, like the thief of fire from heaven, Wilt thou withstand the shock? And share with him, the unforgiven, His vulture and his rock!

(v. 3, p. 263)

(«Или, как тот, похитивший огонь с небес, / Бесстрашно встретишь ты вихри гроз? / И с ним, непрощенным, разделишь ты / Знакомый коршуну камень!»).

Этот яркий наполеонический и прометеевский образ часто отражается в русской романтической поэзии, особенно в стихотворениях, посвященных не Наполеону, а самому Байрону. Независимо от того, знали ли в России, что тело Байрона было возвращено Англии для захоронения, русские изображали его могилу, применяя те же образы, какие Байрон использовал для Наполеона, — высокую башню на вершине скалы над морем. Имеется в виду именно могила Байрона, когда в «Венецианской ночи» прекрасная плывет «К той скале... Где под башнею высокой Море бурное ревет».

Здесь мы имеем дело с легендой о героической смерти английского поэта и лорда в борьбе за освобождение греков. Козлов полностью принимает байроновский образ страдающего революционера как реальность, подтверждение этому мы находим в таких стихах из «Бейрона»: «Но брань за свободу, за веру, за честь / В Элладе его пламенеет». По мнению Козлова, Байрон первым откликнулся «на звуки свободных мечей» и ринулся в сражение за освобождение Греции. Образы этого стихотворения — «И меч обнажился, и арфа звучит, / Пророчица дивной свободы» — повторяются в «Венецианской ночи» в облике чудесного певца «свободы и любви». Не столь отчетливо, но все же в достаточной степени ясно ощущается это и в загадочных стихах о полночном вещем бое:

И в мечтах она внимала, Как полночный вещий бой Медь гудящая сливала С вечно-шумною волной.

Обычно в русской поэзии слово «полночный» означает «северный». В соединении с такими существительными, как «слава», «бой» и «брань»,

<sup>13</sup> Настоящая статья не ставит перед собой задачи исследовать этот весьма сложный вопрос, но стоит заметить, что здесь, в пересечении судьбы Наполеона и Прометея, найдет свое происхождение образ скалы в поэзии Пушкина и других поэтов. В стихотворении Пушкина «Наполеон» образ появляется в таких загадочных строках, как «на оном камне начертит». Не забудем, как эти байроновские образы складывались в стихотворении Пушкина «К морю» и в стихотворении Козлова того же названия (см. с. 135—136), не говоря уже о стихотворениях Лермонтова и Тютчева, посвященных теме могилы Наполеона.

это прилагательное часто представляет собой эпитет или слово-сигнал, означающий новгородскую демократическую традицию. Не исключено, что Козлов здесь подтверждает условную в русской романтической поэзии начала 1820-х годов связь между новгородской славой и греческой революпией. 14 Показательна здесь расшифровка необычного эпитета «полночный вещий бой». Эпитет может обозначать темп или ритм, как например эпитет «вещий бой полночного звона», обычно обозначающий какой-то «роковой час». «Бой» может быть вещим, т. е. предсказывающим, прорицающим нечто, например какие-то исторические последствия решающей или роковой победы (Куликово поле, Бородино, Ватерлоо). В связи с эпитетом «медь гудящая» эпитет «вещий бой» может быть метонимическим обозначением оружия, т. е. звуков боя. Одновременно «медь гудящая», которая «вещий бой» сливала «с вечно-шумною волной», может обозначать темп бурного моря «под башнею высокой». $^{15}$  Иначе говоря, это метафорическое обозначение поэзии Байрона, который, если следовать легенде, стал бессмертным в вещем бою греческой революции. К этому можно добавить еще один относящийся к этому обозначению семантикозвуковой фактор: в контексте с темой могилы Байрона все эти эпитеты — «вещий бой», «медь гудящая», «вечно-шумная волна» — говорят и о самом Байроне, изображенном в образе певца с арфой. В этом смысле строфа напоминает вышеуказанные стихи из стихотворения «Бейрон»: «И меч обнажился, и арфа звучит, / Пророчица дивной свободы».

Музыка, любовь, ночной пейзаж, Венеция, баркарола гондольера, Тассо — «Венецианская ночь» Козлова действительно и условное романтическое стихотворение, и в то же время чрезвычайно оригинальная и необычная фантазия. От Пушкина не ускользнули ни мультиассоциативные образы в «Венецианской ночи», ни то, что основные элементы стихотворения как фантазии имеют не только литературный, но также и внелитературный подтекст. Почувствовав связь стихотворения с биографией Байрона, он спроецировал его байроническую любовную ситуацию на свои отношения с Анной Керн. В своих мемуарах Анна Керн вспоминает, что летом 1825 года она пела слова «Венецианской ночи» на голос баркаролы «Benedetta sia la madre», и сообщает, что Пушкин уже тогда признавал биографическую параллель между собой и Байроном. Керн имеет в виду письмо от 21 июля 1825 года к Анне Вульф, в котором Пушкин писал, что «Все Тригорское поет "Не мила ей прелесть [ночи]", и у меня от этого сердце ноет...». Она добавляет также, что в другом письме Пушкин выразил сожаление, что Козлов не увидит ее, но надеется, что когда-нибудь слепой поэт сможет услышать ее пение. 16 На этот раз она имеет в виду письмо от 19 июля 1825 года, обращенное к адресату

<sup>14</sup> В послании 1822 года «К друзьям в Кишинев» В. Ф. Раевский взывает к Пушкину и остальным друзьям: «Пора, друзья! Пора воззвать из мрака век полночной славы», век, «Когда гремело наше вече». Раевский призывает своих друзей вдохновиться примером Греции, где «Горит денница на востоке». Образ Байрона является неотъемлемым компонентом стихотворения Раевского, особенно в том месте, где Аполлон оставляет «берег Альбиона» и украшает Пушкина («Питомец муз и Аполлона») «лаврами Бейрона» (Раевский В. Ф. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. М.; Л., 1967. С. 151—155). В то время как Раевский применяет байроновские слова-сигналы к Пушкину (певец, струны), Козлов применяет их к самому Байрону. Сходство стилевых средств у этих поэтов проявляется в том, что необычный козловский эпитет «вещий бой» звучит фонетически как основной эпитет стихотворения Раевского: «Еще в беседе вечевой / Шумит там голос ваш мятежный».

<sup>15</sup> В книге о Козлове Барратт превращает бой в буй. Трудно сказать, ошибочное чтение ли это, или отсебятина. Впрочем, перевод был сделан без осознания байроновского подтекста: См.: Barratt G. R. V. Ivan Kozlov: A Study and a Setting. Toronto, 1972. P. 167.

<sup>16</sup> Керн (Маркова Виноградская) А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989.

Л. Г. Лейтон

«Венецианской ночи» П. А. Плетневу. В этом письме Пушкин просит Плетнева рассказать Козлову об одной «прелести», «которая небесно поет его Венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива...». Он говорит, что «обещал известить о том милого, вдохновенного слепца», и выражает сожаление, что Козлов «не увидит ее — но пусть вообразит себе красоту и задушевность — по крайней мере дай бог ему слышать!». 17

Иллюстрируя свою любовь к Анне Керн стихотворением «Венецианская ночь», Пушкин хорошо знал, с какой любовной ситуацией в жизни Байрона связан ее подтекст. В биографии Байрона найдется объяснение и тому, как Козлов воспринимал его поэтический образ и как в своей фантазии он пытался превратить его в легенду, воспринятую как реальность. В «Венецианской ночи» милый, вдохновенный слепец, который слышит, но не может видеть, фантазирует о возвращении Байрона или его тени в Венецию, где его шхуну встречает воспетая им Амика — контесса Тереза Гвиччьоли.

Любовь Байрона к контессе Гвиччьоли хорощо известна. 18 Стихотворения, посвященные этой любви («Стансы к реке По», в которых Гвиччьоли названа «Дамой моей любви», стансы «К Терезе Гвиччьоли», «Стансы, написанные по дороге между Флоренцией и Пизой» и «Посвящение Пророчеству Данта»), занимают почетное место в итальянской поэзии Байрона. 19 Гвиччьоли и Байрон встретились в Венеции в 1818 году, и их роман начался, когда ей было 19 или 20 лет. В 1820 году контесса получила от церкви разрешение на раздельное жительство со своим престарелым «услужливым» («complaisant»), но впоследствии «причиняющим беспокойство» («troublesome») мужем. Итальянские правила приличия, как, впрочем, и сама контесса, требовали от Байрона исполнения роли поклонника-слуги («Cavalier Servente»), которая раздражала поэта, тем более что ситуация имела литературный прецедент в «заместителе мужа» у героини Лауры из поэмы «Беппо». Кут сообщает, что Байрон чувствовал себя униженным этой ролью, и особенно тем, что контесса не знала границ в своей страсти и постоянно афишировала свою любовь.<sup>20</sup> Квеннелл иронично ссылается на «нежное порабощение» («gentle servitude»), навязанное ее страстью. Сам Байрон писал, что он был «чертовски влюблен» («damnably in love») в Гвиччьоли, а относительно слухов о похищении невинной девицы из монастыря сетовал: «Я сам был похищен, как никто другой, со времен Троянской войны». 21 Хотя автор «Разговоров Байрона» Медвин свидетельствует о том, что Байрон был вполне удовлетворен ситуацией, 22 и Квеннелл сообщает, что, привыкнув к своей роли

<sup>17</sup> Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937—1949. Т. 13. С. 190, 538, 189. О стихотворении Козлова «Венецианская ночь» в связи с отношениями Пушкина и Керн см.: Эйгес И. Р. 1) К переводам И. Козлова из Байрона # Звенья. 1935. № 5. С. 34—48; 2) Музыка в жизни и творчестве Пушкина. М., 1937. С. 88—90; Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII век—первая половина XIX века) # Лит. наследство. 1982. Т. 91. С. 433—434, 463.

<sup>18</sup> Об этом см.: Quennell Peter. Byron in Italy. New York, 1941. P. 140—158, 164—169; Coote Stephen. Byron: The Making of a Myth. London, 1988. P. 136—139; Marchand Leslie A. Byron: A Biography: 3 vols. New York, 1957. V. 3. P. 773 и далее.

<sup>19</sup> Сахаров правильно говорит, что образность стихотворения «Стансы к реке По» неизбежно вызывает в памяти козловскую фантазию (см.: Сахаров В. И. Указ. соч. С. 151). В «Венецианской ночи» прекрасная плывет по Бренте к морю, чтобы встретить там своего возлюбленного певца. В «Стансах к реке По» поэт изображает море, берег и реку, текущую «к далекой стороне, Туда, где за старинными стенами Дама моей любви живет...». «Здесь», на реке у моря, поэт надеется встретить свою возлюбленную, «он у истоков, она — возле устья».

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Coote Stephen. Op. cit. P. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Quennell Peter. Op. cit. P. 157, 155, 156.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Medwin's Conversations of Lord Byron. Princeton, New Jersey, 1966. P. 253.

поклонника-слуги контессы, он часто упоминал о своем «скучном образе жизни», 23 большинство биографов, включая и Квеннелла, цитируют множество жалоб Байрона в письмах к друзьям на чрезмерно пылкие притязания Гвиччьоли. Разерфорд даже предполагает, что поэт был рад оставить ее ради «менее бурной» греческой революции. 24

Из журнальных статей и сообщений соотечественников, возвращавшихся в Россию из Италии и Англии, русские романтики хорошо знали о скандалах, приведших к изгнанию Байрона из Англии. Начиная приблизительно с 1821 года, когда Байрон стал популярен в России, журналы регулярно печатали заметки о нем, его путешествиях, скандалах. Кажется, ни один русский не возвращался в Россию без новостей о Байроне. 25 Посещавшие Россию англичане и другие иностранцы регулярно привозили в Москву и Петербург новости о Байроне; далеко не последним источником информации в 1825—1827 годах была московская резиденция бывшей любовницы Байрона Клер Клермонт, где она встречалась с русскими литераторами. 26 Русские всегда читали о Байроне все, что можно было найти: французский перевод «Разговоров» Медвина ожидали с нетерпением. Особенно интересны были замечания Медвина об отношениях Байрона с прекрасной итальянской контессой. В 1831 году С. П. Шевырев опубликовал свое стихотворение «Камень Данта», в котором сам автор предстал в образе молодого «певца», пораженного любовью к «прекрасной». Шевырев влюбился в «красавицу среди красавиц» контессу Гвиччьоли в 1830 году, увидев ее на балу в Венеции и узнав по описаниям в медвиновских «Разговорах». Он признался в том, что он «В ней полюбил не цвет, не красоту, — / Но грешную Байронову мечту». 27 Многие русские, посещая Италию, встречались или пытались встретиться с возлюбленной Байрона.

Здесь упоминается и другая любовь Байрона, его жена Анабелла Милбанк, и скандал, приведший к разводу и изгнанию. В «Бейроне» мы имеем образ «Мальвины красы молодые», к которой «Певец, изумленный... сердцем летит» и чья «Любви непорочной звезда им горит». К своему перефразированию стихов из поэмы «Чайльд-Гарольд», посвященных поэтом своей дочери («О, спи за морями, спи ангельским сном»), Козлов добавляет, что, возможно, во время отсутствия отца Мальвина, увидев в их дочери его образ, прижимает младенца «к груди белоснежной». Он завершает стихотворение мыслью о том, что после смерти Байрона его «сердце искало и дочь и жену». В этих сентиментальных фразах особенно заметна идеализация Байрона Козловым, выходящая за рамки не только фактов действительности, но даже поэтического самовосприятия Байрона. Однако в этом виноват не Козлов, а сам Байрон, потому что эти стихи в «Бейроне» взяты из перевода стихотворения Байрона «Прости!», сделанного Козловым в 1824 году:

Когда ж твой взор малютка ловит, — Ее целуя, вспомяни

<sup>23</sup> Quennell Peter. Op. cit. P. 157.

<sup>24</sup> Rutherford Andrew. Byron: A Critical Study. Stanford, California, 1961. P. 134. Контесса допускала вмешательство в творчество Байрона. Разерфорд говорит, что ей не нравился «безнравственный Дон Жуан» и она временно, но вполне успешно настояла на том, чтобы Байрон или прервал свою работу и уделил внимание «Пророчеству Данта», или переработал «Дон Жуана» в соответствии с ее «сентиментальными» представлениями (Ibid. P. 132, 137—138). Это подтверждается и Квеннеллом (Quennell Peter. Op. cit. P. 206—207), и Медвином (Medwin. Op. cit. P. 164—166).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Алексеев М. П. Указ. соч. С. 433—447 и далее.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Там же. С. 469—573.

<sup>27</sup> Там же. С. 446-447.

О том, тебе кто счастья молит, Кто рай нашел в твоей любви.

(c. 80)

Проходящие круговоротом подтекстовые сцепления многопланового стихотворения «Венецианская ночь» непрерывно расширяются, постоянно давая ответы, но в то же время озадачивая нас все новыми вопросами. Это особенно очевидно при чтении стихотворения «Бейрон», где Козлов употребляет имя Мальвины, намекая на жену Байрона. В комментарии к «Бейрону» сказано, что «под этим условно-поэтическим именем подразумевается Анабелла Милбанк» (с. 450), но на самом деле это имя не упоминается ни в поэзии и письмах Байрона, ни в биографических трудах о Байроне и об Анабелле Милбанк.<sup>28</sup> Причины этого несоответствия сложны для объяснения, но логика его прочно опирается на биографию Байрона. Начало этой загадки относится к известному в литературной истории лету 1816 года, которое Байрон провел в Швейцарии со своим доктором Джоном Уильямом Полидори и семейством Шелли. Закончив чтение готических повестей, Байрон, предложил провести литературный конкурс, результатами которого явились отрывок рассказа о вампире. начатого Байроном и названного по имени его героя «Август Дарвелл» («Augustus Darvell»), роман Мэри Шелли «Франкенштейн» и менее художественная, но не менее значительная в истории мировой литературы и оперы повесть Полидори «Вампир». 29 Не осознавая того, что в изображении злодея Руфвена Полидори жестоко пародировал «безнравственного» Байрона, читатели ошибочно предположили, что поэт послужил прототипом благородного героя Обри, тщетно пытавшегося спасти свою сестру и других невинных женщин от кровопийцы Руфвена. И хотя Пушкин, как и другие современники Байрона, впоследствии узнал авторство Полидори, многие долго верили утверждению Полидори, что настоящим автором его рассказа был Байрон. 30 Те, кто не читал романа, полагали, что его героиню, не имеющую в повести имени, звали Мальвиной. Это предпо-

<sup>28</sup> Мальвина в стихотворении «Бейрон» во многом похожа на одноименную героиню стихотворения Козлова «Мальвина» (с. 256—257; ср. эпитеты «Ясней лилеи полевой», «Любви пленительной звездой»). Однако прототипом этой Мальвины, как и героини стихотворения Жуковского 1808 года «Мальвина. Песня», является не жена Байрона, а героиня сентиментального романа Софии Коттен «Мальвина».

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Polidori John. The Vampyre // Three Gothic Novels and a Fragment of a Novel by Byron. New York, 1966. P. 257—283. О генезисе этих произведений см.: Macdonald David Lorne. Poor Polidori: A Critical Biography of the Author of The Vampyre. Toronto, 1991; Marchand L. A. Op. cit. V. 2. P. 628—630; и текст с комментарием незаконченной повести Байрона в издании Проферо: The Works of Lord Byron. 13 vols / Ed. Rowland E. Prothero. New York, 1966. V. 10. P. 446—453.

<sup>30</sup> Полидори утверждал, что он только записал рассказ со слов Байрона, надеясь таким образом использовать в меркантильных целях репутацию более известного поэта. Об отношении Пушкина к этой литературной мистификации см.: Строганов М. В. «...Вампиром именован...» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994. С. 162—167; Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 2-е изд. Л., 1983. С. 212—213, 380. В своих «Примечаниях к Евгению Онегину» Пушкин отметил по поводу употребления слова «Вампир» в третьей главе (строфа 12): «Вампир — повесть, неправильно приписанная лорду Байрону» (Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 193). Интересно заметить, что в то время как Козлов воспринимал образ Байрона без оговорки, Пушкин понял, что Полидори во многом был прав: настоящий Байрон обесчестил много женщин, и в этом смысле слова и был «вампиром». Не исключено, что Пушкин имел это в виду, когда в стихотворении «Подъезжая под Ижоры...» (1829) он применил это же слово к своей репутации: «Хоть вампиром именован / Я в губернии Тверской...» (Там же. Т. 3. С. 151). Рассказ Полидори был издан в России П. В. Киреевским под именем Байрона: «Вампир: Повесть, рассказанная лордом Байроном. С приложением отрывка из одного недоконченного сочинения Байрона (с английского. П. К.)». М., 1828.

ложение было основано на том, что в 1820 году имела в Париже огромный сценический успех «Вампир. Мелодрама» («Le Vampir. Melodrame»), написанная Шарлем Нодье, Франсуа Адриен Кармош и Акилем де Жуффри по мотивам романа Полидори. По версии этого произведения сестра героя Обри получает имя Мальвины. Впоследствии героини почти всех многочисленных и очень популярных мелодрам и опер «Вампир» получали имя Мальвины, и большинство читающей публики не сомневалось в том, что прототипом Мальвины была жена Байрона Анабелла Милбанк.

Повесть Полидори получила новую трактовку в мелодраме Нодье и др. Во-первых, в то время как вампир у Полидори убивает героиню, герой Обри у Нодье и др. защищает его сестру Мальвину от злодея Руфвена. Во-вторых, действие мелодрамы перенесено из района Средиземного моря в оссиановскую Шотландию. 32 Иначе говоря, не французская, а галльская Мальвина представляет неожиданный, но весьма важный подтекст для «Бейрона» и «Венецианской ночи». Обнаруживается столь тесная связь между этими стихотворениями, что само употребление имени Мальвины в первом из них можно считать своеобразной литературной аллюзией: внимание читателя тем самым направляется на второе стихотворение, а именно на странные мечты прекрасной. В поэме «Крома» Оссиан, сын и любимый певец (или бард) владыки Фингала, слышит, как Мальвина оплакивает смерть его сына, ее мужа Оскара. Чтобы утешить ее, он рассказывает ей о своем освобождении царства Кромы и о смерти там храброго молодого героя. 33 Как к прекрасной в «Венецианской ночи», так и к оссиановской Мальвине во сне является ее муж, павший на поле битвы. Она поет: «Так, без сомнения это был голос моего оплакиваемого возлюбленного! редко тень его посещает Мальвину в сонных ее мечтаниях!», и эти слова становятся напевом: «Так, это был голос моего оплакиваемого возлюбленного! редко тень его посещает Мальвину в сонных ее мечтаниях! Но Оскар! ты живешь в сердце Мальвины». В своих поэмах Оссиан обращается к Мальвине как к «деве голоса любви»; она «его невеста, спутница и муза, которую он как бы вызвал к себе через заклинания». 34 Оссиан начинает повествование «Сражение с Каросом»,

<sup>31</sup> См. текст в современном собрании драматических сочинений Нодье: Nodier Charles. Le Vampire // Oeuvres Dramatiques: En 3 t. / Ed. Ginette Picat-Guinoiseau. Geneva, 1990. Т. 1. P. 7—126.

 $<sup>^{32}</sup>$  Дж. Р. Планш, автор оперы того же года «Вампир, или Невеста островов», основанной на мелодраме Нодье и др., утверждал в своем предисловии, что он первый перенес действие в оссиановскую Шотландию, и это утверждение повторяется в энциклопедиях. См.: Planche J. R. The Vampire; or, The Bride of the Isles: A Romantic Melo-Drama // Cumberland's British Theatre. London, [S. a.]. На самом деле действие французской мелодрамы происходит в Шотландии, на тех же островах, воспетых Оссианом.

<sup>33</sup> Как правило, русские романтики читали Оссиана в переводах А. Дмитриева (Поэмы древних бардов. Из Оссиана / Пер. А. Д. СПб., 1788), Е. Кострова (Оссиан, сын Финнгалов, бард третьего века: галльские стихотворения: В 2 ч. / Пер. Е. Костров. М., 1792; 2-е изд. СПб., 1818) или С. Филатова (Стихотворения Оссиана: В 3 ч. / Пер. Семен Филатов. СПб., 1810), сделанных с перевода на французский язык Летурнера (Ossian, fils de Fingal, bard du troiseme siecle, Poesies galliques / Tr. Pierre Letourneur. Paris, 1777). О затруднениях, происходящих из-за неточности русских переводов, основанных на неточном, произвольном французском переводе Летурнера, см.: Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л., 1980. С. 24—31. Вряд ли Козлова привлекали эти буквальные французские и русские переводы. Говорить же о каноническом англоязычном переводе Оссиана тоже нельзя. Перевод цитат из Оссиана в настоящей статье сделан на основании издания XIX века: The Poems of Ossian Translated from the Gaelic Language by James Масрherson, Esq. and Turned into Blank Verse by the Rev. Anthony Davidson. Salisbury, [S. a.] с модификациями при помощи более удачных эквивалентов во втором издании перевода Кострова.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> deGategno, Paul J. James Macpherson. (Twayne English Authors Series 467). Boston, 1989. P. 38.

взывая к Мальвине: «Дщерь Тоскарова, принеси мне благозвучную арфу; Желание петь озаряет, как светоносный луч, томную мою душу». Здесь Мальвина предстает как помощница Оссиана. В конце поэмы она является и музой, и помощницей: «Но, о Мальвина! будь мне путеводительницею в мои леса, на брега моих источников... Принеси мне, дщерь прекрасная, благозвучную арфу...» В «Войне Инистонской» Мальвина снова предстает в роли певца: «Дщерь Тоскарова была там, И сладкий ее голос звучал, как благозвучная арфа». Из всех героинь оссиановских поэм только Мальвина называется «девой голоса любви» («Фингал, кн. 4»; курсив мой. —  $\mathcal{J}$ .  $\mathcal{J}$ .). В этой роли Мальвины как родственной души Оссиана объясняется значение прекрасной в «Венецианской ночи» и использование ее имени в «Бейроне». Отношения между лордом и леди Байрон в жизни едва ли можно назвать отношениями между двумя родственными душами, и Козлов, несомненно, не мог не знать об этом. Но Козлова волновал не только поэтический образ самого Байрона, но и создание своего собственного образа великого поэта. В этом обнаруживается все значение Козлова как романтика: ему были безразличны внелитературные факты, в его восприятии жизнь и поэзия — это одно целое. И экспансивное обращение Байрона к жене в стихотворении «Прости!» дало основание Козлову назвать леди Байрон именем Мальвины — музы и помощницы великого певца.

«Венецианская ночь» Козлова представляет собой попытку передать дух Юга в русской романтической поэзии. В то же время стихотворение навеяно оссиановскими образами и фразировкой. В центре поэмы

И с арфою стройной
Ко древу к Минване приходит певец.
Все было спокойно,
Как тихая радость их юных сердец:
Прохлада и нега,
Мерцанье луны,
И ропот у брега
Дробимыя с легким плесканьем волны.

<sup>35</sup> На первый взгляд смешение северных оссианических образов с духом Юга может показаться неуместным, но оно оправдано байроновской логикой. Байрон был во многом увлечен Оссианом, чьи образы играют важную роль в стиле таких южных поэм, как «Чайльд-Гарольд», «Корсар» и «Дон Жуан». Еще до появления Байрона на русской поэтической сцене поэмы Оссиана были, безусловно, наиболее популярными и влиятельными произведениями иностранной литературы в России. Среди лучших оссианических произведений в русской романтической поэзии необходимо отметить стихотворение Козлова 1836 года «Поэт и буря (Из поэмы «Jocelyn» Ламартина)» (с. 274—275) и элегию Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814). Имеют интерес оссианические стихи, написанные молодым Пушкиным в том же 1814 году. О русском оссианизме см.: Левин Ю. Д. 1) Оссиан в русской литературе; 2) Russian Responses to the Poetry of Ossian / Great Britain and Russia in the Eighteenth Century: Contacts and Comparisons / Ed. Anthony G. Cross. Newtonville, Massachusetts, 1979; *Иезуитова Р. В.* Поэзия русского оссианизма // Русская литература. 1965. № 3. С. 53-74. Настоящая статья не ставит перед собой задачи исследовать вопрос о влиянии Жуковского на Козлова, но было бы непростительно не отметить, что Жуковский являлся той призмой, через которую во многом преломлялось восприятие Козловым английского поэта. Об этом свидетельствует тот факт, что отклик Козлова на Жуковского происходит на пересечении байронизма и оссианизма. Например, для необычной метрической структуры стихотворения «Бейрон», построенной на чередовании четырехстопного амфибрахия с мужскими клаузулами и трехстопного с женскими, Козлов обратился к навеянному оссиановской образностью переводу Жуковским баллады Шиллера «Граф Габсбургский» (1818). В балладе Жуковского «Эолова арфа» (1814) Козлов нашел поэтическую фразировку даже на уровне ритмико-интонационном (ср. стих у Козлова «И меч обнажился и арфа звучит» со стихом у Жуковского «И дуб шевелится, и струны звучат.). Мы тоже находим в этой балладе большое количество таких фразировок, определяющих характерную особенность и «Бейрона», и «Венецианской ночи»: «Певец сладкогласный», «росистая тень», «синие своды», «О милые струны, / Играйте, играйте...». Одна строфа в балладе Жуковского представляет более чем случайный источник для образности «Венецианской ночи»:

«Крома» находится «арфа радости»; Оссиан, путеществуя по морю, посылает вперед «Барда с арфой». В других поэмах Оссиана те же изображения бардов, арф, мечей и факелов. Как в «Венецианской ночи» прекрасная превращается в звезду и тень певца мчится с востока, так в «Кроме» Мальвина сравнивается с «блистательной точкой востока» (солнцем) и в «Берратоне», в сцене, посвященной смерти Мальвины: «А ты разгораешься блистательной точкой, возникшей с востока». На всем протяжении оссиановских поэм встречаются и образы метеоров. В поисках оссианических образов для заключительного изображения певца-Байрона в «Венецианской ночи» Козлову не трудно было использовать такие удачные фразы, как в поэме «Дартула»: «Но он был похож на метеор, летящий наперекор небесам и падающий на дальние страны», или в поэме «Комала»: «Воззрите на метеоры, летающие вокруг сей девы; воззрите, как непорочная душа ее подъемлется в высоту на светоносных лучах лунных». Возможно, это источник образа вознесения в небо гондолы прекрасной в «Венецианской ночи».

У оссиановской Мальвины нет, как у Мальвины Козлова, груди белоснежной или, как у прекрасной в «Венецианской ночи», персей белоснежных. Странно, но она — единственный женский персонаж в оссиановских поэмах, не изображаемый таким образом. В поэме «Фингал, кн. 6» слава о дочери Краки гремит повсюду, и повелители «стали завоевывать деву с белоснежной грудью». Когда слава о ней докатилась с берегов Коны до Грумаля, тот «поклялся завоевать деву с белоснежной грудью». Страшные барды и барды-герои оссиановских поэм должны преломить тяжелые копья; у героинь должна быть белоснежная грудь, на которую ее герой может склонить уставшую голову. О прелестной Лорме в поэме «Сражение при Лоре» говорится: «Ее белая грудь вздымается, как снег на вересковой пустоши», а в пятой книге о Гелчоссе: «Ее снежная грудь глубокими вздохами вздымалась».

«Венецианская ночь» — это стихотворение, написанное на тему о силе песни (поэзии) преодолевать действительность, вызывать покойного в памяти и даже воскрещать мертвого. Бессмертие Байрона — его возвращение в стихотворении Козлова к своей возлюбленной Терезе Гвиччьоли — это честь, которой достоин только великий поэт, являющийся в глазах русских романтиков великим героем-освободителем. Великий галльский воин Фингал покрыл себя неувядаемой славой могущественного короля, готового отказаться от удовольствия слушать певца и арфу ради похода за освобождение своего союзника от тирании. Ему служат его полководцы и сотни «Певцов благозвучной арфы». Великие герои бессмертны. Память о них хранят громадные каменные надгробья на их могилах или зеленые курганы на местах, где они сложили головы, горящие дубы, «возженные» в честь их славных подвигов, и песни, которые Фингал поручает петь своему сыну Оссиану, чтобы вызывать их тени. Увековечивание славы героев составляло задачу бардов и особенно величайшего из них, Оссиана. В поэме «Война Инистонская» говорится, что «тысяча Бардов возносят до облак знаменитое имя бестрепетного Оскара». В поэме «Картон» владыка Фингал говорит: «Барды благозвучные многочисленны у меня, и песни их перенесутся от родов в род». О себе в той же поэме Фингал говорит: «Знаки моего мужества останутся на полях брани, и мое

Одной из самых известных баллад Жуковского, основанных, как «Бейрон» и «Венецианская ночь», на теме любви и разлуки, является его перевод Гольдсмита «The Hermit» под названием «Пустынник». Эта баллада не случайно изображает героиню по имени Мальвина и считается одним из наиболее оссианических произведений Жуковского.

имя в песнях Бардов». В поэме «Карриктура» Фингал восклицает, что в душе его «сладостных» певцов «начертаны воинства и подвиги наших праотцев!». Без песен бардов с арфой не будет ни славы, ни бессмертия. В первой книге «Фингала» говорится о том, что бард сохранит имена героев и «повторит их печальные любовные романы для будущих времен». В поэме «Сражение при Лоре» Оссиан говорит даже, что его слава не в его храбрости, а в песнях о нем: «...моя слава будет еще возвещаема в песнях; но деяния на поле битвы почтутся лишь сонным мечтанием от поздних потомков». Не подвиги, а поэмы увековечат героев.

Герои погибают молодыми. С точки зрения Макферсона, погибнуть молодым и увековечить свое имя лучше, чем умереть дряхлым стариком.<sup>36</sup> В поэме «Сражение с Каросом» Оссиан поет: «Блаженны те, которые преселилися в вечность во цвете лет своих и полном сиянии славы!» Тема безвременной, но героической кончины, как, вероятно, никакой другой аспект оссиановских поэм, привлекала к себе Байрона, который испытывал опасения, что ему не удастся уйти из жизни молодым. Этой теме посвящены обе поэмы, в которых поэт подражает Оссиану: «Обращение Оссиана к солнцу в "Картоне"» и «Смерть Кальмара и Орлы». Именно эта тема побудила и Козлова взяться за написание стихотворений о безвременной гибели Байрона. Тени героев являются к Фингалу и к другим персонажам оссиановских поэм, чтобы поведать о своей гибели на дальних полях сражений. Кровавые фингальские войны унесли столько жизней героев, что береговые туманы и мрачная темнота лесов наводнены их тенями. Для того чтобы слышать истории о славных подвигах погибших героев, барды обращаются к «духам давно умерших отцов!». В поэме «Сражение с Каросом» Оскар призывает тени своих предков рассказать о прошлом и предсказать будущее: «...О вы странствующие тени!.. Расскажите мне о великих подвигах будущих времен». Тени павших героев являются даже к своим возлюбленным, чтобы навестить их или утешить. Являются тени и к состарившемуся и слепому Оссиану и уговаривают его воспеть их славу. В поэме «Комлат и Кютона» тень «доблестного сына» Комлата упрекает Оссиана за то, что он не воздал ему дань за заслуженную им славу.

Чаще всего тени героев являются в снах. Оскар, например, является во сне к Мальвине. Когда в поэме «Латмон» встревоженный Фингал просыпается, Оссиан говорит: «Мы познали, что видел он тени своих храбрых праотцев. Они часто являлись ему во сне, когда враждебная сталь угрожала его странам...» Вызывает интерес и то, что Оссиан должен во сне встретиться с тенью героя, чтобы обратиться к нему в своей песне, или видеть сон перед тем, как петь. В поэме «Война Инистонская» Оссиан говорит, что «сон при сладкозвучном гласе арфы... нисходит и объемлет мои чувства; его мечты начинают уже окружать меня видениями, исполненными радости». В поэме «Картон» Оссиан просит: «О белокурая Мальвина, оставь меня успокоиться на минуту. Возможно, посетят меня во сне герои». Как и тень певца из «Венецианской ночи», которого нельзя гневить, Оссиан, перед тем как предаться снам, предупреждает: «Не смущайте моего покоя, не мешайте моему спокойному сну» — и наказывает: «Не будите Оссиана, не смущайте приятных его сновидений».

В оссивновских поэмах сны играют огромную роль. Они предсказывают, объясняют, делают возможным общение с усопшими и, в соответствии с верой в силу песни вызывать тени заклинанием, увековечивают. Бес-

<sup>36</sup> deGategno. Op. cit. P. 75-79.

смертие служит наградой для героев, ушедших из жизни молодыми, а также и для бардов, которые призваны увековечить героев. Часто, как это показывает сам Оссиан, величайшими из героев являются воиныбарды. В этом и есть тема, цель и значение оссиановских поэм; в этом и заключаются тема, цель и значение стихотворения «Венецианская ночь». Именно таким воином-бардом Козлов считал Байрона, который, согласно оссианической традиции, ушел на борьбу за освобождение Греции и геройски погиб за дело свободы. Точно так же, как Оссиан, воспевавший героев Фингала, Козлов предстает перед нами в аналогичном качестве певца Байрона. Память о Байроне должна быть увековечена. Козлов стремился обессмертить Байрона в песнях, в стихотворениях «Бейрон», «Венецианская ночь» и, по сути дела, во всех своих многочисленных байроновских стихотворениях и переводах. В «Венецианской ночи» он рещает увековечить Байрона, обращаясь к силе снов. Козлов не мог позволить умереть поэту. Байрон должен являться во снах или в фантазии, может быть прежде всего в мечтах своей прекрасной и в фантазии самого Козлова.

#### ЖАНР АФОРИЗМА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ В. Ф. ОДОЕВСКОГО 1820-х ГОДОВ

Наследие В. Ф. Одоевского — одной из центральных фигур в истории русской культуры 1820—1840-х годов — изучено достаточно внимательно. При этом неизменный исследовательский интерес вызывало не только собственно художественное творчество автора «Русских ночей», но также его философические, литературно-критические, музыковедческие, публицистические работы. Однако до сих пор, насколько нам известно, вне поля зрения исследователей находилось небольшое сочинение Одоевского, сравнительно недавно определенно соотнесенное с его именем. Мы имеем в виду «Парадоксы», впервые опубликованные без подписи в «Московском вестнике» за 1827 год, упомянутые в известной книге П. Н. Сакулина как «по содержанию и духу... близкие к эстетике Одоевского», 2 а в предпринятом в 1982 году издании литературно-критических сочинений писателя однозначно причисленные к публицистическому наследию русского любомудра. 3 Полагаем, что рассмотрение своеобразной художественной формы этой «статьи» 4 Одоевского позволит не только дополнить наши представления о раннем литературно-критическом творчестве «русского Фауста», но также сделать некоторые выводы относительно того, как проявляется на русской литературной почве начала XIX столетия такой необычный еще для нее жанр западноевропейской краткой прозы, как афоризм.

Небезынтересен в этой связи контекст, в котором появляется упомянутое выше рассуждение П. Н. Сакулина относительно «анонимной статьи по эстетике». Оно завершает анализ исследователем ранних, большей частью неопубликованных эстетико-философских сочинений молодого любомудра, каковыми являются: «Афоризмы из различных писателей по части современного германского любомудрия», «Гномы XIX-го столетия», «Сущее, или Существующее», «Опыт теории изящных искусств, с особенным применением оной к музыке». Авторские определения жанра, по крайней мере первых двух из перечисленных работ Одоевского, представляют для нас особый интерес. Заглавия «Афоризмов...» и «Гномов...» отсылают к античной (актуальной для средневековья

<sup>1</sup> См.: Московский вестник. 1827. № 6. Ч. 2. С. 165—170.

 $<sup>^2</sup>$  Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. 1. Ч. 1. С. 175.

<sup>3</sup> См.: Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С. 30-32.

 $<sup>^4</sup>$  См.:  $Caxapos\ B.\ H.$  Комментарии # Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. С. 204. Так же определяет жанр  $^4$ Парадоксов $^4$  и П. Н. Сакулин (см.:  $Cakynuh\ \Pi.\ H.$  Указ. соч. С. 175).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Сакулин П. Н. Указ. соч. С. 167.

<sup>6</sup> См.: Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 73-84.

 $<sup>^7</sup>$  Из этих трех сохранившихся лишь в черновых набросках работ Одоевского только последняя имеет точную датировку — 1825 год. «Гномы...» и «Сущее...» датируются «временем, непосредственно следующим за "Мнемозиною"» (см.: Cакулин П. H. Указ. соч. C. 144).

и существующей также в начале XIX века) жанровой форме научного изложения, собственно и явившейся «источником» формирующегося в европейских литературах XVII—XVIII веков жанра литературного афоризма. В таком «старом, традиционном и точном смысле слова» — афоризм (от греч. ἀφορισμόζ — ограничение, определение) есть «знание, сведенное к самому существенному — к определениям. В те времена, когда в университетах лекции нередко читались на основе всякого рода печатных пособий, эти последние очень часто содержали лишь основные определения понятий данной дисциплины, хотя далеко не всегда такие книги называли "афоризмами"».10 Примечательно, однако, что именно так: «Афоризмы из нравственного любомудрия» — называет свою статью, содержащую изложение «теории нравственности», пансионский учитель Одоевского И. Давыдов. 11 Перекличка заглавий (и, соответственно, авторских определений жанра) появляющихся почти одновременно работ учителя и ученика («Афоризмы...» И. Давыдова опубликованы двумя годами ранее «Афоризмов из различных писателей...», в 1822 году) весьма показательна. Анализ содержания статьи Одоевского и формы его изложения позволяет говорить о точном соблюдении молодым автором канона обозначенного жанра научной прозы. В «Афоризмах из различных писателей...» в тезисной форме излагается «Идея наук», то «единое безусловное знание, которое, разделяясь на ветви по различным степеням проявляющегося идеального мира, образует неизмеримое древо познания»12 и которое, как отмечает П. Н. Сакулин, «есть не что иное, как философия тожества Шеллинга».13

К данной традиции «ученого» (или «научного») афоризма в известной мере относит нас заголовок и — более всего — форма изложения «Гномов XIX-го столетия». 14 Поясняя своеобразие избранного молодым автором заглавия, Сакулин, как известно, обращается к «Вступительной лекции о возможности философии как науки» И. Давыдова (1826), где, в частности, отмечалось: «...первоначально истина, непосредственно к некоторым случаям примененная, излагалась древними мудрецами в отдельных гномах или мыслях». 15 В определении Давыдова, надо заметить, не упомянут такой отличительный признак античной гномы, как ее преимущественно стихотворная (либо ритмизованно-прозаическая) форма. Эта черта не присуща и гномическому произведению Одоевского, в котором, к тому же, совершенно редуцируется упомянутая Давыдовым изолированность («отдельность») излагаемых здесь мыслей. В этом очередном, разделенном на параграфы переложении философской системы Шеллинга 16

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> См. об этом, например: Fieguth G. Nachwort // Deutsche Aphorismen. Stuttgart, 1972. S. 354; Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Жанровые и видовые особенности афоризмов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985. Т. 44. № 3. С. 245—246; Михайлов А. В. Комментарий // Эстетика немецких романтиков. М., 1987. С. 702—703.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Михайлов А. В. Комментарий. С. 702.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Там же.

 $<sup>^{11}</sup>$  Давыдов И. (Мемнон). Афоризмы из нравственного любомудрия # Вестник Европы. 1822. № 11-12. С. 201-232.

<sup>12</sup> Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 79.

<sup>13</sup> Сакулин П. H. Указ. соч. С. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Цит. по: *Сакулин П. Н.* Указ. соч. С. 144.

<sup>16</sup> Это сочинение Одоевского, впрочем, позволяет предположить возможное знакомство автора с «Афоризмами об искусстве» Й. Герреса (1804). Об изучении любомудрами произве-

<sup>3</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

она естественным образом не превышает степени изолированности сегментов конспективного изложения единой теории. Таким образом, возможно заключить, что специфическое жанровое определение, подчеркнуто вынесенное Одоевским в заглавие, в данном случае, по-видимому, должно было акцентировать именно «мудрость» изложенных здесь мыслей. Собственно же жанровая форма «Гномов...», как можно судить по написанным фрагментам, должна была соответствовать той, что была уже опробована молодым автором в «Афоризмах...». Обратим, однако, внимание на то, что заглавие «Гномов...» все же отсылает предполагаемого читателя к античной жанровой форме, уже не принадлежащей собственно научной сфере.

Наконец, еще одно философическое сочинение молодого Одоевского — трактат<sup>17</sup> «Сущее, или Существующее» — вновь обнаруживает достаточно точное следование форме «научных афоризмов»: деление на пункты (отдельные тезисы) сопровождается четкой логической взаимосвязью содержащихся в них положений излагаемой философской системы:

- «6. Если сфера одна другой не равна, это значит, что в одной из сфер есть нечто такое, что в другой не находится; след. эта сфера не может выразить другой.
- 7. След., для выражения Единого (идеи) потребны все предметы; сие невозможно в познании.
  - 8. Между тем познание существует (по § 4) и т. д.». 18

Чрезвычайно показательна в этой связи двойная квалификация жанровой природы данного незаконченного сочинения Одоевского у Сакулина — наряду с упомянутым определением «трактат» несколько ниже встретим: «Философские афоризмы о сущем» (курсив мой. — O.~K.). Последнее словоупотребление исследователя спровоцировано, думается, комментируемой им в данном случае реакцией на сочинение Одоевского современника писателя M.~C.~Bолкова, известного в свое время ученогополитэконома. На рукописи Одоевского, упоминает Сакулин, имеются карандашные пометы Волкова, которые также сохранились в архиве писателя и в отдельном систематическом, хотя и незавершенном изложении, озаглавленном, между прочим, как «Замечания на  $A\phi$ оризмы: О Сущем» (курсив мой. — O.~K.). Рукопись Одоевского не содержала такового жанрового определения, а потому реакция Волкова для нас очень важна: она свидетельствует о том, что именно так избранная автором форма воспринималась современным ему читателем (к тому же — ученым).

Обобщая сказанное, заметим, что в раннем творчестве Одоевского жанр афоризма появляется прежде всего в своем изначальном, сугубо научном виде и представлен достаточно широко, что, думается, далеко не случайно. Антично-средневековая, актуальная и для времени Одоевского форма изложения суммы научного знания приходится весьма «кстати» неофитулюбомудру, одержимому «двуединой» идеей изучения новейших германских философских систем и построения единой теории Сущего. 21 Пафос

дений Герреса см.: Записки А. И. Кошелева // Русское общество 40—50-х годов XIX в.: В 2 ч. М., 1991. Ч. 1. С. 51.

<sup>17</sup> Такое определение жанра встречаем у П. Н. Сакулина (см.: *Сакулин П. Н.* Указ. соч. С. 145), а также — в современном издании (см.: *Каменский З. А.* Указ. соч. С. 600).

<sup>18</sup> Русские эстетические трактаты 1-й трети XIX века: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 169.

<sup>19</sup> Сакулин П. Н. Указ. соч. С. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> См., например: «Таким образом, по исследованию предыдущего нам возможно будет приступить к ответу на вопрос, составляющий предмет сего сочинения, то есть определения единой, истинной, постоянной теории искусства» (Русские эстетические трактаты... С. 156).

«построения системы» одушевляет молодого Одоевского, тяготеющего потому к обозначенному жанру системного изложения.

Однако обратим здесь внимание на то, что из перечисленных «афористических» сочинений Одоевского лишь одно появилось в печати, ибо только оно и было завершено, в то время как другие так и остались в разрозненно-фрагментарном виде. Как представляется, здесь обнаруживается отмеченное еще Ю. Манном характернейшее свойство Одоевского — человека, мыслителя и писателя: тяготение к системе при одновременном отталкивании от нее. Известная эволюция автора «Русских ночей» от формальной (нормативной) к «реальной, психологической эстетике» з проявляется, в частности, и в том, что с половины 1820-х годов научный афоризм как форма изложения идей германского любомудрия (и сомышления ему) вытесняется в творчестве Одоевского жанром собственно литературного афоризма, образец которого и представлен в «Парадоксах».

Комментируя характерное несовпадение наименований (афоризм — парадокс), заметим, что оно, по-видимому, обусловлено достаточно сильным, заложенным еще в пансионе «французским влиянием» на молодого Одоевского. Как известно, в отличие от Германии, во Франции начала XIX века за словом афоризм сохраняется исключительно его исконная — научная (причем именно медицинская) «жанровая семантика», в то время как для определения соответствующего литературного жанра использовался (с XVII века) термин «максима». За французская традиция литературного афоризма (максимы, построенной прежде всего на парадоксе) и преломляется в «Парадоксах» Одоевского, обнаруживающих притом определенное воздействие немецкой художественной афористики рубежа XVIII—XIX веков, а именно — традиции так называемого шлегелевского романтического фрагмента.

Французская моралистика XVII—XVIII веков имела достаточно широкое распространение в России еще с конца XVIII столетия. Помимо изданий на языке оригинала, с 1770-х годов «века Просвещения» регулярно появляются частичные и полные переводы знаменитых «Максим» Ларошфуко, сочинений Лабрюйера, Шамфора. В Являясь неотъемлемой частью воспитания и образования молодого дворянина начала века, эта литература была, несомненно, хорошо известна Одоевскому; знаменитые

<sup>22</sup> См.: Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1969. С. 113—119 и др.

 $<sup>^{23}</sup>$  См.: Сакулин П. Н. Указ. соч. С. 495; см. об этом также: Сахаров В. И. Движущаяся эстетика (Литературно-эстетические воззрения В. Ф. Одоевского) // Контекст-81. М., 1982. С. 192-215.

<sup>24</sup> См. об этом: Mautner G. Maximes, Sentences, Fragmente, Aphorismen // Der Aphorismus. Darmstadt, 1976. S. 405. Как известно, в России слово «афоризм» употреблялось в обоих значениях: «В первом издании "Словаря Академии Российской" (1789) афоризм (афорисм) определяется как правило, которое "в кратких словах содержит много смысла" и которое относится как к "иппократовым", так и к "нравоучительным афорисмам"» (см.: Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М., 1990. С. 14). Характерно в этой связи, что практически одновременно с «Афоризмами из различных писателей...» Одоевского И. Кронеберг издает в Харькове свои «Афоризмы» (1825), с которыми во многом связано начало истории русского литературного афоризма.

<sup>25</sup> См., например: Дух изящнейших мнений, избранных большею частию из сочинений г. Рошефокольда и прочих лучших писателей / Пер. и избрал Н. С. М., 1788; Мысли герцога де Ла Рошфуко, извлеченные из высшего познания мира и людей / Пер. Ив. Барышникова. М., 1809; Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века / Пер. Н. Ильина. [Б. м.] 1812. Переводы «Максим и мыслей» Шамфора регулярно помещали «Вестник Европы» (в 1809 и 1812 годах), «Сын Отечества» (1819) и другие журналы начала века. Сочинения Паскаля до середины XIX века были известны русскому читателю только по французским изданиям.

же «Характеры, или Нравы нынешнего века» Жана де Лабрюйера воспитанник Московского благородного пансиона не только прекрасно знал,<sup>26</sup> но и переводил. Еще во время обучения Одоевский, по собственным его словам, «имел намерение перевести всего Лабрюйера»,<sup>27</sup> опубликовав впоследствии переложения 14 фрагментов из книги французского автора.<sup>28</sup> Влияние Лабрюйера ощутим мы и в позднейших «Парадоксах».

«Парадоксы» демонстрируют прекрасное усвоение Одоевским «жанрового канона» новейшего литературного афоризма, в котором особая мыслительная глубина и густота является во многом результатом «магически-пресуществляющего» (А. В. Михайлов) воздействия особенной образной формы, 29 реализующейся при помощи применения писателем-афористом определенных синтаксических и стилистических фигур. Не случайно в этой связи само заглавие произведения Одоевского. Именно парадокс, одна из основных стилистических фигур, используемых в афоризме, являющийся одновременно крайней формой выражения важнейшей черты афористического мышления (его не-обыденности), лежит в основе практически всех двадцати пяти «сегментов» сочинения русского автора. Ощутимая в его афоризмах установка на нетрадиционность, неординарность («парадоксальность») мысли акцентируется такими важнейшими приметами афористической формы, как метафора («1. Древние полагали, что луч света может быть разложен на составные части и подчинен математическим выкладкам. Мы — древние; изящные искусства — луч света; когда-нибудь найдется их вычисление» 30); антитеза («5. Большая часть комиков пишут оттого, что Аристофан, Шекспир и Мольер писали до них. Хорошие комики пишут оттого, что в человеке находят смешное и отвратительное» — с. 30); граничащая с собственно парадоксом фиктивная дефиниция («6. Смешное есть отрицательная сторона мысли» — с. 30); риторический вопрос («23. Мольер схватил черты вечного смешного. Трудно решить, кого он лучше знал: оригиналы или зрителей?» — с. 32).

Во всех приведенных фрагментах афористического собрания Одоевского не трудно заметить стремление автора следовать жанровому канону французского классического афоризма XVII—XVIII веков с его сугубым вниманием к отточенно-краткой словесной форме. Традиция французской моралистической афористики отзывается здесь и в заметном «моралическом оттенке» авторской позиции, которая с наибольшей очевидностью обнаруживается, например, в парадоксах № 5, 23 (см. выше), а также № 8 («Едва ли теперь можно успеть трагедиею. Современных предметов нельзя описывать, а где трагик найдет происшествия занимательнее тех, которыми ознаменованы последние пятьдесят лет?» — с. 30), № 22 («В стихотворном изображении исторических предметов должно следовать хорошим портретным живописцам, которые более списывают выражение лица, нежели черты. Кто будет порицать живописца, увидя себя несколько лучше в портрете?» — с. 32).

<sup>26 «</sup>Характеры» Лабрюйера, как отмечал еще П. Н. Сакулин, особо рекомендовались воспитанникам пансиона в числе прочих наиболее значительных и полезных произведений литературы двумя ведущими профессорами — И. Давыдовым и А. Мерзляковым.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Цит. по: *Сакулин П. Н*. Указ. соч. С. 81. <sup>28</sup> См.: Каллиопа. 1820. Ч. 4. С. 225—230; Вестник Европы. 1822. № 17. С. 61—65.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Как отмечает современный исследователь, двумя основными разновидностями таковой является «озарение» и «прояснение» (см.: *Mautner G.* Der Aphorismus als literarische Gat tung # Der Aphorismus. Darmstadt, 1976. S. 46—49), отражающие различные типы соотноше ния афористического высказывания с лежащим в его основе процессом авторского мышления.

 $<sup>^{30}</sup>$  Одоевский В. Ф. Парадоксы // Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С. 30. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Вместе с тем, однако, уже первый парадокс отчетливо обнаруживает соприсутствие принципиально иной авторской позиции, которая в соединении с особым «художественным содержанием» афоризмов Одоевского (связанных исключительно со «сферой эстетического») позволяет предположить здесь влияние традиции немецкой романтической афористики.<sup>31</sup> Как отмечалось, еще П. Н. Сакулин обратил внимание на очевидное соответствие содержательного плана «Парадоксов» идеям, которые разрабатывались Одоевским в философско-эстетических набросках середины 1820-х годов (эта взаимосвязь особенно очевидна в парадоксах № 1-3, варьирующих тему «единой теории сущего», см., например: «2. Каждый художник имеет свою особую теорию; он не думает об ней, создавая; но мысли его сами подчиняются однажды принятым формам. Критика полжна быть основана на одной общей теории; частные мнения каждого художника входят в нее, как переменные количества в общую алгебраическую формулу» — с. 30). Связанные, таким образом, с «новейшим германским любомудрием», «Парадоксы» могут быть соотнесены с афористическим творчеством издателей «Атенеума» — одной из форм самовыражения романтического «универсального мировоззрения». 32 И прежде всего — с «Фрагментами» Фр. Шлегеля, которые, в отличие от «поэтических» фрагментов Новалиса, были «проявлением экспериментально-спекулятивной философии» 33 по преимуществу.

Ни в коей мере не преувеличивая степени этой соотнесенности, обратим, однако, внимание на то, что в пестрой ткани «Парадоксов»<sup>34</sup> возможно уловить отражение целого ряда известных тем и мотивов немецкой романтической эстетики, актуальных, естественным образом, и для фрагментов йенских романтиков. Это, например, тема поэта (соотношение гения и таланта) — № 19, 21; сущности творческого процесса — № 13, 19; соотношения романтического и классического искусства № 14, 15; наконец, тема единой теории поэзии — № 1—3, 10. Помимо этого, очевидно стремление Одоевского к *наукообразно-*парадоксальной форме изложения (например, № 1-3, 15), отдаленно напоминающей ту «демонстрацию самого "акта разума"», 35 каковую являют собой фрагменты Шлегеля. Подчеркием здесь — именно отдаленно напоминающей, ибо афоризмы русского автора все же имеют мало общего с «замкнуто-разомкнутой» структурой изобретенной Шлегелем «модификации» афористического жанра, явившейся своеобразным «художественным воплощением» теории иронического самопостроения. Парадокс Одоевского несомненно ближе французской максиме с ее тяготением к «категорической замкнутости» парадоксального суждения. Однако, если говорить об общей структуре «Парадоксов» как собрания афоризмов, необходимо заметить, что она возникает в результате взаимоналожения двух противоположных авторских интенций: очевидная установка на завершенность (замкнутость)

<sup>31</sup> О том, что афористическое творчество издателей «Атенеума» было известно русскому читателю 1820-х годов, свидетельствуют, в частности, «Афоризмы» И. Кронеберга, которые содержат «цитаты» из «Цветочной пыльцы» Новалиса, а также «Критических фрагментов» Фр. Шлегеля.

 $<sup>^{32}</sup>$  Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. С. 7.

<sup>33</sup> Fieguth G. Op. cit. S. 359.

<sup>34 «</sup>Парадоксы» весьма неоднородны с точки зрения отразившихся в них эстетических идей, совершенно очевидно преломляя не только новейшую, романтическую, но и нормативную эстетику прошедшего века.

<sup>35</sup> Грешных В. И. Ранний немецкий романтизм: Фрагментарный стиль мышления. Л., 1991. С. 17.

афористического контекста<sup>36</sup> сочетается здесь со столь же несомненным стремлением к ее преодолению. Именно парадокс и играет решающую роль в образовании этой двойственной структуры.

Парадокс является тем началом, которое придает удивительную целостность собранию чрезвычайно пестрых на первый взгляд, принципиально разрозненных афоризмов Одоевского. Заявленный в заглавии, старательно соблюдаемый во всех высказываниях «принцип парадоксальности» достигает кульминации в заключительном, 25-м афоризме, который резко противоречит всему предшествующему афористическому контексту с присущей ему установкой на парадоксальную категоричность. Здесь неожиданно «снимается» сформировавшийся уже у читателя образ «безличного» автора-оракула, учителя, излагающего парадоксальные, но непреложные истины: «25. Если скажут, что мои мысли уже были кем-нибудь выражены: то можно скорее поручиться за их справедливость. Если найдут, что они новы, но несправедливы: то, по крайней мере, мне останется честь изобретения. Если ж заметят, что они и стары и несправедливы: то я рад буду случаю узнать новое и отстать от несправедливого» (с. 32). Неожиданно возникающая в этом парадоксе очень распространенная афористическая тема — так называемая рефлексия автора по поводу собственной афористической деятельности, - между прочим, относит нас к «Характерам» Лабрюйера. Заключительный афоризм Одоевского обнаруживает очевидную перекличку с последним, 69-м, сегментом 1-й главы «Характеров» («О творениях человеческого разума»), тематически близкой «Парадоксам». «Гораций и Депрео говорили это до вас, — читаем у Лабрюйера. — Верю вам на слово, но все же это мои собственные суждения. Разве я не могу разумно думать и после них, как другие будут разумно думать и после меня?»37 Откровенная цитата, так же как и откровенное переосмысление ее Одоевским, акцентируют своеобразное ключевое положение 25-го афоризма. Он не столько замыкает, сколько «размыкает» созданную русским автором достаточно жесткую «парадоксальную конструкцию», в которой парадокс рождается не внутри самого афористического высказывания, но на пересечении резко не соответствующих друг другу эстетических взглядов автора, исповедующего новейшие германские идеи, и не причастного им предполагаемого читателя.

Заключительный афоризм снимает это резкое противостояние автора «Парадоксов» и их читателя, напротив, объединяя их в едином процессе поиска истины, одним из возможных путей которого становится теперь столь категорично утверждавшаяся прежде «сумма идей». Впервые, казалось бы, появившееся в 25-м парадоксе новое авторское «я» (индивидуализированное элементами сомнения, «незавершенности») актуализирует, между прочим, ноты преодолевающего «нормативность системы» сомнения в предшествующих афоризмах. Так, уже в первом парадоксе оказывается возможным заметить неустойчивое равновесие между утверждаемой неизбежностью обретения окончательной истины («...когда-нибудь найдется их вычисление») и осознанием бесконечности ведущего к этому поиска («Мы — древние...»), включающего автора в контекст всего «ищущего человечества». Характерно здесь это «мы», которое еще раз

Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. М., 1974. С. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Это подчеркивается, например, ссылкой на предшествующее суждение в парадоксе № 10 («Что было сказано выше (см. § 2) о теории, можно повторить и об нравственной цели...» — с. 31), а также «замыкающей» функцией последнего парадокса, содержащего рефлексию по поводу всего «афористического целого».

<sup>37</sup> Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века / Франсуа де Ларошфуко.

возникнет в парадоксе № 18, сужая «объединяющий контекст» сомнения и поиска до одной нации: «18. Мы, русские, последние пришли на поприще словесности. Не нам ли определено заменить эпопею, теперь невозможную, драмою, соединяющею в себе все рода словесности и все искусства? Кн. Шаховской сделал опыты («Финн», «Аристофан», «Керим-Гирей»); должно ими воспользоваться» (с. 31). Именно здесь, пожалуй, в наибольшей степени ощутимо то «размышлительное единство» стремления к поиску и желания обрести окончательный ответ, которое предвещает афористическую форму в творчестве Одоевского 1840-х годов — его «Психологические заметки».

# ИЗ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. АНДРЕЕВА

Н. П. ГЕНЕРАЛОВА

## леонид андреев и николай бердяев

(К ИСТОРИИ РУССКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА)

Имя Леонида Андреева странным образом оказалось обойденным в исследованиях, посвященных истории русской философской мысли.1 Если этот факт вполне объясним в отношении советских исследователей, в течение долгих лет озабоченных главным образом тем, чтобы внести имя большого писателя в историко-литературный процесс, «реабилитировать» его творчество, то гораздо труднее понять этот факт в отношении таких. казалось бы, свободных от идеологических догм авторов, как В. Зеньковский и Г. Флоровский. Еще более удивительным является фактическое отсутствие имени Леонида Андреева в историко-философских работах столь популярного на Западе философа, как Николай Бердяев, созвучие с которым творчества Леонида Андреева особенно бросается в глаза. Очевидно, подобная неприкаянность Леонида Андреева может быть в какой-то мере объяснена сложностью, кажущейся многоликостью его произведений, а также неоднократно декларируемой им самим отстраненностью от разного рода направлений и течений. Это отчасти мнимое. отчасти подлинное одиночество и неслиянность с общим хором вытекали из самых основ его творческой природы, о которой следует сказать несколько предварительных слов.

К счастью, уже отошли в прошлое споры о том, к какому лагерю причислить Леонида Андреева — реалистов или символистов, натуралистов или экспрессионистов. Долгая близость к кругу Горького и знаниевцев, казалось, не оставляла сомнений в его цеховой принадлежности. Попытка выйти из этого круга повлекла за собой обвинения в предательстве, которого не было, к зачислению в «мародеры на поле битвы» (В. Воровский), к отлучению от социал-демократии, к которой Андреев испытывал искреннюю симпатию. Было забыто то, за что он был несколько поспешно зачислен чуть ли не в буревестники революции, а именно: за его последовательно и заостренно выраженную ниспровергательскую тенденцию, за тот заряд бунта и разрушения, который был призван раскачать основы зародившегося и предназначенного социал-демократами к погибели буржуазного общества. Не было замечено сразу, что и в самых революционных своих вещах Андреев был далек от идеологии организованного пролетариата, может быть, не меньше, чем от идеологии сытого

 $<sup>^1</sup>$  См., например: *Кувакин В. А.* Религиозная философия в России: Начало XX века. М., 1980.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 2. Ч. 2; Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. YMCA-PRESS, 1983. Как на характерную особенность названных трудов укажем на вполне оправданное включение в предмет исследования художественного творчества, неотделимого от нравственно-философских исканий русских мыслителей.

буржуа. Да и саму буржуазность (или, по-русски, мещанство) Леонид Андреев и его временные товарищи по оружию понимали по-разному.<sup>3</sup>

Но и путь в символистский аристократический лагерь Андрееву был заказан уже в силу компрометирующих его связей с кругом «Знания». Если в нем богоборческие мотивы андреевских произведений воспринимались с сочувствием, то в кругах символистских они вызывали раздражение. Так называемым религиозным искателям, подчас прятавшим свое утонченное безбожие за символической дымкой мистицизма, претил открытый вызов, кричащий со страниц «Жизни Василия Фивейского» и «Иуды Искариота», хотя даже автор нашумевшей статьи «В обезьяных лапах» не мог не признать огромной заслуги Леонида Андреева, прошедшего этот путь «до конца — до конца и бесстрашно, не сберегая души своей».4

Андреев был всегда далек от того, чтобы вуалировать свое неверие в формы неприятия исторического христианства или изобретательства новых или подновленных вероучений. В этом, кстати, его коренное отличие не только от «религии» Владимира Соловьева и других властителей дум, но и от самого Льва Толстого, связь с которым осознавалась писателем как наиболее прочная.

Предпринятая Андреевым переоценка ценностей принимает глобальный характер сжигания всех мостов. Он как бы проговаривает до конца каждый «проклятый вопрос», за который берется. В результате революционный нигилизм оставляет «голого человека на голой земле», формула исторического прогресса отливается в «так было — так будет», а бездна, в которую заглядывает андреевский носитель «чистого разума», способна заставить содрогнуться самого сатану.

Пронизывающее все творчество Леонида Андреева неприятие данного мира и его законов, постоянное тяготение к крайней поляризации нравственных категорий, резкая контрастность изображения заставляют говорить о своеобразной цельности мировоззрения и художественного мира. Наличие этой своеобразной цельности, которую не могли поколебать ни публицистические отступления, ни многочисленные стилизаторские эксперименты, побуждает вновь вернуться к проблеме творческого метода Леонида Андреева.

Один из наиболее проницательных художников начала века еще в 1907 году заметил прием, проясняющий многое при определении мировоззренческой и эстетической основ творчества Леонида Андреева. «Художник, — писал М. Волошин, — познает законы жизни, т. е. гармонию ее, независимо от его личного приятия или неприятия мира (...) С этой точки зрения Андреев совсем не художник. Он не ищет тех внутренних законов, по которым строится жизнь и по которым вырастает дух. Собственное свое слепое чувство, не сознавая и не претворяя его, он переносит в мир объективный, украшая обилием реалистических подробностей, цель которых — заставить поверить читателя, убедить в том, что

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> См. об этом в моей статье «Из истории одной полемики (А. В. Луначарский и Леонид Андреев)» (Русская литература. 1982. № 3).

<sup>4</sup> Мережковский Д. С. В тихом омуте. М., 1991. С. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> См.: Келдыш В. А. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 264. Мысль автора о «своеобразной цельности» андреевского творчества чрезвычайно важна в наших рассуждениях, хотя она характеризуется как запечатлевшая «пограничное состояние внутреннего спора между реализмом и модернизмом». Кажется, В. А. Келдыш несколько преувеличил реалистические тенденции в творчестве Андреева, как будто по инерции отгоняя мысль о его нереалистической природе, хотя именно он первым приостановил общую тенденцию андрееведения к включению Леонида Андреева в реалистическое русло.

все так и есть. В живописи такой прием называется "trompe l'oeil" (обман зрения. — H.  $\Gamma$ .), и художники порицают его». Порицает его и Волошин, но одновременно он выясняет его органическую природу. «Это происходит оттого, что у Леонида Андреева нет живых людей, а есть манекены, которых он заставляет разыгрывать драму своей собственной души, но при этом старается их украсить всеми качествами реальности, сделать их преувеличенно четкими и выпуклыми. Как пример обратного творчества можно привести Бальзака, который, взяв определенный характер, ставил его в известный круг обстоятельств и с холодным вниманием ученого, наблюдающего химическую реакцию, отмечал все движения души и действия своего героя».  $^7$ 

По сути дела Волошин совершенно закономерно ставит проблему творческого метода и в отношении Леонида Андреева решает ее вполне определенно в пользу романтизма или того подхода к изображению действительности, который можно с известной долей условности обозначить этим термином.

Следует оговориться, что сложность в постановке собственно методологической проблемы соотношения романтизма и реализма состоит в особенности в том, что в делении на романтиков и реалистов всегда присутствует доля условности, так как в творчестве того или иного художника неизбежно имеются в наличии обе тенденции. Ведь любое, самое реалистическое произведение в известном смысле есть вымысел.8 В этом отношении даже такой сугубо реалистический образ, как мадам Бовари, есть не что иное, как порождение души писателя Гюстава Флобера, с полным основанием сказавшего свое знаменитое «Мадам Бовари — это я». С другой стороны, в самом отдаленном от реальности произведении художник не может выйти за пределы реальности своей души, своего воображения, так или иначе обусловленных этой самой действительностью. Сказанное, однако, не опровергает общепринятого деления типов творчества на реалистическое и романтическое, поскольку обе тенденции, при всей сложности их переплетения, все же сказываются в каждом конкретном случае как доминанты.9

С этой точки зрения можно положительно утверждать, что в творчестве Леонида Андреева доминировало именно романтическое начало. Не случайно близкий Андрееву Георгий Чулков написал: «...как человек, он был все-таки, несмотря ни на что, из той страны, из той духовной отчизны, где растет "голубой цветок". Весь его болезненный хмель оправдывался тем, что в сердце у него всегда звучала какая-то песня "не от мира сего". Андреев был романтиком, и романтиком своеобразным». 10

«Я не делаю из этого теории, — писал сам Андреев Борису Зайцеву, — но для меня воображаемое было всегда выше сущего». 11 Подобных этой самохарактеристик можно найти немало как у самого Андреева, так и со слов знавших его.

В основе романтического взгляда на мир лежит, как известно, непри-

 $<sup>^6</sup>$  Волошин М. Леонид Андреев и Федор Сологуб // Волошин М. Лики творчества. Л., 1989. С. 444—445.

 $<sup>^{7}</sup>$  Там же. С. 445. Курсив мой. — H.  $\Gamma$ .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ср. у Л. Андреева: ∢...чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды. Ибо само слово принадлежит ко второй действительности... → (Книга о Леониде Андреева. Пб.; Берлин, 1922. С. 87).

<sup>9</sup> В этом смысле понятие «пограничных явлений», введенное Келдышем, может быть применено и к литературе XIX века.

<sup>10</sup> Книга о Леониде Андрееве. С. 68-69.

<sup>11</sup> Там же. С. 86.

ятие царящего в этом мире зла и поиски путей преодоления этого зла. Приятие мира таким, каков он есть, является для романтика приятием зла, царящего в мире, конформизмом. Надо либо уйти из этого мира в страну грез, либо попытаться воздействовать на этот мир, бороться со злом. Собственно, романтик постоянно находится в оппозиции к реальности, отрицая ее или вступая с ней в борьбу. Он подчас глубоко верует в возможность переустройства этого мира на каких-то иных началах. Он олержим верой в существование какой-то иной истины. Одержимый поисками этой истины, он закономерно становится носителем разрушительного сознания. Лишь в творческом акте он способен преодолеть эту разрушительную функцию своего сознания и утвердиться на пути созидания новых реальностей. Творческий акт становится оправданием его пребывания в посюстороннем мире. 12 Не случайно именно в романтизме были наиболее глубоко разработаны проблемы творчества, начиная с Шеллинга, провозгласившего в своей «Системе трансцендентального идеализма» приоритет искусства над всеми иными видами человеческой деятельности.<sup>13</sup>

Уже в силу изначальных творческих установок для романтизма характерна связанность всего творчества определенным кругом мотивов, своеобразная заданность творческого процесса, тяготение к постановке вечных тем и проблем. Явная или скрытая тоска по идеалу, стремление выйти за пределы положенного пространства, повышенная субъективность восприятия в сочетании с тенденцией к обобщению, переходящей нередко в схематизм, придают исканиям романтиков философский аспект, хотя в основании этой философии лежит стремление выразить прежде всего свое личное мироощущение. В каком-то смысле мир для романтика — зеркало, в котором, выражаясь словом Волошина, отражается «драма его собственной души». Если продолжить эту мысль, то и все творчество художника-романтика оборачивается развернутым во времени и пространстве процессом самопознания. Выходы за пределы этих границ если и не случайны, то по существу вполне окказиональны. Как правило, они заканчиваются трагическим конфликтом, как, например, для Леонида Андреева выход в сферу чисто политическую.14

С философской точки зрения этот тип мировосприятия был верно назван персоналистским, т. е. личностным. В персоналистском мире,

<sup>12</sup> Мучения еще не высвободившегося творческого начала ярко запечатлены в ранних дневниках Леонида Андреева, постоянно конфликтующего с окружающей действительностью. Этим объясняется, кстати, и его пристрастие к алкоголю: ∗...я, пока не сделался писателем и не освободил в себе способности воображения, так любил пьянство и его чудесные, страшные сны∗ (Книга о Леониде Андрееве. С. 86). Ср. с признанием Бердяева: ∗Творчество связано с воображением. Творческий акт для меня всегда был трансцендированием, выходом за границу имманентной действительности, прорывом свободы через необходимость∗ (Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991. С. 215. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте).

<sup>13 «</sup>Если эстетическое созерцание есть лишь объективировавшееся трансцендентальное, — писал Шеллинг, — то само собой разумеется, что искусство есть единственно истинный и вечный органон, а также документ философии, который беспрестанно все вновь подтверждает то, что философия не может дать во внешнем выражении, а именно наличие бессознательного в его действовании и продуцировании и его изначальное тождество с сознательным (Шеллинг Ф.-В.-Й. Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 484).

<sup>14</sup> Имеется в виду публицистика позднего Андреева, которая, как и ранняя (связанная в основном с работой в «Курьере»), не может быть понята вне всего контекста андреевского творчества. То, что может показаться абсурдным с точки зрения реальности, на самом деле было лишь очередным прорывом в трансцендентное. Отсюда нередко — неуместный мессианский тон статей Андреева, отсюда же — характерное для него обращение к определенным мотивам.

который не следует отождествлять с миром индивидуалистическим, всегда склонным к декадентству, понятие «тоски по трансцендентному» (Н. Бердяев) занимает центральное место. 15 Личность, тоскующая по трансцендентному, но не могущая выйти за пределы самой себя, несет в себе заряд религиозного беспокойства или томления, не переходящих, однако, за грань религиозного сознания, в котором личность не испытывает тоски по трансцендентному, ибо ощущает свою слиянность с более общим и вечным началом. 16

Этому типу сознания в высшей степени свойственно парадоксальное на первый взгляд сочетание двух противоположных тенденций — тенденции разрушительной, нигилистической, связанной с переоценкой или перепроверкой всех ценностей, и, с другой стороны, тенденции утопической. Отсюда — большой заряд революционности, заложенный в романтическом типе сознания.

Важнейшим при определении типа сознания, в том числе и романтического, представляется вопрос о его происхождении, генезисе. При выяснении этого вопроса наиболее традиционной стала подмена его другим, а именно выяснением круга влияний, якобы испытанных сознанием в тот или другой момент формирования. Поэтому в полной мере сохраняет актуальность рассуждение Г. Флоровского: «...вопрос о генезисе системы или мировоззрения нельзя подменять вопросом о "влияниях". Не всякое влияние есть тем самым зависимость, и зависимость не означает прямого заимствования, — "влиянием" будет и толчок, побуждение, — "влияние" может быть и от обратного. Во всяком случае, не следует ссылкою на "влияние" заслонять самодеятельность мыслителя». 17

Это рассуждение Г. Флоровского мы будем иметь в виду в дальнейшем, учитывая, что оно является особенно верным по отношению к типу именно романтического сознания или, выражаясь философским языком, типу персоналистского сознания. Персонализм по существу и является философским романтизмом.

Чтобы исключить всякие недоговорки, скажем сразу, что, обозначив темой настоящего исследования сопоставительный анализ мировоззренческих основ творчества Леонида Андреева и Бердяева, мы полностью исключаем из поля внимания вопрос о взаимовлияниях, хотя предмет для разговора имеется. Речь пойдет прежде всего о типологическом сходстве, обусловленном не только эпохой, не только общими для Андреева и Бердяева учителями и современниками, но в первую очередь сходством индивидуальностей. Нас также не будет интересовать вопрос о вхождении каждого из них в общее русло русского и, шире, европейского культурного развития, хотя закономерность постановки такого вопроса ни у кого не вызывает сомнений.

 $<sup>^{15}</sup>$  Ср. у Бердяева: «"Я" есть первичная данность, и оно может сделаться ненавистным, как говорил Паскаль. "Личность" же есть качественное достижение». И еще более открыто: «Я никогда не искал счастья» (с. 51).

<sup>16</sup> Ср. одну из записей в позднем дневнике Леонида Андреева: «Сейчас захотелось молиться. Но как? Но кому? Какими словами? « (Андреев Леонид. Дневник (1914—1919) // Андреев Леонид. S. О. S.: Дневник (1914—1919). Письма (1917—1919). Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918—1919) / Сост., вступ. ст. и примеч. Ричарда Дэвиса и Бена Хэлмана. М.; СПб., 1994. С. 88. Запись от 13 мая 1918 года).

<sup>17</sup> Флоровский Георгий, прот. Указ. соч. С. 274.

<sup>18</sup> Ср. у Бердяева: «...я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно творчески реагирую на книгу, помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги» (с. 36).

<sup>19</sup> Два раза на страницах «Самопознания» встречается образ феодала, сидящего в своем замке с поднятым мостом и отстреливающегося (с. 53 и 317). Не исключено, что этот образ навеян андреевскими «Черными масками». Подобные примеры можно продолжить.

Каков же внутренний стимул к означенному типологическому исследованию и что оно может дать в дальнейшем? Ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным. Обнаруженное нами разительное сходство мотивов, идей, образов, оценок и самооценок в раннем дневнике Леонида Андреева и в итоговой книге Н. Бердяева «Самопознание», которая вышла в свет уже после смерти автора, при ближайшем рассмотрении оказывается далеко не случайным и во многом взаимопроясняет некоторые ответы на тревожащие исследователей вопросы. В результате назван--ного сопоставления творчество Леонида Андреева неожиданно плавно вливается в органический для него ряд религиозных или, вернее, так называемых религиозных исканий рубежа веков. В то же время авторитет Н. Бердяева как признанного религиозного и даже православного философа оказывается сильно поколебленным, а его творчество выглядит более органичным в ряду писателей, нежели собственно философов. Иными словами, персоналист Бердяев оказывается типичным романтиком. Л. Андреев — типичным персоналистом. 20

Что означало богоискательство русских идеалистов, как не искание потерянного, утраченного Бога? Метафизический бог Бердяева, эротический — Розанова, полуязыческий — Мережковского или мистический — П. Флоренского не свидетельствовали ли о глубочайшем кризисе христианства и православия, почти полностью завершившегося разрыва русской интеллигенции с историческим воплощением православия — русской церковью, что с такой силой было выражено еще Львом Толстым? Этот разрыв и даже тотальное отрицание исторического христианства, формирующаяся философия богочеловечества без живого, страдающего Христа не привели, однако, к проповеди имморализма, как у Ницше, а лишь усилили на русской почве работу внецерковного подвижничества. Разрыв с историческим христианством, заложенный в социальных и мистических исканиях русской интеллигенции XVIII века, достиг своего апогея в веке XIX, и в этом смысле Андреев, как и Бердяев, как и многие другие искатели из поколения 80-90-х годов, был жертвой общего процесса дехристианизации русско-европейского мира.

Ницше, осмелившийся провозгласить: «Бог умер», лишь с мужественным отчаянием завершил то, что в течение долгих лет таилось под спудом, не решаясь выйти на свет. Но он же до известной степени стимулировал взлет религиозных исканий на русской почве. Сама же вера в историческую миссию православия и ощущение богоприсутствия в этом мире были по большей части уже утрачены русской интеллигенцией, а может быть, так никогда и не были ею найдены, в силу ее положения, так точно определенного Н. Бердяевым. «Интеллигенция, — писал он в «Русской идее», — была идеалистическим классом, классом людей целиком увлеченных идеями и готовых во имя своих идей на тюрьму, каторгу и на казнь». 21 Бердяев всегда ощущал свою слиянность с этим классом, оспаривая Г. Флоровского, видевшего в присущих интеллигенции разрыве с почвой, нигилизме и утопизме своеобразный «выход из истории». Характерными чертами этих, по определению Достоевского, «скитальцев петербургского периода русской истории» были «раскол, отщепенство, скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к гря-

 $<sup>^{20}</sup>$  В этом ракурсе совсем не удивительным покажется утверждение М. Волошина, приведенное ранее, о том, что Андреев не был художником, как не покажется несправедливым мнение В. Зеньковского о философской «недостаточности» Бердяева (см.: Зеньковский В. Указ. соч. Т. 2. Ч. 2. С. 81).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Бердяев Н. А. Русская идея // Русская литература. 1990. № 2. С. 97.

дущему», «беспочвенность». 22 Сам Бердяев до конца останется верным заветам русской интеллигенции, ведя ее родословную от Радищева и исключая из ее рядов Пушкина. Раз и навсегда он останется в стане борцов против «органической теории общества во имя индивидуальности человека». 23

Последние могучие попытки остановить сползание в катастрофу, предотвратить «выход из истории» были сделаны Достоевским и Толстым, но это были именно попытки, ибо соблазны, которые они сами стремились преодолеть, оказали на русскую интеллигенцию рубежа веков едва ли не большее влияние, чем положительная часть их учений. Соблазн абсолютной свободы и бунта во имя этой гипертрофированной свободы вынес русскую интеллигенцию не только за пределы русского исторического православия, но и, в качестве глубоко закономерного итога ее скитальческой судьбы, за пределы исторической родины.

Для восстановления духовной биографии Андреева очень важно, что его «скитальчество» началось по-настоящему именно в Петербурге, где в 1891 году он был зачислен студентом на юридический факультет Петербургского университета. Еще в орловские гимназические времена он начинает вести дневник и, что чрезвычайно важно для нас, на протяжении всей жизни будет обращаться к этому роду писательства. Ранние дневники Леонида Андреева с полным правом можно назвать началом его литературной деятельности.

Опубликованные во всем объеме сохранившиеся дневники Андреева дадут богатейший материал для изучения генезиса его творчества. Будущий писатель не просто ведет хронологическую запись тех или иных событий, он задумывает, как свидетельствуют пометы на тетрадях, многотомное произведение, героем которого делает самого себя. И если попытаться определить своеобразие этого дневника, то лучше всего его могло бы выразить бердяевское название: «Самопознание».

В отличие от Леонида Андреева Бердяев, по его собственному признанию, никогда не писал дневников (с. 21). И все же в связи с опытом создания своей философской автобиографии он вспоминает именно жанр дневника. «Если бы я писал дневник, — признается он, — то, вероятно, постоянно записывал бы в него слова: "мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному, по трансцендентному"» (с. 22-23). Характерен для Бердяева открытый отказ от объективности. «Книга эта, — признается он, — откровенно и сознательно эгоцентрическая. Но эгоцентризм, в котором всегда есть что-то отталкивающее, для меня искупается тем, что я самого себя и свою жизненную судьбу делаю предметом философского познания» (с. 22). Именно такую цель ставит перед собой молодой Леонид Андреев, начиная все новые и новые тетрадки своего дневника. Вчерашний гимназист не без доли самоиронии и самолюбования записывает: «Знание ведь такое орудие мысли, которое только тогда и имеет силу, если оно постоянно в ходу. А у меня и без него все вопросы легко решаются. Все на познании собственного духа основываю».25

<sup>22 «</sup>Беспочвенность может быть национально русской чертой», — пишет Бердяев, несомненно учитывая идеи Льва Шестова, высказанные в «Апофеозе беспочвенности» (Там же).
23 Там же. С. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Позднее Андреев признавался, что воспринял только отрицательную часть толстовского учения (см.: *Брусянин В. В.* Леонид Андреев: Жизнь и творчество. М., 1912. С. 53).

 $<sup>^{25}</sup>$  Андреев Леонид. Дневник. Часть II // Литературный архив. Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 267. Запись от 15 апреля 1892 года. Курсив мой. —  $H.~\Gamma$ .

А более чем через полвека Н. Бердяев, подводя жизненные итоги, уже безо всякой иронии записывает: «Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени, как часть моего микрокосма, как мой духовный путь» (с. 22, курсив мой. — H.  $\Gamma$ .). И как бы преувеличенным ни показалось высказанное утверждение, рискнем произнести его вслух: именно в этом — общем для обоих русле — познании через собственный дух всего происходящего и неизбывной тоске по трансцендентному разворачивалось во времени и пространстве творчество обоих мыслителей, не соприкасаясь, однако, друг с другом именно в силу заданной неслиянности и того и другого со своим временем.

«По своей духовной установке, — справедливо замечает В. Зеньковский, — Бердяев был настоящим романтиком, каковым и оставался до конца жизни. У самого Бердяева эта основная романтическая установка как-то закрывалась "экзистенциальными" анализами: впрочем, экзистенциализм едва ли возможен вне романтической духовной установки. Во всяком случае, Бердяев до крайности занят самим собой, своими исканиями, которыми он дорожит; он как-то культивирует в себе дух искания, до крайности занят своими оценками, своими чувствами и переживаниями (...) и в этой невозможности выйти за пределы самого себя, в поразительной скованности его духа границами личных исканий — ключи к его духовной эволюции». 26 Эта характеристика Бердяева в особенности замечательна тем, что она сделана до выхода в свет «Самопознания», в котором Бердяев признал эту установку совершенно открыто.

Подводя последнюю черту под своими духовными исканиями, он писал: «...главное в книге (...) самопознание, познание собственного духа и духовных исканий. Меня интересует не столько характеристика среды, сколько характеристика моих реакций на среду» (с. 25). «Я русский романтик начала XX века», — пишет он в другом месте (с. 27).

Характерно, что именно в силу этой общей установки он счел возможным изложить свою философскую автобиографию не в порядке хронологическом, тем самым как бы отрицая эволюцию собственного пути, а «по темам и проблемам, мучившим меня всю жизнь» (с. 24).

В исследованиях, посвященных Бердяеву, неоднократно отмечалось, что в его произведениях нередко встречаются повторы, он вновь и вновь возвращается к темам, казалось бы уже однажды обсужденным, иногда создается впечатление, что некоторые мотивы становятся как бы навязчивыми идеями. Вряд ли прав был В. Зеньковский, связывая эту особенность с литературной плодовитостью Бердяева. Она была связана с творческим методом писателя-философа, о котором сам же В. Зеньковский сказал убедительнее других. С полным основанием Бердяев мог утверждать, подводя итоги своего долгого философского пути: «Внешне могло быть впечатление, что мои философские взгляды меняются. Но первые двигатели у меня оставались те же» (с. 99).

И для Бердяева, и для Леонида Андреева чрезвычайно характерна склонность к хождению по кругу, ибо границей этого круга является собственная личность. Вот почему выходы в реальность, как правило, заканчивались для них провалами. Как мало кто из русских писателей, Андреев был писателем устойчивых мотивов, большинство которых читаются уже в его ранних дневниках. Лучше всего этот круг мотивов можно было бы выразить названиями глав философской автобиографии Бердяева: «Одиночество. Тоска. Свобода. Бунтарство. Жалость. Сомнения и борения

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 62—63.

духа. Размышления об эросе. Искание смысла жизни. Философские истоки. Обращение к революции и социализму» и т. д.<sup>27</sup>

Вспоминая начальный период своего становления, Бердяев писал, что для него «искание смысла было первичнее искания Бога, искание вечности первичнее искания спасения» (с. 90). В сущности, эти основные доминанты его внутреннего развития сохранились в качестве доминант до конца жизни. «Однажды, — вспоминал он, — на пороге отрочества и юности, я был потрясен мыслью: пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь исканию смысла» (там же). Это был настоящий внутренний переворот. К сожалению, рукопись, в которой Бердяев описал этот внутренний переворот, исчезла после его первого ареста, но смысл этого переворота сохранил для философа свою первоначальную ценность. И смысл этот состоял в том, что первичной была признана реальность духа, а реальность внешнего, объективного мира была раз и навсегда признана вторичной.

Постоянно задававший себе вопрос о «смысле жизни». Андреев прямо заявляет, что только «в вечности» надеется «найти удовлетворение». 28 Еще в гимназические годы он набрасывал в своем дневнике план философского сочинения, озаглавленного им «Проклятые вопросы». 29 К сожалению, это сочинение, как и аналогичное сочинение Бердяева, не дошло до нас. Но нет сомнения, что ознакомление с ним подтвердило бы верность Андреева своим исходным принципам, как подтверждает это ознакомление с сохранившимися ранними дневниками и письмами. Действительно, именно здесь, на страницах ранних дневников, содержатся в зародыше многие темы будущих произведений Леонида Андреева, начиная с таких, как «Ложь», «Стена», «Бездна», «Мысль», «Черные маски», и кончая последними — «Реквиемом», «Собачьим вальсом» и «Дневником Сатаны». Тяготение к резким контрастам, к противоположению «первой» и «второй» действительности, декларируемая субъективность восприятия свидетельствуют о «романтическом» происхождении еще не окрепшего и не вставшего на ноги ниспровергателя устоев, заставляют вспомнить о начальном периоде творчества и значительно колеблют устоявшиеся представления об эволюции его творческого метода. Не случайно и сам Андреев позднее признавался, что «никогда не мог вполне выразить свое отношение к миру в плане реалистического письма».30

Для Андреева понятие реализма было связано прежде всего с формой, потому он нередко употребляет термин «реалистическое письмо». Но главное свое отличие от писателей-реалистов он все же четко осознает. Характерно, что в цитированном выше письме к Амфитеатрову он говорит об «истинном реализме»: «Правда, "Не убий" — вещь характера реалистического, по крайней мере, внешней формой своей. Но ни поворота в сторону истинного реализма, ни отказа моего от прежних мистико-символических исканий она не знаменует. Просто для данного настроения

<sup>27</sup> Вообще любопытны постоянные параллели, встречающиеся в биографиях: раннее пробуждение интереса к философским проблемам, обращение к собственно философскому творчеству, нелюбовь к математике, увлечение живописью и т. д., вплоть до вынужденной эмиграции после Октябрьской революции.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Андреев Леонид. Дневник. Том. II. Ч. І. 3 сентября 1891 — 5 февраля 1892 // Ежегодник РО Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 101. Запись от 26 сентября 1891 года. <sup>29</sup> См. об этом: Zviguilski A. Le journal de jeunesse inédit de Léonid Andréev // Le Journal

intime et ses formes littéraires. Actes du Colloque de septembre 1975. Genève; Paris, 1978. P. 150—151.

 $<sup>^{30}</sup>$  Андреев Леонид. Письмо А. В. Амфитеатрову от 14 октября 1913 г. // Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 540.

моего (не личного) и данной мысли такая форма была единственно соответствующей  $\langle ... \rangle$  внутренне, по существу моему писательски-человеческому — я не реалист». В этой развернутой эстетической декларации важно заметить слова, которые Андреев ставит в скобки и которые, как нам кажется, могут быть правильно поняты лишь с помощью Бердяева. Андреев, как истинный персоналист, объективирует свое настроение, понимаемое им не индивидуалистически, а персоналистически.

«О писательстве я задумался впервые лет семнадцати, — вспоминал Андреев в своей автобиографии. — К этому времени относится очень характерная запись в моем дневнике; в ней с удивительной правильностью, хотя в выражениях и ребяческих, намечен тот литературный путь, которым я шел и иду поныне. Вспомнил о дневнике случайно, когда уже был писателем, с трудом нашел эту страничку — и был поражен точностью и совсем не мальчишеской серьезностью сбывающегося предсказания». 32 Возможно, что писатель вспомнил о той записи из раннего дневника от 1 августа 1891 года, которую он тщательно переписал в свой поздний дневник. Она столь характерна, что необходимо полностью воспроизвести ее. «Итак, я хочу быть известным, хочу приобрести славу, хочу, чтобы мне удивлялись, чтобы преклонялись перед моим умом и талантом. Всего этого очень трудно добиться, но данные у меня есть. Я говорю про ум и про известные убеждения, благодаря которым я могу почитаться истинным сыном своего века. Я хочу написать такую вещь, которая собрала бы воедино и оформила те неясные стремления, те полусознательные мысли и чувства, которые составляют удел настоящего поколения. Я хочу, чтобы в моем сочинении отразилась вся многовековая культура человечества, вся современная социальная, моральная и интеллектуальная его жизнь. Я кочу на основании тысячелетнего опыта человечества, на основании самосознания (курсив мой. —  $H.~\Gamma.$ ), на основании науки показать человеку, что ни он сам, ни жизнь его — ничего не стоят. Я хочу показать, что на свете нет истины, нет счастья, основанного на истине, нет свободы, нет равенства, — нет и не будет. Я хочу показать, что вся жизнь человека (ого!) с начала до конца есть один сплошной бессмысленный самообман, нечто чудовищное, понять которое — значит убить себя. Я хочу показать, как несчастен человек, как до смешного глупо его устройство, как смешны и жалки его стремления к истине, к идеалу, к счастью. Я хочу показать всю несостоятельность тех фикций, которыми человечество до сих пор поддерживало себя: Бога (sic), нравственность, загробная жизнь, бессмертие души, общечеловеческое счастье, и равенство, и свободу, что только в смерти истина и справедливость, что вечно одно только "не быть" и все в мире сводится к одному, и это одно, вечное, неизбежное есть смерть. Я хочу быть апостолом самоуничтожения. Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувство, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтобы человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтобы она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтобы она сводила людей с ума, чтобы они ненавидели, проклинали меня, но все-таки читали... и убивали себя. Мне хочется потешиться над человечеством, хочется вволю посмеяться над его глупостью, эгоизмом, над его легковерием. И когда хоть один человек, прочитавший мою книгу, убьет себя — я сочту себя удовлетворенным и могу тогда сам умереть спокойно. Я буду знать тогда, что не умрет семя,

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Там же.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Андреев Леонид. Автобиографическая справка // Андреев Леонид. Рассказы. Сатирические пьесы. Фельетоны. М., 1988. С. 480.

<sup>4</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

брошенное мною, потому что почвой его служит то, что никогда не умирает, — человеческая глупость».  $^{33}$ 

Было бы натяжкой увидеть в этой декларации юношеского неистового романтизма полное совпадение с умонастроением Бердяева, но некоторые посылки будущего Леонида Андреева не могут не бросаться в глаза. «Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, — писал Бердяев в предисловии к «Самопознанию», — все события моего времени, как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной (...) с другой стороны, я мучительно переживаю чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем» (с. 22). Интересно и то, что переписывая странички своего раннего дневника в апреле 1918 года, Леонид Андреев совершенно серьезно подтверждает не только серьезность своего юношеского замысла. но и свидетельствует о его исполнении: «Мне тогда не было полных 20 лет, я не писал еще никаких сочинений, кроме гимназических, и все это было бы простой бравадой со стороны провинциального юнца, начитавшегося Гартмана, если бы... не дальнейшее. Как мог мальчишка так крепко сложиться, так ясно, хоть и наивно, начертать свой путь? Страшное некогда имя Леонида Андреева было осуществлением этой ребяческой мечты» (там же, с. 63).

В определенном смысле предсказание Андреева сбылось. Его разрушительный заряд если и не взорвал мир, то по крайней мере был приведен в действие в его собственном творчестве. Взрывчатое вещество, о котором мечтал доктор Керженцев («Мысль»), вновь напоминает о себе в последнем, незавершенном романе «Дневник Сатаны», написанном, кстати, в жанре дневника, к которому будущий писатель обратился еще в юные годы. Последние выводы и Бердяева и Андреева дальше всего отстоят от примирения с действительностью. Бунт стал своеобразной философией жизни, хотя оба понимали, что «бунтом жить нельзя».

«Я знаю, что нельзя жить бунтом, — писал Бердяев в итоговой книге и все же утверждал: — но сейчас я остро сознаю, что, в сущности, сочувствую всем великим бунтам истории: бунту Лютера, бунту разума просвещения против авторитета, бунту "природы" у Руссо, бунту французской революции, бунту идеализма против власти объекта, бунту Маркса против капитализма, бунту Белинского против мирового духа и мировой гармонии, анархическому бунту Бакунина, бунту Льва Толстого против истории и цивилизации, бунту Ницше против разума и морали, бунту Ибсена против общества, и самое христианство я понимаю как бунт против мира и его закона» (с. 72). В этом пространном перечислении всевозможных «бунтов» легко заметить характерную для Бердяева тенденцию к гипертрофии одной стороны явления, дополненного в реальности утверждающим, позитивным пафосом. Ведь любой бунт возникал не только против чего-то, но и во имя чего-то. Вот это-то «во имя» меньше всего интересовало Бердяева и Андреева, который в одном из писем к Георгию Чулкову отказывался даже от анархической программы: «...я всегда хотел, и в особенности хочу теперь, стоять вне каких бы то ни было программ (...) И как только я назвал себя анархистом, мне сейчас же захотелось стать демократом, государственником, всем, кроме анархиста». 34 «Сегодня я мистико-анархист — ладно; а послезавтра я, м(ожет)

<sup>34</sup> Письма Леонида Андреева / Предисл. и послесл. Георгия Чулкова. Л., 1924. С. 14—15.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Андреев Леонид. S. O. S. C. 62—63. Поздние дневники Андреева, изданные Ричардом Дэвисом и Беном Хелманом, заслуживают особого разговора, но предварительно можно сказать, что они подтверждают изложенные в данной статье наблюдения.

 $6\langle \text{ыть} \rangle$ , пойду к Иверской с молебном, а оттуда на пирог к частному приставу». 35

Разумеется, не следует понимать эти и подобные им высказывания слишком буквально, но все же большая доля истинного нигилизма, анархизма и всеразрушающего бунта придает творчеству Леонида Андреева свойства, которые отличают его голос в современном хоре. «Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное "нет" — сменится ли оно хоть каким-нибудь "да"? И правда ли, что бунтом жить нельзя?» 36

Конечно, тот заряд бунта, который несли в себе Андреев и Бердяев, не был обусловлен исключительно свойствами их индивидуальной приролы. В эпоху поколебленных авторитетов, кризиса нравственных устоев, так или иначе выраженных в произведениях тогдашних властителей дум — Толстого и Достоевского, Успенского и Михайловского, Чехова и Гаршина, в эпоху охвативших мир сомнений во всесилии человеческого разума, в возможности построения царства божия на земле, трагического ощущения диссонансов бытия, разочарования в могуществе науки и предчувствия таящихся в ее недрах страшных для человечества открытий, в эпоху кризиса христианской этики голоса Андреева и Бердяева не были одинокими, они только сильнее, чем многие другие, выразили ощущение одиночества человеческой личности на рубеже двух веков, один из которых бредил цивилизацией и прогрессом, а другой вынужден был в них усомниться. Этими сомнениями были заражены и Герцен, и Толстой, и Достоевский, и Писарев, и Михайловский, и многие другие русские мыслители. Этот, выражаясь словами Бердяева, бунт против истории глубоко вошел в сознание русских персоналистов, обеспокоенных судьбой маленького человека в надвигающемся царстве железной необходимости. Под знаком грядущей деперсонализации личности зародился протест, несущий в себе большой отрицательный заряд.

«Нигилизм, — писал Бердяев в «Русской идее», — обвиняли в отрицании морали, в аморализме. В действительности в русском аморализме (...) есть сильный моральный пафос, пафос негодования против царящего в мире зла и неправды, пафос, устремленный к лучшей жизни, в которой будет больше правды: в нигилизме сказался русский максимализм». Перипетии русского нигилизма были глубоко прочувствованы и описаны Бердяевым, но главным в его творчестве было все же не объективное описание, а субъективное переживание.

Принадлежащий, как и Леонид Андреев, к поколению 80-х годов, Бердяев уже не мог пребывать в эйфории позитивизма 60-х годов с его преклонением перед естественными науками. Бюхнер и Молешотт были пройдены ими обоими гораздо быстрее, чем шестидесятниками. Не могли они ощутить и духовного подъема эпохи «хождения в народ», застав народничество в глубоком кризисе. Встречаются в раннем дневнике Андреева скептические высказывания о зарождающихся марксистских кружках, в которых он ощущает себя случайным гостем. И если Бердяев переживает даже увлечение марксизмом, то довольно скоро он навсегда отходит от этого движения. И Бердяев и Андреев не принимают официального христианства, не переживают и увлечения толстовской проповедью, хотя она и оказала на обоих глубокое воздействие. И все же

<sup>35</sup> Там же. С. 11.

<sup>36</sup> Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. С. 158.

<sup>37</sup> Бердяев Н. А. Русская идея // Русская литература. 1990. № 3. С. 91.

главной для них становится моральная тема, с которой они оба войдут в историю русской мысли.

Эта моральная доминанта была связана, как уже говорилось, с кризисом исторического христианства, когда вера уступила место неверию и сотворению новых кумиров. Одним из таких кумиров в XIX столетии становится наука с присущей ей методологией мышления и новым категориальным аппаратом. Выделяя из них в качестве важнейших категории «свободы» и «прогресса», современный ученый пишет: «Представление европейца Средневековья о человеке и обществе базировалось прежде всего на категориях справедливости, веры, чести, верности. Но "свободолюбие" Степана Разина, очевидно, имеет совершенно иную природу, чем идея свободы якобинцев или Т. Джефферсона. Кстати, вся история России показывает, что "свободолюбие Разина" всегда имело здесь глубокие корни (...) С другой стороны, категория свободы, порожденная промышленной цивилизацией, не только не отрицает, но даже предполагает ограничение или подавление "инстинктивной" свободы...» 38

Тесно связанной с категорией свободы оказывается зародившаяся в XVIII столетии и ставшая господствующей в XIX категория прогресса. «Для ее возникновения необходимо было прежде всего коренное изменение понятия времени, переход от циклического времени аграрной цивилизации к "стреле времени" индустриального общества». Происходит как бы мифологизация понятий «свобода», «прогресс», «цивилизация». Этот глобальный сдвиг сознания породил, разумеется, не только адептов, но и вызвал сильнейший протест, в русле которого возникает явление, получившее позднее название «персонализма».

Интуитивно в персонализме присутствует ощущение смертельной опасности, заложенной в эволюции понятий «свобода» и «прогресс», посредством которых утверждается и оправдывается приоритет силы над правдой, естественного отбора над естественным правом. В этой эволюции потенциально содержится андреевская формула «голого человека на голой земле». Демифологизация этих категорий «выводит на передний план понятие ответственности». Именно это становится определяющим фактором в творческих исканиях Достоевского. 41

Но Достоевский принципиально решил вопросы, поставленные историческим развитием цивилизации. Проблема состоит в другом. Приняло ли человечество ответы, найденные Достоевским? И здесь мы с определенностью можем сказать, что ответы Достоевского, хотя и были выслушаны, но услышаны не были. При всей глубокой связи и зависимости Бердяева и Андреева от идей Достоевского, следует говорить скорее о близости их мироощущений не к самому Достоевскому, а к некоторым из его героев, прежде всего, конечно, к Ивану Карамазову. «Я всегда себя чувствовал очень связанным с героями романов Достоевского и Л. Толстого, — признавался Бердяев, — с Иваном Карамазовым, Версиловым, Ставрогиным, князем Андреем и дальше с тем типом, который

<sup>38</sup> Кара-Мурза С. Г. Наука и кризис цивилизации // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Там же. С. 9.

<sup>40</sup> Там же.

<sup>41 «</sup>Как бы мы ни избегали об этом говорить, — пишет Кара-Мурза, — нельзя не видеть, что сохранить стиль жизни и старую траекторию прогресса можно, лишь полностью порвав с системой норм христианской морали, на которой и возникла наша цивилизация. Достоевский поставил этот вопрос в Великом Инквизиторе. Сейчас мы пришли к тому, чего боялся Иван Карамазов. Чтобы сохранить общество потребления, мы должны убить Христа. Человек, имеющий мужество доходить до конечных вопросов, не может не видеть уже происшедшей трансформации» (Там же. С. 14).

Достоевский назвал "скитальцем земли русской", с Чацким, Евгением Онегиным, Печориным и другими. В этом, может быть, была моя самая глубокая связь с Россией, с русской судьбой» (с. 50). Как верно заметил Г. Чулков, «Андреев (...) был одним из многих русских скитальцев (...) Но он был сыном своего времени, он был весь в предчувствии катастрофы». Аг Характерно, что сам Андреев неоднократно подчеркивал свою оппозицию Достоевскому. Даже в эпоху наибольшего «сближения» он, по сути дела, декларирует то, от чего Достоевский предлагал отказаться. «...Запад отравил твои глаза приемами своей борьбы, — писал он Горькому в марте 1912 года, — и ты перестал понимать, что наши приемы борьбы совсем другие и что злой гений наш Достоевский есть именно бунтарь, учитель активности и тебя научивший бунту. Лощеное мещанство Запада, как и всякое мещанство, распадается в прах перед лицом Достоевского, а это и есть самая подлинная и самая постоянная революция». 44

Разница исторических обстоятельств, в которых творили Достоевский и Андреев, состояла в том, что предчувствия Достоевского стали реальностью в XX веке. Черт, мучавший Достоевского, влез в Ивана Карамазова и облегчил душу его создателя. Андреев же находит на земле кое-кого пострашнее черта. Его Сатана уже не искуситель, он сам — жертва («Анатэма», «Дневник Сатаны»). Он приходит на поле жизни уже «после битвы» и находит результаты «разумной» человеческой деятельности на пути к прогрессу и цивилизации. Зло на земле разрослось до такой степени, что не Сатана искушает слабого человека, а человек искушает доверчивого Сатану. Ни Богу, ни Сатане уже нечего делать на этой обреченной земле.

Острое ощущение богооставленности этого мира Андреев и Бердяев вынесли в себе, и конечные выводы, к которым они пришли, казалось, не оставляли надежды. «В этом мире необходимости, разобщенности и порабощенности, в этом падшем мире, не освободившемся от власти рока, царствует не Бог, а князь мира сего», — заключает Бердяев (с. 293).

Подводя итог философских исканий Н. Бердяева, В. Зеньковский свел его по сути только к постановке моральных проблем. «Дух свободы, который его одушевлял, толкал его к анархизму в идейной сфере; моральный пафос, искренний и глубокий, вырождался в "этику творчества", равнодушию к реальной действительности, персонализм постепенно превращался в солипсизм...»<sup>45</sup> Склонность к анархизму, которую не раз подчеркивали в себе и Андреев и Бердяев, приверженность к перманентному бунту, носителями которого они себя ощущали, острая постановка моральных проблем, подозрение по отношению к науке и прогрессу, недоверие к социальным теориям переустройства общества на разумных началах роднили обоих мыслителей и определили за ними место в истории русской философской и общественной мысли. И если присущий обоим персонализм мышления и мироощущения действительно заводил в тупик солипсизма, то он же и спасал от тенденции к голому индивидуализму, сопряженному со скрытым эвдемонизмом новейших псевдорелигиозных исканий. Живя в эпоху поколебленных авторитетов, Андреев и Бердяев, оба прошедшие сложный и мучительный путь духовного развития, му-

<sup>42</sup> Книга о Леониде Андрееве. С. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> См. об этом: *Беззубов В. И.* Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 80—113.

<sup>44</sup> Лит. наследство. Т. 72. С. 333-334.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 80.

жественно отказываются от поисков личного счастья и спасения, признавая изначальную трагичность человека в мире, которому он должен противостоять.

Русские мыслители не приняли логики Великого Инквизитора, предпочтя трагедию свободы сытому благополучию, бунт — покою. «Нет ничего более жалкого, чем утешение, связанное с прогрессом человечества и блаженством грядущих поколений, — писал Бердяев. — Утешения мировой гармонии, которые предлагают личности, всегда вызывали у меня возмущение» (с. 283). «И почему-то мне кажется, что музыка будущего будет не гармонией, — писал Андреев, — а роскошнейшей дисгармонией». 46

Разочаровавшиеся во всех прошлых и современных философских, историософских, научных и псевдонаучных системах, поставив под сомнение казавшиеся незыблемыми основы человеческого бытия, на самом краю разверзающейся бездны «русские мальчики» оставили за человеком право на духовное самоутверждение. «Я (...) верил в высшую природу человека», — сказал Бердяев (с. 161). «Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному». Может быть, только с этой точки зрения можно понять загадочный смысл рассказа Андреева «Полет» (1911), который он сам считал ключевым в своем творчестве. Герой этого рассказа — летчик-испытатель Юрий Михайлович Пушкарев, счастливый, любящий и любимый человек, поднимает свою машину в небо и там, на большой высоте, принимает решение никогда не возвращаться на землю.

Эта вера в духовный взлет человека, в его способность летать и позволила как Н. Бердяеву, так и Леониду Андрееву, отринув все учения о спасении человека от царящего в мире зла, признать трагизм существования изначальной его сущностью.

<sup>46</sup> Лит. наследство. Т. 72. С. 196.

#### ПРОБЛЕМА ЭКСПРЕССИОНИЗМА В РОССИИ: АНДРЕЕВ И МАЯКОВСКИЙ

Сущность художественного метода Леонида Андреева, можно утверждать, до сих пор остается невыясненной. Собственное мнение писателя о его межеумочном положении среди «благороднорожденных декадентов» и «наследственных реалистов» остроумно, но недостаточно. Однако и научное литературоведение дальше этого не пошло, как правило, ограничиваясь суждениями о «противоборстве» и «синтезе» в творчестве Андреева этих «двух противостоящих тенденций эпохи». С другой стороны, почти общим местом стали сравнения Андреева с немецкими экспрессионистами. В свое время была даже предпринята попытка типологического исследования творчества Андреева, а также раннего Маяковского в аспекте экспрессионизма — попытка, которая свелась, к сожалению, только к сопоставлению их эстетических взглядов и в целом может быть оценена лишь как постановка проблемы.

Очевидно, ограниченность подобных сближений, а также и возражения против них связаны прежде всего с неопределенностью самого понятия «экспрессионизм». В настоящее время во всех источниках оно неизменно сводится к традиционному общему наименованию «весьма разнородных и противоречивых явлений в истории главным образом немецкого искусства». Но в таком случае «экспрессионизм» не может означать ничего кроме групповой принадлежности, и данное понятие попросту теряется среди многочисленных самоназваний артистических группировок 10-х годов.

Тем не менее давно назрела необходимость выделить экспрессионизм из этого ряда. Отмечается несоизмеримость содержания его и других течений модернизма, а также глубокое новаторство экспрессионизма, его вклад в мировое художественное развитие. Впечатляет широта и значительность тех явлений, которые различные исследователи так или иначе с ним связывают. Что характерно, при таком подходе германский экспрессионизм начала века, давший сам термин, как раз не является наиболее представительным и типичным, тогда как некоторые крупнейшие художники и литераторы рубежа веков — от Ван Гога до Кафки, организационно к «экспрессионизму» не принадлежавшие, признаются подлинными экспрессионистами.

Таким образом, проблема экспрессионизма — это проблема сущности, стоящей за явлениями, проблема метода. Рассматривая экспрессионизм

<sup>1</sup> Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Соколов А. Н. История русской литературы конца XIX—начала XX в. М., 1984. С. 203.

<sup>3</sup> См.: Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 507.

 $<sup>^4</sup>$  Швецова Л. К. Творческие принципы и взгляды, близкие к экспрессионизму // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX—начала XX века. М., 1975.

<sup>5</sup> Экспрессионизм. Сб. статей. М., 1966. С. 5.

<sup>6</sup> См., например: Недошивин Г. Проблема экспрессионизма // Там же. С. 27.

как особый и своеобразный художественный метод, следует связать его происхождение с новым типом сознания, которое возникает как эпохальное на рубеже XIX—XX веков. Это трагическое сознание, отличающееся крайним иррационализмом и крайней эмоциональностью, было порождено дегуманизацией общества — и, как следствие, крушением гуманистической системы ценностей, которая на протяжении нескольких столетий являлась наиболее общей основой европейской культуры, а также и основой мировоззрения отдельного культурного человека.

Здесь важно отметить, что романтическое сознание, возникшее впервые за сто лет до этого в похожей ситуации кризиса, было далеко не столь радикальным в своей трагичности. Оно не подвергало сомнению основы «человеческого» и все же давало личности возможность некоторого идеала, т. е. смысла жизни. По существу, противоположность между рационализмом и романтизмом относительна, это противоречие в пределах гуманистической идеологии, противоречие ее развития. Новейшее трагическое сознание оказывается за пределами гуманизма и, следовательно, за пределами необходимой для человека системы ценностей. Но крушение системы ценностей субъективно приводит к развалу всей системы значений, к тотальному обессмысливанию всего и вся, к состоянию перманентной психологической катастрофы. Отсюда и предельный иррационализм, и предельная эмоциональность этого сознания. В сущности, оно даже не может быть признано мировоззрением, а представляет собой чистое переживание, длящийся «крик» — переживание окончательной, всеобъемлющей утраты и абсолютного одиночества.

Впоследствии это сознание частично нашло воплощение в философии как экзистенциализм; но философия сама по себе есть уже рефлексия и некоторая система понятий, т. е. в данном случае неизбежны опосредование и подмена. Подобное сознание по определению не может быть объективировано теоретически, не став в корне чем-то иным; единственно адекватно оно выражается в поведении человека (так называемое девиантное, или отклоняющееся, поведение) и — особым образом — в искусстве. Этим искусством и стал экспрессионизм. Экспрессионизмом, очевидно, следует называть новейшее трагическое сознание, обозначившееся как явление искусства — поскольку сам термин должен относиться к некоторой положительной определенности.

Но каким образом это принципиально деструктивное, разрушительное сознание может породить что бы то ни было конструктивное? Поскольку в сознании экспрессиониста нет и не может быть ничего кроме настроений, эмоций, аффектов, то «переживание» художника и становится единственным содержанием экспрессионистического произведения. Эмоциональное содержание так или иначе свойственно любому произведению искусства, но, как правило, оно мотивировано темой, опосредствовано сюжетом, отношениями характеров и обстоятельств и т. д. и в этих отношениях находит свое обоснование — подобно тому как психологически эмоции не играют самодовлеющей роли, а являются сигналом, предваряющим рациональный контроль и оценку. Но иррациональное сознание экспрессиониста не принимает действительность как систему значений, не понимает или отказывается понимать объективные связи и отношения, и поэтому его переживание оказывается для него единствен-

 $<sup>^7</sup>$  См.: Смирнов В. В. Генезис художественного метода раннего Маяковского. Автореф. канд. дисс. Л., 1985. С. 5—9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. С. 197—200.

ной несомненной истиной, самодовлеющей данностью, т. е., в конечном счете, именно объективным свойством «ужасной» действительности. Вследствие этого в произведении экспрессионизма настроения, эмоции, аффекты художника обретают надличное существование в самом предмете изображения, «опредмечиваются» в нем. Цель экспрессиониста, по удачному сравнению современника, «как бы воплощение сна, кошмарного или райского, или еще какого-нибудь».9

В истории искусства и литературы моменты подобного стиля, который обычно обозначают малоудачным термином «гротеск», возникали и ранее — например, в творчестве Босха и Гойи, Гофмана и Гоголя. Но настоящие возможности для воплощения такого содержания в адекватную форму были открыты в новое время импрессионизмом в живописи. Именно импрессионизм утвердил в конце концов в общем мнении идею того, что художник имеет право на волевое и волюнтаристское отношение к предмету. На практике этот принцип был чреват самыми разнообразными последствиями — от беспредметного декоративизма кубистов, абстракционистов, сюрреалистов и т. п. до простого шарлатанства и мистификаций. Но для экспрессиониста свобода художника вовсе не есть произвол, он не отрывается от действительности, замыкаясь в надуманных абстракциях, но «выуживает» картину, по словам Ван Гога, «из самой природы». 10 Т. е. его метод — это не размывание предмета в сиюминутности, как в импрессионизме, и не полное его забвение, как в абстракционизме и т. п., а направленное «искажение», деформация предмета с тем, чтобы придать ему повышенную выразительность и «заразительность». Экспрессионизм можно определить как пересоздание действительности переживанием художника. Таким образом, экспрессионизм — это нечто существенно иное, чем другие течения модернизма. Категориальное его отличие от них заключается в том, что произведение экспрессионизма вновь обретает предметную содержательность, а стало быть, и коммуникативность, но крайне специфическую: это не «сообщение», а «заражение». 11 Произведение подлинного экспрессионизма «заражает», захватывает зрителя или читателя всей мощью воплощенного в нем настроения, заставляет сопереживать, не оставляя места логике и здравому смыслу.

Очевидно, что по самой своей сути экспрессионизм не может быть «программой» или «школой». Становление такого сознания в каждом отдельном случае — глубоко личный процесс и результат уникального трагического опыта. Поэтому важнейшим аспектом исследования здесь являются субъективные обстоятельства, особенности данной личности и судьбы.

Что касается Л. Андреева и В. Маяковского — наиболее вероятных представителей русского экспрессионизма, — то при всем их внешнем несходстве и чуждости друг другу можно усмотреть некоторые общие черты. Прежде всего это самоощущение «изгоя» и «отщепенца», или, на языке психологии, сильная внутренняя маргинальность. У Маяковского она проявилась и вовне, взятой на себя ролью разрушителя, «площадного сутенера и карточного шулера». 12 Но и Андреев, несравненно более пристойный и солидный, от юности носил в себе нечто подобное, собираясь «разрушить» мораль, любовь, религию и «закончить свою жизнь всераз-

<sup>9</sup> Луначарский А. В. Соч.: В 8 т. М., 1965. Т. 5. С. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Цит. по: *Ревалд Дж*. Постимпрессионизм. М.; Л., 1962. С. 134.

<sup>11</sup> Выготский Л. С. Мышление и речь // Соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 2. С. 18.

 $<sup>^{12}</sup>$  Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. І. С. 187. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

рушением», <sup>13</sup> и даже в пору наибольшего своего благополучия испытывал неприкаянность и чувство постороннего этой жизни. Показательны мотивы, по которым он задумал свой знаменитый дом на Черной речке: «...сесть на какой-то границе, в нейтральной, интернациональной и безбытной зоне... Сесть не только вне классов, вне быта, но и вне жизни, чтобы отсюда, как мальчишка через чужой забор, бросать в нее камнями». <sup>14</sup>

В Маяковском это объясняется прежде всего изначальной психологической чуждостью России. Основы его личности были заложены счастливейшим кавказским детством, и конец этой поры со смертью отца он навсегда воспринял как «изгнание из рая» (ср. «Владикавказ — Тифлис», VI, 71—72). Переезд в Москву и столкновение, так сказать, с конкретно-исторической действительностью стали для него сильнейшим потрясением, и он уже никогда не смог принять «эту страну» как свою: «Я не твой, снеговая уродина!..» («России», I, 128).

Андреев вроде бы коренной русак, орловский. Однако «улица Пушкарная», среда его детства, была типично мещанской, сильно люмпенизированной, и семья по существу не имела корней, не была связана с каким-либо традиционным укладом. Андреев никогда не мог преодолеть неукорененность, какую-то свою неорганичность русской жизни — чего стоит, опять же, этот дом, который он построил «по собственным рисункам», стилизуя свою жизнь под «Жизнь Человека»: нечто среднее между дачей и замком, дом, инженерно несостоятельный и неудобный в быту. 15

Есть и еще нечто сходное глубинно. Оба за внешней мужественностью скрывали безволие и склонность к меланхолии и депрессии. Симптоматичны суицидные попытки Андреева, а также его пресловутое пьянство.

Это, что называется, факторы психической конституции, происхождения и воспитания.

Дополнительным травматическим фактором для обоих стала, как ни странно, связь с марксизмом и революционной общественностью. Казалось бы, должно быть наоборот: не вдаваясь в идейную сторону, психологически участие в общем деле должно было дать внутреннюю защищенность, уверенность, приобщить к некоему коллективному смыслу жизни — как, например, в случае с Горьким.

Не так с Андреевым и Маяковским. Оба они втянулись в революционную деятельность довольно механически, в результате стечения обстоятельств. Для Маяковского это был «карнавально» пережитый на Кавказе 1905 год, а затем общение со студентами-грузинами, квартирантами его матери. Для Андреева — тоже влияние среды, в особенности демократической газеты «Курьер», и вообще его, по замечанию Вересаева, «московская пассивность... заставлявшая его принимать жизнь так, как она сложилась». Можно утверждать, что ни у того, ни у другого революционная позиция не была сознательным выбором, что и обнаружилось во время тюремного заключения. Оба они удивительно сходным образом пережили арест и заключение — для них это оказалось испытанием непредвиденным и непосильным, 17 и оба после этого отходят от партийной

<sup>13</sup> Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912. С. 55.

<sup>14</sup> Андреев В. Л. Детство. М., 1966. С. 212-213.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Там же. С. 33—36, 51, 216.

<sup>16</sup> Вересаев В. В. Соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 3. С. 386.

 $<sup>^{17}</sup>$  См. прошение Маяковского об освобождении: Лит. наследство. 1958. Т. 65. С. 528, а также выдержки из дневника Андреева: Андреев В. Л. Указ. соч. С. 8—12.

работы. Но, опять же, оба не смогли быть последовательными до конца и принять на себя ответственность, т. е. признать себя «ренегатами», а потому и далее, вопреки реальности своего бытия, держатся за «революционную» фразеологию. Фактически же и тот и другой оказались в состоянии изоляции и одиночества.

Наконец, наиболее личные, интимные обстоятельства. О Маяковском в общем известно, что он с юности был крайне несчастлив в любви. Об Андрееве можно утверждать, что окончательно его надломила смерть горячо любимой жены в 1906 году.

Бесспорно, что общее настроение творчества и Андреева, и Маяковского глубоко трагично. Но, разумеется, одного этого недостаточно для заключений об экспрессионизме, необходим анализ поэтики.

Становление экспрессионизма в первых стихотворениях Маяковского просматривается относительно легко. С первого взгляда эти стихотворения поражают избыточной, чрезмерной метафоричностью. Некоторые метафоры можно прочитать как пластические, «живописные» образы, но они немногочисленны и тонут в массе совершенно произвольных, непонятных метафор. Ни в одном из стихотворений не выдерживается целое «живописного этюда» и вообще какое бы то ни было стилевое и смысловое единство. Так что не приходится и говорить о целостном произведении, а только о некоторой сумме «самоценных», «виньеточных» образов. Таковы «Ночь», «Утро», «Уличное», «Из улицы в улицу» и след. (I, 33—43).

Обычно к этому и сводится все исследование первых стихотворений Маяковского — к констатации самодовлеющей, бессодержательной метафоричности, после чего проблема снимается ссылкой на «отрицательное влияние футуризма». Между тем эта метафоричность сама по себе и есть содержание данных стихотворений. В контексте дальнейшего творчества Маяковского их следует определить как упражнения в метафоризации, предназначенные для раскрепощения ассоциативного мышления и, в конечном счете, для овладения новым и своеобразным способом метафорического пересоздания действительности — а именно экспрессионистским. С этой точки зрения возможно провести в этом «хаосе» метафор определенную стратификацию и выделить, по крайней мере, три уровня метафорических образов, соответственно трем этапам становления.

Развитие русской поэзии постсимволизма во многом аналогично развитию живописи того времени. Так, первой ее тенденцией явился импрессионизм — стремление к предельно конкретной передаче индивидуального впечатления или переживания. В поэзии основным средством этого стала метафора, что привело к ее количественному и качественному расцвету, к возможности самых смелых уподоблений; например, у Пастернака: «Точно Лаокоон, будет дым на трескучем морозе», 18 у Есенина: «Выткался на озере алый цвет зари» 19 и т. п. Импрессионистскими являются и «живописные» образы ранних стихотворений Маяковского: «Багровый и белый отброшен и скомкан...» (I, 33) — это первый уровень его метафоризма.

Но подобно тому как техника импрессионизма в живописи привела к высвобождению элементов формы (линии, цвета, фактуры и т. д), которые были осознаны как самостоятельное содержание кубизмом, абстракционизмом и другими течениями «авангарда» — так и импрессионизм поэтический привел в итоге к «эмансипации» метафоры как приема: впервые

<sup>18</sup> Пастернак Б. Л. Соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Есенин С. А. Соч.: В 6 т. М., 1977. Т. 1. С. 73.

в истории русской поэзии приобретает самоценность категориальное ее свойство связывать воедино самые разнородные значения, уже не мотивируя это каким-либо сходством или единством впечатления. Примером такой практики и явился русский литературный футуризм, провозгласивший «освобождение слова от грязного клейма значения» и принцип «фактуры слова», частным случаем которого стала своеобразная беспредметная метафора: например, «Зори раскинут кумач, Зорко пылает палач...» — у Д. Бурлюка;<sup>20</sup> «Если станет жалко мне вазы вашей муки, Сбитой каблуками облачного танца...» — у Маяковского (I, 47). Содержание здесь — семантическая «фактура», ощущение самого столкновения чужеродных значений. Таков второй уровень метафоризма раннего Маяковского, собственно футуристический или, точнее, абстрактный, преобладающий в его первых стихах.

Маяковский, однако, на этом не остановился, и в контексте его дальнейшего творчества «фактура слова» оказывается не целью, а средством. В подобных метафорах возможны спонтанные обертоны, дополнительные смыслы; как правило, поэт их не развивает, бросает образ ради нового образа, поглощенный нагнетанием «фактуры». Но иногда в таких случаях ему открывается возможность создания принципиально новых метафор, перерастающих своим содержанием и внешнюю изобразительность, и простую экстравагантность. Рождение такого образа мы видим в финале стихотворения «Из улицы в улицу»: «Ветер колючий трубе вырывает Дымчатой шерсти клок, Лысый фонарь сладострастно снимает С улицы черный чулок» (І, 39). Здесь есть моменты и наглядности, и фактуры, но они второстепенны — образ создается прежде всего переживанием поэта, которое первично по отношению к предметному мотиву. Это мрачное, тяжелое переживание вторгается в предмет и деформирует, пересоздает его, т. е. опредмечивается в нем. Отсюда можно заключить, что метафора такого рода является элементарным поэтическим эквивалентом экспрессионизма.

Экспрессионистские метафоры — это третий уровень метафоризма первых стихотворений Маяковского, и наиболее перспективный. Вначале они проявляются только как отдельные детали, фрагментарно, но именно на их основе происходит затем становление стилевого единства. Впервые у Маяковского полностью построены на опредмечивании единого, целостного настроения стихотворения «Порт» и «Адище города», которые, впрочем, сюжетно остаются еще рационалистичным перечислением отдельных деталей. Об экспрессионизме Маяковского как художественной системе со специфическим героем, конфликтом, сюжетом можно говорить начиная с цикла «Я»: «По мостовой моей души изъезженной...» (I, 45) — героя потрясает, «что перекрестком распяты городовые», в этом и заключается конфликт; «рыданию» героя необходимо излиться, и для этого достаточно неуловимого сходства перекрестка с распятием, т. е. происходит тотальный, характерно «сновиденческий» сдвиг всей семантики.

Примерно через год после начала, к середине 1913 года, экспрессионизм как развившийся метод уже полностью утверждается в творчестве Маяковского.

Экспрессионизм в раннем творчестве Андреева далеко не столь очевиден. Он начинает как автор сугубо реалистических рассказов, а, например, «Стена», в которой некоторые усматривают повышенную «экспрессивность», является традиционной аллегорией, на самом деле очень рассу-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Требник троих. М., 1913. С. 71.

дочной. Заданность и предсказуемость смысла в этом жанре резко снижают его эмоциональный заряд; аллегория побуждает принять к сведению ее «мораль», но оставляет читателя холодным.

С большим основанием можно усмотреть экспрессионизм в «Жизни Василия Фивейского». В сюжетно-композиционном плане это, опять же, традиционная хроника, даже с элементами реалистического быто- и нравоописания. Интересны здесь, во-первых, общая идея и, во-вторых, некоторые черты поэтики. Современная Андрееву критика спорила об одном из двух: о религиозном или атеистическом содержании рассказа, склоняясь ко второму; но ближе всех к истине оказался, вероятно, Д. С. Мережковский, который отказал автору и в компетентном атеизме и утверждал, что истинная беда о. Василия в том, что он «глуп»<sup>21</sup> (тонко намекая и на автора). Теоретически это означает некую третью возможность.

Вопрос о религиозности Андреева, отдельный и важный сам по себе, тесно связан с проблемой его экспрессионизма. В отношении к христианству, может быть, сильнее всего сказалось его мещанское происхождение и воспитание, в этом он типичный представитель так называемой «семинарской культуры»; достаточно вспомнить слова, обращенные к Горькому по поводу «Иуды Искариота»: «Он, брат, дерзкий и умный человек, Иуда... Убить Бога, унизить его позорной смертью — это, брат, не пустячок!» 22 «Легкость в мыслях» поистине хлестаковская. Нельзя, однако, это списывать только на невежество и нахальство. Несомненно, Андреев обладал хотя и не христианским, но сильным и непосредственным религиозным чувством, пусть весьма специфическим. Учение о «воле» Шопенгауэра, который был первым и главным наставником Андреева в метафизике, — это по существу религия «безголового Бога», или «сумасшедшего Бога», предваряющая одну из основных идей экзистенциализма: «Бог умер» (вариант: «Бог сошел с ума»). Идея «Жизни Василия Фивейского» — это и не спокойный позитивистский атеизм, и не старое доброе романтическое богоборчество, это именно ужас перед «безумным Богом», характерно экспрессионистская истерика духа перед лицом некой грозной и безжалостной космической силы. Отметим для сравнения у Маяковского: «А с неба на вой человечьей орды глядит обезумевший бог» («Владимир Маяковский», I, 156). В связи с этим надо сказать, что поскольку Бог не может быть «безумным», следовательно, речь идет о ком-то другом. Безусловно, экспрессионист, будучи на самом деле нечувствителен к Богу, остро чувствует присутствие в мире дьявола. Похоже, что именно в этом объективно и заключается идея «Василия Фивейского» — как впоследствии и «Красного смеха», и «Жизни Человека». С православно-церковной точки зрения сюжет «Василия Фивейского» — это клинически точная история прогрессирующей одержимости человека. Но казус в том, что автор, так сказать, не обладает способностью суждения о предмете, сам почти полностью отождествляясь с героем.

Поэтику «Жизни Василия Фивейского» в целом можно определить как типично экспрессионистическое «пересоздание действительности настроением». Андреев с самого начала вводит в сюжет о жизни сельского священника тему «рока», с соответствующей интонацией: «Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием...» и т. д.,<sup>23</sup> а затем так же целенап-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Мережковский Д. С.* Акрополь. Избр. статьи. М., 1991. С. 193.

<sup>22</sup> Лит. наследство. Т. 72. С. 396.

 $<sup>^{23}</sup>$  Андреев Л. Н. Соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 1. С. 489. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

равленно преображает предметное окружение, опредмечивая в нем потрясенное состояние духа и свое, и своих героев: таков зловещий образ «ярких солнечных дней» в начале (1, 489), «безумной» осенней ночи во 2-й главе (1, 495) и т. п., вплоть до картины предгрозового дня и грозы в финале — собственно, веселой летней грозы на Духов день, которая пересоздается автором в кошмарное зрелище вселенского безумия (1, 554). Точно так же преображаются и ситуации: рутинная жизнь сельского прихода, например, с обычным великопостным говением превращается в мистерию всеобщего страдания (1, 514). И т. д. Все эти «заострения», впрочем, можно трактовать еще в пределах традиционной риторической выразительности. Но есть в рассказе и нечто существенно новаторское, как, например, объективация вовне припадка помешательства попадьи (1, 503) или развернутое олицетворение ночи в 10-й главе: «Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены...» и далее (1, 536—540) вполне экспрессионистская метафора, по типу сопоставимая с образами трагедии «Владимир Маяковский» или «Облака в штанах»; сравнить. например, сюжет ожидания в первой главе «Облака»: «Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон, хмурый, декабрый. В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры...» (I, 176—178).

В целом «Жизнь Василия Фивейского» представляет собой нечто переходное, где на реалистической основе вырастают элементы экспрессмонизма. Наибольшей же цельности этого стиля Андреев достигает в «Красном смехе» — произведении, экспрессионизм которого почти общепризнан. Отметим только характерные особенности. Сам замысел на этот раз был сознательно «ирреальным»: показать не войну, а ее «настроение». Здесь уже нет какой-либо идейной концепции; все, что можно сказать об идее «Красного смеха», — это антивоенное произведение. Содержание его, как типично экспрессионистского, не поддается интерпретации, а требует непосредственного восприятия. Андреев избрал наиболее адекватную композиционную форму: «отрывки» — строго говоря, это не рассказ, а цикл новелл, принципиально бессвязный; внутренняя же связь каждого фрагмента обусловлена только временем протекания отдельного видения или переживания. Сюжетно лучшие из этих «отрывков» построены именно как сновидения или галлюцинации: таковы эпизод на батарее, когда заблудившееся сознание героя не может понять, что сон, а что явь сражение или комната с обоями и графином (2, 25-26); «отрывок» про санитарный поезд (2, 33-39); кошмарный сон во второй части о «детяхубийцах» (2, 60-61) и т. п. Однако и в «Красном смехе» Андреев не до конца последователен — цельность стиля нарушается вторжением дурного рассудочного мелодраматизма: эпизод с безногим героем в кругу семьи (2, 44-47), а также публицистической риторикой: монолог сумасшедшего врача (2, 43-44) или письмо с фронта маньяка-убийцы (2, 66-67). Кроме того, автор слишком заботится все же о том, чтобы рационально мотивировать повествование, вводя долгие и натянутые пояснения рассказчика, брата героя (2, 51-54), да и связь обеих частей рассказа явно искусственна.

Таким образом, и для Андреева, и для Маяковского экспрессионизм был вполне закономерен и органичен, но условия его развития в обоих случаях были далеко не равны. Разница в двадцать лет в возрасте определила их принадлежность к разным этапам литературного процесса. Мы начали с Маяковского, потому что в его творчестве экспрессионизм наиболее проявлен и может служить образцом. Творческий поиск Маяковского облегчился с самого начала футуристским отказом от всякого наследия, а сам футуризм не был сколько-нибудь устоявшимся, чтобы

воспрепятствовать дальнейшему поиску. Андреев, напротив, изначально был связан всей мощью реалистической традиции, к тому же над ним всегда тяготел авторитет Горького. Бурлюк, игравший подобную же роль учителя и благодетеля по отношению к Маяковскому, был несравненно терпимее и, наоборот, поощрял безудержное новаторство. Имеет значение и род литературы. Экспрессионизм в поэзии, как более «музыкальном» искусстве, достигается гораздо легче, чем в прозе, которая по роду своему рациональна и концептуальна. Не случайно «Красный смех» оказался вершиной экспрессионизма в творчестве Андреева.

Но и Маяковский вскоре отходит от «чистого» экспрессионизма — именно вследствие тяготения к эпическому жанру и концептуальности. Уже трагедии «Владимир Маяковский» он задним числом стремится приписать некую общую идею (I, 311), хотя и безосновательно, поэму же «Облако в штанах» прямо строит как идейный тетраптих, «четыре крика четырех частей» (XII, 7). Экспрессионизм у Маяковского, таким образом, вытесняется из композиции и сюжета, сводясь теперь к выразительным характеристикам и деталям.

Аналогично и «Жизнь Человека» Андреева можно считать экспрессионистической драмой, только если понимать под экспрессионизмом схематизм и плакатность. По замыслу и конструкции это как раз очень рационалистическое произведение. Пресловутый же «Некто в сером» в своем балахоне и со свечой — типичнейшая аллегория, даже менее «экспрессивная», чем «Повелитель Всего», сходный образ в сходной по теме и сюжету поэме Маяковского «Человек».

Но, может быть, это и к лучшему. Если эстетическое неотделимо от этического, тогда, действительно, следует признать экспрессионизм болезнью духа и стиля. Сильной же стороной творчества Андреева всегда был глубокий реалистический психологизм, как Маяковского — потребность в наиболее полном высказывании «о времени и о себе».

К. Д. МУРАТОВА

#### РАССКАЗ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ПОЛЕТ»

На вопрос начинающего писателя Вс. Н. Архангельского, в чем состоит смысл жизни, Леонид Андреев 6 мая 1916 года ответил: «Смысл жизни не может быть исчерпан и определен несколькими словами и понятиями. И каждый человек добывает его для себя многолетним упорным трудом, поисками и размышлениями». Свою жизненную позицию Андреев считал символически раскрытой в рассказе «Полет» (1913) и предложил своему корреспонденту прочесть его.

Мировоззрение Андреева было сложно и противоречиво. По свойству своей натуры он тяготел к рассмотрению любого явления и в положительном и в негативном плане. Известные слова М. Горького о том, что Андреев одновременно «мог петь миру — "Осанна!" и провозглашать ему же "Анафема!"», 2 раскрывают коренную особенность его человеческого и писательского облика. То, что после окончания гимназии Андреев выбрал

 $<sup>^1</sup>$  Рукописный отдел Института русской литературы. Отдельные поступления. Год 1979, № 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Горький М. Полное собр. соч. Худож. произв. М.: Наука, 1973. Т. 16. С. 324.

юридический факультет, не было случайностью. Подготовка к адвокатской деятельности, а затем судебное репортерство приучили его рассматривать тот или иной судебный процесс в свете многочисленных «за» и «против». В дальнейшем это сказалось на одновременном появлении в печати произведений писателя, одни из которых были полны пессимизма, в других же была надежда.

Но несмотря на рано появившуюся противоречивость, все же можно говорить о довольно быстро обозначившихся устоях андреевского мировоззрения. Одним из них было отношение к человеку.

Для Максима Горького, соратником которого был Андреев в 1900-е годы, человек прежде всего строитель, исторический деятель, борец за социальную справедливость.

Для андреевской концепции человека характерно иное. Это потенциальный бунтарь, мятежник, бросающий вызов земному и вечному бытию. Эти мятежники весьма различны по своему видению мира, и мятежи их носят различную окраску, но суть их существования едина: они гибнут, но не сдаются.

Таков герой условной пьесы «Жизнь человека». В юности он бросает вызов жизни, не выронит он меча и перед лицом Смерти. Таков священник Василий Фивейский, потерявший веру в Бога, но не смирившийся. Таков и бунтующий Анатэма, и многие другие персонажи андреевских произведений.

Бунты эти лишены подчеркнутой социальности, в их основе лежит общечеловеческое начало, но вместе с тем они впечатляюще отражали пафос непокорства, столь характерного для общественной атмосферы начала XX века.

С темой мятежа переплетена у Андреева и тема воли человека, его права выбора между примирением с действительностью или противостоянием ей.

Не менее устойчивым выражением мировоззрения Андреева было отношение к Мысли, Разуму. Подчеркивая их исключительную роль в жизни человека и человечества, писатель обращал большое внимание на двойную природу Разума, который мог служить не только добру, но и злу. При этом автор прибегал к изображению борьбы героев с догматикой мышления.

Каждое произведение Андреева широко обсуждалось в печати, но писатель считал, что критики не уясняют сути его творчества. В пору создания рассказа «Полет» Андреев писал своему другу С. С. Голоушеву, что критики видят только фасады его произведений, в то время как надобно заглянуть за угол, именно там, за углом живой поросенок бегает. Рассказ «Полет» требовал такого заглядывания.

Комментатор этого рассказа В. Н. Чуваков указал на непосредственный повод его замысла — гибель известного летчика Л. М. Мациевича при соревновании на полеты в высоту в 1910 году. Но это лишь один из поводов.

Путь к созданию «Полета», в котором сам Андреев видел отражение собственных трудных и упорных размышлений о смысле жизни, был долгим. И вехи на этом пути в какой-то мере обозначены самим автором.

Убыстрившееся развитие науки, техники, успехи авиации значительно воздействовали на повышение интереса к ним в литературе. Отдал этому дань и Андреев.

<sup>3</sup> Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М.: Федерация, 1930. С. 132—133.

В пьесе «К звездам» (1906) астроном, верящий в будущее своей науки, посылает приветствие своему космическому собрату.

В богоборческой пьесе «Анатэма» (1908) князь тьмы приходит к железным вратам, отделяющим земной мир от Вечности, с целью узнать, что таится за ними. Анатэма удручен трагическим бессилием человеческого разума познать Разум Вселенной. Он желает узнать о начале всех начал. Но вечный страж этих врат молчит. Анатэма уходит, чтобы вновь и вновь возвращаться к этим монументальным вратам. Не из семи ли букв состоит наименование и того, что лежит в основе возникновения бытия, спросит Анатэма (религия то или материя), — нет ответа. Не узнает он также, существуют ли там, за вратами, земные понятия о числе, мере и пространстве.

Вопросы, мучающие пытливый ум Анатэмы, не волнуют мемуариста, пишущего свои «записки» («Мои записки»). Произошло страшное убийство. Погибли отец, дочь и сын. Заподозренный второй сын судим и приговорен к пожизненному заключению. За примерное поведение в тюрьме он помилован. Теперь он старик и пишет свои «записки». Освобожденный не опровергает справедливости своего заключения, но, как и ранее, отрицает свою вину. Однако некоторые фразы и слова «записок» убеждают в том, что это действительно убийца.

Бывший математик создает для оправдания загубленной жизни логически обоснованную философию железной решетки. Ему надобно убедить себя и других в необходимости покорно подчиняться «предопределенному», ибо он «должен жить». В основе проповедуемой им философии лежит мысль: вся жизнь — тюрьма. Свободы нет, и она не нужна в мире, где все измерено: время разделено на минуты, а пространство на сантиметры. В мире господствует нерушимая целесообразность. Железная решетка, по словам бывшего арестанта, математическая формула, схема, в которую заключены управляющие миром законы и где утвержден строгий целесообразный порядок. Невозможно и не следует нарушать установленное.

Но так ли уж нова тяга к созданию неукоснительно выполняемого кодекса жизни? В Прологе к «Жизни человека» (1904) Некто в сером извещает родившегося человека, что ему предстоит совершить покорно «круг железного предначертания». Имя Некто в сером неизвестно. Одни критики видели в нем олицетворение неумолимой Природы. Другие считали его Вершителем человеческих судеб. Но кто бы он ни был, голос его, обращенный к человеку, торжественно величав. Голос тюремного мыслителя, устанавливающего свои предначертания, звучит рабски.

Сопоставимы железные врата и железная решетка. Первые хранят бытийные тайны, и Анатэма хочет узнать о них хотя бы немногое. В своем желании он настойчив. Железная решетка в противоположность вратам призвана защищать запрограммированную целесообразность от чуждых веяний, которые могут вызвать недоверие к ней. Усвоив тюремную психологию, недавний узник хотел бы даже Вечное заключить в решетки. Будучи в тюрьме, убийца не только сам выполнял все тюремные предписания, но и следил за тем, чтобы и другие арестанты не выходили за пределы дозволенного не только в своей тюремной жизнедеятельности, но и в своих помыслах.

Свободная жизнь убеждает освобожденного философа в том, что он более соответствует тюремным предначертаниям. Теперь он сам заключает себя в лично приобретенную тюрьму и нанимает тюремщика, чтобы тот строго следил за исправным выполнением им всех тюремных предписаний.

Рассказ «Полет» и повесть «Мои записки» (1908) стали своеобразным

подтверждением правоты М. Горького в определении одной из характернейших черт андреевского дарования.

Андреев дорожил «Полетом» как выражением своего миропонимания. Эта близость подтверждена и в вышеназванном письме к С. С. Голоушеву; в нем Андреев назвал себя авиатором в литературе. Характерна также фамилия летчика Пушкарев, напоминающая о Пушкарской улице в Орле, на которой Андреев жил в детстве и юности.

Герой рассказа явно противопоставлен антигерою повести «Мои записки». Юрий Михайлович Пушкарев — спокойный и мужественный человек, любящий свое летное дело. Товарищи дружески относятся к нему, а начальство ценит. Летчик нежно любит жену и любим ею. Несхожи не только судьбы героев, несхож их внутренний мир. Автор нарочито сопоставляет их суждения о небе. Для одного из них небо — реалистическое понятие. Он ненавидит его за синеву, за то, что оно манит к себе, внушая мечту о полетах. Он ненавидит мечтателей, ведь из их среды появляются отрицатели его философии. Другой, Пушкарев — из среды мечтателей. Еще в детстве его манили полеты, а затем он стал осуществлять их. И небо для него не только постоянная реальность, но и то, чем наградило его человечество в своих мечтах и размышлениях о жизни и смерти.

Создатель теории железной решетки раздражен современным увлечением «воздухоплаванием» и спрашивает, не лучше ли для человека «твердое и верное ползанье по земле, нежели обманчивое порхание в клетке?». Члетчик же, точно услышав это суждение, говорит: «Всякий человек боится смерти, и кто захотел бы лететь, если бы это было только воздухом каким-то». 5

Итак, Пушкарев вполне благополучный человек. И ничто не угрожало соревновательным полетам летчиков на высоту. Гроза прошла ночью, и день выдался солнечным, радостным.

Никто не сомневался в возможности победы столь опытного летчика, как Юрий Михайлович. И она пришла. Трагедия произошла вопреки всему, что говорило о счастье, благополучии, радости жизни. Неожиданно для тех, кто оставался внизу, победитель вместо нескольких кругов над аэродромом для посадки снова поднялся вверх и стал подниматься все выше и выше. Земляне сочли его безумным.

А летчик почувствовал себя свободным. Вокруг него был бескрайный, не знающий никаких преград синий простор. Его крылатая птица была послушна его управлению и двигалась вверх, вниз, в стороны и могла чертить в небе косые и прямые линии. Он был свободен и не хотел возвратиться на землю. Его воля торжествовала, и весь вид его говорил о воле и мужестве.

Он был высоко, но, вспомнив, как в детстве хотелось перелететь через низенькое здание, что было возле родительского дома, стал подниматься еще выше. «И с детства он не любил ни дорог, ни тропинок, ни широких улиц, наследственно прокладывающих путь...» Теперь же он летел в огромном просторе, лишенном таких путей.

«Надсмертное» — таково первое заглавие рассказа, опубликованного в «Современном мире» (1914.  $\mathbb{N}$  1). Юрий Михайлович знал о неминуемой смерти при сверхподъеме, но обретенная свобода и красота неба приглушили мысль о скором переходе «из одной бесконечности в другую». В последнюю минуту жизни он вспомнит милую землю и нежно любимую

<sup>4</sup> Андреев Л. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1994. Т. 3. С. 313.

<sup>5</sup> Там же. Т. 4. С. 304.

жену, но эти чувства уйдут куда-то в глубь сердца, он же, не бросая управления загоревшимся самолетом, почувствует себя мифологическим героем на огненной колеснице, которого огненные небесные кони уносят ввысь. Однако тема смерти, нередко встречавшаяся в произведениях Андреева; не была в рассказе господствующей. При включении в восьмой том Собрания сочинений (М., 1916) Андреев заменил «Надсмертное» заглавием «Полет», придав ему двойное значение, более соответствующее авторскому замыслу. Это символический полет пилота, вышедшего в своем победном устремлении за пределы существующих предписаний, и полет человеческого духа, восставшего против догматических представлений, которые лишают свободы творческую мысль и деяния человека.

«Мои записки» и «Полет» — два типа жизневосприятия и мышления, два типа представления о смысле жизни.

В. Я. ГРЕЧНЕВ

### РАССКАЗ Л. АНДРЕЕВА «ПРИЗРАКИ»

Рассказ «Призраки» был написан Л. Андреевым в октябре 1904 года и опубликован в ноябре этого же года в журнале «Правда». Рассказ критика заметила, но чаще это были рецензии или краткие упоминания в статьях и книгах. Иначе говоря, этапным он никогда не считался, и отчасти это было странно, ибо уже в первых критических откликах говорилось о том, что наиболее важные и значительные андреевские темы и настроения здесь прозвучали довольно отчетливо и во многом по-новому.

Одной из главных справедливо считалась тема одиночества, разъединенности, отчуждения людей, непонимания ими друг друга. И в этой связи рассказы Л. Андреева, «Призраки» в частности, сопоставлялись как с произведениями русских, так и зарубежных писателей (Достоевский, Гаршин, Чехов, Э. По, Мопассан, Метерлинк, Ибсен). Правда, нередко в этих случаях все сводилось к простой констатации и пояснению, чем один одинокий герой отличается от другого (например, из рассказов Э. По «Молчание» и Л. Андреева «В подвале»).1

Естественно было бы ждать, что будет поставлен вопрос о причинах и обстоятельствах, порождающих это одиночество, о том, как именно и в какой степени плодотворно или неудачно исследуется это писателем. Однако в таком плане, в должной полноте и последовательности, вопрос этот не ставился ни во времена Л. Андреева, ни позднее.

В рассказе «Призраки», как известно, действие происходит в сумасшедшем доме, персонажи его — пациенты частной клиники. Известно также, что люди с больной психикой нередко привлекали внимание писателей. И если Гоголь как бы открывает этой темой XIX век, то

<sup>6</sup> В пору работы над «Полетом» Леонид Андреев писал А. В. Амфитеатрову, что никогда не связывал себя какой-либо художественной формой или направлением. В этом плане творчество Андреева, выступавшего как реалист, символист, создатель экспрессионистской и панпсихической драмы, в русской литературе начала XX века было уникальным (Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 541—542).

<sup>1</sup> Львов-Рогачевский В. Борьба за жизнь. Сб. статей. СПб., 1907. С. 119.

венчают его Гаршин («Красный цветок»), Чехов («Палата № 6», «Черный монах»), М. Горький («Ошибка»), Ф. Сологуб («Мелкий бес»).

Всякий раз при чтении такого рода произведений невольно возникает вопрос: почему сумасшедшие, для чего избирается эта скорбная тема? Сразу можно ответить: не ради болезни как таковой, ее истории и эволюции. Это не дело художника. Писателей интересуют другие аспекты. И прежде всего они размышляют о том, какая тончайшая грань отделяет человека нормального от «с ума сошедшего», как и о том, что определить это и не ошибиться бывает порой не только трудно, но и просто невозможно (всегда возникает вопрос, кто определяет и чем при этом руководствуется). Далее. У страдающих таким недугом есть нечто такое, что порой не мешало бы иметь, как это ни парадоксально, и вполне нормальным людям. Это и особая чувствительность, обостренность чувств, корошо развитая интуиция и проницательность. И еще — и это, пожалуй, одно из важнейших свойств: необычайной силы сосредоточенность на решении какой-то своей проблемы или необыкновенная преданность идее, в которой соединяются и цель жизни, и высокий смысл ее.

Сумасшедший, человек не-нормальный, — это тот, кто способен нарушить и нередко нарушает нормы, обычаи и условности, принятые в обществе, — этические, юридические, эстетические, иными словами, бросает вызов общепринятому порядку, строю жизни, общественному мнению. Проявляется это, как известно, в поведении, поступках, суждениях, в открытом высказывании «крамольных» идей и взглядов.

Понятно, что писателю не может не быть интересен такой человеческий материал, характер, что называется, на изломе, человек, изобличающий других и саморазоблачающийся, человек, позволяющий себе говорить правду, которую не принято или не нужно сообщать вслух, прилюдно, или высказывать какие-то глубоко затаенные, задушевные мысли, чувства, мечты.

Надо ли объяснять, что у нормального, обычного человека все это находится под спудом, за семью печатями; здесь же стихия болезни сметает все препоны, высвобождает энергию, бесстрашие — и тайное делает явным.

Да, писателю интересно это совершенно особое состояние, в котором острота мысли сочетается с разгулом фантазии, а накал страстей граничит с вдохновением, когда человеку так явственно представляется, что ему вполне по силам решать какие-то сверхмасштабные, глобальные проблемы, быть изощренно тонким и всепонимающим. И еще: мир и люди в эти мгновения жизни видятся подчас в каком-то совсем особом свете — лучше, красивее, интереснее, а потому возникает обостренное желание жить, любить, творить, находить прелесть и очарование в самом процессе жизни, а не только в свершениях и достигнутых результатах.

Само собой разумеется, что все сказанное имеет отношение к героям литературы, к персонажам, порожденным творческой фантазией художника, для которого они и их болезнь — всего лишь особый художественный прием, принцип изображения, позволяющий вести речь о возможностях и пределах человека, о глубинах и тайнах его психологии, о его жизни, в которой удивительным образом перемежаются комедия и трагедия, веселое и печальное, претенциозное и жалкое.

В рассказе «Призраки» два персонажа заметно больше других выдвинуты вперед и резко противопоставлены по типу своего отношения к действительности. Один из них Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия. Он человек активный, деятельный,

умеющий приспособиться к любым обстоятельствам, по натуре доброжелательный, всё и вся приемлющий и во всем умеющий найти нечто положительное, даже в сумасшедшем доме, где он обустроился так, что его комната «приняла совсем уютный, даже праздничный вид». Другой персонаж, он без имени, являет собой человека нервно возбужденного и постоянно желающего передать свое беспокойство всем и каждому: где бы он ни находился, он отыскивал запертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее; если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и начинал стучать снова. «И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал, — иначе он умер бы от бессонницы; но спящим его не видели, и стук никогда не прерывался» (С. 75).

Интересно толкование этих персонажей, данное Л. Андреевым в беседе с М. Горьким: «Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни».<sup>3</sup>

Известно, что этих писателей связывала «дружба—вражда», что не было, по словам Горького, ни одного вопроса, на который они смотрели бы одинаково, что полемика, которую они постоянно вели, касалась подчас вещей принципиально важных для определения позиции и своеобразия художника.

Нередко центральным в этом споре был вопрос о человеке, возможностях и границах познания его, все, связанное с отношением человека к миру, другим людям и самому себе. И с этой точки зрения Егор Тимофеевич, за которым просматривалась фигура хорошо знакомого Андрееву Горького, как художественный образ содержал богатый материал для обобщений и размышлений.

Егор Тимофеевич вполне благожелательно относится к людям, он всегда готов прийти на помощь или просто дать добрый совет. Однако в глубине души у него коренится убеждение, что он не чета им всем, и не случайно довольно скоро среди больных он занял «вполне определенное положение покровителя. Ему грезилось, что он представляет собою что-то высокое, но вполне точного представления не было, и потому он постоянно менялся: то чувствовал себя графом Альмавива, то советником губернского правления, то святым, чудотворцем и благодетелем людей. Но чувство страшной силы, безграничного могущества и благородства никогда не покидало его и делало его в отношениях к людям очень сострадательным и лишь в редких случаях заносчивым и суровым» (С. 77).

Итак, сострадательность Егора Тимофеевича — от сознания его «безграничного могущества», он готов любить всех людей и никого в отдельности, он слишком сосредоточен на своем «могуществе», чтобы полюбить кого-то из ближних своих. Он так сосредоточен на своем величии, что абсолютно все представляется ему жалким и маленьким, как, например, тыква, которая напоминала ему земной шар. И главное — всюду и во всем, о ком бы он ни думал и чем бы ни занимался, он помнит и видит только самого себя. Так, на обложке к каталогу своей картинной галереи Егор Тимофеевич «прежде всего нарисовал себя в могущественном виде,

 $<sup>^2</sup>$  Андреев Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. С. 74. Далее ссылки на этот том даются в тексте.

<sup>3</sup> Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 382.

как собственника галереи, и так увлекся этим, что на всех страницах тетради повторил тот же рисунок. Потом попросил у доктора самый большой лист бумаги и во всю его величину нарисовал себя, сверху вдохновенно, без размышлений, сделал надпись: "Многоуважаемый Георгий-победоносец"» (С. 90).

С годами Л. Андреева все больше стал раздражать в М. Горьком его «указующий перст: держи к бодрости», его так называемый «оптимизм», в котором Андрееву виделась не столько уверенность в своих силах, сколько самоуверенность человека, нашедшего истину, который все менее стал считаться с мнениями и точками зрения других людей, все больше отдаляется от них. Горький, писал он, «как хорошая книга с заранее определенным содержанием или картинная галерея. За сверх- или поверх-человеческим просто человеческое от него ускользает, он его не видит, не чувствует, не знает. От этого при всем своем уме, благородстве, чистоте душевной он иногда бывает ниже человека — и как раз в те минуты, когда думает, что выше». 4

Это из письма В. Вересаеву. Нечто близкое находим и в письмах к другим корреспондентам: «Скапрился Горький окончательно (...) учительствует сухо и беспрерывно и, учительствуя, имеет вид даже страшный: человека как бы спящего или погруженного в транс... Строго осуждает любовь, ревность, Россию, пессимизм...»<sup>5</sup>

Суть дела здесь отнюдь не в полемике с М. Горьким как таковым. Следует говорить об особой позиции каждого из них: человеческой, писательской, философской. Весьма наглядно проявилось это в отношении их к Шопенгауэру, к которому Горький в целом остался равнодушным и к которому Андреев с юности питал глубокие чувства, а в пору написания рассказа «Призраки» перечитывал. Как раз в это время он писал Горькому: «Читал ты "Мир как воля и представление"? Весь я сейчас под властью этой великолепнейшей книги — такой умной, такой красивой и стройной. В ней нет ничего мистического, неясного, подмаргивающего, крепкая, сильная, смелая, человеческая мысль работает открыто и честно, как в лаборатории. И вовсе не пессимист Шопенгауэр: только трусливое мещанство, желающее быть обманутым, могло признать его таковым. Он отрицает возможность счастья, удовлетворения, покоя (...)» 6

Это, пожалуй, главное, что существенным образом отличало их позиции: одному, М. Горькому, было «присуще чувство уверенности», он верил, что «на Земле мы могли бы устроиться очень удобно, весело и празднично, если б научились более внимательно относиться друг к другу и поняли, что самое удивительное, самое величественное в мире — Человек». А другой, Л. Андреев, понимал, что все человеческие надежды на счастье призрачны и несостоятельны: ведь Земля — часть вселенной, а в ней всегда неблагополучно. По словам астронома Терновского из пьесы «К звездам», «в мире каждую секунду умирает по человеку, а во всей вселенной, вероятно, каждую секунду рушится целый мир». 8

По природе своей и характеру Андреев и мечтать не мог о том, чтобы устроиться «удобно, весело и празднично», ибо, как он говорил о себе, «нет предела моим желаниям, и быть Толстым для меня мало, и даже

<sup>4</sup> Там же. С. 523.

<sup>5</sup> Там же. С. 536, 537.

<sup>6</sup> Там же. С. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Там же. С. 403.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Андреев Л. Драматические произв.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 67.

Богом для меня быть мало — потому что, ставши Богом, я начну завидовать черту». И далее, явно имея в виду оптимизм жизнеустройства по Горькому, продолжал: «Живу я сейчас мило, благородно, трезвенно, сыто, почетно... и мысли у меня благородные — все о свободе и любви, и желания у меня чистые... — а минутами до остервенения жаль бывает того времени, когда и одиночество, и голод, и вражда, и пустыня, и черные провалы пьянства, и сатанинская гордость под плевками, и гордые великолепные надежды на престоле отчаяния».9

Да, Андреев был один из самых душевно неустроенных, неблагополучных писателей, из тех, кто предпочтение отдавал постановке вопросов, а не решению их, отрицанию и разрушению, а не созиданию. В письме к В. Вересаеву он спрашивал: «До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное "нет" — сменится ли оно хоть каким-нибудь "да"? И правда ли, что "бунтом жить нельзя"?.. Смысл, смысл жизни — где он? Бога я не прийму... Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно, — но конец где? Стремление ради стремления — так ведь это верхом можно поездить для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо. А ответа нет, всякий ответ — ложь. Остается бунтовать — пока бунтуется...» 10

Из сказанного очевидно, что имел в виду Андреев, когда говорил Горькому: «Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты». Особенно напрасной и бесцельной тратой писательских и человеческих сил представлялось Горькому напряженное внимание Андреева к проблеме смерти. Андреев соглашался с тем, что заглянуть по ту сторону он, конечно, не сможет, а следовательно, и сказать нечто поразительно новое не сумеет, но и делать вид, что этой проблемы не существует, он тоже не мог. В одну из встреч, когда они спорили и Горький вновь и вновь пытался убедить своего собеседника не ходить «по той тропинке, которая повисла (...) над пропастью, куда, заглядывая, зрение разума угасает», Андреев «торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил: "Это, брат, трусость — закрыть книгу, не дочитав ее до конца!" »11

По словам Шопенгауэра, влияние которого весьма заметно в творчестве Андреева вообще и в рассказе «Призраки» в особенности, «от ночи бессознательности пробудившись к жизни, воля видит себя индивидуумом в каком-то бесконечном мире, среди бесчисленных индивидуумов, которые все к чему-то стремятся, страдают, блуждают (...) Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы утишить ее порывы (...) заполнить бездонную пропасть ее сердца (...) Все в жизни говорит нам, что человеку суждено познать в земном счастии нечто обманчивое, простую иллюзию». 12

«Безумный, который стучит» и «деятельный Егор», как и, пожалуй, Горький с Андреевым, слушали друг друга и явно не слышали. У каждого из них было свое представление о себе и мире, свой угол зрения и соответствующие оценка и отношение ко всему, с кем и с чем приходится иметь дело. Безумная идея, овладевшая «стучащим», сделала его абсолютно равнодушным ко всему на свете: он забыл, что есть небо, не видит сад, больницу и больных. А вот Егор Тимофеевич вполне включен в окружающую жизнь, более чем активно участвует в ней, но видит и воспринимает ее с позиции своих представлений человека «могуществен-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Лит. наследство. Т. 72. С. 196.

<sup>10</sup> Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 158.

<sup>11</sup> Лит. наследство. Т. 72. С. 374.

<sup>12</sup> *Шопенгауэр А.* Избр. произв. М., 1992. С. 63.

ного», благодетеля и святого. Он убежден, что все должны уважать его и любить; в частности, Егор Тимофеевич не сомневается, что в него влюблена фельдшерица Мария Астафьевна, и он, «хотя сам не мог отвечать на любовь, высоко ценил ее расположение и усиленно старался не скомпрометировать ее какой-нибудь неосторожностью. В его представлении она была героиней долга, бросившей аристократическую семью, чтобы ухаживать за больными, — у фельдшерицы семьи не было, она была из подкидышей, — светлой личностью и красавицей... И держался он с нею особенно, кланялся очень низко, водил ее под руку к столу и посылал ей летом цветы, но наедине оставаться с нею избегал, из опасения поставить ее в неловкое положение» (С. 81—82).

Глубоко заблуждался Егор Тимофеевич не только в части семейного положения Марии Астафьевны, но и в том, что она любила его: он для нее обычный пациент, а влюблена она была, сильно и безответно, в доктора больницы Шевырева. Однако переубедить Егора Тимофеевича не смогли бы никакие факты и доводы, он не только верит в свою «правду», но и соответствующим образом выстраивает свое поведение и поступки.

К центральным персонажам рассказа «Призраки» следует отнести и Петрова, у которого также свои представления о мире и суждения о нем, своя навязчивая идея, своего рода призма, дающая окраску всем его мыслям, чувствам и восприятиям. Петров, как и тот больной, что стучит, всегда держался в стороне от других, «так как боялся внезапного нападения, и летом держал в кармане камень, а зимою — кусок льда(...) У него были враги, которые поклялись погубить его. Они печатали о нем в газетах (...) гонялись за ним по всему городу на пыхтящих автомобилях и по ночам подстерегали его за всеми дверьми (...) Они подкупили братьев Петрова и мать его, старушку, и та ежедневно отравляла его пищу, так что он чуть не умер с голоду» (С. 78, 83).

Вполне понятно, что Петров никому не верит, ко всем и всему относится с подозрением и отзывы о людях всегда у него негативны, а то и враждебны. Доктора Шевырева, человека доброго, благородного и своего рода подвижника, если иметь в виду его отношение к больным и больнице, Петров называет эгоистом, пьяницей и развратником и убежден, что лечебницу тот устроил «только для того, чтобы обирать дураков» (С. 83). Весьма невысокого мнения он и о фельдшерице. Если Егор Тимофеевич считал ее «героиней долга», «светлой личностью и красавицей», то Петров уверял, что, «как все женщины, она развратна, лжива, не способна к истинной любви». По его словам, у нее «был от сторожа ребенок, и она убила его, удушила подушкою и ночью закопала в лесу». Разумеется, ничего подобного Мария Астафьевна не совершала, но Петров, как и Егор Тимофеевич, крепко держится за свою «правду» и стремится отстаивать ее, в частности, он готов показать то место, где зарыт этот «задушенный» ребенок...

У Анфисы Андреевны, «пожилой сорокалетней девушки», своя идея, которая подчинила ее и стала для нее единственной реальностью. В пору ее нормальной жизни, когда она служила экономкой у своей дальней родственницы, ей пришлось спать на детской кровати, на которой она не могла вытянуть ноги. «И когда она сошла с ума, ей стало казаться, что ноги согнулись у нее навсегда и она не может на них ходить. И постоянно ее мучила мысль, что после смерти ей купят очень короткий гроб, в котором нельзя будет протянуть ног» (С. 77—78).

Понятно, что у нее лишь одна тема для общения, и собеседником ее может быть только доктор Шевырев, которому она, впрочем, как и

Петров, не доверяет, да еще — Егор Тимофеевич. Ему она сообщает, имея в виду доктора: «Они на то и поставлены, чтобы говорить нам неправду. А вы — дело другое, вы свой человек. Да и дело-то в пустяках: длинный гроб будет стоить на три рубля дороже короткого... Главное, чтобы кто-нибудь позаботился. Вы обещаете?» (С. 78).

Итак, каждый из названных трех персонажей слишком сильно увлечен своей идеей, чтобы слушать и слышать кого бы то ни было, чтобы принимать деятельное участие в жизни лечебницы. А жизнь здесь идет, на взгляд не очень внимательный, весьма близкая к нормальной: «Зимою больные сами устраивали каток, катались на коньках и на лыжах, а весною и летом занимались огородом и цветами и были похожи на самых обыкновенных здоровых людей» (С. 77). В отличие от этих троих они много и охотно говорят и общаются друг с другом, но это общение также не способно сблизить их, установить взаимопонимание. И причина здесь та же: «Больные охотно и много разговаривали, но после первых же слов переставали слушать друг друга и говорили только свое. И от этого беседа их никогда не утрачивала жгучего интереса. И каждый день то возле одного, то возле другого сидел доктор Шевырев и внимательно слушал, и казалось, что сам он много говорит, но на самом деле он постоянно молчал» (С. 79).

Доктор Шевырев во многом фигура интересная, сложная и загадочная. В нем каким-то удивительным образом сочетаются внимание к людям и равнодушие к ним. Да, он очень внимательно выслушивает каждого, кто обращается к нему, больной или здоровый, но выслушивает как человек, которому все заранее известно и который не сомневается, что ничем новым он не обогатится в данной беседе. Он хорошо усвоил одну человеческую особенность: каждый желает быть выслушан, но гораздо меньше хотел бы слушать другого. Не случайно и в больнице, и в загородном ресторане, где Шевырев проводит все ночи, его собеседникам постоянно кажется, что он много говорит, хотя «на самом деле он постоянно молчал».

Все, даже такие, как Петров, относятся к нему с уважением, многие не скрывают своей симпатии к нему — он желанный собеседник за каждым столом в ресторане, где его нередко просят быть организатором и распорядителем веселья. И в то же время доктор очень одинокий человек, и это хорошо чувствует безответно любящая его фельдшерица Мария Астафьевна.

Его одиночество, как представляется, связано с его жизненной позицией, обусловлено ею. Мы видим, что все персонажи, каждый из которых имеет свой взгляд на вещи, свою идею, находятся в состоянии непрестанного спора со всеми окружающими. В этом бесконечном выяснении отношений каждый из них стремится доказать, что только его правда истинная, что только она имеет право на жизнь, что только она согласуется с подлинной реальностью. Шевырев же никому своей правды не навязывает, он только выслушивает и своим молчанием как бы говорит, что нет и быть не может одинаковой для всех реальности, что каждый как бы сам создает свою версию реальности, и именно тем, как он видит, понимает и воспринимает действительность. Так, Шевырев не пытался разубедить Егора Тимофеевича, когда тот довольно подробно рассказывал ему о своих встречах со святыми и о том, какие у них «прекрасные и благородные лица», или когда «болтал что-то об осени в Крыму, где он никогда не был, об охоте с гончими собаками, которых он никогда не видел» (С. 81, 93). Не пытается развеять он и тревожные сомнения Петрова, связанные с подозрениями, что все, даже мать, желают его смерти. Напротив, доктор соглашается с ними: благодушно, по-детски настроенному Егору Тимофеевичу он говорит, что тот «счастливейший человек», а Петрову — что он «несчастнейший». И, кстати, оба они были рады, что нашелся человек, который признал их правду, во всяком случае Петров отметил про себя: «Очень приятно хоть раз услышать слово правды и сочувствия» (С. 83).

Нетрудно, конечно, возразить, заметив, что доктор и не должен, и не только в силу своей профессии, вступать в спор со своими пациентами. Но точно так же ведет себя он и за стенами лечебницы, в ресторане, где перебывал весь город. Он никогда «не старался запомнить ни лиц, ни фамилий своих друзей и не замечал, когда одни исчезали и на смену являлись другие. Он молчал, улыбался, когда к нему обращались, пил свое шампанское, а они кричали, плясали вместе с цыганами, хвастались и жаловались, плакали и смеялись» (С. 88).

Это сопоставление жизни лечебницы с ресторанной невольно наводит на мысль, к которой не мог не прийти доктор Шевырев, что совсем непросто провести четкую грань между людьми нормальными и теми, кто находится близко к этой грани, а то и перешагнул ее. Во всяком случае Шевырев, которому писатель многое передоверил из своей позиции, никак не склонен считать вполне нормальными тех людей, которые полагают, что реальность как таковая — одна для всех, а также тех, кто, подобно Егору Тимофеевичу Померанцеву, убежден, что благополучие и счастье вполне реальны и достижимы, если даже ты живешь в сумасшедшем доме, жизнь в котором так живо напоминает жизнь нормальную в нормальном обществе, так рельефно и причудливо с нею перекликается.

Живущие рядом, в одном реальном пространстве, Померанцев и Петров никогда не смогут понять друг друга, ибо очень уж рознятся их представления о действительности. По словам же Шопенгауэра, «мир, в котором живет каждый из нас, прежде всего зависит от того, как мы его представляем, — он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики». З С этим же связано, по мысли философа, и человеческое счастье: «Счастливыми или несчастными делает нас не то, каковы вещи в объективной действительности, а то, какими они являются нам в нашем представлении». З

Абсолютно все, что окружает Петрова, — от самых близких людей, в которых он подозревает врагов, до осеннего «холодного неба с бледно-серыми облаками» — вызывает в душе его острые приступы тоски. И своеобразным контрастом этим чувствам и настроениям выступают поведение и поступки Егора Тимофеевича. «Петров лег на постель, и тоска, как живая, легла ему на грудь, впилась в сердце и замерла (...) Со стороны катка приносился сквозь двойные рамы беспечный хохот. Это Егор Тимофеевич пускал в луже кораблики на парусах и гоготал от удовольствия» (С. 84).

Однако есть что-то, связанное с общим неблагополучием в жизни человека, что способно заронить грусть в сердце даже такого неисправимого оптимиста, как Егор Тимофеевич. Так, сначала он забегал в комнату, где лежал умерший Петров, чтобы «полюбоваться на него», и «чувствовал себя таким же важным и интересным, как сам покойник» (С. 95), а спустя некоторое время спрашивал у Николая Чудотворца, посетившего

<sup>13</sup> Шопенгауэр А. Избр. произв. С. 191.

<sup>14</sup> Там же. С. 200.

его, «отчего вот тут, в груди, под сердцем, бывает иногда так тяжело, так тяжело», на что тот ответил: «Нельзя же сидеть в сумасшедшем доме и не поскучать порою» (С. 98).

В своем рассказе, получившем название «Призраки», Андреев стремился показать, как много в жизни человека неясного, непонятного, призрачного, иллюзорного. Все это порождает неразбериху в человеческих отношениях, непонимание, отчужденность и одиночество. Мы видим, что не слышат и не понимают друг друга не только пациенты лечебницы. Совсем не чувствует к себе особого отношения со стороны Марии Астафьевны доктор Шевырев, хотя она почти открыто заявляет о своей большой любви к нему. А эта любовь, чувство само по себе прекрасное, пробуждает в ее душе несвойственный ей эгоизм, нечуткость. Она совсем не думает и не помнит об умершем Петрове, гроб с телом которого стоит в комнате, хотя не только человеческий, но и профессиональный долг требовали того. Она вся во власти счастливого настроения, вызванного тем, что доктор Шевырев, в связи со смертью Петрова, не поехал, как обычно, в ресторан «Вавилон».

Нет простого человеческого понимания даже у близких родственников Петрова. Понятно, когда душевнобольному Петрову грезилось, что его мать в стане врагов, но она не встречает сострадания и у старшего сына, известного писателя: он с раздражением слушает ее горестные излияния по поводу болезни и смерти младшенького. Нет в его душе столь естественного горя по поводу смерти брата, он все продолжает спорить с ним и далек от понимания, что же так сильно беспокоило и мучило того и довело до смертельной болезни.

Иными словами, все живут как-то вразброд, каждый со своей проблемой, идеей или страстью, со своей фантазией или иллюзией. За всем этим просматривается стремление человека преодолеть тяготы и неприятности жизни, обрести покой и счастье, но в результате — разбитые мечты, разочарования и трагедии. Как писал С. Л. Франк: «Все наши страсти и сильнейшие влечения обманчиво выдают себя за что-то абсолютно важное и драгоценное для нас, сулят нам радость и успокоение, если мы добьемся их удовлетворения, и все потом (...) обнаруживают свою иллюзорность, ложность своего притязания исчерпать собою (...) через свое удовлетворение полноту и прочность нашего бытия. Отсюда неизбежное для всех людей меланхолическое, втайне глубоко и безысходно трагическое сознание... сознание обманутых надежд». 15

Мы видим, что пациентами лечебницы нередко становятся люди, которые слишком увлеклись поисками счастья, борьбой со злом или стремлением воплотить в жизнь какую-нибудь свою идею или мечту и незаметно для себя перешли допустимую грань. И доктор Шевырев, исправно посещающий ночами ресторан «Вавилон», нередко провидит здесь своих возможных пациентов. Грань эта почти невидимая и неуловимая, как и все в этой жизни: время проходит, и уже никто не докажет, да и сам ты не в силах с определенностью сказать, было это в действительности или только пригрезилось. Так было с Петровым, которого доктор встречал когда-то в ресторане. «Тогда у него была красивая подстриженная бородка; он смеялся, лил зачем-то вино в цветы и ухаживал за красивой цыганкой. И цыганки той нет. Она заболела... и куда-то исчезла. А впрочем, быть может, никогда такой цыганки и не было, и доктор смешал с нею других — кто знает» (С. 89).

<sup>15</sup> Франк С. Л. Смысл жизни // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 91.

Эти вопросы «кто знает», «было или не было», а лучше сказать, настроение неопределенности, в котором всегда присутствуют элементы грусти, заложены в содержании рассказа и определяют его тональность. Человек озабочен этой неопределенностью, она его непрестанно мучает, он хочет знать границы подлинной реальности, он желает знать наверняка, что его правда, в том числе мыслей и чувств, — правда истинная, настоящая, что в жизни и других людях он не обманулся и что есть надежда, что проживет он свою жизнь не напрасно. Однако жизнь в будничных ее проявлениях вновь и вновь разочаровывает человека, он начинает понимать, что горести и огорчения ему даны навсегда, ибо сопутствуют они ему в обоих случаях — и когда мечта оказывается недостижимой, и когда ее удается воплотить.

В этом смысле ключевой для всего рассказа следует признать сцену в ресторане, где доктор Шевырев вместе с другими посетителями слушает, как «смуглая красивая девушка поет: "Я не вправе любить и забыть не могу, И терзаюсь душой я на каждом шагу. Быть с тобою нельзя, а расстаться нет сил, — Без тебя же весь мир безнадежно уныл"... И так просто пела она... как будто рассказывала одну только правду, и все верили, что это правда. И грустно становилось, просыпалась грустная любовь к кому-то призрачному и прекрасному, и вспоминался кто-то, кого не было никогда. И все, любившие и не любившие, вздыхали и жадно глотали вино. И, глотая, чувствовали внезапно, что та прежняя трезвая жизнь была обманом и ложью, а настоящее здесь, в этих опущенных милых ресницах, в этом пожаре мыслей и чувств, в этом бокале, который хрустнул в чьих-то руках, и полилось на скатерть, как кровь, красное вино» (С. 88).

Да, все в жизни призрачно и неопределенно, реально и — нереально, неясно и приблизительно. К примеру, та же лечебница. Она стоит на опушке леса и снаружи похожа на обычную дачу, и многие люди, проходившие и проезжавшие мимо, давно привыкли к глухому забору и забыли про этот дом. И получается, что его как будто бы и нет. Легко доказать, что Егор Тимофеевич не встречался с Николаем Угодником и никуда с ним не летал. Но это вполне реальный для него мир, он в нем и для него живет, и все его мысли и чувства связаны с этим миром прежде всего. Вынести верное суждение в подобных случаях весьма сложно, ибо невольно возникает вопрос, кто и в каком душевном состоянии смотрит и что видит. Так, из трех смотревших на вечерний закат (доктор, Егор Тимофеевич и Петров) только Петров почувствовал печаль и одиночество и заметил нечто недоброе в том, что в летевшей стае галок четыре галки стали преследовать одну...

Своеобразным эпиграфом к рассказу можно было бы поставить описание огромного итальянского окна в квартире доктора Шевырева, окна, составленного из разноцветных стекол. Художественный подтекст очевиден и снова как бы отсылает нас к столь любимому Андреевым Шопенгауэру, к его мыслям о том, что «всякий замкнут в своем сознании, как в своей коже», что «все, что для человека существует и случается, непосредственно существует все-таки лишь в его сознании», и природа этого сознания «играет большую роль, чем те образы, которые в нем возникают». 16

В отсутствие доктора Мария Астафьевна «подолгу просиживала в этой комнате, рассматривая сквозь стекла знакомый и странно необыкновен-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Шопенгауэр А. Избр. произв. С. 192—193.

ный вид. Видны были небо, забор, шоссе, большая луговина и лес — и только. Но от стекол, то красных, то желтых, то синих, голубых и зеленых, все это странно менялось и, если смотреть так: быстро переходя через все стекла, — походило на очень странную музыку. А если долго смотреть через одно какое-нибудь стекло, то менялось настроение. Особенно противно было желтое: как бы хорош и ярок ни был день, оно делало его мрачным, призрачным, зловещим, угрожающим какою-то бедою, намекающим на какое-то страшное преступление. И становилось тоскливо, и не верилось, что доктор Шевырев сделает ее своею женою. Если бы не это стекло, она давно объяснилась бы с ним; и каждый раз Мария Астафьевна давала клятву не смотреть в окно, и каждый раз смотрела, пугаясь, тоскуя, не узнавая привычного, странно изменившегося вида» (С. 85).

К подобному выводу, скорее всего, и подводит рассказ «Призраки»: у каждого какое-то свое цветное стеклышко, через которое он и смотрит на все окружающее. У одного оно светло-голубого оттенка, и он, вроде Егора Тимофеевича или М. Горького, вполне благополучно и даже уютно может устроиться и в сумасшедшем доме, другой, как это было с «вечно стучащим», Петровым или Леонидом Андреевым, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет уйти от тревоги, беспокойства и тоски. Поэтому все так неуловимо, призрачно и странно в этом мире, где каждый так одинок с только ему известной правдой и очень надеется быть выслушан до того, как призовет его Всевышний.

### ЛЕОНИД АНДРЕЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ АННЫ ИВАНОВНЫ АНДРЕЕВОЙ

(ПУБЛИКАЦИЯ Л. Н. КЕН)

Анна Ивановна Андреева (1878—1953) — невестка Леонида Николаевича Андреева была поочередно замужем за двумя его братьями: сначала за Павлом, потом за Андреем. От первого брака у нее была дочь Ларисса (так!) Павловна (1904—1951), от второго — Ирина Андреевна (1912—1980).

До конца своих дней А. И. Андреева бережно хранила автограф Леонида Андреева как память о добрых отношениях в «дружной, сплоченной крепкой любовью» семье Андреевых. Вот его текст:

«Божественный Анн Иваныч!

Если можешь, приходи нынче вечером начисто переписывать Океан. Очень тороплюсь.

Бывший алкоголик, а нынче инфлуэнтик.

Леонидочка»1

Судьба не была милостивой к А. И. Андреевой. Ушел в армию Колчака и не вернулся муж Андрей Николаевич. Умер Леонид Николаевич Андреев. Растить дочерей некоторое время помогал Павел Николаевич Андреев. В 1923 году не стало и его. Голод, нужда, болезни — ничто не обошло стороной семью Анны Ивановны. Временами жизнь как бы налаживалась: дочери вышли замуж, в 1933 году появился первый

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В 1995 году младший внук Анны Ивановны Александр Серафимович Вагин (1946—1995) подарил автограф Л. Н. Андреева Выборгскому краеведческому музею.

Л. Н. Кен

внук — Даниил. В 40-х годах родились еще внуки: Ксения, Николай, Александр. Анна Ивановна жила в семье младшей дочери Ирины Андреевны и ее мужа Серафима Петровича Вагина в обычной ленинградской коммунальной квартире. В дневниковых записях этих лет Анна Ивановна горестно повествует о новых и новых бедах, которые стали уделом ее самой и бесконечно дорогих ей людей.

Через все трагические годы А. И. Андреева пронесла память об ушедших, о том, какой была семья при Л. Н. Андрееве, сохранила в себе и постаралась воспитать в близких сознание уникальности той «глубокой привязанности сердца», которую она считала «родовой чертой андреевской семьи». Она оказалась из числа тех удивительных людей, благодаря которым сегодня мы можем говорить о живой преемственности, о неизбывности традиций русской интеллигенции.

В 20-е годы А. И. Андреева написала воспоминания о Леониде Андрееве. По словам ее внука А. С. Вагина, эти воспоминания несколько раз уточнялись, редактировались, отдельные фрагменты заново переписывались; никогда не публиковались. В год столетия со дня рождения Леонида Андреева с ними познакомился старший сын писателя Вадим Леонидович Андреев. В письме к А. С. Вагину от 21 октября 1971 года В. Л. Андреев, в частности, писал: «С огромным интересом прочел воспоминания Анны Ивановны. Написаны они хорошо, благородно. Прекрасно о бабушке». 3

Записки А. И. Андреевой отличают естественность интонаций, деликатность, чувство меры. Рассказывая об укладе андреевской семьи в разное время, она не только фиксирует непривычное, но особенное принимает как свое, делает это без видимых усилий, однажды и навсегда, вероятно, осознав масштабы личности главного Андреева. При этом, пишет ли она о встрече с Леонидом Николаевичем на подмосковной даче в Бутово, или рассказывает о том, с каким мальчишеским азартом братья играли во взятие снежной крепости, или описывает интерьеры дома в Ваммельсуу, — сама почти всегда остается в тени, никогда не давая даже повода для упреков в нескромности. Более других Анне Ивановне удались страницы, где идет речь о горестных событиях в семье. Такие эпизоды отмечены особой точностью интонаций, эмоциональной выразительностью, передающими неподдельное сострадание.

При чтении некоторых фрагментов записок обращает на себя внимание их литературная сделанность, некая стилизация под Андреева, скорее всего стихийная. Это еще один пример поразительного порабощающего влияния личности, таланта Леонида Андреева на окружение, воздействия почти той же силы и определенности, которое испытали все члены семьи — среди них и его старший сын. «Безраздельная власть отца надо мной была мне приятна и радостна, — пишет В. Л. Андреев в повести «Детство». — Его незримым присутствием были полны все мои мысли. Прежде чем что-нибудь сделать, я думал о том, как отнесется к этому отец, я был счастлив, когда моя мысль совпадала с его мыслью. Потеряв свое "я" и радуясь этой потере, я смотрел на весь мир глазами отца». 4

Среди записок Анны Ивановны есть страницы, над которыми она

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Архив А. И. Андреевой находится в семье ее внука А. С. Вагина, сына И. А. Андреевой и С. П. Вагина. Один из черновых автографов воспоминаний о Л. Андрееве в 1975 году семьей Андреевых—Вагиных был передан на хранение в Орловский государственный литературный музей И. С. Тургенева (ОГЛМТ. Ф. 12. Оп. 1. № 197).

<sup>3</sup> Домашний архив Андреевых—Вагиных.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Андреев В.* Детство. М., 1963. С. 237.

особенно тщательно работала, — в первую очередь это повествование о болезни матери Леонида Андреева Анастасии Николаевны и о ее смерти. Сохранилось три варианта этих воспоминаний: первый и второй могут быть датированы 20-ми годами, третий — по почерку, качеству бумаги, цвету чернил — скорее всего писался в конце 40-х—начале 50-х годов, после возвращения из эвакуации.

Между вариантами нет фактических расхождений, противоречий. Их главное отличие в расстановке акцентов и повествовательной манере. В первом тексте большое место занимал рассказ о безмерной тоске матери, не примирившейся со смертью сына, об ее одиноком служении его памяти в заброшенном доме. Второй вариант эмоционально сдержаннее, суше, в нем меньше риторики. В третьем — о горе Анастасии Николаевны говорится мало, зато обстоятельно, с обилием деталей рассказано о ее тяжелой болезни, о переживаниях Леонида Николаевича и о собственной роли в спасении матери.

Объяснений тексту поздней редакции может быть несколько. Во-первых, в 1925 году в журнале «Россия» был опубликован очерк Риммы Николаевны Андреевой «Мать Леонида Андреева». В Тема страданий Анастасии Николаевны после смерти сына этим очерком в какой-то мере исчерпывалась — во всяком случае, Анна Ивановна могла решить для себя именно так.

Второе, в 1930 году появились обширные воспоминания Веры Евгеньевны Беклемишевой, где она как бы мимоходом упоминает о воспалении легких, которое перенесла Анастасия Николаевна, и о желании Леонида Николаевича («уговаривал меня»), чтобы Вера Евгеньевна, уезжавшая в относительно благополучную Мстеру Владимирской губернии, взяла его мать с собой. В. Е. Беклемишева ответила отказом: «Я боялась везти в теплушке только что оправившуюся от тяжелой болезни старую женщину и откровенно сказала ему об этом». О Эти равнодушные слова могли больно задеть Анну Ивановну, и, внутренне не принимая такую отстраненность, она захотела рассказать всю правду. В том числе и о себе.

Самоотверженность Анны Ивановны в дни болезни Анастасии Николаевны подтверждается письмом Л. Н. Андреева от 15 марта 1918 года, в котором он, полагаясь на невестку как на «человека разумного», просит именно ее «спокойно и тихонько, не раздражая», ласково «убедить и уверить» мамашу остаться в городе до полного выздоровления. 11 Когда же Анастасия Николаевна, наконец, получила возможность уехать к сыну в Ваммельсуу, перед отъездом она написала своей спасительнице очень характерное для ее манеры письмо (написание слов и пунктуация по автографу):

«Милая Аня прости меня когда ты приходила я была не вдухи и вместа благодарности кожецо расердилась Я не когда не забуду того что ты зделала для меня ты первая принела участья ты созвала консилиум ты Леониду написала и ходила за мной как хорошая дочь за матирью

<sup>5</sup> ОГЛМТ. Ф. 12. Оп. 1. № 197.

<sup>6</sup> Домашний архив Андреевых-Вагиных.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Россия. 1925. № 4(13). С. 238—241.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> В. Е. Беклемишева (1881—1944) — жена С. Ю. Копельмана, главного редактора издательства «Шиповник».

<sup>10</sup> Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 275.

<sup>11</sup> Андреев Леонид. S. O. S.: Дневник. Письма. Статьи и интервью; Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.; СПб., 1994. С. 219.

Л. Н. Кен

седела около меня по целым ночам без сна я все помню и все знаю чем я обязана тебе своим спасеньем скорой помощи Спасибо тебе моя дорогая Я виновато во многом перед тобой но я не злая Я скоро все забываю случалось вовремя моей болезни я обижала тебя прости старой все такой гадкой ворчуньи

Целую крепко дай Бог тебе здоровья и счастья с твоими детьми моими внуками Да бобка плохая ну что делать сама жевет у сына Своего нечего нет ноньче уежаю Я всем говорю что я от тебя за всю нашу жизнь не слыхала слово нето что грубово но дажи на мека нато хотя ты от меня и много слышала что значит хорошая воспитанья желаю и внучкам моим тогоже

#### Целую тебя крепка

Ларису Ирину мать А. Андреева Бабка тоже». 12

Воспоминания А. И. Андреевой публикуются по автографам из домашнего архива Андреевых—Вагиных.

Только что появились в печати первые рассказы Леонида Андреева. В провинции, на далеком юге, где я жила, в кружках учащейся молодежи они были набатом.

Протяжно, глухо звучит колокол, чувствуешь тревогу, но не можешь еще понять, в чем она.

По рассказам заинтересовывала и личность писателя.

И вот судьба привела меня в семью Андреевых.

Поезд подходит к подмосковной станции Бутово. Из черноты августовской ночи выплывают редкие огоньки платформы. На станции нас неожиданно встречает Леонид Николаевич. Он в темной поддевке; бледное, красивое лицо. Встречаемся с ним взглядом. Глаза его печальны и строги — он смотрит внимательно, точно изучает. Но вдруг губы трогает чудесная улыбка — и сразу лицо становится другим.

. Знакомимся.

Так же быстро, как подошел к нам, Л. Н. уходит, уводя нас за собой. Кажется мгновение встречи прошло, ее и не было, и только глаза его, в которые пришлось заглянуть, оставили то же чувство неясной тревоги.

Сойдя с платформы, мы разом проваливаемся во тьму. Идем робко, оступаясь, отстраняя руками кустарник, который бьет нас по плечам. Но Л. Н. шагает уверенно и быстро, видимо, он не раз ходил здесь в темноте.

Приходим на дачу обычного типа подмосковных дач «с мебелью». Грязноватые обои, кресла, неустойчивые настолько, что их страшно отодвинуть от стены. На всей обстановке дачи, каждое лето меняющей своих жильцов, лежат следы затасканности, и меня после нарядного юга это поражает.

В столовой нас встречает мать.

Насколько темны и печальны глаза ее сына, настолько ясны, чисты и прекрасны, ласковы и лучисты глаза его матери. В то время она пережила

<sup>12</sup> ОГЛМТ. Ф. 12. Оп. 1. № 432.

уже много горя: одиночество и тяжесть вдовьей доли (детей было шестеро у нее), нищету, тревогу за Л. Н., его пьянство, попытки к самоубийству — и несмотря на это, глаза ее сохранили ясность и чистоту почти детскую. И во всей ее фигуре, в добром, открытом лице, которое в юности должно было быть красивым, были ласка и приветливость.

За обедом, очень скудно сервированным, Л. Н. шутил. Источником шуток, источником неиссякаемым, как часто и потом, служила его мать: ее гениальная способность спутывать все события, имена и факты. В умелом, очень остроумном изображении Л. Н. создавалась картина такой курьезной, невообразимой путаницы, что невозможно было не смеяться. Он находил сочувствие и поддержку в братьях; картина дополнялась, видоизменялась, малоочерченное добродушным юмором подчеркивалось, и семья смеялась самым искренним и задушевным смехом.

Мне, чужому человеку, казалось странным засмеяться. Быть может, смех обидит объекта шутки. Но когда я видела лицо матери Л. Н., обращенное к сыну — к этому самому главному мучителю и высмеивателю, и видела, сколько нежной, даже благодарной любви к нему светилось в ее серых лучистых глазах, — я поняла, что многое, с точки зрения обыденного, здесь не имело места.

Точно не в Москве, а в далекой провинции лежат тихие улицы Грузин... Ничто не напоминает большого города. Езды в переулках почти нет, и когда надолго ложится белая пелена снега — заглушаются последние звуки улицы.

Тишину эту любит Л. Н.

Здесь близко и «за город», куда он уходит гулять на много часов.

Позади дома небольшой садик, обнесенный высокой стеной. Здесь зимой братом Л. Н. Андреем воздвигается из снега высокая башня с отверстиями, как в бойницах.

Когда башня готова, начинается игра. Андрей забирается в башню, а снаружи его атакуют снежками Л. Н. с братом Павлом. Л. Н. очень увлекается этой игрой и часто лезет на приступ, срываясь и зарываясь выше колен.

Шумный обычно дом Л. Н. — без гостей.

В больнице умерла сестра его, Зина. Тревожась за мать, которая едва не сошла с ума от горя, переживая всю боль первой утраты (эта смерть первой вошла в дружную, сплоченную крепкой любовью семью), Л. Н. наружно спокоен. Он велел зажечь все лампы на стенах и столах и, не ложась спать, всю ночь проходил по зале, говоря то с одним, то с другим из своих близких.

Темой разговора было то, что вошло сейчас в семью и стояло здесь между всеми — смерть... И так странно жуток был сияющий огнями дом в пустынном переулке.

Точно был праздник в доме; точно на праздник ждали кого-то...

Спокоен, точно думая успокоить этим и мать и родных, Л. Н. оставался и во время похорон. И только, когда уже опускали гроб — он не вынес... Мучительно было видеть последнее прощание родных, и я отошла от могилы.

Возвращаясь к ней снова, на пустынной дорожке кладбища я встретила Л. Н. Лицо его изменилось до неузнаваемости; восковое лицо сестры было

<sup>13</sup> Андреева (в браке Тройнова) Зинаида Николаевна (1884, Орел — 1905, Москва).

<sup>6</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

Л. Н. Кен

светлее помертвевшего лица брата. И из глаз его метнулась ко мне боль, так старательно скрываемая от всякого постороннего взгляда.

Вечер. Темноватая столовая, всегда такая шумная, кажется опустевшей совершенно и надолго. Сиротливо остался на столе от вечернего чая неубранный торт.

И вся эта сервировка стола, неубранная пустая столовая создавала впечатление, что в эту пустую комнату кто-то уже не вернется.

Чувство тоски и потери.

И действительно, жена Л. Н. уже не вернулась обратно.

Оставщаяся здесь семья встретила ее гроб — и вместе маленького сына, 16 дав жизнь которому, она умерла сама.

От брата Павла, который находился при Л. Н. неотлучно последние дни болезни Александры Михайловны, пришла телеграмма: «Шура умерла. Леонид спокоен». Умирала она долго. Операция за операцией ликвидировали местные заражения крови, пока общее заражение не убило организма.

«Леонид спокоен».

И только ночью, когда он один оставался с братом, он предавался отчаянию. Он сразу распахивал дверь в опустевшую комнату и кричал: «Шура! Шура!»

«От зова его, — писал Павел Николаевич, — кровь холодеет в сердце».

И дальше звучит робкий упрек измучившегося человека: «Как может Леонид не сдерживаться более, зная, что я готов умереть вместе с ним». Л. Н. знал это, всегда берег своих, и если не сдерживался более — как велико было его отчаяние!

Александра Михайловна была не только помощницей ему в работе — она была чутким и нежным другом. Не менее преданным другом была его мать, но она была только мать, а он потерял жену.

Он посвящает Ал. Мих. «Жизнь Человека». «Светлой памяти моего друга, моей жены отдаю эту вещь — последнюю, над которой мы работали вместе».

Больная, быть может томимая предчувствием близкой смерти, тоской о детях, которые останутся одни, — она сильно переживала глубокую и красивую печаль этой вещи. В ней она пережила с Л. Н. всю «жизнь человека» до конца...

«Как плакала Шура, — говорил потом сам Л. Н., — как плакала она над молитвой матери, молитвой отца, несчастьем Человека, проклятием Человека, смертью его».

Умерла Александра Михайловна, и кончились для Л. Н. его страницы «Жизни Человека» — «Любовь и Бедность».

...... Местечко в Финляндии<sup>17</sup> довольно глухое. С одной стороны глубокий обрыв к реке, с другой — обрыв в дикий заросший овраг.

<sup>14</sup> Андреева (урожд. Велигорская) Александра Михайловна (1881, Киев — 1906, Берлин) — первая жена Л. Андреева.

<sup>15</sup> Андреев Вадим Леонидович (1902, Москва — 1976, Женева) — старший сын Александры Михайловны и Леонида Николаевича Андреевых.

<sup>16</sup> Андреев Даниил Леонидович (1906, Берлин — 1959, Москва) — младший сын Александры Михайловны и Леонида Николаевича Андреевых.

<sup>17</sup> В финской деревушке Ваммельсуу (между Териоками и Райволой) в 1907—1908 годах Л. Андреев построил дом, в котором жил постоянно до сентября 1916 года; в него он вернулся

По ту сторону оврага — высокие сосны, они первые встречают солнце. На земле и в овраге еще тень, а верхушки сосен уже позолочены солнцем. Вижу, как на противоположную от оврага сторону взбирается Л. Н. Впереди идет громадная собака Тюха, Л. Н. позади, еще в тени. Но вдруг целый сноп лучей прорвался откуда-то и разом рассыпался по стволам, озолотил их, подкрасил нежным розовым цветом. Навстречу солнцу вышел Л. Н. Он любил солнце. Летом, ложась спать на рассвете, он редко уходил, не увидав солнца. А позже, когда у него уже была своя яхта, он уходил в шхеры и там на островах, на самом солнце, проводил целые недели.

Местечко в Финляндии глухое — пустая площадка, поле. Л. Н. строит дачу. Он весь отдается мечте создать дом по своему плану. Он находит помощника — архитектора Оль. В Архитектор угадывает мечту писателя, и создается дом. Если в жизни Андреева и его творчестве есть характер и свое, Андреевское, то Андреевское есть и в даче. «Дворец» Андреева, как писали о нем когда-то, ничем не напоминает дворец. Сколоченный из громадных бревен, окрашенный в темный цвет, облицованный местами деревянной чешуей — он производит мрачное впечатление. И только крыша его, выделяясь красной черепицей на голубой лазури неба, видна еще с реки и разбивает первое впечатление мрачности.

И внутри все так же своеобразно, тяжеловато.

В первом этаже, почти на всей площади дома — столовая. В передней стороне ее свет через дверь на террасу и мелко остекленное окно во двор.

Весь свет столовой в правой стороне через большое окно почти во всю стену. Стекло забрано мелкими рамами. Темной осенью ночь близко приникает к окну, кажется, беспрепятственно входит в комнату, быстро, призраками, заполняет ее всю. Тени бегут по углам, за столбы, за камины, под навес коридорчика, что ведет в спальню писателя, прячутся под своды.

Но задергивается суконная, до полу, занавеска на окне, и разом все меняется. Лампа над столом собирает вокруг себя свет и уют — лучи ее падают на узенький, длинный диванчик вдоль стены. К дивану ведет ступенька. Нет ночи, нет призраков.

Мебель столовой, как и других комнат, исполнена по рисункам А. А. Оль, и вся дача производит впечатление законченности.

Из столовой широкая лестница наверх в квадратную переднюю, из которой двери: в кабинет Л. Н., узенькая дверь в кабинет его второй жены Анны Ильиничны, 19 в башенную комнату, в гимнастическую. И всюду ступени. На ступени надо подниматься в кабинет Л. Н., со ступенек спускаться в кабинет Анны Ильиничны, в башенную комнату. Кабинет Л. Н. над столовой также почти во всю площадь дома. И по этому кабинету, работая, Л. Н. проходит за ночь, по его собственным словам,

в конце октября 1917 года. О доме в Ваммельсуу сохранилось немало воспоминаний— см., например: Беклемишева В. Воспоминания // Реквием. С. 195—276; Чуковский К. Люди и книги. М., 1960; Андреев В. Детство. М., 1966; Андреева Вера. Дом на Черной речке. М., 1974; Андреев Валентин. Что помню об отце // Андреевский сборник. Курск, 1975. С. 233—242; Андреев-Алексеевский Л. А. На даче у Леонида Андреева // Там же. С. 243—254.

<sup>18</sup> Оль Андрей Андреевич (1883—1958) — архитектор, второй муж сестры Л. Андреева Риммы Николаевны. Будучи еще студентом Института гражданских инженеров, выполняет первый в своей жизни заказ: по просьбе Л. Н. Андреева проектирует и строит загородный дом. Андреева и Оля связывали многолетние дружеские отношения.

<sup>19</sup> Андреева (урожд. Денисевич, в первом браке Карницкая) Анна (Матильда) Ильинична (1885—1948) — вторая жена Л. Андреева. Мать Саввы, Веры и Валентина. В семье жила также дочь Анны Ильиничны от первого брака — Нина Карницкая.

верст до десяти. Весь пол кабинета устлан сукном, суконная драпировка на двери на верхнюю террасу, драпировкой же отделяется кабинет от рядом находящейся библиотеки: двери в библиотеку нет — только широкая драпировка. И в кабинете, как в столовой, весь свет в правой стороне; окна квадратные, без переплетов рам, близко расположены друг к другу — точно окна экспресса. И вид на заросший обрыв на реке, откуда на рассвете поднимаются туманы, и на далекие хатки финнов усиливает впечатление пейзажа из окна вагона.

Правая сторона кабинета, где Л. Н. проводит время, — письменный стол, пишущая машинка, библиотека; левая сторона в полусвете. В этой стороне, от двери налево, по стене высится очень большой камин. Он настолько велик, что надо стать на ступеньку, чтобы поставить на камин свечу. За камином в уютном уголке стоит круглый стол с деревянным диваном. Над диваном — портрет больного Толстого, писанный Л. Н. пастелью и задернутый шелковой занавеской. В шкафах, по обе стороны двери, выходящей на террасу, на многочисленных полках собраны в порядке однотонные и цветные стереоскопические фотографии. В этой стороне кабинета, за круглым столом, поздно ночью, чтобы не беспокоить прислугу, устраивается чай для собравшихся в кабинете. На приступок камина ставится кипящий самовар (тут же в совочке уголь и в кувшине вода, чтобы поддерживать самовар сколько угодно), на столе и тут же на приступочке все, что полагается к чаю. Пьют чай по разным местам обширного кабинета: и тут у стола, и за другим столиком — у большого дивана. Тот диван занимает почти весь простенок направо от двери и до самой библиотеки. Во всякой другой комнате, не такой обширной, как кабинет Л. Н., он давил бы своей мягкой громадой, но здесь он связан с общей громадностью: с тяжестью деревянного свода над головой, с общей тяжестью всей мебели. Кресла и столы трудно сдвинуть с места — они точно привинчены. У дивана почти во всю ширину стены рисунки Л. Н. из Гойи, углем на сером картоне. На темном фоне гойевской чертовщины белеет маленькое распятие. Если столовая поражает своей оригинальностью, то кабинет еще больше носит характер своеобразной красоты. И весь этот дом — мрачный, разумного уюта — одухотворен присутствием Л. Н. Дом настолько жив, живы даже мертвые вещи — камины, мебель; душа Л. Н. живет во всем, ее видишь, осязаешь.

В кабинете горит на камине еврейский семисвечник. В другой стороне, на столе Л. Н., — лампа. Весь кабинет — в полутьме. Семья и близкие собрались после ужина в кабинет.

В граммофоне чистого звука кантор Сиротта поет еврейские псалмы. Звучит рыдание изгнанника о потерянной земле. Забывается и отходит далеко удобство и окружающая красота, чувствуешь большую, неизбывную печаль человеческой жизни. Рыдает, жалуясь, голос и щемит сердце. И вдруг сразу в красивые звуки врывается диссонанс. Дикой фальшью звуков шарманщика из «Анатэмы» 20 беспощадно режет ухо. Это Л. Н. переводит винтик граммофона, то повышая, то медленно понижая тон.

Стоящая за спиной тень приблизилась снова — Л. Н. пьет. Анна Ильинична за границей. На даче только мать и я. Общительный всегда, в эти дни он особенно ищет собеседника и совершенно не может остаться один. Обычно всю тяжесть его пьяных дней делил с ним брат его, Павел

 $<sup>^{20}</sup>$  «Анатэма» — пьеса Л. Андреева. Премьера на сцене МХТ состоялась 2 октября 1909 года. Шарманщика играл Н. Ф. Балиев. Музыку к спектаклю написал И. А. Сац.

Николаевич. Имея и за своей спиной того же страшного врага, он в дни пьянства Л. Н. не прикасался к вину. Но теперь на даче только я одна, и все дни я с ним. У него нет дня и ночи. Он не ложится спать, даже не ложится отдохнуть. Боясь уснуть — боится отрезвления. Он медленно пьет круглые сутки или коньяк, или вино, не мешая одного с другим. И в то время как в доме обыкновенно не бывает вина — теперь нарочный несколько раз посылается в город, ч(то)б не было недостатка в вине. Л. Н. не в состоянии остановить никто. И если кто-нибудь мог отодвинуть минуту запоя, — запившего остановить его не мог никто. И пока он будет пить — должно быть вино. Вся жизнь в доме нарушается. Семья не собирается к общему столу; а если есть кто-либо из своих — за столом царит тяжелое молчание. Мать запирается в своей комнате — тоскует и плачет. На весь дом ложится траур.

Помню в эти дни пьяного бодрствования Л. Н. рассказывал мне: «Когда я умер». Как трауром одевается земля. Мягкие складки черного сукна падают с башни его дачи — стелятся дальше вниз, идут к реке — одевают землю. Трауром одевается вся земля, земля плачет об угасшей человеческой жизни.

Охмелевшей была его голова, но талант творить не угасал. Ясно развертывалась перед глазами картина тяжелой утраты и было больно сердцу. И со всей силой его одного изобразительного таланта вырастали перед глазами картины невознаградимой утраты.

Л. Н. пьет третьи сутки. Он ходит, говорит, все время в движении. Он устал — но лечь не хочет. В борьбе с самим собой чувствуется сильное нервное напряжение. И ни на минуту не замирает в нем сознание своего «я». Я возвращаюсь с ним из сада, поднимаюсь по лестнице наверх, в кабинет. В передней Л. Н. останавливается у стола. Бледное лицо измучено, на лбу капельки пота. Я беру платок из кармана его куртки и тихонько отираю ему лицо. «Меня, такого гадкого, ты любишь». Ведь я живу в их семье уже много лет и знаю его и люблю как писателя и человека — и он знает это.

Самыми страшными днями Л. Н. были дни отрезвления — возвращения к жизни и людям. Он пить переставал, но не выходил еще из комнаты — к нему входила только мать. Первый его выход к общему столу был тяжелым для всех, кто знал его душевное состояние. Грань отчуждения стояла между ним и всеми живущими. Он ни с кем не говорил — траур еще лежал в доме. Тягостное, давящее молчание нарушал только Павел Николаевич. Сначала резко, фальшью звучали слова о постороннем — как слова о постороннем над гробом умершего. Но врожденная деликатность Пав. Ник., его нежная любовь к брату и боль за него находили верные пути к замкнувшейся, сурово настороженной душе Л. Н. К концу обеда Л. Н. начинал разговаривать — грань отчуждения уже была разбита.

Большую деликатность и чуткость брата Павла Л. Ник. очень ценил, он называл брата ласково: «Пашетта», «князь».

Ночная работа была обычной для Л. Н. Отужинав, семья разошлась спать. Я ухожу с Л. Н. наверх, в кабинет, — у нас предстоит работа, которая так сильно увлекает и его и меня, — фотография. Он только что купил большой увеличительный фотографический аппарат, и мы увеличиваем снимки. Но перед работой Л. Н. должен еще выпить стакан чаю, который он уносит к себе из столовой в кабинет. В глубоком деревянном кресле с высокой спинкой Л. Н. сидит в своей любимой позе — нога на

Л. Н. Кен

ногу. Абажур от лампы затемняет лицо, мягкий свет ложится на бархат его черной куртки — рукав. Правая рука, несколько искривленная шрамом на ладони, играет белым костяным ножичком. Я сижу напротив. Он читает вслух Библию, которую любит. Песнь песней Соломона никогда не переставала увлекать его.

Сейчас он читает Екклезиаста.

«Суета сует, — сказал Екклезиаст, — суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Род проходит и род приходит — и земля пребывает вовеки... И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа; потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает знания — умножает скорбь...»

И, кажется, не слова Екклезиаста, написанные много веков назад, я слышу, а слова самого Л. Н. — так близко это тому, что чувствует он сам. И читает дальше. «Кто находится между живыми — тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву... Итак, иди, ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей».

И в этом Л. Н. Он любил движение и жизнь. Любил радость и солнечность дней и отсчитывал их, уходящие.

Положение дел в начале 1918 г. в андреевской семье было следующее. Леонид с детьми, женой и матерью безвыездно, как уже и раньше в течение многих лет, жил в Финляндии, в своей зимней даче. Римма с детьми жила в Ленинграде,<sup>21</sup> на Аптекарском, но в это время она от жуткого голода, который был в это время в Ленинграде, увезла детей в провинцию. В ее пустой квартире жил Павел Никол.; я с детьми и няней жила на Петроградской стороне, кажется, на Плуталовой улице. Вдруг в один из ненастных, холодных дней ко мне пришел Пав. Ник. и сказал, что мать — Анастасия Никол. приехала из Финляндии, приехала больная в квартиру Риммы. «Риммы нет — что делать». Прийдя к Анаст. Никол., я нашла ее в очень плохом состоянии — видно было, что она очень тяжело больна. Вызвала доктора — он нашел воспаление легкого и состояние больной тяжелым. Чтобы лучше выяснить положение больной, я быстро созвала консилиум. Положение тяжелое больной подтвердил консилиум. Нужно было, не пугая, вызвать Леонида, что я и сделала. Он приехал немедленно. Мать лежала в комнате ногами к двери; ч(то)б не испугать ее своим появлением сразу, Леонид вошел в комнату, не останавливаясь у кровати матери, он медленно прошел через всю ее комнату до противоположного окна и оттуда тихо подошел к матери. Поговорив с докторами, он узнал, что уверенности в ее выздоровлении нет. Он остался в городе — в соседней комнате, где лежала больная, он в тревоге проводил все ночи и не знаю, спал ли он. Войти к нему в комнату я боялась — если мне случалось войти, Леонид быстро поднимал голову и в глазах его стоял вопрос: «конец?» Ч(то)б успокоить сразу, я еще с порога говорила: «Леонидочка, когда доктор хотел приехать завтра? Позвони, чтобы он приехал пораньше — лекарство надо раньше — то кончилось». Отходил страх, значит, еще не конец, значит, еще есть надежда. Долго тянулась болезнь — я ушла из дому к больной с первого

<sup>21</sup> В раннем варианте А. И. Андреева пишет: «1918 год. Мать Л. Н. приехала в Петроград и остановилась в опустевшей квартире дочери».

дня ее болезни, бросив детей на няню. У меня не было дней — все время я сидела в кресле у ее кровати — в темной комнате — шторы на окнах были спущены от холода, радиаторы лопнули и под ними замерзла вода. Есть было нечего. Я не помню, что я ела это время, — возможно, ничего. Потом приехала Анна Ильинична — находили что-либо дать перекусить больной; заходила изредка Вера Евгеньевна Беклемишева, которую так не любила Анаст. Ник., Римма, Павел, п(отому) ч(то) хуже всякого слепня она втиралась в семью, примазывалась к Леониду, надо сказать по правде, совершенно безрезультатно — приязни своей Леонид ей не дарил, хотя она потом в воспоминаниях о нем говорила другое. Приходя, она приносила иногда горсточку чернослива больной. Леонид и за это был благодарен. Говорил ей много добрых слов обо мне — ведь я была эти дни Ангелом хранителем его матери, я не оставила ее ни на один день, ни на один час. Вера Евг. спрашивала Леонида, как он потом сам говорил мне: «Почему Вы не только терпите, но еще так хорошо относитесь к такому аморальному человеку? » <sup>22</sup> Леонид ответил: «Этот аморальный человек — человек исключительной доброты».

Когда матери стало лучше, я собралась уйти навестить детей — я ведь не знала так долго, как справляется с ними няня. Л. подошел ко мне: «Ты уходишь?» Он ничего не спросил больше, но я видела такой страх у него в глазах, что я брошу больную, что я постаралась скорей его успокоить: «Я только зайду навестить детей — и сейчас же вернусь». И я возвращалась немедленно и оставалась с Анаст. Ник. до ее полного выздоровления. Она выздоровела, но лучше бы она умерла тогда. Потом, когда умер Леонид, она не умерла, а погибла. Одна — сообщения с Финляндией уже не было, — в тоске по Римме, Павлу, которые остались в России и не могли приехать к ней, которых она звала, и письма не доходили, она умерла неизвестной смертью. Жила она в маленьком домике рядом с большой дачей Леонида, теперь уже пустой и мертвой, — и ее одним утром соседи нашли мертвой, лежащей у порога. Как умерла она — никто не знает. 23

<sup>22</sup> Вероятно, В. Е. Беклемишевой трудно было понять не вполне обычную ситуацию в семье Андреевых: Анна Ивановна сначала вступила в брак с Павлом Николаевичем, потом стала женой Андрея Николаевича, при этом между братьями сохранялись добрые отношения, а Леонид Николаевич давал невестке ласковые прозвища, в шутку называл ее «братской могилой».

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Анастасия Николаевна Андреева умерла 2 декабря 1920 года. В очерке «Мать Леонида Андреева» Р. Н. Андреева пишет о ее смерти чуть более подробно: «По заявлению врача, она скончалась от разрыва сердца в 5 часов. Только непонятно, почему на шее были следы, как будто ее душили, может быть, она сама боролась с удушьем, хватала себя за горло. Бог знает...» (Россия. 1925. № 4. С. 241).

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. Е. Мясоедова

#### РУКОЮ ГРИБОЕДОВА

После подписания Туркманчайского мира для большинства современников, в том числе и П. А. Вяземского, стало очевидно, что именно А. С. Грибоедов «был главным тружеником мира: во-первых, сто раз умнее других, да и знал народ персидский». 1. Однако уже в марте 1829 года, после трагической гибели русского посольства в Тегеране и искупительной миссии Хосров-Мирзы, основным результатом которой явилась официальная версия о том, что сам Грибоедов виноват в происшелших событиях, а также в свете последующей карьеры И. Ф. Паскевича стало утверждаться мнение, наиболее ярко прозвучавшее в записках Д. В. Давыдова, о том, что «Грибоедов, невзирая на блистательные дарования свои, никогда не принадлежал к числу так называемых деловых людей». Защищая Грибоедова от обвинений Д. В. Давыдова, Д. А. Смирнов при публикации новых грибоедовских материалов писал, что ему «положительно известно то совершенно деятельное участие, которое принимал Грибоедов не только в заключении Туркманчайского договора, бывшего именно созданием Грибоедова, но и самом ходе кампании Он беспрестанно старался приводить в действие главную пружину дела — "не уважать неприятеля, который того не стоит". Движение к Аббас-Абаду, даже самой Эривани, было следствием личных самых убедительных настояний Грибоедова. Во время этой войны явились во всем блеске его огромные дарования, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному, сложному, требующему больших соображений . 3

Предлагаемые ныне к публикации материалы позволяют убедиться в том, что Д. А. Смирнов был предельно точен в оценке деятельности Грибоедова-дипломата. Прежде всего обратим внимание на специфику материала, хронологические рамки которого ограничиваются в основном Дей-Карганской конференцией, начавшейся 4 ноября 1827 года. Со стороны России в состав делегации входили: главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом И. Ф. Паскевич, представитель ГКИД России А. М. Обрезков, редакторы протоколов А. С. Грибоедов, А. К. Амбургер, Н. Д. Киселев, переводчики Г. М. Влангали, Аббас-Кули-ага (Бакиханов). Со стороны Персии делегацию возглавлял наследный принц Аббас-Мирза, его сопровождали: каймакам Мирза-Абул-Касим, беглер-бек Тавриза Фетх-Али-хан, статс-секретарь Мирза-Мехмет-али, переводчик Мирза-масуд и др.

Из всех обсуждавшихся на конференции вопросов два вызывали наибольшие споры. Это вопрос о территориальном размежевании (определении пограничной линии) и вопрос о выплате контрибуции России. Персидская сторона (в надежде на содействие английских дипломатов и предполагаемое скорое начало военных действий России против Турции) стремилась оговорить меньшую сумму контрибуции, получить льготные условия выплаты, подписать мирный договор и уклониться

 $<sup>^1</sup>$  Вяземский  $\Pi$ . А. Письма из Петербурга. 1828 г. // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 89.

<sup>2</sup> Давыдов Д. В. Из «Записок в России цензурой не пропущенных» // Там же. С. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Смирнов Д. А. А. С. Грибоедов. Биографические известия о Грибоедове // Беседы в Обществе любителей Российской словесности при императорском Московском университете. 1868. Вып. 2. Отд. II. С. 26 особой пагинации.

от выплаты денег, обещанных России. Со своей стороны российские дипломаты преследовали прямо противоположные цели. При этом, в отличие от либеральной позиции А. М. Обрезкова, готового пойти на уступки персидским дипломатам, т. е. подписать мир и разъехаться, Грибоедов, как известно, придерживался «жесткой линии» ведения переговоров, а именно: если внешнеполитическая обстановка уже сложилась в пользу России, то не упускать достигнутого преимущества и не подписывать мирный договор до выплаты первой части контрибуции, оставив за собой право прервать мирные переговоры и возобновить военные действия, если персидская сторона откажется выплатить условленную сумму.

Позиция Грибоедова не могла не тревожить английских дипломатов, которые со времени взятия русскими войсками Тавриза<sup>4</sup> пытались в качестве посредников оказать влияние на исход Дей-Карганских переговоров.<sup>5</sup> Российские дипломаты, имея печальный опыт содействия англичан во время подписания Гюлистанского договора в 1812 году, старались использовать английское посредничество с выгодой для себя, сохранив независимость решений и поступков. Вследствие этого после подписания Аббас-Мирзой основных положений мирного договора в Тегеран были посланы офицеры Отдельного Кавказского корпуса, сначала капитан В. Д. Вольховский, а вскоре поручик князь Кудашев, основной задачей которых было определение истинных намерений персидской стороны относительно выплаты контрибуции России.

Так как уже в декабре 1827 года стало известно, что Фет-Али-шах Каджар не принимает подписанных Аббас-Мирзой условий мирного договора и назначает Мирзу-Абуль-Хассан-хана в качестве нового уполномоченного, что практически вернуло договаривающиеся стороны к исходной точке переговоров, российская сторона прервала переговорный процесс и объявила прибывшему Мирзе-Абуль-Хассан-хану о возобновлении военных действий. Известно, что этот, котя и жесткий, но чрезвычайно эффективный ход был подсказан Паскевичу Грибоедовым. Следующий переговорный этап начался в Туркманчае практически через месяц после конференции в Дей-Каргане — 6 февраля, и на четвертый день конференции (10 февраля) был подписан Туркманчайский договор.

Публикуемые документы лишь в самой незначительной степени освещают ту «черновую» работу, которую вел Грибоедов на конференциях. Специфика предлагаемого материала состоит в том, что это записи по горячим следам событий: оперативные данные разведки, донесения агентов и курьеров, извлечения из переписки английских дипломатов, сведения, предназначенные для отправки в вышестоящие инстанции от имени Паскевича.

Весь материал условно можно разделить на четыре группы текстов. В первую вошла переписка Грибоедова с В. Д. Вольховским. Основанием для этого послужили письмо Вольховского, переведенное с дипломатического шифра Грибоедовым, и письмо Паскевича Вольховскому, написанное рукой Грибоедова. Хронологические рамки писем охватывают период с 5 декабря 1827 года по 11 января 1828 года (т. е. с начала командировки Вольховского в Тегеран до окончания переговоров в Дей-Каргане). Одной из характерных особенностей этих писем является их «секретность» (см. письмо от 8 декабря и письмо, переведенное Грибоедовым с дип-

<sup>41</sup> октября 1827 года русские войска взяли Эривань, 13 октября — Тавриз; 8 октября на Европейском театре военных действий была одержана победа русского флота в Наваринской битве.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Тавриз был резиденцией Аббас-Мирзы и местонахождением дипломатических представительств, в том числе и английской миссии.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Подробнее о Дей-Карганской конференции см.: *Шостакович С. В.* Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М., 1960. С. 119—146; *Семенов Л. С.* Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-е годы XIX в. Л., 1963; *Балаян Б. П.* Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения восточной Армении к России. Ереван, 1988.

ломатического шифра). В печати появлялись письма Вольховского за этот период, $^7$  и предлагаемые ныне к публикации входят в их корпус, внося существенные уточнения в уже известные обстоятельства.

Вторая группа — частные письма И. Ф. Паскевича к начальнику Главного штаба И. И. Дибичу, автором которых является Грибоедов. Любопытно, что Грибоедову как автору писем удалось не просто сообщить необходимую информацию, но и создать «имидж» Паскевича-полководца, что безусловно содействовало последующей успешной карьере главноуправляющего Грузией. Наиболее корректно<sup>8</sup> эту особенность деловой переписки Паскевича отметил А. Берже, подчеркнув при публикации материалов штаба Кавказского корпуса следующее: «Одно из главных достоинств бумаг, исходящих от графа Паскевича, заключается в ясном и за немногим исключением прекрасном их изложении. Сам он, как известно, до того слабо владел пером, что Грибоедов и другие не только сочиняли приказы и реляции, но даже писали частные его письма». Публикуемые ныне черновики писем, набросанных рукой Грибоедова, и присутствующая в них правка наглядно иллюстрируют процесс формирования в эпистолярном тексте образа идеального полководца, каким в реальной действительности Паскевич, разумеется, не был.

Третья группа — материалы оперативного характера: подготовительные для Паскевича (включая извлечения из переписки английских дипломатов), деловые бумаги для отправки в вышестоящие инстанции, оперативные сводки с пометами Паскевича.

В четвертую группу входят наброски дипломатических документов, на примере которых видно, как Грибоедов вырабатывал окончательные формулировки, правя писарские варианты (можно предположить, что и исходными для писаря служили его же наброски). Внесенная им правка акцентирует наиболее важные аспекты прорабатываемых вопросов, и хотя она довольно лаконична, в целом документ передает атмосферу острейшей дипломатической и политической борьбы тех дней. Читая эти материалы, невольно вспоминаешь сожаление, высказанное Пушкиным в «Путешествии в Арзрум»: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок!».

Таким образом, все предлагаемые к публикации материалы (за исключением двух писем Вольховского) относятся к рубрике «Рукою Грибоедова». Одним из первых обратил внимание на значимость для биографии Грибоедова текстов

<sup>7</sup> Частично рапорты В. Д. Вольховского опубликованы в «Актах, собранных Кавказской археографической комиссией» (Тифлис, 1878. Т. 7). Письма Вольховского к Грибоедову за 17 декабря 1827 года и 10 и 11 января 1828 года см.: Белкин Д. И. Письма В. Д. Вольховского к А. С. Грибоедову // А. С. Грибоедов. Материалы к биографии. Л., 1989. С. 146—154. К сожалению, публикация выполнена небрежно (с пропусками значительных фрагментов и неправильным прочтением некоторых слов), ее ошибки устранены в статье: Мясоедова Н. Е. Друг Пушкина — В. Дм. Вольховский // Временник Пушкинской комиссии. СПб., вып. 27. Следует также напомнить о большой публикации писем Вольховского, сделанной, хотя и со значительными сокращениями, В. Шадури (см.: Шадури В. Покровитель сосланных на Кавказ декабристов и опальных литераторов: Неизвестные материалы о лицейском друге Пушкина — В. Д. Вольховском. Тбилиси, 1979).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Наибольшей некорректностью в этом вопросе отличился Д. В. Давыдов. Вопрос этот, как видно, задевал его за живое: стоило только возникнуть возможности сопоставления А. П. Ермолова и И. Ф. Паскевича, как тут же в противоположность Ермолову Паскевич относился ∗к числу безграмотных, которому Грибоедов сочинял приказы и даже частные письма (см.: Давыдов Д. В. Воспоминания о польской войне 1831 года // Соч. СПб., 1893. Т. 2. С. 323). Доставалось при этом и самому Грибоедову: вспоминая о возвращении его в 1826 году на Кавказ после следствия по делу декабристов, Давыдов с негодованием пишет, что поведение Грибоедова ∢не могло не возбудить во всех благомыслящих людях истинного сожаления и удивления: он стал писать приказы по корпусу и сочинять частные письма для своих благодетелей (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. С. 155). При этом Давыдов не заметил, что тем самым опроверг собственное утверждение об отсутствии деловых способностей у Грибоедова.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> См. предисловие к «Актам, собранным Кавказской археографической комиссией» (Т. 7. С. 6).

подобного характера С. В. Шостакович, который не только опубликовал ряд документов, атрибутировав их как грибоедовские, но и дал большую сводку нахождения неопубликованных грибоедовских материалов в архивах. 10 Работая в РГИАЛ и Рукописном отделе ИРЛИ, нам удалось получить часть указанных С. В. Шостаковичем материалов, а часть разыскать самостоятельно. Следовательно, настоящая публикация в определенном смысле является продолжением работы, начатой С. В. Шостаковичем. Напомним, что материалы подобного рода, касающиеся Пушкина, уже 60 лет как собраны, откомментированы и опубликованы. 11 В отношении А. С. Грибоедова сбор и публикация подобных материалов только начинаются. Завершение данной работы связывается нами с усилиями всех исследователей жизни и деятельности А. С. Грибоедова.

#### І. ПЕРЕПИСКА С В. Д. ВОЛЬХОВСКИМ

1

#### Письмо В. Д. Вольховского А. С. Грибоедову

⟨5 декабря 1827 г. Туркманчай⟩¹

Любезнейший Александр Сергеевич, по троесуточном<sup>2</sup> путешествии я догнал генерала Розена<sup>3</sup> у Туркманчая и отправляюсь сейчас к Миане. До вас, без сомнения, дошли известия, какие здесь слышны по дороге: я извещал вас, что у ворот Дей-Каргана я встретил какого-то хана, ехавшего из Турции к Аббас-Мирзе. 3-го числа попался нам из Тавриза английский курьер из Тегерана; 4-го утром в Шибли караван-сарай какой-то Мамед, посланный Фетх-Али-ханом⁴ из Казбина (он же говорил, что его отправил Али-Наги-мирза<sup>5</sup>); известия, которые он о деньгах разглашает, самые благоприятные, но переводчик мой подслушал, как он говорил Назар-Али-хану, что только три курура отданы Англичанину, а на два котят дать расписку и что Али-Наги-мирза просит как можно более протянуть дела: не ручаюсь за достоверность г. Оганеса. Назар-Али-хан, как прилично доброму персиянину, торопится на словах, а по работе ленив, боится ветра и беспрестанно охает от холода. Кажется, он уже убежден, что 10-го числа мы идем вперед, и экспедиция морская весьма занимает его, ибо кроме меня несколько из наших воевод ему о ней приговаривают. Подробное описание дороги здешней получите от ..., я скажу, что она затруднительна, особенно от Тихмедата до Туркманчая (далее не знаю), по множеству грязных спусков и подъемов; перевал за каравансараем Шибли имеет трудного подъема и спуска по версте, и тут бывают часто бураны; у Унджена очень грязно. Вообще климат здесь можно сравнить с зимою Воронежской губернии: ночи очень холодные, днем бывает тепло, и метели часты. В фураже на дороге недостатка нет; в дровах тоже не будет. Если приняты будут деятельные меры, всего удобнее идти малыми переходами и не так большими частями, тогда можно будет части войска становиться по квартирам по сторонам от дороги, а обозы оставлять на оной. За сим прощайте, пора ехать.

Его высокопревосходительству $^8$  я не смел писать, не имея сообщить совершенно основательных известий.

Р. S. Борис Андреевич Фридерикс<sup>9</sup> вам кланяется, я у него пишу.

Письмо публикуется по копии, сделанной А. П. Берже и хранящейся в ИРЛИ (РЈ. Оп. 5. Ед. хр. 125).

<sup>10</sup> Шостакович С. В. Указ. соч. С. 121, 126, 145, 149, 275—276 и др.

<sup>11</sup> См.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935.

1 Датируется по содержанию и дневниковым записям Вольховского, согласно которым в Туркманчае он был 5 декабря, а 6 декабря находился уже в Миане; в письме же 4 декабря упомянуто как прошедший день.

2 Вольховский выехал из Дей-Каргана 2 декабря 1827 года, 3 декабря миновал Тавриз (при-

бытие и отъезд), 4-го ночевал в Тикмедате.

- <sup>3</sup> Розен Григорий Владимирович (1782—1841), барон генерал, впоследствии командир Кавказского корпуса (1831—1837).
  - 4 Фетх-Али-хан (беглер-бек) губернатор Тавриза, поэт.

5 Али-Наги-мирза — сын шаха.

- 6 Назар-Али-хан Авшарский мехмандарь, впоследствии, в 1828 году, сопровождал миссию Грибоедова до Тегерана.
  - 7 Подразумевается Джон Макниль, секретарь английской миссии в Персии, который высту-

пил гарантом уплаты контрибуции.

8 Паскевич Иван Федорович (1782—1856), граф Эриванский — командир Отдельного Кавказ-

ского корпуса.

<sup>9</sup> Фридерикс Борис Андреевич (1794 (?)—1874), барон — с 21 апреля 1827 года по 19 мая 1829 года командир Лейб-Эриванского Карабинерного полка, 19 мая 1829 года произведен в генерал-майоры; человек исключительной храбрости. В 1827 году — полковник.

2

#### Письмо В. Д. Вольховского А. С. Грибоедову

Занган 8-го декабря 1827 г.

Любезнейший Александр Сергеевич! Мы сюда в Занган приехали благополучно 8-го декабря и завтра отправляемся. Абдулла-мирза выслал ко мне за несколько верст навстречу свой придворный штат и приготовился принять меня, но я поехал отдохнуть на квартиру, и поэтому прием был не торжественный, но за обыкновенным вечерним селямом. Я сидел на креслах перед его высочеством и говорил все, что мне приказано.

Здесь странные вещи, о коих не смею на бумаге.

Письмо публикуется по копии, сделанной А. П. Берже и хранящейся в ИРЛИ (РJ. Оп. 5. Ед. хр. 125).

1 Абдулла-мирза — сын шаха, правитель Зангана.

3

#### Перевод с дипломатического шифра письма В. Д. Вольховского к А. С. Грибоедову (рукою Грибоедова)

(27 декабря 1827 г.—3 января 1828 г. Тегеран)<sup>1</sup>

С вчерашнего вечера дела наши приняли еще лучший оборот; есть надежда, что и вторая плата денег отсюда, вероятно, скоро будет выслана. Более сказать мне невозможно, но я полагаю, что Вы сами скоро получите известие. — Я повторяю Вам, что Вы теперь найдете способы чрез посредство Англичан иметь поруку для следующих нам сумм. Не упускайте случая. — Еще есть известия, показывающие искреннее расположение к миру: шах приказал войскам собраться в Фарее, оставаться там, а идущим из Астробада остановиться на походе, впредь до приказания.

Кажется, что и Гассан-Али-мирза<sup>2</sup> не может вредить нашим делам. — Отправление денег не производится по той только причине, что Манучер-хан<sup>3</sup> вместе с

оными должен выехать; в его доме усердно занимаются всеми приготовлениями на сей предмет.

Прилагаемый к сему рапорт таким образом писан, что если бы кто и вздумает здесь полюбопытствовать, то в нем ничего не прочтет. — Его Высокопревосходительство получит, я полагаю, два рапорта,  $\mathbb{N}$  9 и 10-й, а Вы, А $\langle$ лександр $\rangle$  С $\langle$ ергеевич $\rangle$ , два письма. — Не пренебрегайте содержанием письма моего от 26-го числа.  $^5$ 

Письмо публикуется по автографу, сделанному рукой Грибоедова и хранящемуся в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 32—33).

1 Датировка определяется датами упомянутых рапортов, № 9 за 24 декабря, № 10 за 27 декабря 1827 года. Рапорт № 12 датирован 6 января 1828 года.

<sup>2</sup> Гассан-Али-мирза — сын шаха, отличился в Хорассане, был решительным противником уплаты контрибуции. В рапорте № 10 Вольховский писал, что «Гассан-Али-мирза желает войны: он прислал самое настоятельное письмо, чтобы не отправляли отсюда денег. "Я прежде умру, — пишет он, — нежели стерплю, чтобы подать была отправлена в Тавриз" ».

<sup>3</sup> Ага-Манучер-хан, главный шахский евнух и казначей, упомянут Грибоедовым в записке «О Гилане».

4 И. Ф. Паскевич.

5 Письмо к Грибоедову за 26 декабря не сохранилось.

#### 4

#### Письмо И. Ф. Паскевича В. Д. Вольховскому, написанное А. С. Грибоедовым, с подписью И. Ф. Паскевича

Господину Гвардейского Генерального штаба капитану и кавалеру Вольховскому

Вы получите сие предписание с Английским министром г. Макдональдом. Если пять или три курура<sup>2</sup> действительно высланы из Тейрана и уже по прибытии в Казбин готовы к препровождению в российский передовой отряд, то приглашаю Ваше Высокоблагородие следовать с ними же. Если новые возникнут извороты и промедления от Персиян, то я не нахожу не только полезным, но и несогласным с достоинством Российского чиновника Ваше дальнейшее пребывание в Тейране или Казбине, ибо разрыв между нами и Персиянами уже объявлен<sup>3</sup> и, вероятно, скоро приобретет гласность в краю, в котором вы находитесь. Продолженное вами там присутствие может ободрить легкомыслие персидское, что чрез Вас они могут испросить и получить еще отсрочку или уменьшение требований в их пользу.

Впрочем, полагаю наилучшим Вашему Высокоблагородию руководствоваться с некоторою разборчивостью советами г. Макдональда как человека благонамеренного и радеющего более о мире, нежели сами Персияне, которых намерения очень скоро Вам будет иметь случай проникнуть.

Вашими донесениями я очень доволен и прошу Вас все достойное внимания, касательно дорог, положения края, духа народного, не упускать из виду с известною мне Вашею наблюдательностию.

Если Вы не только способом Англичан, но и по слухам или по извещению Вас каким-нибудь лицом, заслуживающим доверия, можете разведать, насколько Аббас-Мирза участвует или противодействует относительно упорства Шаха в неисполнении наших условий, то чрез то большую принесете пользу делам нашим в Персии.

Генерал-адъютант Паскевич.

№ 1 Января 11-го 1828 Табриз. Печатается по автографу, написанному А. С. Грибоедовым и хранящемуся в ИРЛИ (Ф.  $\frac{512}{43}$ ). Внизу подпись Паскевича.

- ¹ Джон Макдональд Киннейер (1782—1830) глава английской миссии в Иране (1826—1830). При пересылке дипломатической почты А. С. Грибоедов и В. Д. Вольховский часто использовали английских дипломатов, наряду с персидскими курьерами и русскими дипломатическими сотрудниками. Но всегда подходили к этому обдуманно. Например, посылая очередные донесения Паскевичу и Грибоедову, Вольховский в рапорте № 10 писал: «Рапорт сей, как и за № 9, отправляю через г. Макниля, но дабы не возбуждать чрез сие подозрения, я попрошу при отправлении персидского курьера принять и мой рапорт к Вашему Высокопревосходительству за № 40, содержание (его) таково, чтобы произвести впечатление на Персиян, если бы они полюбопытствовали прочесть оный».
  - 2 Курур равен 2 миллионам рублей.
  - 3 Разрыв переговоров произошел 7 января 1828 года.

#### II. ПИСЬМА И. Ф. ПАСКЕВИЧА К И. И. ДИБИЧУ,¹ СОСТАВЛЕННЫЕ А. С. ГРИБОЕДОВЫМ

1

№ 121

19 ноября 1827 года Дей-Карган

Милостивый государь граф Иван Иванович!

При нынешнем отправлении курьера я никак не могу похвастаться, чтобы [обстоятельства] негоциации уже приняли решительный оборот в нашу пользу. Толкуют, соглашаются, обещают, но легко может случиться, что переговоры вызовут еще с нашей стороны подкрепление вооруженною рукой. Я начал требованиями довольно великими, по усиленным просьбам [сбавлено] умерил их постепенно. Но много или мало, для персиян [решительно] все равно, первая мысль их, [и] господствующая в Восточной дипломатии, чтобы стараться избечься от исполнения обязанностей, на себя принятых самыми торжественными обещаниями. Статьи о денежном вознаграждении есть самые затруднительные, что давно уже у нас предвидено. Должно произвести чудеса убеждениями, угрозами, а может быть, и [делами] силою, чтобы покорить отвращение Шаха к выдаче суммы из своего сокровища. Мною выбран путь к [казне и сердцу его] достижению [нашей] сей цели самый крутой и, кажется, вернейший. Я ужаснул Его Величество первыми моими условиями [дело как будто шло о способах привести его в совершенное обнищание]. Он сам по сему случаю объявил, сколько [может] в состоянии дать по возможности. — Теперь дело в том, чтобы он устоял в своем слове к назначенному сроку, [в противно(м)] если нет, то война возобновится. Но когда он не доведет себя до этой крайности, то останется еще вопрос неразрешимый, какому прикрытию может он доверить свою казну для препровождения сюда из Тейрана, не опасаясь в то же время [измены и] предательства и [грабежа] похищения суммы от самих [сопров(ождающих)] чиновников и войск, которые ее сопровождать будут!!

Должно признаться, что это государство [не похоже ни на какое другое представлено] являет в себе нравственность самую развращенную, вероломство так обыкновенно, что недоста[нет]ет против него никаких предосторожностей. — Я еще не предоставляю Государю Императору полной картины негоциаций и их успехов и ожидаю некоторых последствий более удовлетворительных, которые поставили (бы) меня в возможность за что-нибудь ручаться с достоверностью.

Печатается по черновому автографу, написанному А. С. Грибоедовым и находящемуся в РГИАЛ (Ф. 1018. On. 2. Д. 178).

1 Дибич Иван Иванович (1785—1831), граф — начальник Главного штаба.

2

№ 140

Писано 2 генваря 1828 года.

Милостивый государь граф Иван Иванович!

Прошу Ваше Сиятельство извинить меня, что не сам пишу вам, но палец у меня распух от нарыва и это меня принуждает диктовать. Впрочем, новостей удовлетворительных на сей раз никаких нет, и ничего приятного не предвидится. Вы усмотрите из ожидаемых бумаг, в каком положении дела. Запутанность в [делах] отношении здешнего правительства. Брат восстает на брата. Шах ни под каким опасением не решается расстаться с(о) своим сокровищем, а слухи о Турецкой войне, испускаемые прежде из Константинополя, поддерживают Персидский двор в его упорстве.

Опять надлежит прибегнуть к оружию, хотя в зиму, по-здешнему довольно суровую. Говорят, что Кафланку<sup>2</sup> завален снегом и едва проходим в нынешнее время года.

Операции начнутся с правого фланга от Мараги, движением на персидское войско, расположенное около Урумийского озера. Намеченный же ход постараюсь ускорить взятием Ардебильской крепости.

[Если ничего не подействует на расположение Шаха] Есть обстоятельства, которые превосходят всякую человеческую прозорливость, и поэтому, если применяемые ныне меры в самом начале не обратят к здравому рассудку Шаха и его Совет, то рассчитывать впредь невозможно. В неустройстве здешнего [края может возникнуть сложность во всех Провинциях, одной] Государства, стоит только пошатнуть [среди] его, и тогда не будет, может быть, ни в чьей власти довольно способов, чтоб [у] восстановить [и однажды] беспорядки и смятение. Можно решительно сказать, что мы хотя неприятели, одержавшие победы, но [видом] искренним желанием мира, известного повсюду, более поддерживаем Каджаров, з нежели они сами себя.

Примите уверение в совершенном почтении и таковой же преданности, с которым(и) честь имею быть.

Печатается по черновому автографу, написанному Грибоедовым и находящемуся в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 174).

 $<sup>^1</sup>$  Вполне очевидное объяснение для начальства, почему именно не сам Паскевич пишет свои частные письма.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Горный перевал.

<sup>3</sup> Каджары — правящая династия в Персии (1798—1925).

# III. ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАПИСКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ ГРИБОЕДОВЫМ ДЛЯ ПАСКЕВИЧА ВО ВРЕМЯ ДЕЙ-КАРГАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1

№ 237

#### Список ханам, находящимся при Аббас-Мирзе

Аббас-Мирзы.

Все сии Ханы от Двора Его Шахского

Величества и находятся в почтении у

#### Каджарские

- 1. Курбан Хан
- 2. Маммад Хан
- 3. Мустафа Хан
- 4. Маммад Шериф Хан
- 5. Мирза Али Хан
- 6. Шир Маммал Хан
- 7. Маммад Вели Хан
- 8. Маммал Раим Хан

#### Авшарские

- 1. Махмад Вели Хан. Сын Авшарского беглер-бека.
- 2. Ших Али Бек-Сарханг
- 3. Назар Али Хан1
- 4. Садат Кули Хан

в ранге полковника

#### Придворные Аббас-Мирзы

- 1. Бежан Хан любимец Аббас-Мирзы и старше всех.
- 2. Усуп Хан, Начальник Персидской артиллерии.
- 3. Ибрагим Халим Хан. Сарханг.
- 4. Казим Хан
- 5. Jaia Xan
- 6. Мирза Хан

в ранге полковника

7. Ферзи бек Карабахский, который 30 лет находился в Персии.

8. Мирза баба. Доктор придворный.2

Текст печатается по автографу, написанному Грибоедовым и хранящемуся в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 294).

<sup>1</sup> Назар-Али-хан — см. раздел I, письмо 1, сн. 6.

<sup>2</sup> Мирза баба — придворный лекарь, послуживший Мориеру прототипом для главного героя романа ◆Похождения Хаджи-бабы из Испагани → В 1829 году входил в состав искупительной миссии Хосров-Мирзы.

 $\mathbf{2}$ 

№ 358

Список отличнейшим особам, находящимся при Аббас-Мирзе:

- 1. Каймакам.
- 2. Ибрагим Хан Сардар.
- 3. Мирза Маммад Али, отправляется с сыном Аббас-Мирзы к главнокомандующему.
- Ешкагаси-Маммад-(Г)усейн Хан, или Генерал-адъютант. Самые также приближенные:
- 1. Яе Хан.
- 2. Касим хан узбащи.
- 3. Бежан Хан.
- 4. Назар Али Хан.

- 5. Назар Кули Хан Каджар.
- 6. Лекарь Мирза-баба.

Здесь и далее (№ 359—363, 370, 371) текст воспроизводится по автографам Грибоедова, находящимся в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 5—28, об.).

№ 359

Октябрь 11, 12, 13-го. По прибытию в Нахичевань Фетали-хан от имени Аббас-Мирзы объявил мне, что я, не доходя до Табриза, буду встречен уполномоченными Персидскими, и по условию, между нами положенному, тотчас мне будет уплачена часть требуемой суммы, а именно [пять куруров (4 слова нрзб.) Полу-] он сказал мне, что сумма сия находится в готовности у Аббас-Мирзы и его окружающих и я могу получить ее без замедления, как залог чистосердечного расположения к миру со стороны Персидского Двора. Получив от меня для исполнения сего 10 дней срока, он мною был отпущен.

Октября 16-го. Не доходя до Маранта, я получил чрез Чидира-Хана письмо от Аббас-Мирзы, в котором, объявляя, что имел от Шаха полномочия по заключению мира, [он] просил свидания со мною, на что получил мое согласие, а до назначения дня и места я представил ему город Хой местопребыванием. Между тем о немедленной уплате денег в письме и чрез посланного его умолчено.

Октября 17-го. На половине перехода от Маранда в Собриану прибыл опять ко мне Фетали-Хан. В Нахичевани он сказал мне, что сумма миллион туманов находится в готовности у Аббас-Мирзы и его окружающих, и я могу получить ее без замедления, как залог чистосердечного расположения к миру со стороны Персидского Двора. Но в Собриане тот же Фетали-Хан извинялся, что Аббас-Мирза не имеет денег в наличности по случаю занятия [Табриза]<sup>2</sup> и должен просить и ожидать их от Шаха.

Октября 20-го. Ныне я чрез него объявляю, что местом для переговоров о мире избираю городок Шебистер, куда Аббас-Мирза приглашается для свидания со мною 27-го числа текущего месяца. Если же Е(го) В(ысочество) не прибудет туда в назначенный срок, то с моей стороны за безопасность его особы нет никакого ручательства, и город Хой будет тогда занят моим войском, [равно как и всякий другой пункт, который мне нужен будет по военным соображениям.]

Военные действия ни в коем случае не прекращаются. Только в лагере при Шебистере ручаюсь за неприкосновенность особы Аббас-Мирзы, во всяком другом месте с ним обойдутся как с неприятелем. Считая от нынешнего 20-го числа текущего месяца, дается срока 24 дни Аббас-Мирзе для отправления курьера к Е(го) В(еличеству) Шаху и для получения от него требуемой наличной суммы \*\*\*3 туман. Если сумма оная к тому времени будет получена и выдана российским уполномоченным, что прибудут к заключению мира, и рассрочится по условию взносов остальной суммы \*\*\*4 туман, а залогом до совершенной уплаты всей суммы во власти российских войск остается Адербиджанская область, притом все города, [занятые] которые нами до тех пор будут заняты. Если же к установленному времени [оная] означенная наличная сумма не будет уплачена российским уполномоченным, то переговоры в Шебистере и всякое сближение к миру прерваны. [Когда же со стороны Персии...]

<sup>1</sup> Грибоедов пишет от лица И. Ф. Паскевича.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Вместо вычеркнутого слова Паскевич написал на полях: «По случаю овладения нами Табризом».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Здесь в автографе пропуск.

<sup>4</sup> Здесь в автографе пропуск.

<sup>7</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

6-го ноября. Дей-Карган.1

Здесь есть мулла — большой друг со всеми вельможами, рассказывает следующее:

- 1) Несколько персидского войска точно собрано по ту сторону Кафланку и идет также с Хорассана. Но Аббас-Мирза писал отцу: «Дайте денег, а о войне уже не беспокойтесь, продолжать нам ее невозможно».
- 2) Из Табриза вынесено и выносят ежедневно множество ружей на носилках, как-будто мертвых хоронят.<sup>2</sup>
- 3) Эхсан-Хан взял на имя Главнокомандующего от детей пленного у нас Али-Мердон-Хана 150 червон(цев). Он же взял за освобождение пленного Касум-Хана вместе с другим переводчиком 250 черв(онцев) и лошадь, а другой, живущий с ним грузин, катера.<sup>3</sup>
- 4) Мулла же говорит, что русские просто обходятся, но умный народ, что все те, которые взяты в Тавризе под арест, точно виноваты.
- <sup>1</sup> Сбоку помета рукой Паскевича: «Написать Сакену и ко мне прислать». Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич (1789—1881) генерал-адъютант.
  - 2 Сбоку на полях помета рукой Паскевича: «Написать к Сакену».
  - <sup>3</sup> Катер мул.

#### № 361

7 ноября. Дей-Карган.

1) У Аббас-Мирзы в *Миандове* к ю(гу) от озера 3 бат(альона): Афшарский, Урумийский и Карадагский, и несколько бежавших Табризского и прочих, вновь собранных. Так говорит Мулла, а кубинский выходец только знает о 3-х бат(альонах).

Там же 8 орудий из Хои и 10 из Урумии и 8 000 куртинцев Валиа Куртинского, все сие войско под командою Эмир-Низама, Гуссейн-Хана-Сардаря и сыновей Аббас-Мирзы.

- 2) В Ардебиле гарнизон (число будет узнано) под командою Мир-Гассан-Хана Талышинского и старшего сына Аббас-Мирзы. Туда же идет войско Ираклинское, которое частью собирается возле Мианы, частию за Кафланку. От Шаха имеют повеление не щадить азербиджанцев как изменников.
- 3) Кубинец вчера слышал от людей Аббас-Мирзы, каймакамских и пр., что у Аббас-Мирзы 5 куруров готовы тотчас. Шах писал ему: «Спасайся, как можешь, из Азербиджана, хотя без мира, а если можешь, мир заключи» это писано с последним курьером.

Куб(инец) (показывая себя преданным мусульманином) спрашивал их, как Аббас-Мирза не боится быть в русских руках. Они отвечали, что жители здешние ему преданы, захочет — и русских вырежут, оттого и свидание здесь назначено, и от табризцев три раза уже прислано, что готовы взбунтоваться, только сам Аббас-Мирза не велит, боится, что после из России еще больше войска придет и разорит Персию вконец.

- 4) Мулла говорит, что прежде желали русских в Табризе, а теперь не терпят их. Причины те, что с жителей разом потребовали больше денег, чем сколько при персианах с них брали (эту меру присоветовал главнокомандующему кто-нибудь недоброжелатель русских), что со многих взяты большие деньги за освобождение важных людей, которые у нас в плену, родственники их сильно жалуются, что их главнокомандующий обманул; третья известная причина неуверенность, будут ли принадлежать нам.
  - 5) Главный зачинщик беспокойств в Табризе Ага-Керим, который теперь

сидит под караулом; если бы не взяли его, то уже стреляли бы против русских в городе.<sup>1</sup>

- 6) Есть общество *Пути баши* (молодцы, молодые люди), которые поклялись в Табризе при первом ободрении Аббас-Мирзы изменнически губить русских. Из них 30 человек составляют шайку под ве́дением какого-то *Казыма* или Газыма; они условились красть казну и лошадей у русских, и если где в глухом месте наткнется на них солдат, то убить его.<sup>2</sup>
  - 1 Сбоку рукою Паскевича помета: «Послать Сакену, чтобы весьма смотрели за Ага-Керим».
  - <sup>2</sup> Сбоку помета Паскевича: «Смотреть за ними».

#### № 362

9-го ноября. Дей-Карган.

- 1) Вчера прибыл в Шахсевенец курьер к Аббас-Мирзе из Ардебиля. Там гарнизон, по его словам, ничего не значащий: Мир-Гассан-Хан со своими талышинцами, которые имеют повеление при появлении русских тотчас оставить крепость и удалиться в Ирак.
- 2) Кубинец наш наверное узнал о числе войск в Миандове, там всего пехоты и конницы до 4 т/ысяч).
- 3) В Урумии есть человек, очень нам преданный: Лутф-Али-Хан, который тотчас готов принять нашу сторону и служить нам.
- 4) Марагинский Джафар-Кули-Хан получил два ракама (предписания) от Аббас-Мирзы, где он одобрял все его поведение с нами. Показывал ли он их Вашему Высокопревосходительству??

#### № 363

10 ноября. Дей-Карган.

Кубинец и Гуссейн-Бек узнали следующее:

- 1) Аббас-Мирза соо своими положил, что русские спешат заключить мир, потому что дела их с Турциею сего требуют.
- 2) Они хотят непременно, чтобы сбавить требования наши до 8 курур, за тремя высылают тотчас в Тейран, за 5 должен поручиться Английский посланник, а для 7 остальных поедет сын Аббас-Мирзы в Петербург, чтобы просить Государя об уничтожении платежа. 1
- $^1$  Из пункта 2 видно, что 10 ноября сумма контрибуции была определена российской стороной в 15 курур туманов; впоследствии она была сбавлена до 10 курур.

#### № 370

#### Известие 16 числа.

- 1. Посланный от Аббас-Мирзы курьер в Тейран к Шаху, Усмин-Али-бек, рассказывает, что по прибытии его туда Шах с большим страхом спрашивал: «Идут ли войска русские сюда?» и когда сей отвечал, что нет, то он успокоился.
- 2. Пять курур точно везут, только Шах хочет, чтобы каким-нибудь образом трех курур не отдавать; Фетали-Хан обещал ему, что упросит Ваше Высокопревосходительство уступить сии три курура; за сие Шах подарил Фетали-Хану магатче фумин около Решта и обещал, что если он исполнит свое обещание, то тогда будет первым министром у него.
- 3. Усмин-Али-бек привез к Аббас-Мирзе письмо от сына его Амир-Мирзы из Ардебиля, в котором тайно пишет, что провианту для пехоты и войска имеют они только на четыре дня; если не подвезут, то войско удержать нельзя.

Извлечение из писем Макниля к Макдональду.

Официально от 16/4 декабря.

 $1\frac{1}{2}$  миллиона туман золотом получены им, Макнилем, и отправлены на днях с Абуль-Гассан-Ханом. — Через двадцать дней будет получен и отпускной на весь остальной миллион серебряною монетою, по уверению казначея евнуха Манучер-Хана.

Партикулярно от 21/9 декабря.

Просит условиться о доставлении остальной суммы 1 м $\langle$ иллиона $\rangle$  сереб $\langle$ ром $\rangle$ : нельзя ли на то употребить русские повозки?

Шаха уверили, что русские покинут край по получении 5-ти курур, оттого он более дать не хочет, но, вероятно, Абуль-Гассан-Хан, как доверенный его человек, уведомит его об истинном положении дел по прибытию в Тавриз.

Шах сделался недоверчив к Аббас-Мирзе и Абуль-Гассан-Хану поверит скорее. Макниль просит согласия принца<sup>2</sup> с ханом для пользы дела, чтобы они не стали враждовать друг другу.

Боится, чтобы Шах не уступил Адербиджана скорее, нежели бы согласился заплатить 8 курур. Он часто проговаривается о сем предложении, сделанном ему чрез Алаяр-хана, на принятие которого он очень склонен.

Войска собираются. Гассан-Али-Мирзу вызывают из Хорассана, каждый день получают донесения о дурном положении русской армии, о невозможности ей двигаться при совершенном изнурении лошадей. — По сему Макниль желает, чтобы деньги скорее были высланы из Тейрана, иначе расположение шахское с часу на час может измениться.

1 Этот материал относится к тому критическому периоду Дей-Карганской конференции, когда стало известно, что шах направляет для переговоров нового представителя министра иностранных дел Абуль-Гассан-Хана, и вследствие этого уже отправленные из Тегерана 3 курура задержаны в пути. Это обстоятельство осложнило и позицию английских дипломатов, которые, котя и заявили себя гарантами уплаты Персией контрибуции, тем не менее не хотели потерять и доверенность персидского правительства. Эта двойственная позиция английских дипломатов не ускользнула от внимания Грибоедова. Приведенные документы показывают, что в штабе Паскевича Грибоедов заведовал разведкой, при этом у него прекрасно были налажены сбор агентурной информации и ее анализ.

<sup>2</sup> Аббас-Мирзы.

#### IV. РАБОТА ГРИБОЕДОВА НАД ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ

№ 377

(18—21 декабря 1827 г. Дей-Карган)

- 1) Если сумма в 15 курур будет сполна уплочена [в] при заключении мира, то русские войска тотчас уходят обратно.
- 2) Если сумма сия будет выплачиваться по срокам, то [в] при заключении мира тотчас заплатить 5 курур. Но тогда Адербиджанская область отходит от Персии и в ней учреждаются Независимые Ханства под покровительством России, а война продолжится по-прежнему.
  - [3) Если ни одно из условий немедленно]

Этот незаконченный черновой набросок сделан рукой Грибоедова, находится в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 37).

(18—21 декабря 1827 г. Дей-Карган)

- 1) Для удержания адербиджанцев от возмущений, когда узнают, что их назад отдадут.
- 2) Чтобы предупредить опасение Европы, особенно англичан, против нашего властолюбия.
- Для уверения персидского правительства, что по получении от них денег Адербиджанские провинции им тотчас возвращены будут.

Мнением полагается следующее:

Адербиджан управляться будет частными владетельными ханами под покровительством России. [Если требуемая наличная сумма будет в назначенный срок, то Персия получит тотчас же не только участие во внутреннем управлении, но исключительное право взимать подати.] Если же деньги не будут внесены к положенному сроку, тогда российское управление продлится до неограниченного времени. За исключением всякого участия со стороны Персии и при дальнейших успехах российского оружия провинция здешняя приведется совершенно в Российское подданство.<sup>2</sup>

Писарская копия с правкой Грибоедова. Автограф находится в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 38-38, об.).

¹ Вместо зачеркнутой фразы на полях вписано: «Если уплачена будет требуемая сумма в назначенные сроки, то и Персия получит право взимания дани с ханов».

<sup>2</sup> Оба документа (№ 377 и 378) по своему содержанию несколько неожиданны, и высказанная в них идея создания на территории Адербиджана независимых ханств под покровительством России в литературе вопроса до сих пор не рассматривалась.

№ 379

⟨18—21 декабря 1827 г. Дей-Карган⟩

Английский министр<sup>1</sup> казался быть весьма огорченным сими происшествиями, разбранил бывшего тут Персидского министра и сказал, что нечего более делать, как приняться за оружие, и что он видит все гнусные поступки и лицемерства правительства персидского. Точно ли обстоятельство сие столько его тронуло, или он притворно показал себя принимавшим столь живое участие в сем деле — неизвестно.

Вечером потом был он у Аббас-Мирзы, выговаривал ему за его поведение, сказывал, что он не может удержать нас более, и предвещал, что персияне пропали. Аббас-Мирза клялся всем, что есть на свете, с отчаянья бросил с головы шапку и, может быть притворяясь, утверждал, что не он тому причиною.

Того же вечера Макдональд говорил графу Сухтельну<sup>2</sup> и Грибоедову, что, по его мнению, самое лучшее средство — теперь же заключить мир и что Шаху весьма трудно будет не исполнить условий, которые в оном поставлены будут.<sup>3</sup>

Из рапортов Вольховского и из записок, при оных приложенных, видно, что Персидский двор ни на что не решается, но и наше положение здесь не самое лучшее, ибо в фуражном продовольствии сказывается здесь большой недостаток, я все меры приму, дабы перейти за Кафланку, ибо считаю сие лучшим средством понудить Персиян к скорейшему заключению мира.

Писарская копия с правкой Грибоедова. Автограф находится в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 39—39, об.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Макдональд — см. раздел I, письмо 4, сн. 1.

- 2 Сухтелен Павел Петрович (1788—1833), граф генерал-лейтенант.
- $^3$  Далее следует вставка, сделанная Грибоедовым на полях: «То есть он давал совет, противный нашим выгодам; в продолжение для переговоров с Аббас-Мирзою  $\langle ... \rangle$ » (фраза не закончена. H. M.).

22 декабря 1827. (Дей-Карган)

#### Рассуждения насчет заключения с Персиянами мира

Первое предположение.

- а) Не дожидаясь известий от Вольховского, подписать мир, оставить оба экземпляра на руках Английского министра; потом немедленно разъехаться.<sup>1</sup>
- b) В особенной Конвенции сказать, что если в продолжение известного времени, которое будет назначено, Абуль-Гассан-хан не привезет  $1\frac{1}{2}$  мил $\langle$ лиона $\rangle$  туманов золотом, то подписание мира считать недействительным и военные действия начнутся.
- с) Предположение сие имеет ту выгоду, что персиянам дасться должно точное время для совершенного выполнения трактата, если они того искренне желают, в противном случае неблагонамеренность их обнаружится в полной мере.
- d) Замечание: Абуль-Гассан-хану, показав трактат, объявить, что он уже подписан и что мы дожидаемся только первой уплаты денег для приведения его к исполнению. Если он покажет новое уполномочие и не будет соглашаться на Статьи подписанного трактата, то в таком случае, когда деньги будут уже привезены в Зенган время же к начатию военных действий не наступит, можно трактовать с ним, с тем чтобы он приказал тотчас доставить деньги на наши аванпосты.

Второе предположение.

- е) До подписания мира, но приготовивши все акты к оному, разъехаться, не дожидаясь приезда Абуль-Гассан-хана; в прочем же действовать таким же образом, как сказано в первом предположении, исключая того, что перемирие заключить на такой срок, чтобы персияне имели достаточно времени привезть деньги и сдать их нашим чиновникам и в это же время заключить мир.
- f) Замечание: в обоих случаях Аббас-Мирза в Ардебиле и Миане не трогать, в прочем дожидаться на сей счет его бумаги.
  - g) Общие рассуждения:
- 1-е. Если персияне точно желают приступить к миру на тех условиях, на которые Аббас-Мирза согласился, то разрыв с ним в настоящее время не отдалит их тогда от окончательного заключения трактата, ибо сим присылка денег или же остановится, или же они возвращены будут назад.
- h) 2-е. В обоих вышеизложенных предположениях срок для высылки денег дастся достаточный, следовательно, нежелание персиян приступить к миру будет обнаружено явным образом, для нас же то выгода, что мы приблизимся ко времени, в которое можем изготовиться к походу.
- i) 3-е. Приезд Абуль-Гассан-хана нас задержать может, ибо есть много средств, дабы заставить его согласиться на наши предложения, если только он не имеет положительной инструкции, дабы продолжать войну.

Автограф Грибоедова с пометой Паскевича, находится в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 42—43, об.).

¹ На полях против этого пункта помета Паскевича: «Не английского министра, а запечатать двумя печатями и до привозу денег в Миану не объявлять».

Февраль 1828 г.

Вы пишете, что Аббас-Мирза располагает ехать в Петербург и Лондон, он, вероятно, переменит сие намерение, естьли подумает о смерти своего отца и он увидит, что хотя Владение его уменьшилось, но не менее тем требует его попечения. — Он уже не может управлять с выгодою Адербиджан, как для себя, так и для Персии, il se compromettra chaque jour plus profondement,<sup>2</sup> естьли он был бы умен, он просил бы себе в управление Тейран, а брата послал бы в Тавриз; ses beaux jours sont passés.<sup>3</sup>

На двух приложенных вырезках из Английских газет напечатано следующее:

- (1.) Государь Император послал мистеру Генри Виллоку<sup>4</sup> золотую табакерку с бриллиантовым вензелем при письме, в коем благодарит его за услуги, оказанные им в 1826-м году при Персидском дворе, с испрашиванием, дабы он принял сей знак Монаршего уважения.
  - 2. Объявление о женитьбе г. Кембеля.5

Автограф Грибоедова с пометой Паскевича, находится в РГИАЛ (Ф. 1018. Оп. 2. Д. 423. Л. 48—48, об.).

- ¹ При сопоставлении этого документа с документом № 379 наглядно видно, как расходятся позиции Грибоедова и Российского министерства иностранных дел по отношению к членам английской миссии в Персии. Частично этот вопрос уже был затронут нами (см.: Мясоедова Н. Е. Заметки о дипломатической деятельности Грибоедова // Грибоедовский сборник. Смоленск, 1997 (в печати)).
  - 2 С каждым днем он будет компрометировать себя все более (фр.).
  - 3 Его лучшие дни прошли (фр.).
- 4 Уиллок Генри капитан, глава английской миссии с сентября 1815 года по сентябрь 1826 года (при этом был в отъезде с 13 апреля 1822 года по 11 ноября 1823 года в это время его обязанности исполнял брат, майор Джордж Уиллок), один из наиболее серьезных врагов Грибоелова.
- <sup>5</sup> Джон Николь Роберт Кемпбелл (1799—1870) с 1824 года секретарь английской миссии в Персии (старший сын председателя совета директоров Ост-Индской компании Роберта Кемпбелла). В начале февраля, но до подписания Туркманчайского договора, Дж. Кемпбелл выехал из Табриза в Англию, где 11/23 марта 1828 года состоялась его свадьба с мисс Грейс Элизабет Бенбридж (1808—1863). Подробнее см.: Аринштейн Л. М. Знакомство Пушкина с «сестрой игрока des eaux de Ronan» // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 109—120.

А. Ю. Андреев

# «МИСТИЧЕСКИЙ» ДРУГ ЧААДАЕВА (жизнь и творческая судьба д. а. облеухова)

В 1914 году при издании собрания сочинений и писем Петра Яковлевича Чаадаева М. О. Гершензоном была сделана замечательная ошибка, во многом и определившая тему нашего нынешнего исследования. Среди писем и заметок, относящихся к заграничному путешествию Чаадаева, он поместил «Мистический дневник» («Заметки о духоведении»), автором которого Чаадаев на самом деле никогда не был. Ошибка составителя происходила от неверного мнения М. И. Жихарева, обнаружившего дневник среди бумаг Чаадаева, которое затем ввел в научный оборот А. И. Кирпичников. Подробный анализ содержания дневника

<sup>1</sup> Кирпичников А. И. Заметки о П. Я. Чавдаеве // Русская мысль. 1896. Ч. 4. С. 148.

Гершензон представил в своей монографии о Чаадаеве,<sup>2</sup> а через несколько лет и полностью опубликовал его в упомянутом собрании сочинений.

«Это, вероятно, один из самых удивительных человеческих документов, с каким когда-либо приходилось иметь дело биографу», — отмечал ученый. Дневник представлялся ему ярчайшим свидетельством, рассказывающим о душевной жизни Чавдаева в годы, предшествовавшие восстанию декабристов, его глубоких религиозных настроениях, напряженных, и даже болезненных, духовных поисках. В сознании Чавдаева, пишет Гершензон, решалась «задача, превосходящая человеческие силы, — должна была быть искоренена из души та "самость", которая, по учению мистиков, явилась следствием грехопадения. Приходилось на практике ежеминутно решать неразрешимый вопрос о примирении свободы воли с предопределением, и от этого зависела вся жизнь человека, больше того — спасение души».3

Таким образом, «Мистический дневник», содержание которого столь хорошо укладывалось в историко-психологическое направление этюдов Гершензона, занял важное место среди документов своей эпохи и, конечно, произведений П. Я. Чаадаева. Однако прошло еще полтора десятилетия, и другой известный исследователь русской культуры Д. И. Шаховской в своей работе, посвященной отношениям Чаадаева и Якушкина, убедительно доказал, что подлинным автором дневника был не Чаадаев, а его друг Д. А. Облеухов. Чезадолго до этого внимание к личности Д. А. Облеухова привлек саратовский ученый С. Н. Чернов, опубликовавший четыре его письма к И. Д. Якушкину и назвавший Облеухова «очень заметным персонажем на интеллигентском секторе московского горизонта десятых и двадцатых годов XIX века». Казалось бы, переатрибуция «Мистического дневника» только повысит внимание к его автору. Однако в сложившейся в последующие годы историографической традиции Облеухов лишь мельком упоминался в трудах о Чаадаеве и Якушкине и по существу оказался прочно забыт вплоть до самого недавнего времени.

Между тем даже простой перечень друзей Облеухова и их отзывов о нем возбуждает живой интерес к его фигуре. Со студенческих лет Облеухов был одним из самых задушевных товарищей Чаадаева и Якушкина. Их общий родственник и друг князь И. Д. Щербатов, осужденный в 1821 году пофделу о восстании Семеновского полка, «почитал Облеухова за самого скромного, кроткого, умного и ученейшего человека». Живя в Москве в конце 1810-х—начале 1820-х годов, Облеухов принадлежал к ближайшему окружению участников первых декабристских тайных обществ: среди его знакомых, кроме уже названных Чаадаева и Якушкина, М. А. Фонвизин, М. И. Муравьев-Апостол. По «духу времени и вкусу» относясь к поколению декабристов, Облеухов в то же время оказывается у истоков

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908. В данной работе цит. по: Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989.

<sup>3</sup> Гершензон М. О. Указ. соч. С. 133.

<sup>4</sup> *Шаховской Д. И.* Якушкин и Чаадаев // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 177—179.

<sup>5</sup> Чернов С. Н. Четыре письма неизвестного к декабристу И. Д. Якушкину. Саратов, 1927. 6 Большую работу по сбору сведений об Облеухове провели составители полного собрания сочинений П. Я. Чавдаева (М., 1991). Основной материал для данной статьи был уже готов, когда автор, не к чести его будет сказано, довольно случайно узнал о совсем недавней работе (Костикова Е. Дмитрий Облеухов // Лица. Биографический альманах. СПб., 1993. Т. 2) — наиболее полном исследовании жизни Облеухова, которое позволяет теперь не останавливаться подробно на части биографических известий, полностью изложенных в статье Е. Костиковой, но уделить внимание слабо освещенным там вопросам — университетскому периоду жизни Облеухова, его творческому наследию и судьбе его архива.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Семеновское дело // Декабристы. Л., 1926. С. 157. Впоследствии точно так же, «одним из наших ученейших людей», назовет Облеухова М. П. Погодин (Москвитянин. 1845. № 1. Материалы для русской истории и для истории русской словесности. С. 4).

зарождающихся общественных споров 30—40-х годов, входит в семью Елагиных, тесно общается и безусловно оказывает духовное влияние на молодого И. В. Киреевского, который на всю жизнь сохранил к нему самые теплые чувства. «Облеухов был человек необыкновенный во всех отношениях; тетради, которые он оставил после себя и которые, может быть, дойдут когда-нибудь до сведения публики, докажут глубокость его ума и ясность его фантазии» — так писал Иван Киреевский вскоре после смерти Облеухова, последовавшей в 1827 году.

В этих строках, которые нам оставил выдающийся русский мыслитель, не заключался ли некий завет для будущих исследователей найти и изучить наследие Облеухова как важную страницу нашей культуры? Задача эта и сейчас далека от завершения. В настоящей работе нам хочется рассказать не только о биографической канве его жизни, но и о внутреннем ее наполнении, тех новых чертах, которые добавляет портрет Облеухова к, казалось бы, уже достаточно изученному облику поколения декабристов. Обаяние его личности, подмеченное современниками, заключало в себе глубокий духовный пример. Его нравственные и ученые поиски не пропали, но, как теперь представляется, органически влились в дальнейшее развитие русской философии.

#### Удивительный студент

Дмитрий Александрович Облеухов родился в 1790 году. Ни дату рождения, ни его место в точности установить не удается, но вполне вероятно, что его родным городом была Калуга, с которой семью Облеуховых связывали прочные узы. Фамилия Облеуховых, известная с начала XVII века, занесена в родословные книги Московской, Калужской, Черниговской и Тульской губерний. Прадед Дмитрия, Нефед Савинович Облеухов, судя по сохранившимся документам, в самом начале XVIII века владел землей в Алатырском уезде, а в 1793 году отец и дядя нашего героя получили в Сенате диплом о древности их рода. 9 Отец, Александр Дмитриевич Облеухов, отличился на русско-турецкой войне и сделал в царствование Екатерины II блестящую военную карьеру, получил в 1791 году чин генерал-майора и с 1 января 1793 года был назначен правителем Калужского наместничества (место, соответствовавшее в то время должности калужского губернатора). 10 Во время жизни в Калуге в семье Облеуховых проявился интерес к литературным занятиям: по крайней мере один из ее членов, Никанор Александрович Облеухов, в 1794—1796 годах выпустил в этом городе в свет две нравоучительные книги, переведенные им с французского. 11

В 1796 году, после кончины императрицы и преобразования Калужского наместничества в губернию, генерал Облеухов очутился в отставке, однако сохранил значительную пенсию, которая обеспечивала его семье безбедное существование. Облеуховы переехали в Москву и поселились в собственном доме на Тверской улице. Родители не жалели средств на воспитание юного Дмитрия: к 15 годам, времени своего поступления в Московский университет, он был прекрасно образован, знал в совершенстве несколько европейских языков, а также латынь, свободно ориентировался в современном состоянии русской и европейской литературы и их выдающихся произведениях. Основания для таких суждений о познаниях Дмитрия Облеухова нам дают сами необычные обстоятельства его производства в студенты.

<sup>8</sup> РГБ. Ф. 221. Карт. 2. Ед. хр. 11—13.

 $<sup>^9</sup>$  Общий гербовник дворянских родов Всероссийския империи, начатый в 1797 г. СПб. Ч. 2. С. 114.

<sup>10</sup> Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. «Обезьянинов—Очкин». С. 5.

<sup>11</sup> Там же. С. 6.

В первые годы XIX века Московский университет переживал период обновления. Главной задачей университетских реформ их автор, попечитель университета, некогда воспитатель цесаревичей, а затем отец будущих декабристов, замечательный литератор и поэт Михаил Никитич Муравьев считал повышение общественной роли университета, привлечение на студенческие скамьи молодого поколения российского дворянства, которое впоследствии станет основной силой в наполнении государственного механизма новой, просвещенной России. Поэтому любой пример ответного движения со стороны общества, появление среди университетских воспитанников талантливых юношей из дворянского сословия, искренне стремящихся к научным знаниям, воспринимались им с особой радостью, как это и было с Дмитрием Облеуховым.

Его поступлению в университет предшествовало краткое пребывание юноши в Университетском благородном пансионе, подготовительном учебном учреждении, где обучались московские и провинциальные дворяне. Очевидно, сразу же после его определения туда пансионское начальство сочло уровень знаний юноши достаточным для производства в студенты (для этого прежде всего требовалось знание словесных наук, особенно иностранных языков и латыни) и представило его к внеочередному экзамену, который был проведен в высшем коллегиальном органе управления университетом — Совете профессоров. Экзамен проходил в мае 1805 года, и на его результаты немедленно откликнулся попечитель М. Н. Муравьев. 16 мая он писал университетским профессорам: «С живейшим удовольствием усмотрев из записки заседания Совета, бывшего 3 дня сего месяца, что воспитанник благородного пансиона Облеухов, по испытании, найден имеющим похвальные успехи в многоразличных учениях, имею честь предложить Совету, дабы оный благоволил призвать к себе означенного благородного юношу и, при изъявлении чувств начальства за прилежание, вручить ему шпагу в знак возведения его на достоинство университетского студента». 12 В такой торжественной обстановке Облеухов был удостоен звания студента, что было особенно отмечено в ежегодном отчете об университетских производствах в «Московских ведомостях». 13 Подобных почестей не удостаивался ни один выпускник Благородного пансиона.

К 1805 году относятся и первые литературные опыты Облеухова. В журнале «Друг просвещения» был опубликован его перевод 1-й эклоги Вергилия, а через год там же — 2-й оды Горация к Августу. Вероятно, именно М. Н. Муравьев, всячески поощрявший переводческие занятия университетских воспитанников, которые бы расширяли границы русской науки, обратил внимание юноши на фундаментальный французский учебный курс аббата Баттё «Начальные правила словесности», содержавший (наряду со знаменитыми трудами Буало) развернутое изложение литературных законов классицизма. В 1806—1807 годах в университетской типографии выходит 4-томный русский вариант этого учебника, который Облеухов перевел и «прибавлением умножил». Такая работа, выполненная в достаточно короткий срок, потребовала от юного студента не только обширных познаний в области словесности, но и огромного трудолюбия. Не ограничиваясь изложением примеров, взятых из античной литературы (которые он все переводил с подлинников), Облеухов дополнил книгу главами, посвященными русской классической

<sup>12</sup> ЦГА г. Москвы. Ф. 459. Оп. 11. Ед. хр. 3. Мы не находим имени Облеухова в списках отличившихся воспитанников Благородного пансиона, которые каждый год в конце декабря публиковали «Московские ведомости», что говорит о том, что Облеухов пробыл в пансионе не более полугода. Переводные экзамены для пансионеров проходили зимой, перед Рождеством, однако Облеухов экзаменовался в мае, что говорит о необычности ситуации. Еще более ее подчеркивает проведение экзамена в присутствии всего Совета профессоров и занесение результатов в его журнал, в то время как по уставу 1804 года для принятия в студенты достаточно было комиссии в составе нескольких профессоров.

<sup>13</sup> Московские ведомости. 1805. 8 июля. С. 882.

поэзии: «Россияде» Хераскова, сатирам Кантемира, трагедиям Сумарокова и Княжнина. Как сообщал вноследствии М. П. Погодин, восхищенный Муравьев, познакомившись с этим изданием, написал два письма, «одно к ректору университета, где он просил его принять участие и содействовать занятиям студента, а другое, длинное, прекрасное письмо к переводчику, в котором выражает ему свою благодарность, свое сочувствие и между прочим просит личного знакомства». 14

Известие Погодина подтверждается и успешным университетским продвижением Облеухова, действительно проходившим под неустанным покровительством попечитедя, который, как уже отмечалось, вообще стремился помогать всем талантливым воспитанникам. 17 января 1806 года, после чуть более полугодового (!) пребывания Облеухова в университете, по представлению Муравьева, «за отличные знания и прилежание» ему была присвоена ученая степень кандидата древней и новейшей литературы. 15 B следующем, 1807 году, в апреле, через посредничество Муравьева Облеухов получает бриллиантовый перстень — награду от императора за перевод Баттё, а 27 ноября удостаивается степени магистра словесных наук. И хотя именно в эти годы столь быстрая ученая карьера не была редкостью (к примеру, так же стремительно продвигались по лестнице ученых званий будущие вылающиеся профессора-литераторы А. Ф. Мерзляков и Р. Ф. Тимковский), такое выдвижение обычно связывалось попечителем Муравьевым с надеждами, что воспитанник вскоре займет профессорскую кафедру. Неизвестно, как складывалась бы университетская судьба Облеухова дальше, если бы не безвременная кончина Муравьева в 1807 году. Талантливый юноша мог бы стать первым профессором Московского университета, происходившим из дворянского сословия.

Торжественное производство Дмитрия Облеухова в магистры проходило на ежегодном университетском акте 30 июня 1808 года. На том же самом акте студент Александр Грибоедов получил диплом кандидата, а братья Петр и Михаил Чаадаевы — шпаги студентов. У нас нет прямых свидетельств о знакомстве молодых людей в эти годы, однако хорошо известен факт существования в доме князей Щербатовых, где жили и Чаадаевы, литературного «собрания» — кружка, который посещали Грибоедов, Якушкин, молодой талантливый поэт 3. А. Буринский и другие университетские воспитанники. Позже кн. И. Д. Щербатов вспоминал, что знал Облеухова «с малолетства», поэтому можно отнести появление Облеухова в щербатовском доме непосредственно ко времени возникновения этого университетского кружка, т. е. к 1808 году. Вместе друзья могли посещать лекции знаменитого университетского профессора И. Т. Буле, знакомившего их с современной немецкой философией. По крайней мере в марте 1812 года, к которому относится первое из сохранившихся писем Петра Чаадаева к Облеухову, между ними уже существовала близкая дружба, и философия в ней играла определенную роль. 18

В своем письме Облеухов просил Чаадаева, находившегося в Петербурге, найти для него главнейшие сочинения Канта. Дело в том, что в последовавшие за получением магистерской степени годы характер ученых занятий Облеухова менялся: расширяя сферу своих познаний, он все более тяготел к абстрактным

<sup>14</sup> Москвитянин. 1845. № 1. С. 4.

<sup>15</sup> Чернов С. Н. Указ. соч. С. 16. Все даты, сообщенные в приводимом здесь аттестате, проверены нами по архивам университета (ЦГА г. Москвы. Ф. 459. Оп. 11. Ед. хр. 4. Л. 21; Ед. хр. 5. Л. 19, об.) и министерства народного просвещения (РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Ед. хр. 182. Л. 8). Ученая степень кандидата, согласно уставу, требовала знаний в полном объеме по всем предметам, входящим в состав выбранного факультета (в данном случае словесного), и для ее получения обычно необходимо было по крайней мере трехлетнее пребывание в университете (см. устав Московского университета 1804 года в кн.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1. С. 260).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Московские ведомости. 1808. 4 июля. С. 1390.

 $<sup>^{17}</sup>$  Дубшан Л. С. Из московских лет Грибоедова // А. С. Грибоедов. Материалы к биографии. Л., 1989. С. 30.

<sup>18</sup> Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. T. 2. С. 7.

наукам. Углубившись в изучение математики и физики, в 1811 году он выдержал все необходимые испытания для получения степени доктора физико-математических наук (для чего требовалось сдать серьезнейший экзамен по предметам физико-математического факультета, прочесть несколько публичных лекций и на диспуте защитить диссертацию; диссертация Облеухова называлась «О главных основаниях равновесия и движения» 19) и явился первым из выпускников университета, достигшим этой ученой степени.

Столь интенсивные научные занятия, конечно, выделяли Облеухова из среды университетских воспитанников, но, с другой стороны, служили своего рода знаковой чертой, в целом характерной для отношения к учебе у московских дворян-студентов, которые сформируют затем декабристское движение. Если для поколения их отцов звание ученого и занятия науками не только не заключали в себе ничего привлекательного, но и означали явное понижение социального статуса (ср. тирады Скалозуба из «Горя от ума»), то для молодых дворянских юношей, возмужавших в эпоху патриотического подъема, ставшего общественной реакцией на первые наполеоновские войны и Тильзитский мир, просвещенческий идеал разносторонних научных познаний был необходимой ступенью для воплощения главной цели — «служения Отечеству», понимаемого в самом широком смысле слова, на любом поприще («служить делу, а не лицам»).

Поэтому так замечательны университетские годы многих будущих декабристов, когда Александр Грибоедов глубоко увлекается русской историей, Петр Чаадаев — философией, Николай Тургенев — политической экономией и т. д. Назовем в этом ряду и одного из основателей Союза Спасения Михаила Николаевича Муравьева: в 14 лет он поступает в Московский университет, желая усовершенствовать свои познания в области математики, но уже через год, не удовлетворившись уровнем преподавания, покидает университет и основывает, при поддержке своего отца, Общество математиков — школу, обучавшую предметам, необходимым для поступления на военные должности при Генеральном штабе (позднее превратившуюся в знаменитое училище колонновожатых, которое окончили более двух десятков декабристов). Действительным членом Общества математиков был избран и доктор Д. А. Облеухов, 20 и, видимо, не без его участия Михаил Муравьев хотел привлечь к занятиям Общества и Петра Чаадаева. 21

У продвижения Облеухова по лестнице ученых степеней была и другая сторона: одновременно рос соответствующий им чин в Табели о рангах (так, например, степень доктора относилась к 8 классу), однако для его реального воплощения необходимо было поступить на государственную службу. 1 июля 1810 года Облеухов был зачислен письмоводителем в канцелярию попечителя Московского университета. Здесь сыграли роль, конечно, старые семейные связи: попечителем как раз с этого времени был назначен П. И. Голенищев-Кутузов, один из редакторов журнала «Друг просвещения», в котором некогда публиковались юношеские переводы Облеухова. Зная характер Кутузова и его готовность оказывать услуги влиятельным московским лицам (таким, как генерал-майор Облеухов-старший), можно легко себе представить, что у Дмитрия служебные обязанности не отнимали много времени, 22 однако даже в устах Кутузова необычно звучит та характерис-

<sup>19</sup> Диссертация, не дошедшая до наших дней, очевидно, обсуждала основные законы движения, сформулированные Ньютоном. Впоследствии Облеухов в письме к Якушкину в шутку сравнивал свою неспособность к перемене мест без внешнего толчка с ньютоновским законом инерции (\*precisement comme un corps inert, d'apres les loix de Newton\*). См.: Чернов С. Н. Указ. соч. С. 4.

<sup>20</sup> *Рудаков В. Е.* Студенческие научные общества: исторический очерк // Исторический вестник. 1899. Т. 78. № 12. С. 1148.

<sup>21</sup> Шаховской Д. И. Грибоедов и Чавдаев // Литература в школе. 1988. № 4. С. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Об этом с некоторой завистью упоминает в мемуарах писец канцелярии попечителя М. П. Третьяков. См.: Императорский Московский университет (1799—1830) // Русская старина. 1892. Т. 75. С. 128.

тика, которую он дает своему письмоводителю, представляя его к производству в очередной чин как «человека хотя и молодого, но преисполненного редких сведений и отличнейших способностей и украшенного лучшею и редкою нравственностью и могущего быть со временем человеком государственным». 23 Новым отличием Облеухова явилось и включение его в состав реорганизованного попечителем Голенищевым-Кутузовым в 1811 году университетского Общества истории и древностей российских.

Итак, ко времени Отечественной войны 1812 года перед нами предстает высокоодаренный молодой человек, один из ученейших людей своего поколения, гордость Московского университета, член двух научных обществ, получивший определенное признание у публики литератор — всего этого Дмитрий Облеухов достиг уже в 22 года. Он выбрал не совсем обыкновенную для дворянина ученую карьеру; теперь он может продолжать ее на военном поприще или в светской службе — везде перед ним открываются блестящие перспективы. Однако последующее десятилетие показало, что в нем развивались совсем иные взгляды на строительство собственной жизни.

### Затворник

«Он вышней волею небес Рожден в оковах службы царской; Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, А здесь он офицер гусарской», — писал Пушкин о Чаадаеве в 1820 году. Проблема отношения к службе, воспринимавшаяся декабристами через соотношение собственного поведения и положения в обществе с нормами высокой морали, понятиями чести, славы и желания пользы Отечеству, действительно много значила для Чаадаева во время его жизни в Петербурге, <sup>24</sup> и он не упускал случая обсуждать ее со своими друзьями. В сохранившихся отрывках его писем к Облеухову, относящихся к 1815—1816 годам, Чаадаев выражает недовольство нежеланием старшего друга продолжать службу в Петербурге, куда, очевидно, того не раз звали. Как пишет Чаадаев, этот отказ огорчает его «и по дружбе моей к вам, потому что я желал бы вас видеть в славе, и по любви моей к Отечеству, которого вы лишаете прекрасного слуги (...) И с вашими способностями и познаниями не служить Отечеству!..» <sup>25</sup> Разговоры о желательной для Облеухова военной службе передает позже и Якушкин. <sup>26</sup>

Отголосок споров друзей о подлинном значении понятий славы, доблести, по своему происхождению ориентированных на античные образцы, возникает в письме Облеухова к Чавдаеву от 20 августа 1820 года. В нем, опираясь на одно из произведений Цицерона, Облеухов доказывает главенство внутренней жизни человека над внешней, воспитания собственных чувств и стремления к добру над общественными успехами. «Я вам уже представлял сон Сципиона по случаю наших споров о славе. Его нет в вашем французском издании. С тех пор вы забыли и споры и сон героя, который словно был одной из тех блестящих реальностей, предназначенных, чтобы его обессмертить (...)» Смысл приведенного затем большого отрывка, написанного Цицероном в форме видения, явившегося Сципионумладшему во сне, заключается в утверждении ничтожности людской славы, скоротечной и непостоянной здесь, в земном мире, по сравнению с участью живущих вечно в «избранном месте на небесах», куда ведет лишь путь добродетели, верности народу и законам своей родины. 27

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 377—378.

 $<sup>^{24}</sup>$  См.: Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни // Избр. статьи. Таллин, 1992. Т. 1. С. 307-311.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. С. 8.

<sup>26</sup> Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 233.

<sup>27</sup> Это французское письмо хранится вместе с другими письмами Облеухова к Чаадаеву

Итак, в своих метафизических воззрениях друзья значительно расходились. Если Чаадаев в Петербурге вовсю мечтал и стремился к славе, увлекался масонством, гордился своим щегольством, гусарскими выходками и успехами в обществе, то Облеухов все эти годы оставался в Москве. Его дом пострадал в результате пожара, но вскоре был восстановлен. 28 октября 1814 года скончался его отец. В конце 1816 года, после ухода Голенищева-Кутузова с должности попечителя, прекращается университетская служба Облеухова, затем он добровольно отказывается от членства в Обществе истории и древностей российских. В большом доме на Тверской улице он живет вдвоем с матерью, охотно принимает гостей, но сам выходит мало. Согласно полицейскому рапорту, составленному в ходе следствия над кн. Щербатовым, Облеухов, «будучи слабого здоровья, при хорошем поведении жизнь ведет более уединенную; ибо круг знакомства его малой и только с родственниками и живущими по соседству». 28 Именно тогда сложилась формула, которой сам он характеризовал свое времяпровождение, — das Goldene Nichtstun (золотое ничегонеделание). 29

Что же скрывалось за этой формулой и как объяснить столь решительный отказ от служебной карьеры, общественных связей и прочих компонентов, неотъемлемо принадлежавших к образу жизни дворянского сословия? У нас чрезвычайно мало документов, которые могли бы пролить свет на внутреннюю эволюцию Облеухова этих лет. Сам он, отвечая другу, намекал на некие обстоятельства, судьбу, «которая постоянно ему сопротивляется». С другой стороны, нельзя не согласиться, что его уединенная жизнь вполне укладывалась в русло развития характеров декабристского поколения в целом, столь ярко отразившихся в знаменитой комедии «Горе от ума», в образе Чацкого и других «странных людей» нового поколения, над которыми иронизируют опытные «отцы». Не только Облеухов, но впоследствии и Чаадаев, и Якушкин могли отнести на свой счет слова, что он «крепко набрался каких-то новых правил, Чин следовал ему, он службу вдруг оставил». Желание убежать от пустого светского общества вело к тому, что «кто путешествует, в деревне кто живет (конечно, Облеухову не хватало кипучей энергии Чацкого, долго удерживавшей того в свете, но ведь и сам Чаадаев вскоре подает в отставку и отправляется в деревню; там же поселяется и Якушкин; что же касается путешествия, то в поездку по Европе Чаадаев звал Облеухова еще в 1815 году).

Таким образом, затворничество Облеухова только утверждало складывавшуюся в конце 1810-х — начале 1820-х годов новую поведенческую парадигму молодого образованного дворянства. «Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдется: враг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний», 30 — писал в то время Грибоедов.

И действительно, в противоположность словам о «золотом ничегонеделании» дни Облеухова, как и в университетские годы, наполнены учеными занятиями: он много читает, переводит (показательно, с какой легкостью перевел он обширный отрывок из Цицерона с латыни на французский в упомянутом выше письме к Чаадаеву от 20 августа 1820 года). Неослабевающий интерес по-прежнему привязывает его к метафизике. Поклонник скептического и точного Канта, он всегда готов к философским баталиям, по крайней мере позже он с большой охотою будет звать Якушкина вновь «пуститься в старинные наши метафизические споры». Из всего их студенческого кружка Облеухов, без сомнения, лучше других усвоил стоическое спокойствие и методическую ясность нравственных уроков их немецких

<sup>(</sup>РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 37), однако было оставлено без внимания как составителями полного собрания сочинений Чаадаева, так и в работе Е. Костиковой.

<sup>28</sup> Семеновское дело. С. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Впервые упоминается Якушкиным в феврале 1817 года: «Дмитрий Александрович по-прежнему обожает "златое ничегонеделание", я, однако, не считаю его неисправимым» (Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 206).

<sup>30</sup> Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1995. Т. 1. С. 49.

профессоров. Ограничив горизонт своего общения узким семейным кругом, он тем не менее оказывается глубже и во многом человечнее, чем его более опытные друзья. Так, это показывает участие Облеухова в известной истории несчастливой любви Якушкина к кн. Н. Д. Щербатовой, сестре И. Д. Щербатова, их университетского товарища.<sup>31</sup>

Якушкин, вернувшись после долгого отсутствия в конце 1816 года в Москву. поселился у Облеухова. Начало романа проходило на глазах у старшего друга, который, возможно, был первым поверенным его чувств. Охваченному душевным смятением Якушкину, страдавшему нервным расстройством, ставившим его на грань самоубийства, Облеухов оказывал трогательную заботу. Его поведение в сохранившихся отзывах Н. Д. Щербатовой получало самые возвышенные характеристики: «Его (Якушкина) болезнь познакомила меня с тремя людьми, которые составляют славу человеческого рода: Фонвизин, Муравьев, Облеухов — это люди единственные. Последний из них заклинал меня изложить тебе вещи так, как они есть, чтобы потребовать у тебя совета и принести хоть некоторое облегчение Якушкину». В общих заботах по утешению Якушкина участвовала и мать Облеухова, Прасковья Федосеевна. Однако сам Якушкин неожиданно сурово осудил Облеухова за какую-то неловкость, которую тот, по его мнению, допустил, и потребовал, чтобы тот перестал бывать в доме у Щербатовых (в свою очередь Н. Д. Щербатова всячески за него заступалась и считала Якушкина здесь неправым).

Как видим, постоянный круг общения Облеухова в это время включал, помимо Якушкина, М. А. Фонвизина, М. И. Муравьева-Апостола — людей, активно участвовавших в деятельности первой декабристской организации, Союза Спасения, которая развернулась в Москве в том же 1817 году. Конечно, от участников тайного общества, гвардейских офицеров и боевых товарищей, Облеухова отделяла партикулярность, однако были и более важные различия. Метафизические споры с Якушкиным показывали, что друзья по-разному понимали предназначение человека и пути к счастью. Несмотря на всю рассудительность Якушкина, она не спасла его от безумств этой осени, планов цареубийства, а Облеухов со своим спокойным и аналитическим умом глядел глубже и в себя, и в окружающую жизнь. Через 8 лет он с тревогой будет спрашивать друга: «Не разошлись ли мы в нашей метафизике в различные стороны, так что трудно было бы сойтись? Это было бы очень досадно!»

#### Поэзия и скорбь духоведения

В начале 1820-х годов в жизни Облеухова произошло несколько значительных событий. Весной 1821 года он женился на Екатерине Ивановне Черкасовой, родственнице Киреевских—Елагиных. Через год у них родился сын Дмитрий, крестным отцом которого стал 16-летний Иван Васильевич Киреевский, приехавший в Москву для обучения в университете. Вскоре жена Облеухова вместе с ребенком уехала в деревню Фелисово под Калугой, а сам он остался жить в Москве с матерью. С. Н. Чернов видит здесь контуры семейной драмы, хотя Облеухов в письмах называл основной причиной, удерживавшей его в Москве, слабость, происходившую от его болезни, приступы которой особенно участились с 1822 года. В марте 1825 года Якушкин писал, отвечая Чавдаеву на вопрос об Облеухове, что тот «здоров по-прежнему, т. е. почти беспрестанно болен; жена его купила деревню, живет одна с сыном; он у нее не был, и они, расставшись, еще

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Подробно освещающий эту историю своего рода «роман в письмах», сохранившийся среди прочих бумаг в следственном деле Щербатова, опубликовал в 1928 году В. Д. Нечаев (Декабристы и их время. М., 1928. Т. 1. С. 147—186).

не видались, а впрочем, часто друг к другу пишут и, как кажется, друг друга любят. За Якушкин сам старался содействовать соединению семьи, и Облеухов в ответных письмах сердечно благодарил его за участие. Последовав его совету, он, наконец, летом 1825 года полтора месяца прожил у жены в деревне, а через год остался там на всю зиму и весну. В Фелисове Облеухову жилось легко; здесь он был «менее нездоров, нежели обыкновенно», и, как признавался Чаадаеву, чувствовал себя совершенно счастливым, хотя и испытывал временами сильные недомогания. За

Характер занятий Облеухова в эти годы не изменился. Он писал Якушкину, что все еще чувствует большую наклонность к метафизике, несмотря на то что болезнь мешает «заниматься теми тонкими отвлеченными исследованиями, коими  $\langle ... \rangle$  прежде занимался беспрестанно и никогда не достигал истины, которая была единственная цель сих часто  $\langle ... \rangle$  скучных размышлений»: «Я, подобно Диогену, среди бела дня ходил с тусклым фонарем, хотя искал не человека». 34

Последняя фраза знаменательна, она показывает собственное определение автором тех порой мучительных философских и творческих поисков, которые Облеухов будет вести до конца своей жизни, несмотря на усиливающуюся болезнь. В центре их стоит стремление к вечным, неизменным истинам, относящимся не к человеку, но к Богу, озаренным светом христианского откровения. На характере этих поисков, воплотившихся в произведениях Облеухова, и прежде всего в «Мистическом дневнике», мы сейчас и остановимся подробно.

В «Мистическом дневнике» Облеухов называет время своего «обращения» — начало 1820 года. Прежде его отношение к религии не отличалось последовательностью, он «сомневался во всем». Слово «обращение» здесь можно толковать двояко: не просто как перемену взглядов, но и как возможное вступление Облеухова в одну из масонских лож, однако никаких подтверждений этого не существует. 35 В семейной же памяти сохранилось несомненное благочестие Облеухова, его строгое следование обрядам православной церкви (в одном из писем Чаадаев шутя называет его «святым отцом Дмитрием Тверским»).

В сильно секуляризованном дворянском обществе первой четверти XIX века, унаследовавшем «вольтерьянский» скептицизм поколения отцов, религиозное сознание не имело глубоких корней и далеко отошло от освященных веками традиций православной духовности. Поэтому с приходом в светской культуре эпохи романтизма с ее обостренным интересом к внутреннему миру человека в религиозной сфере, наряду со здравыми ростками духовности, пышным цветом расцвел букет всевозможных суеверий, выразившихся в целом в повальном общественном увлечении мистицизмом. Как констатировал М. О. Гершензон, книги мистического содержания читали все классы русского общества, не исключая и духовенства, «от митрополита до сельского священника». 36 В этих книгах, в основном переведенных с европейских языков, сложным образом сочеталось обсуждение важнейших вопросов христианской духовной жизни с искусно вплетенными описаниями грубейших суеверий, болезненным влечением к сверхъестественной жизни, потустороннему миру и, как следствие, глубоким страхом, парализующим душу. Проблемы, затрагивавшиеся в них, отвечали определенным духовным потребностям людей, но не создавали прочного фундамента для веры, и это одна из причин, почему

<sup>32</sup> Якушкин И. Д. Указ. соч. С. 242.

<sup>33</sup> РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 37. Л. 3.

<sup>34</sup> Чернов С. Н. Указ. соч. С. 2.

<sup>35</sup> Костикова Е. Указ. соч. С. 21. Автор гипотезы предполагает участие Чаадаева в принятии Облеухова в ложу, однако нельзя не заметить, что масонские связи Чаадаева относились только к Петербургу, и в Москве он оказался, уже испытав сильное охлаждение к их деятельности. Согласно справке, любезно предоставленной А. И. Серковым, имя Облеухова не встречается среди московских масонов.

<sup>36</sup> Гершензон М. О. Указ. соч. С. 124.

религиозные поиски многих декабристов были столь трудны и не всегда приводили к положительному результату. <sup>37</sup> Исследование же каждого отдельного случая таких поисков имеет важнейшее значение для нашего понимания многих аспектов духовного сознания, присущих всей этой эпохе русской жизни.

Свидетелями определенного отрезка духовного пути Д. А. Облеухова мы и становимся, вчитываясь в его «Мистический дневник», озаглавленный так учеными, поскольку большую часть его содержания составляют выписки из трудов одного из популярнейших мистических писателей того времени И.-Г. Юнга-Штиллинга. В Несколько слов о том, как Облеухов познакомился с его книгами. Как он сам замечает, одно из сочинений Штиллинга, «Приключения по смерти», переведенное на русский язык А. Лабзиным, подарило ему 25 февраля 1822 года некое лицо, которое также познакомило Облеухова и с другими его произведениями («Угроз Световостоков» в том же переводе и пр.) и таким образом «явилось наиболее деятельным орудием, какое Господу угодно было употребить» для его спасения. Облеухов помнил те чувства радости, которые он находил в Иисусе Христе и Евангелии в первые три года своего обращения и которые «были доведены до наивысшей степени чтением Угроз, ч. VII, около этого самого времени, в январе 1822 г.»; он был полон благодарности человеку, принявшему в нем такое участие, и именно ему адресовал свой дневник.

Д. И. Шаховской первым предположил, что лицо, о котором здесь идет речь, — Петр Чаадаев, поскольку в его бумагах дневник в конечном итоге и оказался. Эту гипотезу можно подкрепить, опираясь на биографические свидетельства о Чаадаеве: действительно, 25 февраля 1822 года он мог быть в Москве и встречаться с Облеуховым. В Но решающим доказательством явилось обнаружение в составе библиотеки Чаадаева книги Юнга-Штиллинга, состоящей из двух произведений — «Theorie der Geisterkunde» и «Apologie der Theorie der Geisterkunde», с пометками Облеухова, поскольку именно эта книга и пометки в ней и послужили основой для «Мистического дневника». Начиная со с. 371 «Теории» и включая всю «Апологию», заметки на полях и отчеркивания в книге точно повторяют записи дневника.

Таким образом, книга из библиотеки Чаадаева и «Мистический дневник» должны рассматриваться как единый текст. Необходимо сказать, что «дневник» не вполне соответствует названию: на самом деле он озаглавлен «Метоіге sur Geisterkunde» («Заметки о духоведении») и является своего рода конспектом, отражающим процесс чтения книги Штиллинга и обдумывания прочитанного. И пометки на книге, и «Метоіге» обильно снабжены датами, что позволяет нам лучше представить себе характер работы Облеухова. В начале августа 1824 года, читая книгу, он задумывает сделать из нее общирные выписки и отмечает на полях соответствующие места (несколько пометок «ад Mem. G.» и др.). Затем (23—24 августа) он переписывает выбранные места и свои замечания к ним в тетрадь. Сохранившийся дневник имеет на первой странице сверху номер 3, т. е. это последняя из трех тетрадей «Заметок о духоведении», и действительно, объем записей на полях предыдущих страниц книги (до с. 371) примерно соответствует двум таким же тетрадям, текст которых до нас не дошел, но может быть восстановлен по маргиналиям Облеухова.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> См.: *Архипова А. В.* Религиозные мотивы в поэзии декабристов // Христианство и русская литература. СПб., 1994. С. 185—208.

 $<sup>^{38}</sup>$  «Мистический дневник» хранится в РГБ (Ф. 103. П. 1034. Ед. хр. 21. Л. 1—8); его текст см.:  $^{4}$   $^{2}$ 

 $<sup>^{39}</sup>$  С конца 1821 года Чаадаев поселился вместе с братом в селе Алексеевском под Дмитровом, откуда время от времени ездил в Москву (Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. С. 16, 294—295).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980. № 375—376; см. также: *Шереметьева О. Г.* Надписи и отметки на книгах библиотеки Чаадаева // Там же. С. 137.

<sup>8</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

Сами «Заметки» состоят из трех слоев текста. Первый — это выписки из книги Штиллинга. Как правило, Облеухов выписывает только те места, в которых Штиллинг касается важных метафизических вопросов — о пути человеческой души к спасению, свободе выбора, страстях и добродетелях, смерти и покаянии, не обращая внимания на многочисленные анекдоты о влиянии духов на судьбы людей, рассыпанные по всей книге. Отношение Облеухова к выписанным отрывкам проявляется во втором слое текста (своих комментариях), непосредственно связанном с первым, но способном в соответствии с пометкой на полях книги ворваться в середину фразы Штиллинга.

Здесь нужно сказать вообще о характере пометок Облеухова. В любом месте книги, даже по видимости прямо соотносясь с текстом, они, однако, являются напоминанием автору о каком-либо событии, важной мысли, чувстве, ассоциативно близких к прочитанному (при этом обязательно указывается точная дата). В процессе перенесения заметок с книги на бумагу происходит их расшифровка, причем иногда даже сам Облеухов теряет смысл отмеченного (см., например, пометку на полях с. 46 возле слов «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Откр. XIV. 13»: «remin. d. impres. p. 30» — «вспомнил о впечатлении от с. 30»; и соответственно в дневнике: «Это место напомнило мне впечатление, произведенное на меня теми же словами, когда они были приведены выше на странице 30, в начале. Я не могу теперь припомнить, каково было это впечатление»). Поэтому даже прочтя все его записи (каллиграфический, хотя и мелкий, почерк Облеухова облегчает эту задачу), в силу их ассоциативного смысла добраться до содержания очень трудно.

Поражает многоязычность записей Облеухова, которая складывается в какой-то особый, вполне естественный для него язык. Если связные тексты, цитаты, возникающие в его воспоминании, он выписывает на полях на языке оригинала (русском, французском, немецком, греческом или латыни), то в коротких заметках на общий стержень латинской фразы могут быть нанизаны слова из всех этих языков (и еще английского), и все слова сокращаются до нескольких букв. Есть и записи на лингвистические темы, связанные со схожестью слов в разных языках (они будут развиты Облеуховым в замечательной статье, о которой речь пойдет ниже).

Большая часть комментариев Облеухова содержит отрывки из Нового завета. Как кажется, евангельские тексты всегда находятся перед его глазами, и в книге Штиллинга как в произведении критического разума он ищет подтверждение этим чувственно воспринимаемым истинам, общение с которыми доставляет Облеухову глубокую неизъяснимую радость. «Повсюду мое стремление направлено на то, чтобы согласовать разум с откровенными истинами», — выписывает он из книги и далее подчеркивает места, где Штиллинг говорит о том, что его теория духоведения направлена против страхов и нервических болезней, но ищет истину о духах и о душе. Такое стремление постоянно согласовывать впечатления разума и чувств дается Облеухову нелегко и часто нарушается: «У меня написано небо рядом со словами престол Отца и Сына, и было при этом ясное представление, в котором мне уже не казалось столь странным, как прежде, выражение: "Я дам ему сесть со мною на престоле моем. Откр. III. 21". Я искал тогда это место, и оно мне сразу открылось. В настоящее время я не могу припомнить этого представления».

В других местах сила разумных рассуждений позволяет ему резко возражать против мыслей Штиллинга. Особенно это относится к представлениям о местонахождении, «физике» духов — в дневнике он отмечает как нелепую в физическом отношении мысль, что световая материя (и духи света), не имеющая тяжести, должна пребывать в центре Земли, а на полях (в части, не вошедшей в дневник, с. 365) дает следующее интересное рассуждение против идеи Штиллинга, что для

духов пространства не существует (из-за их мгновенного сообщения друг с другом): «Возможность этого можно вообразить, не прибегая к уничтожению протяженности, благодаря совершенству чувствительных органов внутренней души, относящихся к органам внешнего тела, подобно соотношению, например, видимого движения света, который в несколько секунд преодолевает расстояние от Солнца до Земли, и медленных движений на Земле (...) Разве Эйлер не предложил размеров телескопа, через который можно видеть существа на Луне? По аналогии можно легко представить взаимное действие двух существ, разделенных огромным расстоянием, благодаря действительной организации человека, не прибегая к непредставимым понятиям об исчезновении пространства».

Но главное впечатление от теории духоведения для Облеухова составляют не физические доводы, а та религиозная поэзия, образы смерти и воскресения, ада и рая, которые она вызывает. Помимо Евангелия спутниками Облеухова в этих переживаниях становятся знаменитая 6-я песнь «Энеиды» Вергилия (описание подземного царства), размышления о смерти в диалоге Платона «Федон» (смерть как выздоровление, тело — земной плен души); Облеухов вспоминает и замечательные стихи Ломоносова из «Вечернего размышления о Божием величестве», рисующие образ космоса: «Восходит бездна звезд полна, Звездам числа нет, бездне дна», и другие поэтические строки.

В тетради Облеухова присутствует и третий слой текста. Дело в том, что из общирной записи, помещенной после окончания основного текста «Заметок о духоведении» и относящейся уже к 26 января 1825 года, мы узнаем о желании Облеухова скопировать «Заметки» и послать их своему другу (Чаадаеву). Однако тетрадь перед нами — не копия для Чаадаева (возможно, затерявшаяся за границей), а оригинал, поэтому все новые впечатления, возникающие при копировании, Облеухов вносит между строками прежнего текста (где они выделяются по изменившемуся оттенку чернил). В самих «Заметках» такие вставки незначительны. Например, вместе с проставленной датой и временем копирования «31 Генв. 1825 8 ч.» приведена фраза с английским вариантом сочетания из текста Zeit der Trübsalen — troublesome times («время печали») со ссылкой на книгу пророка Даниила, или отмечено «sublin. ad transcrib.» («подчеркнул при переписывании»), но в копии записи от 26 января, непосредственно прерывая текст (л. 7, об.), идут два больших отрывка на обычном для Облеухова «многоязычном диалекте» сокращенных пометок. Несмотря на пессимистичное мнение Гершензона о невозможности их разобрать, при некотором усилии они практически полностью прочитываются, что, впрочем, как указывалось выше, не облегчает их толкования. Ясно лишь, что в первом речь идет о чувстве неожиданной радости, которую испытал Облеухов: он помолился Господу от всего сердца и поблагодарил его за великую радость, которую тот «благовестил» ранее и обильнее, нежели он думал. Далее следует упоминание о посылке Облеуховым куда-то своих тетрадей (может быть, в упоминаемый в двух местах «Заметок» таинственный Magazin, с которым он сотрудничал в 1823 году). Во втором отрывке Облеухов говорит, что прочел письмо кого-то из близких, который пишет, что в Новгороде, в храме Спаса Нерукотворного, пожертвовал 25 коп. серебром на свечи, и в нем возникает чувство глубокого, давно неощущавшегося мира и светлой радости, успокоения.

Состояние душевного мира, согласия, к которому Облеухов стремится в своих занятиях, не всегда оказывается прочным. С исповедальной искренностью он старается в дневнике описать свои ощущения в такие моменты: «Мои мысли вновь как бы скованы. Я встал, не чувствуя никакого стремления к Богу, с трудом молился, раздражался на всякую малость, беспокойные мысли ожесточали меня против других людей, наконец я впал в изнеможение, связанное с болезненной слабостью рук. Ничтожная помеха заставила меня горько расплакаться. Столь же незначительное обстоятельство успокоило меня. Я все еще чувствую боль и

внутреннюю тревогу, связанную с расстройством мысли». В другие минуты Облеуков впадает в болезненную нерешительность и ищет в Евангелии указаний, как ему поступать дальше. Одна из важнейших мыслей «Теории духоведения» постоянно владеет им: за душу человека ведут борьбу добрые и злые духи, но воля его свободна, и она одна осуществляет выбор между добром и злом. Желание постоянно угадывать этот выбор иногда приводит его в отчаяние, но, несмотря на это, у Облеукова хватает мужества сделать важный вывод (единственное место в тетради, подчеркнутое два раза): «Мы не смеем искать общения с духами (даже с защитниками); мы нигде не имеем указаний на них», а в духовной жизни нужно «знать только единого Христа распятого, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. IV. 12).

На мой взгляд, в «Мистическом дневнике» Облеухов предстает гораздо более цельным и устойчивым человеком, чем его рисовали исследователи (особенно М. О. Гершензон), говоря о душевном кризисе или нервном расстройстве. Его цельность прежде всего заключается в стремлении к непрерывному созерцанию божественной истины, которая должна не противоречить, но согласовываться со всеми другими представлениями разума. Чтение мистических книг лишь отчасти укрепляло его в этом стремлении, но оно также создавало почву для порой мучительных «блужданий разума», приводивших к отчаянию и унынию, и вместе с тем общий отрицательный вывод о возможности познания духов не показывает, как полагает Гершензон, что Облеухов находился всецело под гипнозом идей Штиллинга, напротив, он был способен выйти в своей внутренней жизни из этой сферы туманных мечтаний на твердую дорогу обретения в душе благодати и мира.

## «Манфред»

О важности темы духоведения для мировосприятия Облеухова говорит нам вторичное обращение к ней в переводе драматической поэмы Дж. Г. Байрона «Манфред», увидевшем свет в журнале «Московский вестник» уже после смерти Облеухова, в июле 1828 года. И. В. Киреевский рассказывает, как возник этот перевод: «Два года тому назад (т. е. в 1826 году. — А. А.) ему случайно попался Байрон, которого он прежде не знал. Прочесть Манфреда, перевести его, выправить и переписать — для этого, не оставляя обыкновенных своих занятий, употребил О(блеухов) менее двух недель, не занимавшись стихами уже более двадцати лет». 41

Выбор Облеуховым именно этого произведения, и позже вдохновлявшего многих художников (вспомним, например, музыку Р. Шумана и П. Чайковского), конечно, не был случайным. Сам Байрон называл «Манфреда» поэмой «в очень диком, метафизическом и необъяснимом роде» («of a very wild, methaphysical and inexplicable kind»). 42 Ее герой, скрывающий в прошлом тяжкое преступление, вступает в борьбу с духами природы, тщетно пытаясь обрести забвенье. 43 Мрачная фантазия Байрона то уводит героя на заоблачные вершины гор, то бросает в адские пропасти; в конце поэмы Манфред гибнет, отвергая усилия желающего направить его к спасению аббата. Однако Облеухов не вполне следует замыслу оригинала, его перевод, по справедливому замечанию Киреевского, «можно скорее назвать подражанием Байрону».

Особенности своей работы Облеухов раскрывает в посвящении перевода, кото-

<sup>41</sup> Московский вестник. 1828. Ч. 8. С. 352.

<sup>42</sup> The works of Lord Byron. London, 1901. V. 6. P. 79.

<sup>43</sup> Эту же тему выделял Облеухов и при чтении «Теории духоведения» Штиллинга; на с. 140 возле текста о несчастье, измеряемом целью божественного правосудия, идет запись: «Это значит, что было бы противно законам божественной справедливости отклонять от человека несчастье, которое он сам на себя навлек через преступление, следствия которого ему бы послужили таким образом в наказание».

рый он адресует (по случаю именин) сестре своей жены, баронессе Елене Черкасовой: 44 «Я исправил Манфреда настолько, как это было мне возможно, чтобы сделать его менее недостойным для посвящения Вам по такому случаю. И хотя устремления автора могут показаться довольно подозрительными, я надеюсь, что в моих вы не увидите ничего, кроме желания преподнести вам скорее ту вещь, над которой я сам работал, нежели иную, хотя, возможно, более искусную, для приобретения которой не требуется ничего, кроме денег. К тому же, поскольку эта пьеса — наиболее важная в этом роде из того, что есть у меня в тетрадях, именно ее я избрал для моей цели. Я думаю, что сейчас она в меньшем беспорядке, чем в рукописи, которую Вы читали в прошлом году, где я оставил многие места настолько неотделанными, что был сам поражен этим, однако тогда я не мог их быстро переделать и торопился закончить (...)» (15 мая 1827 года, Фелисово). 45

Некоторые исправления, внесенные Облеуховым, направлены на упрощение текста (нет деления на акты, несколько сокращены диалоги, опущены второстепенные действующие лица — слуги Манфреда), однако есть и принципиальные перемены, говорящие о разнице подходов переводчика и автора к теме поэмы. Ключевая сцена во дворце Аримана — разговор с призраком Астарты (возлюбленной героя), приводящий к величайшим душевным страданиям Манфреда, — опущена Облеуховым. В его переводе призрак не оживает, и Манфред, разочарованный, покидает подземное царство, а его слова в целом повторяют уже знакомые нам выводы о тщетности духоведения: «Вотще низшел я в мрак земной Искать меж мертвыми живой, Прощайте, бездны вечной тьмы, Мечтаний суетных страны, Не может жизнь в вас обитать, Ни смерть отраду смертным дать». И главное, переводчик вводит иной, нежели у Байрона, финал поэмы: вместо мучительной смерти героя, не покоряющегося ни пришедшим за ним духам, ни зовущему его к спасению аббату, у Облеухова под образом аббата скрывается возлюбленная Манфреда, которая провозглашает конец его страданиям.

В произведении Облеухова привлекают безусловные литературные достоинства. Как верно оценил Киреевский, «стихи в нем по большей части хороши и сильны». Вместо равносложных нерифмованных строк Байрона переводчик использует вольный рифмованный ямб с удивительно богатыми ритмическим рисунком и смысловыми ударениями. В других же местах Облеухов, напротив, очень точно передает выразительную интонацию байроновского стиха, и особенно ярко — в знаменитом «Заклинании» («Incantation»), восхищавшем и привлекавшем многих переводчиков, от Гете до Бунина:

В час ночной, когда луной Серебрится море, Светит червь в траве густой, Огнь блуждает над водой, Над могилой пар земной Светит в метеоре.

<sup>44</sup> Ее имя, с большой вероятностью, прочитывается и в двух записях «Мистического дневника» (Л. 7, об.). Из письма в Фелисово ее сестры Елизаветы (РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 79) мы узнаем, что осенью 1826 года Елена участвовала в петербургских проводах осужденных декабристов и хотела последовать в Сибирь за своим братом декабристом Алексеем Черкасовым.

<sup>46</sup> В подлиннике по-французски: РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 37-а. Л. 1. Это письмо-посвящение, находящееся среди бумаг Чаадаева, предшествовало приложенному далее тексту перевода, о чем говорит запись в середине следующей страницы (как бы титульного листа): 

«Манфред. Драматический отрывок, переделанный из Байрона» — и эпиграф на ее обороте (отсутствующий в публикации): «Я стихами бью челом. Держав.». По-видимому, следовавший далее текст и был отослан в редакцию «Московского вестника», и это свидетельствует о том, что (вопреки мнению Е. Костиковой) его публикатором был не Киреевский (возражавший против издания перевода), а Чаадаев (подробнее см. ниже).

Звезды падают с небес, Криком сов наполнен лес, И деревьев дружных сонмы Спят в тени холмов безмолвны, Дух мой будет над тобой Веять силой роковой.

Улыбкой твоею змеиной И хладным сердцем твоим, Бездонною лести пучиной, Извергшей чарующий дым, Взором алчбы ненасытной, Сеющим призраков свет, Сердца изменою скрытной, Горьким источником бед, С первым погибели чадом Вечным собратом твоим — Тебя заклинаю быть собственным адом, И казнью злодеям иным.

Несмотря на общий интерес к Байрону в эти годы, перевод Облеухова практически не был замечен критикой. Так случилось, что как раз перед его выходом в Петербурге отдельной книгой появился другой перевод «Манфреда», выполненный М. Вронченко, не содержавший никаких отступлений от оригинала, но по художественному качеству явно уступавший произведению Облеухова. Поэтому, хотя Облеухов и перевел «Манфреда» раньше, читающая публика познакомилась с ним по другому изданию, и именно по переводу Вронченко была написана капитальная статья Шевырева, критиковавшая идейное содержание поэмы. 46 Впрочем, Облеухов вовсе не стремился к опубликованию перевода — для него это был «подарок», элемент дворянской культуры, не выходившей, как и плоды его ученых занятий, за узкие рамки семейного круга. Но поэтический образ духоведения, нарисованный здесь, важной чертой входил в его духовный мир и оттенял другие философские и научные поиски.

#### Метафизика как математика

За любовью Облеухова к точным датам и числам как будто проглядывает нечто большее, чем простая аккуратность. Автор «Мистического дневника» словно стремится угадать неведомый ритм, почувствовать утраченную гармонию, которая может вдруг проявиться во всем, что его окружает, в случайных временных связях, так же как и в математических соотношениях, сцеплении слов, составляющих поэзию, и метафизически отвлеченных понятиях, доступных умственному озарению. Уникальность Облеухова как мыслителя состоит в том, что при крайне разнообразном проявлении его талантов он обладает чрезвычайно цельным мировоззрением, соединяющим воедино принципы и механизмы различных наук, созданных разумом, и, вместе, необходимость живого созерцания Божественной благодати. Именно о такой цельности, полагая в ней «истинные начала новой философии», мечтал молодой И. В. Киреевский, что как можно смело судить, не без влияния старшего товарища, и эту мечту несла в своем дальнейшем развитии русская философия.

Важной характерной чертой философских раздумий Облеухова, отличавшей его от позднейших русских мыслителей XIX века, было то, что одним из ведущих

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> См.: *Краснов А. П.* Байрон в России во второй половине 20-х гг. XIX в. // Учен. зап. Барнаульск. пед. ин-та. 1972. Т. 20. С. 95—124.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 335.

инструментов человеческого познания он считал математику как хранительницу истин в их наиболее явной, «незамутненной греховным сознанием» форме. Это был принцип научного мышления XVII—XVIII веков, когда философия нового времени развивалась рука об руку с достижениями естественных наук; в конечном счете он восходил к платоновской традиции («Не знающий геометрии да не вступит в Академию»). Кант был последним из великих философов, который использовал физические законы и понятия в качестве опор своей метафизики (переводя их на язык априорных категорий). Вдумчивый последователь Канта, Облеухов также был уверен, что математический метод, сводящийся к познанию отношений между числами, фигурами и прочими абстрактными понятиями, является основным инструментом разума и в познании предметного мира в той степени, как он явлен человеку (кантовские «феномены»), причем неизбежным знаменателем таких отношений служит сам человек, «мера всех вещей».

О разрабатываемых им философских идеях Облеухов говорил Чавдаеву в письме от 8 августа 1827 года. Вспоминая об их университетских занятиях математикой, он выражал желание написать ему «то, что недавно пришло (...) в голову, а именно одну тему из высокой метафизики, которая станет для философии тем, чем дифференциальное исчисление для математики». 48

Как уже отмечали исследователи, эта «тема из высокой метафизики», вероятнее всего, должна быть сопоставлена со статьей Облеухова, посмертно опубликованной в 1829 году в «Московском вестнике» под заголовком «Отрывок из письма к N. о гиероглифическом языке». 49 Представивший письмо в редакцию аноним (не кто иной, как сам П. Я. Чавдаев — см. ниже) предварял его своим замечанием о том, что «покойный Д. А. Облеухов в последние годы своей жизни занимался преимущественно исследованиями о первобытном языке, связывая их с важнейшими предметами метафизики. Посылаю вам отрывок из одного письма его, который вы можете напечатать в своем журнале. Он хотя несколько познакомит читателей наших с новою, остроумною, глубокомысленною и самобытною системою Облеухова, которая в Германии имела бы влияние заметное во многих отношениях, но которой судьбы у нас предугадать невозможно».

Опубликованное письмо на самом деле представляет собой развернутую философскую статью, специальным предметом которой является исследование и реконструкция на основе существующих языков «первобытного алфавита» букв-понятий, давшего основу всем остальным азбукам. Однако, как подчеркивает во вступлении Чаадаев, содержание статьи Облеухова шире чисто лингвистического, оно отражает контуры всех его философских представлений. Основная идея, с которой Облеухов начинает свои рассуждения, заключается в существовании первоначального совершенного алфавита — априорной системы «естественных знаков», которые автор называет гиероглифами. Эти знаки соответствуют органам человеческого тела (на эту мысль автора навело сопоставление названий греческих и еврейских букв со словами, обозначающими рот, глаз, руку и т. д.). Количество их равно семи (как и число основных звуков гармонии). Насколько «тело человеческое, так как оно вышло первоначально из рук Создателя, долженствовало представлять видимый идеал красоты», настолько и гиероглифический алфавит был совершенен, однако впоследствии красота смешалась с началами беспорядка и безобразия, и поэтому дошедшие до нас фигуры древних языков показывают лишь обезображенные следы простых начальных образов алфавита.

Можем ли мы узнать эти образы? Поскольку идеальная природа их сама по себе нам недоступна, то в науке познаются только их отношения к познающему субъекту — человеку. Основным методом такого познания служит уподобление (так, говоря о ножке стула, мы открываем в ней такое же отношение к стулу,

<sup>48</sup> Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. С. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Московский вестник. 1829. Ч. 4. С. 105—134.

что и у ноги человека к самому человеку; метафорическое мышление Облеухова ярко сказывается при обсуждении им примера из Горация, называвшего листья «власами деревьев»). «Теория составления языков основывается на беспрестанном употреблении метафоры, особливо метонимии и синекдохи — употреблении, руководствуемом, с одной стороны, т. е. Objective, всеобщим законом аналогии, или подобия в натуре, а с другой, т. е. Subjective, законом сообщества понятия и ощущений в человеке». Таким образом, к гиероглифам относятся те знаки, которые соответствуют предметам по естественной гармонии, а не по условному соглашению. Наука гиероглифов состоит в «познании пропорций, т. е. всеобщей гармонии натуры, познании, тесно соединенном с познанием истины».

Подобные конструкции являлись некогда основой «философского» языка единственного народа, который был на земле, и относились к древнейшему из языков потомков этого народа (древнееврейскому) так же, как сейчас славянский язык относится к русскому. В древнееврейском много слов первобытного языка, но позже был утрачен сам его метафизический дух, а остальные языки, на которых говорили новообразованные племена, произошли уже в результате последующих смешений, и в итоге место фонетических гиероглифов, букв-образов заняли «нестройные ряды безобразных фигур, в которых едва ли в течение 40 веков приходило на мысль искать следов подобия тела человеческого».

Хотя статья Облеухова не вызвала дальнейших откликов, это не означало, что интерес к таким теоретическим основам лингвистики, которые предлагал Облеухов, вообще отсутствовал в то время, — происхождением языков, например, всерьез интересовался Грибоедов (его рассуждения на эту тему известны в передаче Булгарина). Но наиболее ясно влияние взглядов Облеухова мы можем проследить в отдельных мыслях Чаадаева, который работал над «Философическими письмами» непосредственно после его смерти и не зря прикладывал усилия к опубликованию трудов своего покойного друга.

Так, рассуждения о роли математического метода в познании, соотношении точных наук и опыта проходят красной нитью через несколько писем. «Всякое естественное явление можно рассматривать как число. При этом или заставляют природу выразиться в числе и рассматривают ее в действии — это наблюдение, или исчисляют в отвлечении — это вычисление; или же, наконец, за единицы принимаются найденные в природе величины и производят вычисления над ними; в этом случае применяют вычисление к наблюдению и этим пополняют науку. Вот и весь круг положительного знания». 50 Этот отрывок несет явный отголосок бесед Чаадаева с его другом. Еще более явно впечатление от мыслей Облеухова видно в другой заметке, где Чаадаев говорит о неудовлетворительности нынешних философских методов при этнографическом изучении языков. «Нельзя себе представить ничего остроумнее, ничего искуснее, ничего глубже различных сочетаний, которые народ применяет на заре своей жизни для выражения тех идей, которые его занимают и которые ему нужно бросить в жизнь, и вместе с тем нет ничего более таинственного (...) Именно в глубине этих поразительных явлений заклю-

 $<sup>^{50}</sup>$  Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо четвертое // Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 366.

чены самые плодотворные методы человеческого ума, то есть именно те, которые было бы всего важнее изучить». 51 Как мы видели, статья Облеухова и была посвящена такому исследованию.

Последние встречи Чаадаева и Облеухова состоялись в Москве во второй половине 1827 года. Еще зимой прошлого года, когда Облеухов проживал в деревне Фелисово под Калугой, он после долгой разлуки получил письмо Чаадаева и не скрывал своей радости вновь увидеть знакомый почерк, услышать новости о друге, хотя тут же, отвечая на желание Чаадаева навестить его в деревне, добродушно сетовал, что в маленьком и плохо отапливаемом доме не сможет предоставить ему те условия, «к которым вы, как я хорошо знаю, привыкли с детства и которые хрупкость вашего здоровья делает необходимыми для вас, так что их отсутствие может быть вам неприятным».52 Облеухов советовал другу отложить визит до весны, однако первый раз после долгой разлуки они смогли свидеться только в Москве в конце лета или осенью.53 Но вскоре в состоянии здоровья Облеухова наступил кризис. Его последнее из дошедших до нас писем, даже не письмо, а короткая записка, в которой слабеющая рука больного с трудом выводила буквы, так не похожие на былой каллиграфический почерк, обращена к Чаадаеву: «Любезный друг! Я уже четвертый день слег в постелю и очень бы желал вас вилеть: если можно, посетите меня. Сегодня был у меня Маркус на консилиуме и прописал мне разные пластыри и лекарства. Ожидаю вас, любезнейший друг».54

Навестил ли Чаадаев Облеухова перед смертью? Этот год, отмеченный для него также встречей с А. С. Норовой, казалось, раскрыл его сердце к проявлениям теплых человеческих чувств, которые и прежде, и впоследствии, слывя холодным и чопорным педантом, он прогонял от себя и скрывал от других. Так или иначе, но Чаадаев действительно искренне любил своего друга и горько оплакал его смерть, наступившую 13 декабря 1827 года. Облеухов был похоронен в Даниловом монастыре, и надпись на его могиле гласила: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня».55

#### Только начало...

Чаадаев, вероятно, был на похоронах своего друга и позже не раз навещал дом на Тверской. Одним из его желаний было собрать у себя последние труды Облеухова: так, баронесса Елена Черкасова передала ему рукопись «Манфреда» вместе с адресованным ей посвящением, от жены покойного он получил «Заметки о духоведении», книги Юнга-Штиллинга с пометками Облеухова, возможно, оригинал «Письма о гиероглифическом языке» (который, впрочем, мог подарить Чаадаеву и раньше сам автор).

Предположение о том, что именно Чаадаев выступил в роли посредника при публикации произведений Облеухова в «Московском вестнике», оставалось бы только счастливой догадкой, 56 если бы не прямое указание на это. которое

<sup>51</sup> Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли // Там же. С. 474.

<sup>52</sup> РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 37. Л. 3.

<sup>53</sup> Косвенное свидетельство о встречах Чаадаева и Облеухова мы находим в письмах-дневниках А. В. Якушкиной. 24 октября она, обращаясь к мужу, отметила новость, очевидно сообщенную ей Чаадаевым: «Вчера слышала об Облеухове. Он здоров, помнит тебя, живет теперь в Москве, продолжает много заниматься» (Дневник Анны Васильевны Якушкиной // Новый мир. 1964. № 11. С. 142).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 37. Л. 8. Опубликовано в кн.: Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 2. С. 436.

<sup>55</sup> Московский некрополь. СПб., 1908. Т. 2. С. 353. Эта надпись созвучна одному из наиболее часто цитируемых на полях «Theorie der Geisterkunde» евангельских стихов: «Слушаяй словесем Моим, и веруяй пославшему мя, имат живот вечный, и на суд не приидет, но прейдет от смерти в живот» (Иоан. V. 24).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Костикова Е. Указ. соч. С. 18.

находится в одной из записок М. П. Погодина, в 1827—1830 годах издателя «Московского вестника», к племяннику Чаадаева М. И. Жихареву. На вопрос последнего, нет ли в его архиве каких-нибудь материалов, касающихся Чаадаева и Облеухова, тот сообщал: «Об отношениях Чаадаева к Облеухову я ничего не вижу. Теперь припоминаю, что встретил в первый раз Чаадаева в двадцатых годах (1827 или 8) в книжной лавке Ширяева и что он прислал мне после что-то облеуховское, или говорил... Справлюсь после». 57 Замечательно, что имя Облеухова возникает почти при первом же разговоре Чаадаева с журналистом, что говорит о глубокой его увлеченности в то время личностью своего друга.

Старания Чаадаева опубликовать несколько работ Облеухова стали первым звеном в посмертной судьбе его архива (писем, дневников, рукописей произведений), в которой еще очень многое остается загадкой. На хлопоты Чаадаева отозвался Иван Киреевский, приславший Погодину письмо, в котором просил воздержаться от издания перевода «Манфреда». Упоминая о существовании богатейших по содержанию тетрадей Облеухова и выражая надежду, что они когданибудь будут напечатаны, он вместе с тем считал, что по этому переводу у читателей сложится одностороннее представление об авторе, так как «О(блеухов) как переводчик хотя выше посредственного, но далеко не отличный, между тем как он (...) был человек во всех отношениях необыкновенный, и для тех, которые знали его и обстоятельства, сопровождавшие перевод, самый Манфред был новым доказательством силы и гибкости его дарований». 58 «Я получил это письмо, — добавляет Погодин, — по напечатании Манфреда. Впрочем, приняв в уважение изложенные здесь причины, я думаю, что эта пьеса получит теперь новую занимательность в глазах публики, и очень рад, что мог напечатать ее».

Однако внимания публики и изданий других «тетрадей» не последовало. Пристальный интерес к личности Д. А. Облеухова сохранялся только в семье Елагиных—Киреевских. Вдова, Екатерина Ивановна, и сын Дмитрий были приняты здесь как родные. Е. И. Облеухова особенно дружила с А. П. Елагиной и сообщала ей все семейные новости, Дмитрий же в 1839 году поступил в Московский университет и посещал лекции вместе с братьями Андреем и Николаем Елагиными. Через десять лет женился на Екатерине Григорьевне Белавиной, 59 и супруги поселились в д. Шумятино под Малоярославцем. Семья Облеуховых, так же как и Елагины, отличалась крепким православным благочестием. Из писем мы узнаем о частых посещениях Д. Д. Облеуховым Оптиной пустыни, его увлечении чтением житий святых. На склоне лет Е. И. Облеухова приняла иноческий чин и скончалась в Троице-Одигитриевом монастыре (известном как Зосимова пустынь) в конце 1860-х годов (последнее ее письмо к А. П. Елагиной написано в 1868 году). Начало развития такого религиозного духа в семье безусловно восходило ко времени жизни нашего героя.

После смерти отца одним из самых близких людей для Д. Д. Облеухова оставался его крестный отец И. В. Киреевский; между ними существовало редкое единомыслие. В Так, в 1852 году, после выхода замечательной статьи Киреевского, подводившей итоги его философского пути, Облеухов писал Н. А. Елагину: «Статью Ив. Вас. об отношении просвещений Европы и России прочел с великим удовольствием и сочувствую ей вполне». В свою очередь Киреевский всегда с радостью говорил с Облеуховым о его отце. В 1845 году для этого появился особый

<sup>57</sup> РГБ. Ф. 103. П. 1032. Ед. хр. 30. Л. 3—4. Записка датирована 1850-ми годами, что объясняет забывчивость Погодина, однако, насколько показал беглый осмотр всех относящихся к нему личных фондов в архивах Москвы и Петербурга, рукописей Облеухова там нет. 58 Московский вестник. 1828. Ч. 8. С. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> См. письма Е. И. Облеуховой (в иночестве Феофании) к А. П. Елагиной (РГБ. Ф. 99. Карт. 9. Ед. хр. 14) и переписку Д. Д. Облеухова с А. А. и Н. А. Елагиными (РГБ. Ф. 99. Карт. 4. Ед. хр. 50; Карт. 9. Ед. хр. 13).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Т. 8. С. 525.

повод: Московский университет объявил, что собирает биографии своих воспитанников, и Д. Д. Облеухов составил для посылки «господам профессорам» биографию своего отца, куда поместил известия о нем «самые точные и положительные, а все полудостоверные и не подтвержденные находящимися или находившимися у меня фамильными документами и бумагами отвергал. Итак, гг. профессора могут положиться вполне за точность и достоверность сообщаемых мною сведений». 61 Намерение написать эту биографию Д. Д. Облеухов обсуждал с Киреевским и окончательный текст передал ему затем для прочтения.

В том же письме Облеухов сообщал: «(...) бумаг после отца у меня никаких не осталось, кроме тех, кои вполне мною исчерпаны для приложенной при сем краткой биографии». Подразумевал ли он здесь только официальные бумаги, или и весь рукописный архив Д. А. Облеухова был уже утрачен к этому времени? Сомневаться в этом позволяют сведения, относящиеся уже к началу ХХ века. В это время два внука Д. А. Облеухова, Антон и Николай Дмитриевичи, оба писатели, журналисты, сотрудничавшие с В. В. Розановым и В. Я. Брюсовым, жили попеременно в Петербурге, Москве и Малоярославце. Уже после революции, в 20-е годы, неутомимый собиратель рукописей Чаадаева Д. И. Шаховской познакомился с «одной из представительниц рода Облеуховых», жившей в Малоярославце (возможно, Софьей Львовной, женой Н. Д. Облеухова; письма их известны вплоть до 1916 года<sup>62</sup>), и частично скопировал хранившиеся у нее письма Чаадаева к Облеухову 1811—1816 годов. Однако работа Д. И. Шаховского была трагически прервана, а с тех пор новые поиски архива не проводились.

Таким образом, сейчас исследователи находятся только в начале пути. Личность и творчество Д. А. Облеухова лишь в самое последнее время по-настоящему вводятся в научный оборот. Не потеряна надежда обнаружить его архив, где помимо его собственных рукописей могут храниться письма П. Я. Чаадаева, И. Д. Якушкина, М. А. Фонвизина, И. Д. Щербатова, семьи Черкасовых, Киреевских и пр. Кроме этого, возможно обнаружение и других документов, связанных с жизнью Облеухова. Однако уже теперь ясно, что значение его личности в истории русского общества 1810—1820-х годов выходит за рамки чисто академического исследования. Даже немногие его уцелевшие дневники и пометки на книгах раскрывают нам историю духовных поисков, через которые проходило его поколение. При этом духовное богатство и методичный ум, математическая точность и поэтическое воображение вместе образовывали уникального мыслителя своей эпохи, раскрывшегося нам лишь в малой степени, но повлиявшего, через такие фигуры, как Петр Чаадаев и Иван Киреевский, на развитие русской философии XIX века в период ее зарождения.

В. Д. Рак

# РЕЦЕНЗИЯ Н. И. НАДЕЖДИНА «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САТИРЫ ВО ФРАНЦИИ»

Информируя своих читателей о зарубежных периодических изданиях, из которых для «Телескопа» переводились художественные произведения, всевозможные статьи и заметки, а также информационные материалы, Надеждин первым упо-

 $<sup>^{61}</sup>$  РГБ. Ф. 99. Карт. 9. Ед. хр. 13. Л. 9—10. Местонахождение этой биографии в настоящее время неизвестно.

<sup>62</sup> РНБ. Ф. 157. Оп. 2. Ед. хр. 548, 549.

<sup>63</sup> Лит. наследство. 1935. Т. 22-24. С. 76.

мянул французский журнал «Revue de Paris» («Парижское обозрение») и объяснил свое к нему внимание богатством и разнообразием его содержания, участием в нем «многих известных литераторов», как то: Ш. Нодье, Ж. Жанена, О. де Бальзака, А. Пишо, П. Лакруа («Жакоба библиофила») и др., умеренностью его политической позиции. Вместе с тем Надеждин отметил, что на четвертом году своего существования «журнал сей (...) уже отжил свой блестящий период», «кредит его ощутительно слабеет» и публике нужно о нем напоминать. Тем не менее и после этого заявления «Парижское обозрение» продолжало служить редактору «Телескопа» важнейшим источником и число заимствуемых из него публикаций не только не уменьшилось, но некоторое время даже существенно увеличивалось.

По сведениям Н. И. Наволоцкой, издавшей малым тиражом, на ротапринте, указатель содержания «Телескопа», из «Парижского обозрения» были взяты в 1832 году 13 материалов, в 1833 — 8, в 1834 — 18, в 1835 — 9, в 1836 — 4.2 Эти цифры, учитывающие лишь те публикации, которые помечены ссылкою «Revue de Paris», не отражают истинного положения вещей, так как многие переводные статьи и заметки печатались без указания иностранных журналов, где они были опубликованы, а исследователи, занимавшиеся «Телескопом», не удосужились до сих пор провести элементарное, рутинное и обязательное сопоставление его хотя бы с теми зарубежными периодическими изданиями, которые назвал сам Надеждин. Даже беглый, выборочный просмотр на этот предмет томов «Парижского обозрения» за 1833 год выявил в «Телескопе» 16 заимствований из него, не учтенных составительницей «Библиографического описания».

№ 667, 675. Молеон В. де. История английской Ост-индской компании // Телескоп. 1833. Ч. 14. № 7. С. 344—356; № 8. С. 477—490. Источник: Moléon, Jean-Gabriel-Victor de, 1784—1856. Historique commercial et statistique de la Compagnie anglaise de Indes-Orientales // Revue de Paris. 1833. Т. 49. Avr. P. 69—85.

№ 678. [Мадден Р. Р.]. Сравнение долголетия ученых, литераторов и артистов // Телескоп. 1833. Ч. 14. № 8. С. 546—552. Источник: Madden, Richard Robert, 1798—1886. Longévité relative des savans, des hommes de lettres et des artistes // Revue de Paris. 1833. Т. 51. Juin. Р. 176—183. Извлечение из кн.: Madden R. R. The Infirmities of Genius Illustrated by Referring the Anomalities in the Literary Character to the Habits and Constitutional Peculiarities of Men of Genius. London, 1833. Vol. 1. P. 83—89.

№ 693. Бегум Сомру, индийская амазонка // Телескоп. 1833. Ч. 15. № 10. С. 264—269. Источник: La Begum Somru // Revue de Paris. 1833. Т. 53. Août. P. 266—269. Помета в конце текста: «Extrait de Voyages». Voyages du major Archer et des capitaines Mundy et Skinner. Компиляция. Главный источник: Archer, Edward Caulfield. Tours in Upper India, and in parts of the Himalaya Mountains, with account of the courts of the native princes. London, 1833. Vol. 1. P. 137—144; дополнительные источники: Mundy, Godfrey Charles, ? — 1860. Pen and Pencil Sketches, being the Journal of a Tour in India. London, 1832. Vol. 1. P. 369—376; 2nd ed. London, 1833; Skinner, Thomas, 1800? — 1843. Excursions in India; including a walk over the Himalaya Mountains to the sources of the Jumna and the Ganges. London, 1832. Vol. 1. P. 79—84.

№ 694. [Лего А.]. Некрология Пьера Гереня // Телескоп. 1833. Ч. 15. № 10. С. 269—276. Источник: Le Go A. Pierre Guérin // Revue de Paris. 1833. Т. 53. Août. P. 260—265.

№ 695. [Апперли Ч. Д.]. История английских скачек // Телескоп. 1833. Ч. 15.

<sup>1</sup> Телескоп. 1832. Ч. 9. № 11. С. 412-414.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Библиографическое описание журнала «Телескоп» (1831—1836) / Сост. Н. И. Наволоцкая. М., 1985. Ч. 1. С. 13; Ч. 2. С. 94.

№ 11. С. 277—295. Источник: Chevaux de course et jockeys anglais / Par l'auteur de la Chasse au renard // Revue de Paris. 1833. Т. 53. Août. Р. 73—83. Помета (воспроизведена в «Телескопе»): Quarterly Review. Извлечение (?) из ст.: Apperley, Charles James, 1779—1843. The Turf // Quarterly Review. 1833. Vol. 49. July. Р. 381—449. Этому же автору принадлежит ст.: English fox-hunting — Melton Mowbray // Ibid. 1832. Vol. 47. March. P. 216—243.3

№ 707. [Паризе Э.]. Допотопный мир по системе Кювье // Телескоп. 1833. Ч. 15. № 12. С. 544—551. Источник: Pariset, Étienne, 1770—1847. Le monde avant le déluge d'après le système de Cuvier // Revue de Paris. 1833. Т. 54. Supplement. P. 240—245. Помета: Éloge de Cuvier par Pariset. Извлечение из ст.: Pariset É. Éloge du baron Cuvier... lu dans la séance publique du 9 juillet 1833 // Mémoires de l'Académie royale de médecine. 1833. Т. 3. Отд. изд.: Paris, 1833.

№ 708. [Надерман А.]. История арфы // Телескоп. 1833. Ч. 15. № 12. С. 551—556. Источник: Naderman, Henri (?), ок. 1780—после 1835. Histoire de la harpe // Revue de Paris. 1833. Т. 54. Supplement. P. 246—249.

№ 711, 719. Сутей [Саути] Р. Историческое обозрение португальской поэзии // Телескоп. 1833. Ч. 16. № 13. С. 67—79; № 14. С. 187—211. Источник: Southey, Robert, 1774—1843. Histoire de la littérature portugaise. § 1er. Poésie // Revue de Paris. 1833. Т. 49. Avr. Р. 189—207. Компиляция из двух рецензий Р. Саути: 1. Extractos em Portuguez e em Inglez... London, Wingrave. 1808 // The Quarterly Review. 1809. Vol. 1. № 2. May. Р. 268—283 (в рус. пер. соответствуют с. 67—79, 187—197; статья известна также под загл. «Portugueze Literature»). 2. Memoirs of Life and Writings of Luis de Camoens. By John Adamson, F. S. A. London... 1820; O Oriente, Poema de Jose Agostinho de Macedo. Lisbon. 2 vols. // The Quarterly Review. 1822. Vol. 27. № 53. April. P. 32—39 (в рус. пер. соответствуют с. 197—211).

№ 722. Английские нравы: Граф и альдерман / [Пер. В. Г. Белинский] // Телескоп. 1833. Ч. 16. № 14. С. 249—257. Источник: Moeurs politiques de l'Angleterre: Le Comte et l'alderman // Revue de Paris. 1833. Т. 48. Р. 225—229. Помета (воспроизведена в «Телескопе»): New Monthly Magazine.

№ 729. Знаменитые современники: Гегель / (Амед-ея Прево); Пер. В. Межевич // Телескоп. 1833. Ч. 16. № 15. С. 381—397. Источник: Prévost, Amédée. Hegel // Revue de Paris. 1833. Т. 46. Р. 115—124.

№ 742. Дидье III. Конклав / [Пер. В. Г. Белинский] // Телескоп. 1833. Ч. 17. № 17. С. 73—88. Источник: Didier, Charles, 1805—1864. Un conclave // Revue de Paris. 1833. Т. 55. Ост. Р. 5—13. Отрывок из двух глав (ch. XVI. Pasquin; ch. XXI. Le Conclave) романа III. Дидье «Rome souterraine» (Paris, 1833. Т. 1. Р. 288—292; Т. 2. Р. 1—9), опубликованный до выхода произведения.

№ 781, 789. Низар Д. Отчего в Риме не было трагедии // Телескоп. 1833. Ч. 18. № 23. С. 329—343; № 24. С. 509—524. Источник: Nisard, Jean-Marie-Napoléon-Désiré, 1806—1888. Pourquoi Rome n'a pas eu de tragédie // Revue de Paris. 1833. Т. 56. Supplement. P. 222—241.

Выявление иностранного источника всегда открывает богатый пласт ценной информации, без которой (как обнаруживается, когда она становится известной) невозможна достоверная, объективная историко-литературная оценка ни самого переводного сочинения, ни — расширительно — того номера журнала, где оно напечатано, ни, следовательно, в какой-то мере, всего журнала. Устанавливаются авторы многих публикаций, появившихся в русском журнале по тем или иным причинам анонимными. Определяется место и значимость каждого иностранного сочинения, как в отдельности, так и в совокупности с другими, в литературной и общественной жизни его страны и Европы, из чего обретает более четкие контуры

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cm.: The Wellesley Index to Victorian Periodicals, 1824—1900 / W. E. Houghton editor. Toronto; London, 1966. Vol. 2. P. 712, 714. Nos. 304, 353.

его проекция на российское восприятие и проясняются принципы отбора. Решаются некоторые спорные вопросы атрибущии переводов. 4 Раскрываются особенности редакторской тактики при отборе и публикации переводов. 5 Наконец (и это главное), открывается возможность сличить переводы с подлинниками, оценить их качество, установить расхождения русского текста с иностранным и найти для них объяснения.

Казалось бы, обилие в «Телескопе» переводных материалов должно было привлечь к этой его стороне самое пристальное внимание исследователей, однако именно в этом отношении журнал остается слабее всего изученным. Сделанное в этой области исчерпывается несколькими замечаниями С. А. Венгерова о частных языковых погрешностях Белинскогов и также немногими, но более глубокими, обстоятельными наблюдениями В. С. Нечаевой, касающимися в том числе и его отступлений от подлинника. <sup>7</sup>. Кроме того, Н. И. Наволоцкая указала, что материал, подписанный сокращенным обозначением иностранного журнала (а это в «Телескопе» встречается нередко), «мог быть полным переводом, вольным изложением с комментарием-полемикой переводчика, сжатым пересказом, обзором и т. п. ». В Это утверждение носит, однако, характер более общетеоретического подожения, нежели вывода из конкретных наблюдений, поскольку сличения переводов с подлинниками исследовательница не проводила.

Между тем на этой ниве ожидается, кажется, богатый урожай, что обещает, например, рецензия «Современное состояние сатиры во Франции: Бартелеми и Барбье», 9 попадавшая несколько раз в поле зрения историков русской критики и журналистики и получавшая при этом несовпадающие оценки. М. Я. Поляков

В другом переводе Белинского: отрывке «Конклав» из романа Ш. Дидье — сомнения Венгерова вызвало примечание, в котором излагалось содержание романа: «Трудно сказать, кому принадлежит это неподписанное примечание: тому журналу, из которого, очевидно, взята статья, или редактору "Телескопа", хорошо знавшему Италию. Но во всяком случае, оно никак не могло принадлежать Белинскому, совсем с итальянскими делами не знакомому • (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. СПб., 1900. Т. 1. С. 230). Установление источника дает ответ: примечание содержалось в «Revue de Paris».

<sup>4</sup> Так, окончательное решение получает имеющий долгую историю вопрос о принадлежности В. Г. Белинскому перевода статьи «Английские нравы: Граф и альдерман». Хотя в письме к брату от 21 мая 1833 года Белинский сам назвал ее в числе своих переводов (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 11. С. 98), С. А. Венгеров счел это упоминание «ошибкой или опиской»: «В № 14, стр. 249—257, — писал он, — действительно есть статья "Английские нравы. Граф и Альдерман", но (как под всеми статьями, взятыми из иностр. журналов) под нею стоит отметка: (New Monthly Magazine). По-английски Белинский не знал, следовательно, перевод ему принадлежать не может (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 12 т. / Под ред. и с прим. С. А. Венгерова. СПб., 1900. Т. 1. С. 209). На это возражала В. С. Нечаева, справедливо указавшая, что «эта помета под переводом вовсе не означает, что переводчик имел дело с английским журналом», поскольку «в "Revue etrangère", в "Revue britannique" и других изданиях статьи, взятые из английских журналов, имеют такие пометы, и, конечно, переводивший с французского Белинский просто оставил помету под переводом, так же как она стояла в французском журнале» (Нечаева В. С. В. Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве», 1829—1836. М., 1954. С. 218). Это же мнение исследовательница повторила и в составленном ею «Перечне переводов В. Г. Белинского» (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1959. Т. 13. С. 284-285) и, как теперь обнаружилось, была права.

<sup>5</sup> В четырех номерах «Телескопа» за 1833 год (№ 8, 10, 12, 14) было помещено по три и в двух (№ 11, 17) по два перевода из «Парижского обозрения», но в каждом из этих номеров соответствующая помета поставлена только при одном заимствованном из французского журнала материале, а другие не имеют указания на этот источник.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 12 т. / Под ред. и с прим. С. А. Венгерова. СПб.,

<sup>1900.</sup> Т. 1. С. 184, 197, 204, 212; Т. 2. С. 516.

<sup>7</sup> Нечаева В. С. В. Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». C. 212—213, 226—231.

<sup>8</sup> Библиографическое описание журнала «Телескоп». Ч. 1. С. 14.

<sup>9</sup> Телескоп. 1832. Ч. 8. № 6. С. 250—262. В дальнейшем ссылки в тексте сокращенно: Т. с указанием страницы.

поставил Надеждину в заслугу то, что он первым познакомил русского читателя с сатирами Барбье. Подобный отбор переводов из французской литературы ученый считал «для реалистических принципов Надеждина очень характерным», свидетельствующим о том, что он «на стороне тех писателей, которые от романтизма лвижутся к реализму». 10 Это мнение разделял Н. И. Мордовченко, по чьим словам «Телескоп» «увидел в Барбье представителя той новой поэзии, которую призваны осуществить "времена новые" на основе преодоления классицизма и романтизма». 11 С этим толкованием статьи резко полемизировала В. Г. Березина, не только не обнаружившая в ней политического радикализма и «реалистических принципов» астетики, но усмотревшая совершенно противоположную идейную направленность: «Належдин хвалит Барбье, но отнюдь не за политический радикализм. нашел в Барбье союзника для нападок на французскую буржуазию, только нападали-то они на нее с разных сторон: если Надеждин не мог простить буржуазии уничтожения во Франции феодальных порядков, то Барбье, напротив, обвинял буржуазию в трусости и непоследовательности, в предательстве интересов народа. Не следует забывать, что Надеждин хвалил не столько подлинного Барбье, сколько свое истолкование его творчества: Надеждин все время подчеркивает, что Барбье, разочаровавшись в революции, "не позволяет себе ни одного оскорбительного слова против Бурбонов", а Наполеона, "напротив, проклинает", что поэт "требует только от народа — добрых нравов, от людей, облеченных властью, бескорыстия, от всех — религии: его «Ямбы» обрекают позору одну безнравственность". Так революционный поэт превращен Надеждиным в среднего буржуа-морализатора, порвавшего с революцией». 12 Первая трактовка исходила из традиционного представления о Надеждине как главным образом последовательном противнике романтизма; вторая возникла как частный случай осмысления историко-литературного процесса в свете предписывавшегося в советские времена осуждения и обличения тех деятелей прошлого, чьи взгляды и действия не укладывались в прокрустово ложе того, что идеологический диктат коммунистов «утвердил» для соответствующей эпохи в качестве «прогрессивного». Тем не менее при всем несходстве отправных точек в обеих оценках статьи о французской сатире имеется доля правды, но полностью все оттенки вложенного в эту рецензию смысла проступают лишь при ее сопоставлении с напечатанной в «Парижском обозрении» статьей либерального журналиста, позднее видного историка литературы, Эжена-Никола Жерюзе (1799—1865) «О сатире во Франции после июльской революции». 13

Действительно, статья в «Телескопе», авторство которой приписывалось Надеждину, была еще одним его заимствованием из французского журнала, не замеченным ни исследователями, ни составительницей библиографического указателя. Однако это не был перевод в точном смысле слова. Заведомо было предопределено, что редактору «Телескопа», через чьи статьи, с первого номера, проходила красной нитью «борьба с духом революции», <sup>14</sup> не могли быть приемлемы в полном объеме все суждения сотрудника «Парижского обозрения», лишенного в 1828 году за свои демократические взгляды права преподавать в коллеже, а в

<sup>10</sup> Поляков М. Я. Белинский в Москве, 1829—1839. M., 1948. C. 118.

<sup>11</sup> Очерки по истории русской журналистики и критики / Ред. кол.: В. Е. Евгеньев-Максимов и др. Л., 1950. Т. 1. С. 356.

<sup>12</sup> Березина В. Г. Русская журналистика второй четверти XIX века (1826—1839 годы). Л., 1965. С. 69. С минимальной стилистической правкой этот пассаж вошел в вузовский учебник и повторялся во всех его изданиях (см.: История русской журналистики XVIII—XIX веков / Под ред. А. В. Западова. 3-е, испр. изд. М., 1973. С. 204—205).

<sup>13</sup> Géruzez E.-N. De la satire en France, depuis la révolution de juillet. A. Barbier, «Iambes». — Barthélemy, «La Némésis» // Revue de Paris. 1832. T. 34. P. Janvier. 186—194. В дальнейшем ссылки в тексте сокращенно: ПО с указанием страницы. Об авторе см.: Dictionnaire de biographie française / Sous la dir. de M. Prevost, R. D'Amat, H. Tribout de Morembert. Paris, 1982. T. 15. Fasc. 90. P. 1367—1368.

<sup>1982.</sup> Т. 15. Fasc. 90. Р. 1367—1368.

14 Hevaesa B. C. B. Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». С. 199.

1830 году ставшего активным участником ненавистных Надеждину революционных событий. Вторжения в переводимый текст были неизбежны. Подобно архитектору, который, перестраивая старое здание, оставляет в первоначальном виде фасад, а все внутри перепланирует, Надеждин сохраняет удобный ему остов французской статьи и заменяет либо существенно модифицирует целые пассажи, так что она становится лишь субстратом, на котором вырастает нечто сильно от нее отличающееся.

«Союзником» русского критика в обличении послеиюльской Франции были, разумеется, оба поэта: и Барбье, и О.-М. Бартелеми; однако их голос звучит в статье в разную силу. «Ямбы» представлены четырьмя цитатами с прозаическим переводом в подстрочных примечаниях: большим отрывком из второго раздела стихотворения «Desperatio» («La terre! ce n'est plus qu'un triste et mauvais lieu...») в сочетании с тремя заключительными строками этого произведения (Т 253; ср.: ПО 187); четырьмя стихами из знаменитой «La Curée» (август 1830),15 восхваляющими «Париж, весь увенчанный лаврами, предмет зависти для вселенной, который умиленные народы именуют святым градом и коего имя произносят не иначе, как преклонив колена» (Т 254; ср.: ПО 188); еще четырьмя из стихотворения «Помойная яма», противопоставляющими тому былому Парижу современный, превратившийся в «пропасть, отверстую для развращения, куда стекает нечистота всего народа и которая, время от времени, наполняясь мутной грязью, выливает на весь мир смердящие свои волны» (Т 255; ср.: ПО 189); наконец, пространным фрагментом из стихотворения «Кумир» («L'Idole»), содержащим «аллегорию Франции, представленной под образом рьяной кобылицы, которую Наполеон мчал по всей Европе, без жалости, без отдыха, чрез тысячи опасностей и битв, до тех пор пока не низвергся вместе с ней с шумом» (Т 260; ср.: ПО 193). Цитаты из «Немезиды» («Némesis») Бартелеми вообще отсутствуют. Однако таков был отбор французского рецензента, Надеждин его лишь добросовестно воспроизвел.

Первый абзац, рисующий картину разложения Рима в эпоху императоров и объясняющий исторически появление сатир Ювенала, совпадает у Жерюзе и у Надеждина, котя последний, в преддверии разговора о современной Франции, готовя к нему читателя, уже настраивается на обличительный пафос и соответствующую риторику, 18 а также опускает выражение ∗un despote stupide» (глупый деспот), 17 как, видимо, неподобающее, вследствие возможных аллюзий, даже по отношению к царственным тиранам античности. Далее точки зрения французского и русского авторов расходятся.

Жерюзе кончает абзац вопросом, достигла ли Франция той же глубины падения, требуют ли ее пороки столь же беспощадного сатирика, каким в Риме был Ювенал, и не следует ли, согласившись с Барбье, что земля — это «мрачное жилище разврата, подлый игорный дом, где золото погубило Бога», и «смрадный сток мерзостей», «взять голый камень, положить себе под голову и, не думая ни о чем, повернуться на бок и сдохнуть как собака» (ПО 187; ср.: Т 253). 18 С

<sup>15</sup> В русских переводах: «Раздел добычи», «Добыча» «Собачий пир», «Собачья склока».

16 «Corruption» переведено «остервенение развращения»; «ulcères» — «смердящие раны»; «sa jeunesse impie et railleuse et déjà blasée» — «молодежь сходила с ума на нечестии и кощунстве»; «comment l'humanité s'abrutit» — «как человечество унижается до скотского огрубления»; «Dans cette débacle des moeurs» — «В этом гибельном наводнении разврата»; «une colère de poète ne pouvait pas éclater en moindres invectives au spectacle de ses désordres» — «благородный гнев поэта не мог быть снисходительнее к окружающей его безнравственности, соединявшей в себе с высочайшею степенью растления всю бесчувственность заматерелого разврата» (ПО 186—187; Т 250—251).

 $<sup>^{17}</sup>$  «...au sommet de cette pyramide fangeuse un despote stupide...» (ПО 187) — «на вершине сей грязной пирамиды, Калигулы, Нероны, Домицианы» (Т 250).

<sup>18</sup> В «Телескопе» французское выражение «crever comme un chien» переведено буквально: «треснуть как собаке».

утвердительным ответом критик не склонен торопиться, предлагая сначала внимательно исследовать язвы общества и, если они не очень многочисленные и не слишком тяжелые, не внушать больному отчаяния, потому что «уныние подрывает дух и убивает». Во французском обществе он отмечает «безверие, неуемную гонку за обогащением без оглядки на средства, пресыщение жизнию, нравственный скептицизм, очень часто переходящий в бесстыдный практицизм». Все это «тяжелые симптомы», но у медали, заявляет автор, есть обратная сторона. Если мысленно подняться немного выше, то будет видно, что человечество движется не кругами, а по прямой, не повторяя своей истории, но совершенствуясь, когда для этого наступает срок. Как при всяких родах, в его жизни бывают болезненные состояния (crises douloureuses). Поэтому исторические параллели опасны, а тяжелое положение Франции не должно служить основанием для мрачных прогнозов.

Эти оптимистические рассуждения Надеждин опускает, заменяя их полутора страницами собственных выводов прямо противоположного свойства (фрагмент: «К сожалению, должно признаться о следующее извержение неумолимого ожесточения против современной жизни - Т 251-252). Если Жерюзе был убежден, что сходство между Францией и Римом эпохи Домициана существует лишь «на первый взгляд» (ПО 188), то Надеждин заявляет категорически: «К сожалению должно признаться, что современное состояние Франции представляет печальное сходство с сею мрачною эпохою древнего мира» (Т 251). Симптомы болезни, перечисленные в исходной статье, меняются местами и дополняются в соответствии с тем, что главным ее проявлением Надеждин считал обуревавший французов дух революционных потрясений. «Отсутствие веры», которым начиналось в подлиннике перечисление, отступает на третье место, а на первое оттуда выносится и снабжается собственным комментарием «пресыщение жизнию, истощившею будущность свою в необузданных, друг другу противоречащих, друг друга уничтожающих порывах». Алчная погоня за богатством, стоящая у Жерюзе вторым симптомом, в русском тексте вообще не упоминается и заменяется «безумной жаждой разрушения, без надежды и средств воссоздания» (Т 251). На основании этих симптомов ставится грозный диагноз: Франция страдает тем же недугом, что и Рим, и ее ждут те же самые следствия. Разница — в одном: Рим «тлел и чахнул» и его «смердящее гниение (...) могло возбуждать только черную желчь негодования»; во Франции жизнь еще кипит, но это «свирепствует разлитое по всем суставам пламя горячки». Тем не менее ◆внутреннее расстройство Франции, сопровождаемое исступленным бредом и судорожными порывами, обманывает многих наружным признаком жизни и одушевляет восторгами самодовольствия, изливающегося нередко в шумных дифирамбах». Однако иеремиады Ламартина, «зловещие пророчества» Шатобриана, «жалобные элегии» Гюго и, наконец, выплескивающееся «желчное негодование сатиры, воскипающее нередко до безотрадно отчаянной злобы», свидетельствуют, как представляется Надеждину, о том, что «очарование приметно слабеет» и «уже некоторые глубоко чувствуют и горько оплакивают судьбу, угрожающую Франции» (T 252).

В том же направлении перерабатывает Надеждин статью из «Парижского обозрения» и далее. Показательно в этом отношении различие объяснений того факта, что в «La Curée» (говоря словами Надеждина, передавшего в этом месте оригинал хотя и вольно, но вполне адекватно) у Барбье «недоставало слов для выражения восторгов благоговения к Парижу», а менее чем через шесть месяцев для него «священный град потерял всю свою очаровательную прелесть» (Т 254; ср.: ПО 188—189). Правда, ради риторического эффекта Жерюзе несколько искажает действительное положение вещей. Для того чтобы увидеть отвратительную изнанку прекрасного, героического Парижа, каким он себя показывал три дня революции, Барбье не потребовалось «нескольких месяцев» (ПО 189); эти два Парижа резко противопоставлены уже в «La Curée», где сразу за цитированным восхвалением идут строки:

<sup>9</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

Paris n'est maintenant qu'une sentine impure, Un égout sordide et boueux, Où mille noirs courants de limon et d'ordure Viennent traîner leurs flots honteux...<sup>19</sup>

и еще восемь обличительных стихов. Надеждин, если и заметил эту намеренную, риторическую неточность, не стал ее исправлять, а, процитировав четверостишие из «Помойной ямы», воскликнул: «Так быстро восторги сменились разочарованием!.. И каким разочарованием!.. Бедственный, зловещий признак!..» (Т 255). Никакие рассуждения относительно причин этого разочарования он не счел нужными, настолько, видимо, по его мнению, они были очевидны читателям его журнала, как и ему самому. Напротив, Жерюзе чувствовал необходимость объяснить соотечественникам, «что произошло и почему чистое золото превратилось в низкий свинец» (ПО 189).

Будущее Франции рисовалось участнику июльских событий 1830 года совсем в ином свете, нежели редактору «Телескопа». «Разве народ, взявшийся при первом служе о клятвопреступлении за оружие и своими хлесткими, меткими ударами показавший себя истинным бичом Божиим, уже все сделал, разве он заявил, что его задача выполнена, разве он подписал с теми, кого победил, какой-нибудь логовор о мире?» — вопрощал Жерюзе и отвечал: «Если на протяжении трех дней Париж был священным городом, если его гнев был подобен вмешательству Божию в дела людские, то впадать в отчаяние впредь значит совершать святотатство. (...) Так клеймить центр цивилизации может лишь тот, кто разглядел одну только сторону происходящего, кто останавливает взгляд на куколке, рассыпающейся в пыль, и не видит бабочки, расправляющей крылышки под жаркими лучами солнца» (ПО 189). Июльская революция, продолжал Жерюзе, была «прекрасна, как творение художника», в этом своем качестве она «дала толчок поэтическим мечтаниям и зажгла благородные сердца». Она разрушила прежнюю Европу, которую венценосцы кроили по своему разумению, и, сорвав с нее лживую личину, создала условия для рождения Европы подлинной, которую хотят видеть народы и в которой Франция «голову положит на Альпы, а ноги омоет в Рейне» (ПО 190). Эта Европа уже подает признаки жизни, каждый день ее члены крепнут, но точный срок родов назвать невозможно, а нетерпеливые обвиняют в задержке врачей. На этой-то почве, согласно Жерюзе, и расцвела пышно гневная сатира, нашедшая выход в ямбах и сплетенных из змей бичах Немезиды.

Само собою разумеется, что с таким ходом мыслей и такими прогнозами Надеждин категорически не мог согласиться, так что два пространных абзаца, в которых они развиваются, отсутствуют в русском тексте.

Более таких обширных купюр Надеждин не делал, но продолжал корректировать переводимую статью, изымая из нее или приглушая отдельные суждения, замещая авторские своими, существенно переставляя акценты. Так, согласно французскому критику, в результате июльской революции «были разорваны сети, опутывавшие Францию», и Бартелеми поверил, что Священный союз навсегда похоронен, но испытал глубокое разочарование, увидев, как лицемеры старательно чинят поврежденные ячейки; он «выражает все героические стремления народа и его глубокую неприязнь к свергнутой династии», «в порывах его благородной, но уязвленной души проявляется злоба пролетария» (ПО 190—191). Надеждин не может согласиться ни с оценкою Священного союза, ни с утверждением, что в сатирах Бартелеми звучит голос французского народа. Соответственно трансфор-

<sup>19</sup> Отныне ты, Париж, — презренная клоака, Ты свалка гнусных нечистот, Где маслянистая приправа грязи всякой Ручьями черными течет...

мируется исходный текст и приобретает в «Телескопе» следующий вид: «Бартелеми есть nuчный (курсив мой. — B. P.), заклятый враг Восстановления и Бурбонов; Священный Союз, упрочивший отчизне его спокойствие, коим она наслаждалась пятнадцать лет, обращает на себя преимущественно его ненависть; он видел в нем постыдный плен для Франции, которую любит со всем исступлением, со всей ревностью француза; Июльская революция казалась ему блистательной эрой освобождения и торжества Франции; он мечтал видеть ее председательницею вселенной; но мечты сии с каждым днем разрушаются; и озлобленный поэт свирепствует до неистовства» (Т 255), он «имеет nuчную (курсив мой. — B. P.) ненависть к настоящему порядку вещей во Франции: его выходки изобличают самолюбие, оскорбленное неудачею любимых затей и мечтаний» (Т 256).

При сопоставлении русской статьи с французским подлинником становится очевидным, как несправедливы были упреки по адресу Надеждина в том, что «революционного поэта» Барбье он превратил в «среднего буржуа-морализатора, порвавшего с революцией». Характеристика Барбье, в противопоставлении Бартелеми, полностью опирается на исходный текст — разумеется, не без дополнительной штриховки. Именно Жерюзе увидел в авторе «Ямбов» «прежде всего моралиста», который «клеймит безнравственность во всех ее проявлениях (toutes les prostitutions morales)» (ПО 191). За «два с половиною дня, когда царило бескорыстие», поэт (объяснял автор рецензии) уверовал, что эгоизм убит навсегда, и тем большее разочарование его постигло «при зредище огромной стаи хишников в человеческом обличии, терзающих труп» (ПО 190). Такого поэта Надеждин готов признать, но, представляя его русскому читателю, расширяет и усиливает эту характеристику, не упуская притом случая лишний раз высказать свое мнение об июльской революции: «...Барбье чужд политических страстей и крамол; его мечты были другие: в бескорыстной простоте поэтического энтузиазма, увлеченный, без сомнения, неопытной пылкостью молодости, он думал видеть в трех знаменитых  $\partial$ нях торжество героического патриотизма, торжество истины и справедливости; но когда, после сей несчастной катастрофы, Франция досталась в добычу распрям и козням мелких страстей, прикрывающих личиной патриотического энтузиазма самый холодный, самый бесчувственный эгоизм, когда с сокрушением прежней династии сокрушились в ней последние оплоты веры и верности порядку, тогда благородное негодование добросовестного поэта обнаружилось тем с большею силою, чем искреннее и убедительнее было его прежнее обольщение» (Т 255-256). Все, что далее выделяет Надеждин в качестве отличительных черт ямбов Барбье: «ни одного оскорбительного слова против Бурбонов, ни одного хвалебного звука в честь мужа-славы» (т. е. Наполеона), требование «от народа — добрых нравов, от людей, облеченных властью, — бескорыстия, от всех — религии», отсутствие ненависти и безличное негодование — все это названо во французской статье и в «Телескопе» передано точными соответствиями.

Сказав от себя все, что он считал нужным, и соглашаясь во всех принципиальных моментах с мнением Жерюзе о Барбье, Надеждин переходит отсюда (со с. 257) к собственно переводу и выдерживает его до конца. Однако в знаменитой аллегории Франции в образе кобылицы, которую гнал по Европе Наполеон, опущены четыре выразительных стиха:

Une jument sauvage à la croupe rustique,
Fumante encor du sang des rois,
Mais fière et d'un pied libre heurtant le sol antique
Libre pour la première fois.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Кобыла дикая трясла мужицким крупом, Дымилась кровью королей, По древним овидям топча тяжелоступом Освобожденный грунт полей.

(пер. О. Э. Мандельштама)

Причиною, вызвавшею эту купюру, была, несомненно, вторая строка, которую бы цензура, конечно, ни в коем случае не пропустила. Примечательно, что в русских переводах стихотворения «Кумир», напечатанных в XIX веке, отсутствуют либо все эти четыре стиха, либо только «крамольный». Они заняли свое место позже, 22 незадолго до того времени, когда дымящейся кровью стала заполняться оставляемая бешено несущейся тройкой колея, куда наспех, кое-как плюхнули рельсы и пустили по ним в никуда оглушительно свистящий паровоз.

Л. В. Спроге (Латвия)

## «ПОД ЧУЖДЫМ НЕБОМ»: О НЕИЗДАННЫХ МЕМУАРАХ Д. М. РАТГАУЗА

Популярность поэта Даниила Максимовича Ратгауза (1868—1937) в дореволюционной России была несомненной, но все же двоякого свойства. С одной стороны, автор известных стихотворений, полюбившихся знаменитым композиторам и артистам-декламаторам, по определению академика А. Н. Веселовского, «король русских лириков», а с другой, — по расхожему клише В. Брюсова, «поэт банальностей», «не мужчина с пышной бородкой, каким он изображен на портрете, предупредительно приложенном к "Полному собранию стихотворений", а 16-летняя институтка». 1

Первый сборник стихотворений Д. Ратгауза увидел свет в 1893 году, в эпоху ломки прежних стереотипов, когда поиски «причин упадка» и выявления «новых течений в современной русской литературе» (Д. Мережковский) безоговорочно определили его поэтический статус. Фамилия «Ратгауз» становится синонимом той литературы, которая не вписывалась в картину эстетических новаций начала века. Такое «терминологическое» упоминание имени поэта встречается у А. Блока и Н. Гумилева; характерна обмолвка А. Белого, указывающего «векторность» творческих исканий: «поэт от Ратгауза к Бунину». 3

Известно, что и «романсовый поэт», как называли Ратгауза, высказываясь о современной литературе, совершенно не стремился «модернизироваться», сохраняя рыцарскую верность классическим заветам, о чем можно судить по многочисленным беседам и интервью с ним, публиковавшимся в русской и зарубежной периодике 1900—1910-х годов. Вот некоторые выдержки из них.

Корреспондент «Театральной газеты» 20 октября 1907 года пишет: «Я посетил редкого петербургского гостя, живущего то на юге России, то за границей, поэта Даниила Максимовича Ратгауза. (...) Я полюбопытствовал узнать мнение Д. М. о современной литературе. Признавая за "декадентами" некоторые заслуги в смысле обогащения русского языка новыми рифмами, Д. М. называет их "техниками искусства".

— Эти господа говорят об искусстве много. Все это люди, бесспорно, с большой

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Кумир / Пер. Е. Зинова [П. И. Вейнберга] // Рус. слово. 1865. № 3. Отд. І. С. 325; Конь / Пер. Л. Н. Трефолева // Отеч. зап. 1869. Т. 183. № 3. Отд. І. С. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Идол // Буренин В. П. Соч. СПб., 1912. Т. 2. С. 26; Кумир // Брюсов В. Я. Полн. собр. соч. и пер. СПб., 1913. Т. 21. С. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 353—355.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Блок А. Литературный разговор // Влок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5.
 С. 483; Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Гумилев Н. С. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 56.
 <sup>3</sup> Белый А. Начало века. М., 1990. С. 397.

эрудицией. Но есть ли в них "огонь поэзии"? Ведь Никитин был вовсе необразованным человеком. А образовательный багаж Апухтина и Надсона был неизмеримо легче багажа легиона новейших жрецов искусства, но что же из этого? Poetae nascuntur, а среди декадентов поэтов два-три и обчелся. Ученых много, умных мало!»

Через несколько лет, в 1913 году, сотрудники киевской газеты «Последние новости» «поинтересовались мнением Ратгауза о всевозможных новых школах в русской поэзии последних дней, а главным образом о футуристах, акмеистах и т. д.». И услышали в ответ: «Футуризм у нас тоже не самостоятелен и перенесен с Запада. Но о нем, право, говорить серьезно нельзя. Это — слишком ничтожное явление. Если возможно спорить о том, кто выше — Бальмонт, Фофанов, Минский; если можно соглашаться или не соглашаться с тем мнением, что стихотворцы, подобные В. Брюсову, — не поэты, то об этих юношах, занимающихся курьезами в русском стихосложении, с крикливостью и дерзостью отрицающих Пушкина, Лермонтова, и говорить не стоит. Русская современная публика, посещающая кинематографы, футбольные матчи и т. п., ходит также, курьеза ради, на собрания господ футуристов и других искателей новизны».

Эти отзывы Ратгауза о современниках отражают общие черты, свойственные литературной эпохе в целом, когда приверженцы классических раритетов в поэзии видели в Ратгаузе продолжателя традиций Я. Полонского, А. Апухтина и проч., одного из тех, кого автор статьи, опубликованной в 1910 году в майском номере «Голоса Москвы», называет «мужественными сынами музы, храбро идущими против течения, преследуя только одну цель — правду и искренность». Далее приводится выдержка из письма Полонского, который еще в 1893 году писал Ратгаузу: «Я грелся около ваших стихотворений, как зябнущий около костра или камина. Ваша муза заставила меня вздохнуть о моей молодости, о поре любви, со всеми ее золотыми мечтами и страданиями. Не только проблеск живого поэтического огня я вижу в вас, но и самый этот огонь».

Письмо Чехова, посланное с портретом писателя, созвучно приведенному выше: «Вы — мой уже давнишний, хороший знакомый, у меня есть Ваши первые книги. Большое сердечное спасибо за Ваши песни. Я прочитал их с большим удовольствием. Знаю я также очень хорошо и очень люблю романс Чайковского на Ваши слова: "Снова как прежде один". Короче, Вы — мой старый знакомый». 4

Уже будучи в эмиграции, Д. Ратгауз живет в Праге среди своих литературных единомышленников и почитателей — Вас. Ив. Немировича-Данченко, которого считал своим «поэтическим крестным отцом», профессора А. А. Кизеветтера, автора нескольких дружеских посланий и юбилейной речи в честь 40-летия литературной деятельности Ратгауза, писателя Евг. Чирикова и др.5

<sup>4</sup> Цит. по: Клименко-Ратгауз Т. Д. Вся моя жизнь. Рига, 1987. С. 114.

<sup>5</sup> Ср. с воспоминаниями Б. Н. Лосского о господстве «конкретизирующего менталитета прошлого столетия» в выступлениях профессора А. Кизеветтера на «пятницах» русских збраславцев в Праге: «Вспоминаю красноречивые выступления Кизеветтера, в ту пору пребывавшего мысленно "на рубеже двух столетий", особенно его два доклада, относившихся к "серебряному веку". Первый из них был посвящен памяти Чехова (...) Повествование начиналось с облика Чехова, отличавшегося уже своей наружностью беспритязательного интеллигента, настоящего врача, от нарочито оригинального вида, придаваемого себе многими из его литературных собратий девяностых годов, вроде Максима Горького, рядившегося в представителя рабочего класса, борющегося за правду, или щеголявшего народным тулупчиком Леонида Андреева, или, лучше всех, Максимилиана Волошина в античной тоге и чуть ли не с терновым венцом на голове. При этом докладчик из уважения не называл патриарха "серебряного века", шлепавшего босиком в крестьянской рубахе по Ясной Поляне. Был и доклад, в котором досталось специально Андрею Белому (...) Доклад начинался с воспоминаний о взятом в тюремной библиотеке (во время сидения на Лубянке в августе 22-го) романе "Петербург", "томе-кирпиче", который, даже находясь в атмосфере арестантского вынужденного бездействия, Кизеветтер предпочел вернуть непрочитанным, убедившись, что он не содержит ничего, кроме несносной ерунды. Потом пошла потеха над стихами Белого, с насмешившей

Д. Ратгауз покидает Россию в 1921 году, с семьей уезжает в Берлин, где постоянно проживали родственники его жены Луизы Федоровны (Теодоровны), урожденной Глайхе.

Берлинский период эмиграции поэта непродолжителен, в 1923 году семья Ратгаузов переезжает на постоянное жительство в Прагу. Эти первые неполные два года на чужбине отличаются особой мрачностью и пессимизмом в творчестве «певца печальных песен»; газетные публикации в варшавской «Свободе» и в латвийской «Либавское русское слово» пронизаны болью и горечью, тревогой и отчаянием перед «ужасом наших дней»:

Что гнет царей, что гнев Иоанна, Что казни царского венца! — Вся Русь теперь — сплошная рана, Сплошная мука до конца. В стране кровавых преступлений, В стране ликующих невежд, В стране разгулов и хищений, В стране, где больше нет надежд, В стране, где Троцкий воевода, Где каторжан всесильна власть, Для истомленного народа Осталось только — в муках пасть. 6

Именно к этому периоду относятся нижепубликуемые воспоминания Д. Ратгауза, предназначавшиеся для выпускавшегося в Берлине историко-литературного
сборника «Историк и современник», на страницах которого публиковались русские
и иностранные исторические и бытописательные сочинения, романы, повести и
рассказы; мемуары, исторические материалы и документы, имеющие общий интерес; биографии выдающихся деятелей; критика и библиография русской и иностранной исторической литературы. В 1922—1923 годах в сборнике были опубликованы воспоминания кн. С. П. Мансырева о Государственной Думе 1912—
1917 годов, мемуары М. Палеолога «Императорская Россия в эпоху Великой
войны», очерк М. И. Смирнова «Адмирал А. В. Колчак во время революции в
Черноморском флоте», записки Вас. Ив. Немировича-Данченко «У союзников.
Поездка русских писателей в 1916 г. в Англию, Францию и Италию» и др.

Мемуары Д. Ратгауза опубликованы не были, о чем упоминает дочь поэта: «Личные воспоминания Д. М. Ратгауза, писавшиеся, по-видимому, для журнала "Историк и современник", насколько мне известно, напечатаны не были (не были отосланы поэтом)». $^7$ 

В четвертой книжке сборника за 1923 год была помещена статья под инициалами М. Ив. «Чайковский и Ратгауз», представляющая собой компиляцию статей и очерков из многочисленных повременных изданий дореволюционной России.

Предлагаемые читателю мемуары Ратгауза фрагментарны, но интересны живым описанием гимназических и университетских лет, первого поэтического успеха и заочного знакомства с П. И. Чайковским.

слушателей цитатой, предметом коей являлся ребенок, который "заплакал хриплым басом и в небо пустил ананасом" • (Лосский Б. Н. В Русской Праге (1922—1927) // Минувшее: Исторический альманах. 16. М.; СПб., 1994. С. 34). Н. Берберова упоминает: • "Русская Прага" нам не открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-Данченко, Ляцкий и их жены • (Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 244).

<sup>6</sup> Либавское русское слово. Ежедневная беспартийная независимая газета. 1921. № 201.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> «Отрывки из моих воспоминаний» Д.М. Ратгауза находятся в Фонде редких книг Латвийской Национальной библиотеки в Pure: Latvijas Nacionala biblioteka. Reto gramatu fonds. A 212. № 5.

#### Отрывки из моих воспоминаний

«Ну, что — дадите вы нам ваши воспоминания, нечто вроде curriculum vitae вашей?» — обратился ко мне с любезным вопросом редактор этого журнала.

Придерживаясь того мнения, что пусть другие — дурно ли, хорошо ли — говорят о тебе, а самому о себе говорить не приличествует, и тем не менее, заразившись дурным примером многочисленных соотечественников моих и нынешних собратьев — по перу, в этих отрывках говорю я и о себе, что придает им, некоторым образом, автобиографический характер.

Думается мне, что эти отрывки могут представить интерес в смысле освещения некоторых черточек тех дней и лет, когда жили и работали русские писатели конца 19-го и начала 20-го века. ...9

Октябрь 1880 года. Серый, дождливый осенний вечер. Меня, закутанного с ног до головы, везут на извозчичьих дрожках с киевского вокзала, по Безаковской и Бибиковскому бульвару, на Крещатик, к дому номер 7, где родные мои, переехав из Харькова (моей родины), сняли квартиру. Мне девять лет. ... 10

На следующий же день ко мне явился студент-репетитор и стал меня готовить к экзаменам в 1-ый класс.

Помню май 1881 года. Отец и старший брат будят меня рано утром: «Вставай! — сегодня экзамены». Меня везут в здание 2-ой Киевской гимназии, что на Бибиковском бульваре. Грузный, с брюшком, рыжебородый, с выпуклыми рачьими глазами, директор гимназии, Воскресенский, проэкзаменовал меня по русскому языку и арифметике, нашел меня достойным быть принятым в первый класс. ...

Кто же не слыхал о тех «бурсацких» порядках, которые царили в то время в наших гимназиях? Кто не знает, как забивали мозги мальчуганов латынью и греческим языком? Как великовозрастных гимназистов седьмого и восьмого класса сажали в карцер за курение, за «хождение по улицам с барышнями» и т. д.?. ...

Тяжело и мучительно тянулись гимназические годы, кажущиеся мне теперь далеким смутным сном.

Были у нас в гимназии и преподаватели-чудаки, и преподаватели, которых называли: «Грозой». Было и несколько милых, способных людей.

Не могу не вспомнить с отрадным чувством учителя словесности: Захарченко, преподавателей греческого языка и латыни: Андерсена, Божко, Добротворского. ...

Милый Михаил Моисеевич Захарченко! Веселый, полный, с черной лоснящейся бородой, кудрявый — он напоминал библейского пророка. Бывало, придет он в класс, задумчивый, мечтательный — вероятно, опять влюбленный, — придет и скажет: «Л., почитайте-ка что-нибудь вашим товарищам; ну, хотя бы из Гоголя!!...» И маленький, веснушчатый Л. начинал скороговоркой, шепелявя, свое чтение, а ученики в это время занимались каждый своим «делом». Задумчивый, загадочно улыбающийся своим мыслям, ходил взад и вперед по классу, заложив руки за спину, милый Михаил Моисеевич. Мы называли его Иисус Христос.

Вспоминается мне еще инспектор 3-ей гимназии (куда я волею судеб, вследствие курения на улице, должен был перекочевать из 2-ой гимназии) Яков Самойлович Иващенко. Он преподавал у нас в восьмом классе математику. Прекрасный математик, страстно увлекавшийся наукой, бывало, он влетает в класс и уже с порога говорит, подбегая к доске: «Итак, господа, вчера я вам доказывал, что синус и косинус» и т. д. и т. п. до конца урока. И все время, увлекаясь и жестикулируя, стоял он у доски, не оглядываясь на учеников; а те — если его урок был последним, один за другим потихоньку покидали класс. И когда

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> В 20-х годах историко-литературный сборник «Историк и современник» редактировал И. П. Петрушевский. Редакция и контора сборника помещались в Берлине при издательстве «Ольга Дьякова и К°».

<sup>9</sup> При публикации сохраняется пунктуация Д. Ратгауза с характерным многоточием.

<sup>10</sup> Ошибка памяти, в 1880 году Д. Ратгаузу было 12 лет.

раздавался звонок, и Яков Самойлович оглядывался, — он находил класс почти пустым, — кое-где, вразброд, сидело на своих местах несколько наиболее прилежных учеников. Не без изумления, с конфузливой улыбкой обращался он к нам с вопросом: «Ушли? — негодяи!» — и выбегал из класса....

Университет того времени был университетом инспектуры, «белоподкладочников» и... сходок. На этих сходках мало занимались политикой, — там больше решались интимные университетские вопросы. Ношение формы было обязательным. Посещение лекций — тоже. Но на это последнее обстоятельство мы обращали мало внимания. В то время в Киевском университете, особенно на юридическом факультете, было мало талантливых профессоров. К последним надо причислить заслуженного профессора русского государственного права Владимирского-Буданова и профессора по кафедре политической экономии Димитрия Ивановича Пихно, но читали они вяло, скучно. — и мы предпочитали посещать лекции по истории русской словесности профессора филологического факультета Малинина, читавшего с большим подъемом и увлечением. И было же полно на его лекциях, — не только все скамьи в аудитории были заняты, но слушатели сидели на всех подоконниках... Бывало придет к нам «пиклоп» — так называли мы профессора Романова-Славутинского: он был слеп на один глаз, — подойдет к аудитории — а там пусто. Спросит проходившего педеля: «Что, верно Малинин читает?» и, на утвердительный ответ последнего, со вздохом произносит: «Что ж, и я пойду послушать». И тел.

Как-то, будучи на первом курсе юридического факультета, написал я несколько стихотворений и послал их Чайковскому. 11 С этого времени собственно и начинается моя литературная деятельность, не лишенная некоторых цветов, но еще более — терний.... Не знаю — интересны ли нынешней русской читающей публике, оглушенной современными событиями и дикими выкриками «совлекающих», по выражению одного из модернистов, «с древних идолов одежды» современных литераторов, интересно ли ей знать пути, по которым проходили наши писатели того времени, когда еще русские писатели не «совлекали одежд» с Гейне, Мюссе, Лермонтова, Тургенева, Апухтина, а благоговейно вставали при произнесении их имен?... 12

Да и где она, та русская публика, которая в Киеве, в зале Купеческого Собрания носила на руках Надсона, а в Москве, на студенческом вечере, после сделанного распорядителем заявления: «Господа! На сегодняшнем нашем вечере согласился выступить Яков Петрович Полонский», — встала, как один человек, храня глубокое молчание, и при входе маститого поэта встретила его бурей аплодисментов и криками: «Да здравствует Полонский!»?...

С Чайковским я не был лично знаком. Николай Николаевич Фигнер, 13 уже

<sup>11</sup> В архиве поэта сохранилась вырезка из газеты «Новое время» от 20 октября 1903 года с более обстоятельными комментариями: «К моему глубокому сожалению, мне не удалось лично познакомиться с П. И. Чайковским. Не имея возможности вследствие слабого здоровья жить на Севере, проводя все время то на Юге России, то за границей, я лишь состоял в продолжительной переписке с незабвенным "музыкантом-поэтом". Двадцать лет назад я прочел несколько стихотворений моих находившемуся в Киеве В. И. Немировичу-Данченко, который и был моим "поэтическим крестным отцом"... В. И. сказал мне тогда, что под моими произведениями "не отказался бы подписаться любой из поэтов, пользующихся прочной известностью". Заручившись таким успокоительным для меня мнением о моей музе, я не без трепета и смущения выбрал несколько пьес и послал их на суд Петра Ильича Чайковского. Эти пьесы были: "Мы сидели с тобой", "Снова как прежде один", "В эту лунную ночь" и "Средь мрачных дней". Помню, как трепетно забилось мое сердце, когда несколько дней спустя я получил письмо Петра Ильича». Сохранилась также статья «Композитор и поэт» (Новости дня, СПб., 1907. 24 сент.) с фрагментами писем Чайковского.

<sup>12</sup> Ратгауз цитирует стихотворение К. Бальмонта (в тексте фамилия зачеркнута) «Тише, тише» из книги «Только Любовь» (1903).

<sup>13</sup> Н. Н. Фигнер (1857—1918), оперный певец, обладатель лирико-драматического тенора.

после смерти великого композитора, рассказывал мне, до чего был скромен и не уверен в себе Петр Ильич: «Напишет П. И., бывало, новый романс — сейчас посылает мне записку: "Написал новую вещь, приходи-ка послушать". Сначала, когда я еще не знал, насколько Чайковский был скромен и нерешителен, слушая его новые вещи, я, не стесняясь, выражал ему мое мнение о них... И вот, помню, написал Петр Ильич свой знаменитый романс на слова Апухтина: "Забыть так скоро". Слушал я и говорю: "Знаешь что, Петр Ильич, не особенно это мне нравится". Трах!... и Чайковский рвет рукопись. Я бросаюсь к нему, вырываю у него из рук изорванную рукопись, склеиваю»...

...Помню я в Москве, много лет назад, на вечере у Муромцевых, — жили они тогда в Обуховом переулке, что на Пречистенке, — встретился я с А. Урусовым. 14 На вечере было очень людно и шумно. Композиторы исполняли свои сочинения, виртуозы играли на рояле и на скрипке, певцы и певицы пели, писатели читали свои произведения. Попросили и меня прочесть что-нибудь. Ко мне подошел Урусов: «А много уже у Вас врагов среди пишущих? — спросил он меня, — желаю Вам от души иметь их как можно больше: чем больше друзей среди читателей, тем больше врагов среди пишущих»....

....А. А. Голенищев-Кутузов, незадолго до своей смерти, мне писал: «Не знаю, так ли я уже отстал от жизни, так ли превратно стал понимать и чувствовать все явления окружающего меня мира, но я не нахожу у наших новых писателей тех звуков, тех красок, которые с юношеских дней моих мою ласкали душу при чтении творений русских и иностранных поэтов»...15

Когда в Петербурге на спектакле Сары Бернар встретился я с графом Л. Л. Толстым, в антракте, разговорившись со мною, Л. Л. между прочим сказал: «Знаете, отец мой отказывается понимать нашу современную литературу»... В Впоследствии Лев Николаевич говорил: «Писатель должен уметь в образно-художественной форме передавать свои мысли, чувства, наблюдения. Должен искать Бога, жаждать истины и тогда, если он талантлив, он заражает читателя. Большинство же нынешних писателей я не понимаю: зачем они пишут? Кому нужны их писания? — Фиглярство, кривляние, масса претензий»... 17

...Как-то на одном из музыкальных вечеров в Петербурге встретился я с маленьким, чрезвычайно подвижным старичком — генералом Ц. А. Кюи. 18 «Знаете что, — сказал он мне при первой же нашей встрече, — напишем-ка с Вами серию романсов под одним общим заглавием. Необходима связь между текстами, общность настроения». Не любивший Чайковского, строго и придирчиво к нему относившийся, Ц. А. Кюи, после смерти великого композитора, как-то сразу изменил свое мнение о нем и не раз восторгался его фортепьянными и вокальными произведениями...

Под чуждым небом, в суете чуждых стремлений, далеко от широкого москов-

 $<sup>^{14}</sup>$  С. А. Муромцев (1850—1910), юрист, профессор Московского университета, публицист. Князь А. И. Урусов (1843—1900), адвокат, театральный критик, общественный деятель.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Граф А. А. Голенищев-Кутузов (1848—1913), поэт.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Граф Л. Л. Толстой (1869—1945), литератор, сын Л. Н. Толстого.

<sup>17</sup> Ср. с ответами Л. Н. Толстого сотрудникам «Одесского листка» (1907. № 147): «Отдавая должное Горькому и Леониду Андрееву, Л. Н. Толстой ставит им на минус их ⟨...⟩ манерность. ⟨...⟩ Вот кого я считаю самым талантливым из молодых — это Куприн, прекрасная школа ⟨...⟩ — Что Вы скажете о Короленко? — Не нравится ⟨...⟩ Тенденциозен ⟨...⟩ Из поэтов нынешних Толстой ценит очень Ратгауза. По его мнению, в стихах Ратгауза много музыкальности, искренности и красоты...» В рижском архиве Д. Ратгауза сохранился фильм «Наши современные признанные Львом Толстым писатели Ратгауз и Куприн». (Latvijas Nacionala biblioteka. Reto gramatu fonds. А 212. № 12).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ц. А. Кюи (1835—1918), русский композитор из «Могучей кучки», инженер-генерал, автор романсов на слова Д. Ратгауза.

ского простора, от перезвона московских колоколов, от теплой ласки и нежных объятий — как больно, как бесконечно больно вспоминать о прошедшем!

Проходит все и нет к нему возврата....

А жизнь летит, летит — много ли ее еще осталось?...

Д. Ратгауз.

1922 г. 17-го ноября. г. Берлин.

М. М. Павлова

## ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОМАНА Ф. СОЛОГУБА «МЕЛКИЙ БЕС»

(ОТВЕРГНУТЫЙ СЮЖЕТ «СЕРГЕЙ ТУРГЕНЕВ И ШАРИК» И ЕГО МЕСТО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЗАМЫСЛЕ И ИДЕЙНО-ОБРАЗНОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА)

Первоначальный художественный замысел романа «Мелкий бес» включал в себя самостоятельный сатирический сюжет о пребывании в городе двух посредственных столичных литераторов: Степанова и Скворцова, выступавших под псевдонимами Сергей Тургенев и Шарик (они приезжают в провинцию изучать местные нравы). Эта сюжетная линия появилась одновременно с основными — передоновской и рутиловской. Оба персонажа названы в списке действующих лиц, приложенном к раннему черновому автографу «Мелкого беса» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 2, об.). Главы, повествующие о приключениях Тургенева и Шарика, входили в фабульную ткань романа, композиционно не выделялись в самостоятельную новеллу и были отвергнуты только на последней стадии работы над рукописью. Кроме того, Сологуб почти не подвергал их переделке — этот текстовой пласт не имеет вариантов, он почти идентичен в каждой из сохранившихся рукописей «Мелкого беса». В 1912 году, через пять лет после выхода романа отдельной книгой, автор опубликовал изъятые главы (с незначительными потерями в тексте) под названием «Сергей Тургенев и Шарик» в газете «Речь» (15 апр. № 102. С. 2; 22 апр. № 109. С. 3; 29 апр. № 116. С. 2). Однако ни в одно прижизненное издание «Мелкого беса» никогда их не включал.

Между тем в свете творческой истории романа акт изъятия сравнительно больших по объему эпизодов, органически связанных со всей его повествовательной тканью, заслуживает особого внимания: содержание отвергнутой сюжетной линии позволяет воссоздать в полноте авторский замысел, а также объяснить причину, по которой Сологуб был вынужден пожертвовать художественной целостностью уже законченного произведения и отказаться от ранней (рукописной) версии текста.

Современной Сологубу критикой этот сюжет из «Мелкого беса», напечатанный в «Речи», был воспринят как «злобный пасквиль» на Горького и Скитальца.<sup>2</sup>

¹ Имеются в виду ранний черновой автограф «Мелкого беса» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 96) и поздний черновой автограф романа (РНБ. Ф. 724. Ед. хр. 2—3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> См.: Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 346. 28 декабря 1932 года И. Е. Гершензон, и. о заведующего издательством «Асаdemia», писал Горькому: «В нашем плане имеется книг Сологуба "Мелкий бес". Книга эта подготовлена к печати сотрудниками института Русской литературы Академии наук, которые включили в текст, в виде дополнения, неизданные вари анты "Мелкого беса", в том числе главу "Сергей Тургенев и Шарик". Люди, сведущие в этом деле, полагают, что писатель Шарик — это памфлет на Вас...» (ИМЛИ РАН. Архи А. М. Горького. КГ-изд. 2—62—1; далее этот архив обозначается АГ).

Весной 1912 года Горький писал Л. Андрееву: «Началась в литературе русской какая-то — странная — портретная полоса (...) старичок Тетерников размалевал меня...».3

Исследователи неоднократно обращались к истории взаимоотношений Горького и Сологуба, главным образом к знаменитому конфликту, возникшему между ними в 1912 году после публикации фрагмента «Сергей Тургенев и Шарик» и, в том же году. III-ей «Русской сказки» Горького (о Смертяшкине) в «Русском слове» (16 дек. № 290). Первая попытка прокомментировать инцидент между писателями была предпринята А. Л. Дымшицем при подготовке издания «Мелкого беса» в 1933 году в издательстве «Academia». Дымшиц намеревался включить эпизоды, повествующие о Тургеневе и Шарике, в приложение к основному тексту романа в составе вариантов, в связи с чем им была написана статья «Максим Горький и Фелор Сологуб (К истории одного пасквиля). Возможность републикации глав обсуждалась издательством совместно с Горьким (в архиве сохранилась статья Пымпица и текст соответствующих эпизодов из романа с правкой Горького).4 Писатель не возражал против включения в книгу «пасквильных глав», о чем сообщил издательству «Academia» в письме от 7 января 1933 года; 5 тем не менее фрагмент «Сергей Тургенев и Шарик» и сопроводительная статья Лымшица в издании «Мелкого беса» напечатаны не были. Материалы этой неопубликованной статьи позднее были использованы в работе М. А. Никитиной «М. Горький и Ф. Сологуб (К истории отношений) , 6 в которой автор прослеживает основные этапы сначала заочных, а затем личных контактов писателей в период с 1896-го по 1921 год. Вопрос о генезисе памфлетного образа Шарика и роди этого персонажа в образной структуре романа исследователями «Мелкого беса» не рассматривался.

Известно, что личное знакомство Сологуба и Горького состоялось не ранее декабря 1905 года,<sup>7</sup> т. е. уже после публикации романа в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 6-11), из чего следует, что в годы работы над «Мелким бесом» автор не имел возможности «слепить с натуры» своего героя. Высказывания Сологуба по поводу происхождения персонажей — Тургенева и Шарика — носили несколько противоречивый характер. В 1912 году в интервью А. А. Измайлову для газеты «Биржевые ведомости» писатель заметил: «Из "Мелкого беса" я намеренно вырезал страницы, где описан приезд в провинциальный город двух литераторов и их там приключения. Я сделал это единственно из опасения, что здесь будут искать живых людей, хотя на самом деле я передал тут только свои старые впечатления, вынесенные мною из приезда некогда в уездный город, где я жил, двух петербургских посредственных литераторов. (...) в моем рассказе действительно увидели памфлет, и одна газета распознала в одном из героев — Горького, хотя я писал эти главы, когда еще Горького не было и в помине». В В то же время в личной переписке с критиком (в декабрьском письме Измайлову 1912 года) Сологуб сообщал: «(...) в главах, которые я не включал в текст "Мелкого беса" и напечатал отдельно в "Речи" нынче весною, есть, правда, кое-какие намеки на Горького (речь в буфете), но есть много и такого, что на образ Горького не натягивается. Списаны эти два писателя не с Горького, а с двух литераторов, с

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Лит. наследство. Т. 72. С. 345.

 $<sup>^4</sup>$  АГ. Рав-пГ 17-17-1; Рав-пГ 41-5/1. Пометы Горького на этих текстах относятся исключительно к исправлению опечаток.

 $<sup>^5</sup>$  Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1956. Т. 30. С. 275; далее все цитаты приводятся по этому изданию.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> См.: Никитина М. А. М. Горький и Ф. Сологуб (К истории отношений) ∥ Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1. С. 185—203.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> По предположению М. А. Никитиной, их первая встреча состоялась 3 января 1906 года на «литературном утре» у Вяч. Иванова (см.: Никитина М. А. Указ. соч. С. 187).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> См.: Аякс [А. Измайлов]. У Ф. К. Сологуба (Интервью) // Биржевые ведомости. 1912. 19 сент. № 13151 (веч. вып.).

которыми я встретился в Крестцах, в 1884 г., и уже потом прибавлено кое-что из позднейших наблюдений» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 26—26. об.).

Из приведенных авторских комментариев следует, что в процессе работы над романом Сологуб сначала абстрагировал персонажей от прототипов, а затем переадресовал их — создал образы, отсылавшие к хорошо известным конкретным лицам.

В конце 90-х годов о Горьком писали почти все столичные газеты и журналы. Интерес к нему резко возрос после выхода в 1897—1898 годах двух томов «Очерков и рассказов» и завершения в 1899 году публикации в журнале «Жизнь» «Фомы Гордеева». На волне стремительно усиливающейся популярности Горького редакция «Жизни» 4 октября 1899 года устроила в честь него банкет (это был его первый приезд в Петербург). 9 На торжестве присутствовало около восьмидесяти человек — видные представители литературы, журналистики, искусства и науки, сотрудники «Жизни», «Русского богатства», «Мира божьего» и только что закрытого «Начала»; среди них: В. Г. Короленко, Н. К. Михайловский, А. Ф. Кони, В. А. Поссе, И. Е. Репин, Н. Ф. Анненский, Ф. Л. Батюшков, С. Я. Елпатьевский, П. Н. Милюков, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, А. А. Давыдова, К. С. Баранцевич, М. Н. Альбов, В. В. Вересаев, Е. Н. Чириков, Е. А. Соловьев, П. Н. Ге, К. П. Пятницкий, А. М. Калмыкова, М. М. Филиппов, Ф. Ф. Фидлер. В числе приглашенных были также Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, с которыми Сологуб поддерживал самые тесные дружеские контакты. В кругу Мережковских, несомненно, обсуждали появление Горького в петербургском литературном мире, а также его не вполне корректное поведение на банкете («Отвечая на обращенный к нему тост, который был встречен аплодисментами, Горький допустил неловкость, простительную для неопытного оратора: он сказал, что "на безлюдье и Фома дворянин"».10 Неловкость сгладил В. А. Поссе, он сказал, что в присутствии Михайловского и Короленко нельзя считать русскую литературу «безрыбьем». 11 12 октября Горький писал Е. П. Пешковой: «(...) Струве говорил мне речь. И — представь, отвечая ему, я всех незаметно обругал. Увы мне! А впрочем — чорт с ним. Все это в сущности сволочь, а не литература»). 12 По-видимому, устные отзывы Мережковских о Горьком, с которым после нескольких встреч у них наметилась конфронтация, <sup>13</sup> оказали определенное влияние на восприятие Сологубом личности писателя. Впрочем, автор «Мелкого беса» мог получать информацию о «герое дня» и с противоположного «берега» — непосредственно от Н. К. Михайловского, с которым почти еженедельно встречался на \*пятницах\* у К. К. Случевского.14

Приезд Горького был петербургской сенсацией и муссировался в литературной и окололитературной среде. Почти ежедневно ему приходилось видеться с большим числом лиц, причастных к журналистике или хорошо известных в кругах петер-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Подробнее см.: *Петрова М. Г.* Первый приезд Горького в Петербург (октябрь 1899 г.) // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 2. С. 33—58.

<sup>10</sup> Азадовский К. Ф. Фидлер. Встречи с Горьким // Лит. обозрение. 1984. № 8. С. 101.

<sup>11</sup> Скриба [Соловьев Е. А.] О В. Г. Короленко // Одесские новости. 1903. 22 июля.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Архив А. М. Горького. М., 1955. Т. 5. С. 67.

<sup>13</sup> Например, в письме к Е. П. Пешковой от 18 октября 1899 года Горький рассказывал: 
◆Я видел вчера, как Гиппиус целовалась с Давыдовой. До чего это противно! Они обе терпеть не могут друга, обе рассказывают друг о друге изумительные мерзости. Сколько здесь лжи, сколько хитрости! ◆ (Архив А. М. Горького. Т. 5. С. 71). О первых встречах Горького с Мережковскими см.: Петрова М. Г. Первый приезд Горького в Петербург (октябрь 1899 г.). С. 46—47.

<sup>14</sup> Сологуб регулярно посещал «пятницы» К. К. Случевского и вел записи, в которых отмечал всех присутствовавших на вечере. Согласно этим заметкам, среди посетителей «пятниц» 8 и 15 октября 1899 года были: Случевский, Мережковские, Мазуркевич, Михайловский, Фидлер, Гайдебуров, Льдов, Лихачев, кн. Барятинский, Андреевский и др. (см.: ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 81. Л. 36, об.).

бургской интеллигенции. 7 октября он посетил Фидлера, у которого встретил Баранцевича и Альбова; 8 октября обедал у Короленко вместе с Михайловским, Н. Ф. Анненским и Елпатьевским; 14 и 18 октября встречался с бывшей издательницей «Северного вестника» Л. Я. Гуревич; 17 октября присутствовал на ужине у издательницы «Мира божьего» А. А. Давыдовой, на котором были также Мережковские. 15 Популярности Горького немало способствовали его выступления в студенческой аудитории 17 и 21 октября, имевшие оглушительный успех. Копии с нижегородской карточки, продававшиеся среди молодежи с благотворительной целью, имели самое широкое распространение.

Вполне очевидно, что, при отсутствии личных контактов с Горьким, у Сологуба не было недостатка сведений о нем, как устных, так и печатных, и он воспользовадся ими в период работы над «Мелким бесом». В рукописной версии текста солержатся явные портретные, биографические и питатные указания на «первогероев», одним из которых был Горький, а другим, вероятно, Скиталец. В раннем автографе романа в главе XV на полях имеется авторская помета — «с портрета Горького (Тетрадь 23. Л. 392). В сатирически-сниженном изображении внешности Шарика и его манеры говорить легко угадываются окарикатуренные черты облика прототипа: «Шарик был детина длинный, тощий, рыжий, с косматыми волосами. Называл он себя обыкновенным парнем. (...) повадки имел преувеличенно грубые. Шарик рубил и грубил» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 165. Л. 4). В воспоминаниях о раннем Горьком, в его письмах к Е. П. Пешковой и переписке разных диц можно обнаружить немало свидетельств, указывающих на его особую экспрессивную манеру речи, в которой присутствовал нарочитый «вызов» интеллигентному обывателю. 24 октября 1899 года В. С. Миролюбов писал А. П. Чехову: «Он (Горький. — М. П.) изрыгает хулу на Питер и хочет всех описать. Подвертывающихся ругает... и доводит девиц до слез, ибо говорит "наплевать мне на вашу культуру". Молодежь его тут как-то спрашивала, какова его программа и что он хочет сказать своими писаниями, как он пишет: "Как пишу? — Видел босяков, тех описывал; увидел купцов, написал о них; теперь вот вас начну описывать; а что касаемо программы, так по-моему программный человек похож на полено". — Всеобщее оцепенение... Боюсь, как бы он не увлекся этим озадачиванием и не привык к нему». 16 В 1908 году после встречи с писателем Ф. Ф. Фидлер отметил в дневнике: «Держался Горький как всегда естественно, хотя и напускал на себя легкую грубость. Часто употреблял для украшения речи такие выражения, как "чорт его знает" или "чорт его дери" как в одобрительном, так и в бранном смысле». 17 Примечательно, что персонаж Сологуба предпочитает экспрессивные и бранные выражения, кроме того, диалоги Шарика и Тургенева построены по принципу «озадачивания».

Уже сам «говорящий» псевдоним писателя Скворцова (Шарик) содержит намек на происхождение и демократические симпатии автора рассказов о босяках и «бывших людях», а его фамилия отзывается комической перверсией романтических образов «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике». Оба тома «Очерков и рассказов» были прочтены Сологубом: в его материалах к прозе сохранилась запись, озаглавленная «Мещанское в словесности», которая свидетельствует о пристальном внимании к творчеству Горького; отдельные фрагменты этой записи проецируются на текст «Мелкого беса»: «Провинциализм сказывается и в литературе. Все истинно-талантливое и технически-сносное тянется в столичные органы. Для провинц(иальной) печати остается или бесталанность, или талантливое сырье. Иногда, — за последнее время часто, — это сырье попадает в столичную прессу. Это почти и неизбежно, при нежелании критики признать во всем объеме ту

<sup>15</sup> См.: Летопись жизни и творчества А. М. Горького. М., 1958. Т. 1. С. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Цит. по: М. Горький: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 179—180.

<sup>17</sup> Азадовский К. Ф. Фидлер. Встречи с Горьким. С. 105.

эволюцию, которая происходит в настоящей литературе. Провинц(иализм) в литературе — нечто мелкое, необразованное. Талантливые представители его — Горький, Мельшин, Гарин. Горький. Незнание его. Что такое философия и метафизика. Зачем и говорить об этом? Мельшин. Малые среди великих. Снимание шапок. Оценка человеч (еских) достоинств. Прежде человек ценился по отношению к другим: хишный — покоряет, смирный — служит. Теперь — тем и хорош, что человек. Пренебрегается свидетельство истории и соврем(енной) жизни о всех гадостях человека. И даже против своей же теории об обезьяне, — все же человеч(еское) достоинство. (...) А сами мелкие, ничтожные. Во всем это сказывается. Эти писатели ничего не возводят к общему. Они талантливы, да что талант? Земля кишит талантами. Лекаленты — тонкие люди. М. Горький ІІ, 350. Горький любит употреблять слово "гибкий": гибкая женщина II, 15, 291; гибкий баритон II, 293; (гибкий) мальчик II, 305. (...) Хорошие лирич(еские) описания испорчены грубыми словами. Горький II, 292. Волшебно красиво. Дивно и гармонично. Звуки — гирлянда разноцветных лент. II, 292. Бывшие люди! (...) Зеленоватые глаза Мальвы. Кое-что из декадентства. (...) Горький не знает убийства, ужаса и т. д. Когда приходит убийство (рассказ босяка) или смерть (бывшие люди), он умалчивает. Студент-убийца вовсе не дан. Впечатления смерти показаны внешними чертами (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 538. Конверт 12).

Сологуб был не единственным, кто видел в прозе Горького мещанское начало: под таким же углом зрения воспринимали его творчество в окружении Мережковских, осмыслявших мещанство как вне-культурность. В частности, в мещанстве Горького упрекали Н. М. Минский (М. Горький. Очерки и рассказы, том первый // Новости и биржевая газета. 1898. 21 мая. № 138. С. 2), Д. В. Философов (О «лжи» Горького // Новый путь. 1903. № 6; Завтрашнее мещанство // Там же. 1904. № 11), З. Гиппиус (Антон Крайний. Выбор мешка. Углекислота // Там же. 1904. № 1).

Литературный портрет персонажа Сологуба также вполне «натягивался» на писательский образ Горького, созданный в критике: «Он считал себя самым новым человеком в России, и очень любопытствовал знать, что будет после символизма, упадничества, и прочих новых тогда течений. Шарик называл себя ницшеанцем. Впрочем, он еще не читал Ницше в подлиннике, по незнанию немецкого языка. О переводах же слышал, что они очень плохи, и потому их тоже не читал. Рассказы Шарик писал в смешанном стиле Решетникова и романтизма тридцатых годов. Герои этих рассказов всегда имели несомненное внешнее сходство с самим Шариком. Все это были необыкновенные, сильные люди»  $(\Pi. 3-4)$ . Представление о Горьком как «новом человеке» и «свежем таланте» в журнальных обзорах и статьях конца 90-х годов было едва ли не штампом. Замечание Сологуба о внимании писателя Скворцова к «новой литературе», по-видимому, содержало отсылку к статье Горького «Поль Верлен и декаденты», напечатанной в 1896 году в «Самарской газете» (13 апр. № 81; 18 апр. № 85). Наряду с творчеством французских символистов в сфере внимания раннего Горького находилась также современная живопись. В цикле «Беглые заметки» (Нижегородский листок. 1896. Май—Октябрь) и статьях «С Всероссийской выставки» (Одесские новости. 1896. Июнь-Июль) он неоднократно обращался к творчеству Врубеля и давал ему крайне негативную оценку (статьи «М. Врубель и "Принцесса Греза" Ростана», «Ответ А. А. Карелину» и др.). 18 Несмотря на то, что эти публикации появились в провинциальных газетах, Сологуб, скорее всего, был знаком с ними. В 1896 году

<sup>18</sup> См.: Горький М. Собр. соч. Т. 23. С. 161—187, 193—197. В статье ◆М. Врубель и "Принцесса Греза" Ростана → Горький, в частности, писал: «О, новое искусство! Помимо недостатка истинной любви к искусству, ты грешишь еще и полным отсутствием вкуса → ; «В жизни достаточно непонятного и туманного, болезненного и тяжелого и без фабрикантов фирмы Врубель, Бальмонт, Гиппиус и К → и т. п. (С. 165, 182).

он послал Горькому свою первую книгу, на которую тот отозвался довольно неблагожелательной рецензией «Еще поэт» в «Самарской газете» (1896. 28 февр. № 47; подпись: «А. П.»). 19 Как известно, Сологуб с самых первых шагов в литературе педантично следил за откликами на свои сочинения и собирал их.

Несомненная отсылка к ранней прозе Горького присутствует и в упоминании о ницшеанстве Скворцова. С появлением в «Русском богатстве» статей Н. К. Михайловского «О г. Максиме Горьком и его героях» и «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» (1898. № 9 и 10) в критике возникла традиция рассматривать творчество писателя в свете философских идей Ф. Ницше: прообразами героев «Очерков и рассказов» считали «чандалов», сближая «босяков» и «сверхчеловека» по признакам имморализма и антиинтеллектуализма. «Свободолюбивый дерзкий босяк оказался как бы живою иллюстрациею сверхчеловеческих влечений и сверх-человеческого культа», — писал А. Волынский в «Северном вестнике» (1898. № 10—12. С. 209).

В символистской среде, за редким исключением,<sup>20</sup> Горького осуждали за незнание и непонимание Ницше, упрекали в поверхностном следовании моде, популяризаторстве и вульгаризации идей философа. В рецензии на первый том «Очерков и рассказов» Минский отмечал: «Г. Горький изображает не просто босяков, а каких-то сверх-босяков и сверх-бродяг, проповедников какого-то нового провинциального ницшеанства и приазовского демонизма. ⟨...⟩ видеть в философии г. Горького отражение ницшеанства или индивидуализма Ибсена я не решаюсь. Если эти учения и в самом деле отразились в миросозерцании молодого беллетриста, то весьма в искаженном виде, и едва ли кто-нибудь из последователей Заратустры согласится на замену сверхчеловеческой свободы русской удалью и стремления по ту сторону добра и зла бегством по ту сторону Кубани» (Новости и биржевая газета. 1898. 21 мая. № 138. С. 2). В еще более резкой форме обвинение в опошлении идей мыслителя прозвучало в статье Философова «О "лжи" Горького» (Новый путь. 1903. № 6).

При создании образа Шарика Сологуб явно опирался на самое тривиальное представление о Горьком, сложившееся в критике; при этом для того, чтобы выдержать общий сатирический тон повествования, он целенаправленно прибегал к профанации горьковских идей и художественных образов. Писатели Скворцов и Степанов останавливаются в городе в надежде познакомиться с Передоновым, в котором предполагают «светлую личность» — «могуче-злое зачуяли они в нем», Шарик «наметил его себе в герои следующего гениального романа» (Л. 6). Между персонажами происходит разговор «о лежачих»:

«Шарик воскликнул:

— Да, вот говорят, — лежачего не биты! Что за ерунда! Кого же и лупить, как не лежачего! Стоячий-то еще и не дастся, а лежачему то ли дело! В зубы ему, в рыло ему, прохвосту!  $\langle ... \rangle$ 

Шарик, с ласкою в неверном голосе, спросил Передонова:

- Согласны, Ардальон Борисыч? Падающего надо толкнуть?
- Да, отвечал Передонов, а мальчишек и девчонок пороть, да почаще, да побольнее, чтобы визжали по-поросячьи» (Л. 7—8).

В приведенном фрагменте прочитывается скрытая цитата из «Так говорил

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> См.: Горький М. Собр. соч.: Т. 23. С. 120—123. В первой книге стихов Сологуба Горький видел «пессимизм и полное безучастие к действительности, страстный порыв куда-то вверх, в небо, и сознание своего бессилия, ясно ощущаемое отсутствие крыльев...» (С. 122).

<sup>20</sup> Например, позитивно оценивал раннее творчество Горького В. Брюсов, в ноябре 1900 года он записал в своем дневнике: «Зашла речь о Горьком. Мережковский бранил его жестоко. Я защищал и не без успеха» (Брюсов В. Я. Дневники. М., 1927. С. 96). См. также дарственную надпись Брюсова Горькому на книге стихов «Tertia vigilia»: «Максиму Горькому, сильному и свободному, жадно любящий его творчество Валерий Брюсов. 1900. Октябрь» (Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Т. 1. С. 285).

Заратустра» Ф. Ницше: «что падает, то нужно еще толкнуть», а также из повести Горького «Фома Гордеев» (ср. следующие высказывания Игната Гордеева: «А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо»; «В гнилой доске — какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать...»). 21

В конце диалога «о лежачих» между писателями и Передоновым Сологуб называет литературный источник, с помощью которого «вводит» в повествование имя прототипа Шарика:

- «Шарик вспомнил о замечательном человеке, Передонове, и сказал:
- Славно вышло, что мы приехали в эту трущобу.

Передоновым Шарик мог восхищаться без зависти, — не писатель.  $\langle ... \rangle$ 

— Один я только и есть! — сказал Передонов скорбно. — Да и я скоро уеду. Буду инспектором, буду ездить по школам, мальчишек и девчонок пороть, а учительниц по мордасам лупить, пока не надоест.

Сергей Тургенев восторженно воскликнул:

- Какая тоска в этих обетованиях!
- И какая сила! подхватил Шарик. Это выше Фомы Гордеева.
- В миллион раз выше, согласился Сергей Тургенев.

Эти писатели любили сравнивать, и всегда радовались, если можно было, возвеличивая одного, заодно лягнуть другого.

— Фомы Гордеева нет, — сказал Передонов, — а Николай Гордеев — мерзавец. Он клячу жует, и чертей на потолок лепит\* (Л. 10-11).

Сологуб постоянно намекает на «первогероя». В сатирическом ключе он вводит в речь Шарика мысли и высказывания, которые по своему пафосу напоминают горьковские («буржуазно-либеральную пошлость надо опрокидывать всеми способами. Пошлого буржуа надо ошеломить, чтобы он глаза выпучил... - Л. 12-13), или неточные, но узнаваемые цитаты из произведений писателя («Он выдумывал свой сон... В этом сне были и ширококрылый орел, — сам Шарик, — и змея, и ворон, и кроваворотые тюльпаны, распустившиеся на лазорево-голубых куртинах»); в издевательском спиче прокурора Авиновицкого, адресованном писателям, присутствуют цитаты из рассказов «Мальва» и «Ошибка». Речь прокурора, не включенная Сологубом в газетную публикацию, с точки зрения «горьковской» темы представляет особый интерес — она является кульминационной точкой сюжета и содержит своеобразный «компромат» на Горького: «— Сто лет уже знает вся Россия то, что вы ей за новое преподносите, — яростно закричал Авиновицкий. — Дешевый хлам переворашиваете, эзоповым языком намекаете на то, что власти вас притесняют, цензура говорить не дает, света мало. (...) Шуты вы, а не писатели! Во всякие обноски выряжались, теперь обносками декадентства щеголяете. Декаденты, по-вашему, тонкие люdu, да только простофили, — толпе не умели угодить, — так обкрадывай их, тащи барское добро на базар, заплеванное, захватанное холуйскими руками.  $\langle ... \rangle$  картинно пишите, как у какой-то дивчины *изо* рта ползли длинные, разноцветные ленты заунывной песни! (...) просвещенными людьми будьте, а не мазилками писачного цеха. Не учась в попы не ставят. А вы полторы книжонки в плохом переводе с немецкого прочесть удосужились, так уж думаете, всю мудрость произошли. Знаете только, что "по ту сторону добра и зла", а как по ту сторону забраться, этого вы еще не расчухали. Выдумал бедный немчура сверхчеловека, вы и домекнулись, что сверхчеловек на прохвоста смахивает, и должен проживать без паспорта и без сапог. Эх, вы, простачки!» (Л. 47-53).

Определенным указанием на прототип Шарика служит также упоминание в его биографии о Решетникове и романтизме 30-х годов. Как известно, Горький среди своих предшественников называл автора «Подлиповцев»; на банкете в редакции

<sup>21</sup> Горький М. Собр. соч. Т. 4. С. 36.

«Жизни» он говорил: «Что я в самом деле открыл нового? Прямо-таки сказать — ничего. И до меня босяки были, и о них писали. У Решетникова мало разве об этом?» 22 В его автобиографическом рассказе «Коновалов» булочник Максим пытается отвлечь своего приятеля от запоя чтением о Пиле и Сысойке. О «марлинизме» в ранней прозе Горького писали не реже, чем о ницшеанстве, от Гиппиус до Буренина. Последнему принадлежит следующий пассаж в «Критических очерках»: «Тот фальшивый, давно забытый в нашей литературе тон, который когда-то назывался "марлинизмом", как будто отзывается отдаленным эхом при чтении даже наиболее удачных очерков г. Горького, посвященных босякам. ⟨...⟩ Я боюсь, что г. Горький, как живописец босяков, представляется в некотором роде Марлинским наших дней» (Новое время. 1900. 1 (14) сент. № 8805. С. 2).

Портретные и цитатные указания на прототип Сологуб дополнил пародийными эпизодами, в которых весьма вольно использовал широко известные факты биографии Горького (именю эти эпизоды Дымшиц назвал пасквилем). «Кандидаты в российские знаменитости», «цвет и соль интеллигенции во главе со знаменитым Шариком», «душевные парни», будучи в нетрезвом виде, попадают в полицейский участок, в кутузку. Они уверены, что этот, «один из массы прискорбных фактов русской действительности (...) перейдет в вечность. Когда-нибудь в "Русской старине" появятся мемуары. Там все это будет описано подробно и сочно», при этом Шарик намеревался писать о случившемся в немецкую или шведскую газету и устроить «скандал на всю Европу», которая должна знать, что «Россия еще не имеет европейской гражданственности, свободы печати, свободы передвижения без паспорта...» (Л. 34).

С 1889 года Горький почти беспрерывно находился под негласным надзором и неоднократно задерживался полицией по подозрению в связях с социал-демократическими кружками. Сологуб мог не знать этих биографических подробностей, но факт ареста Горького в мае 1898 года, по-видимому, был ему известен: о его освобождении хлопотали И. Е. Репин и В. И. Икскуль, имевшие самые широкие связи среди петербургской интеллигенции (постоянными гостями в салоне баронессы были Мережковские). Кроме того, сам Горький не раз заявлял, что своей известностью он обязан прежде всего департаменту полиции, который сделал ему рекламу. 23 К началу 900-х годов популярность писателя приобрела колоссальный размах не только в России, но и за рубежом. В 1904 году вышел сборник «Иностранная критика о Горьком», в котором были помещены переводы статей о его произведениях с нескольких европейских языков (конца 90-х—самого начала 900-х годов); в 1903 году в берлинском «Kleines Theater» пьеса «На дне» выдержала 500 представлений. (В справочнике С. Балухатого «Критика о Горьком» (1934) приводится 1840 названий различных публикаций о Горьком за девять лет — с 1896-го по 1904 год; позднее список был дополнен; с 1900-го по 1904 год вышла в свет 91 книга о нем).

Герои Сологуба — посредственные литераторы Скворцов и Степанов — воображают себя фигурами мирового значения, борцами за свободу, которых притесняет полицейское государство; их поведение подобно передоновскому — безумный учитель русской словесности мнит себя вольнодумцем, неугодным начальству, опасается заключения в Петропавловскую крепость (Гл. ХХ).

Аллюзия на известный факт биографии Горького содержится также в эпизоде, в котором рассказывается о присутствии писателей на маскараде. 28 октября 1900 года в Московском художественном театре на представлении чеховской «Чайки» во время антракта в буфете восторженные поклонники Горького устроили ему овацию, которую он был вынужден прервать замечанием о ее неуместности. Инцидент широко обсуждался в прессе, и писатель был вынужден его прокоммен-

<sup>22</sup> Филиппов М. М. О Максиме Горьком // Научное обозрение. 1901. № 2. С. 104—105.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> См. об этом: *Азадовский К.* Ф. Фидлер. Встречи с Горьким. С. 105.

<sup>10</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

тировать; 18 ноября в «Северном курьере» (№ 363) было напечатано его письмо в редакцию. «Говоря с публикой, я не употреблял грубых выражений: "глазеете", "смотрите мне в рот", не говорил, что мне мешают пить чай с А. П. Чеховым, которого в это время тут не было... Я сказал вот что: "Мне, господа, лестно ваше внимание, спасибо! Но я не понимаю его. Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник, что интересного во внешности человека, который пишет рассказы?.. И как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками"». 24

Сологуб, несомненно, был знаком с этой публикацией, однако в соответствии с художественным замыслом ему было выгодно представить инцидент в стилистике газетных преувеличений:

«Меж тем в дверях буфетной собралась толпа. Смотрели на писателей, обменивались замечаниями. Это сердило Шарика. Он встал, нахмурился, почесал затылок, и произнес грубым голосом:

- Послушайте, эй, вы, субъекты, чего вам надо? Чего вы здесь не видали.
- Ш-ш, ш-ш, раздалось в толпе, говорит, говорит что-то.

Вдруг стало очень тихо, и Шариков голос раздавался беспощадно ясно в этой предательской тишине:

- Я приехал сюда изучать ваши нравы, а вовсе не затем, чтобы торчать перед вами чучелой гороховой. Я литератор, а не водолаз, и не Венера голопузая. Глазеть на меня нечего, у меня такое же рыло, как и у всякого здешнего прохвоста, и пью чай я тоже ртом, а не носом и не другим каким отверстием.
  - Ловко! крикнул кто-то в толпе.

Кто-то злобно зашикал, кто-то засмеялся. Шарик продолжал все громче и сердитее:

- Мы с Сергеем Тургеневым сели чаю похлебать, а вы проваливайте, пляшите. Чем буркалы на нас пялить, вы лучше наши книжки внимательнее читайте, а то скоро корою зарастете, и не учухаете.
- $\langle ... \rangle$  Он отвернулся от толпы, сел, налил чаю на блюдечко, поставил блюдечко на распяленные пальцы, и нарочито громко хлебнул. Пестрая толпа, рукоплеща оратору, со смехом расходилась» (Л. 63—65). Тургенев заметил товарищу: «— Эта речь останется знаменательным фактом в вашей биографии. Запишите ее, пока не забыли, а то исказят. Да, спасибо, наваляю, сказал Шарик, я и сам чую, что это у меня здорово выперло» (Л. 66).

Определенный набор портретных и биографических указаний и намеков на конкретное лицо Сологуб вложил также в образ писателя Сергея Тургенева (Степанова). «...Я — внук простонародья, я — племянник ворожащего горя, я — родич всероссийского скитальчества и ведовства», — представляется герой, в образе которого угадываются черты поэта и прозаика, выходца из крестьян, Скитальца (Степана Гавриловича Петрова). При активной поддержке Горького он дебютировал в 1900 году в журнале «Жизнь» рассказом «Октава». Псевдоним Скиталец взял себе потому, что, подобно своему «литературному отцу», много странствовал; именно Горький настоял на выборе Петровым этого псевдонима. 25

В пародийном писательском сюжете «Мелкого беса» Сологуб использовал известный в литературной среде факт дружеской близости Горького и Скитальца. Они познакомились в 1898 году в редакции «Самарской газеты», в которой оба сотрудничали. В 1899 году Скиталец гостил у Горького в Васильсурске, затем в

<sup>24</sup> Горький М. Собр. соч. Т. 28. С. 140.

<sup>25</sup> Горький писал В. С. Миролюбову: «Псевдоним ни в коем случае изменять нельзя, об этом усиленно прошу. Это очень важно для меня, Петрову — безразлично, для всех — тоже безразлично. Пускай, кто хочет, смеется, потом я попытаюсь заставить задуматься над такой штукой, как Скиталец, — не Петров, а вообще скиталец (М. Горький: Материалы и исследования. Т. 3. С. 44).

1900 году жил у него продолжительное время — учился писать и «спасался от пьянства». «Я живу на полном иждивении Горького, — писал Петров брату Аркадию 10 декабря 1900 года. — Под его влиянием я быстро развиваюсь. развертываюсь. Горький возится со мной как с ребенком. Нянчится, учит меня, заставляет до бесконечности переделывать мои работы. При таких хлопотах даже бездарного человека можно выучить писательству. 26 В апреле 1901 года они были арестованы по обвинению в связях с революционными кругами и противоправительственной пропаганде. Горький был освобожден по состоянию здоровья (процесс в легких). Скиталец провел в тюрьме три месяца. Очевидно, отзвуки этих событий нашли отражение в отвергнутом сюжете «Мелкого беса» — ночь в кутузке; Тургенев злорадствует по поводу «спинной сухотки» Шарика в надежде, что она сведет его в могилу; обвинительные тирады писателей — «русские тускло горящие фонари символизируют русское невежество, русскую темноту, русскую пустынную отсталость. Все в России гадко»; монолог Тургенева: «...не могите судить о том, что значит провести ночь в темнице. Сырой мрак, голые стены, смрад, ядовитый, удушающий смрад. За стеною — звон кандалов, свирепые возгласы угрюмых стражей, и чьи-то душу надрывающие стоны. Истомленный всеми этими ужасами, опустишься на жесткое ложе, — и тотчас же нападают клопы, блохи, мокрицы, тараканы, тарантулы, и жалят, жалят нестерпимо. Вскакиваешь, хочешь идти, в благородном негодовании ломишься в двери, — свирепое рыкание пьяного башибузука, вооруженного нашею родною, всемирно-знаменитою нагайкою, мигом возвращает к покорности. Валишься на сырой грязный пол, забываешься на полминуты, и видишь сны, — о, эти ужасные, горячечные, темничные сны!  $\langle ... \rangle$ Презренная Россия! (Л. 37).

Центральный мотив отношений персонажей (\*Шарик и Сергей Тургенев завидовали друг другу. Оба они считали себя кандидатами в российские знаменитости», — Л. 4) в представлении Сологуба, по-видимому, также имел место в личных отношениях «первогероев». Творческое становление Скитальца происходило под сильным влиянием ранней романтической прозы Горького. В критических обзорах начала 900-х годов имена писателей нередко соединяли, а также весьма часто упрекали Скитальца в подражании Горькому или даже копировании его манеры: «Иногда г. Скиталец пытается проявить порывистую романтическую мощь Горького, которая, по-видимому, пленяет его воображение»;  $^{27}$  «Они (Стихи Скитальца. — М. П.) по большей части хорошо задуманы и неуклюже написаны. И все они представляют собою перепевы "Песни о Соколе" и "Буревестника" г. Горького. Только сокол и буревестник заменяются местоимением "я"».  $^{28}$ 

<sup>26</sup> Цит. по: Милютин И. Незабываемые встречи: Из воспоминаний. Челябинск, 1957. С. 83. Период пребывания Скитальца у Горького широко отражен в переписке. См. письма Горького Миролюбову от 19 и 23 июня 1899 года («Он приезжал недавно ко мне, пил водку, и мы пели песни. Талантливый он и хорошее у него сердце»; Собр. соч. Т. 28. С. 83); от ноября 1900 года («Петров — растет, дай ему боже всего доброго! ⟨...⟩ В деле его воскресения из пьяниц ты должен мне помочь...»; Там же. С. 42); от 31 января 1901 года Л. В. Средину (\*...Живет у меня один, певчий, по имени Скиталец, человек удивительно играющий на гуслях и поющий на основании солидных мотивов. Он знает, что "Папа Пий IX-й и X-й Лев оба страшно пили и даже! любили дев". А раньше их еще "Аристотель мудрый, древний философ — продал панталоны за сивухи штоф", равно как и "Цезарь, сын отваги, и Помпейгерой проиграли шпаги тою же ценой". Столь солидные примеры не могли не побудить нас к подражанию, тем более, что "даже перед громом пьет Илья пророк гоголь-моголь с ромом или чистый грог!" От такого подражания древним Андреев в настоящее время лежит в клинике проф. Чернова, а я — поздоровел и учусь играть на турецком барабане ибо — довольно литературы! Сим извещаю вас, м. г., что мною образована странствующая "Кобра-Капелла". (...) Весною она предпринимает пешее кругосветное путешествие по разным странам. Цель ее отдых от культуры, средство — музыка и питание. (...) Из этого вам, полагаю, ясно, что живем мы весело и содержательно»; АГ. ПГ-рп 40—14—15) и т. п.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Коробка Н. Рассказы Скитальца // Образование. 1902. № 9. Отд. II. С. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Н. К. [Михайловский Н. К.]. Скиталец. Рассказы и песни // Русское богатство. 1902. № 9. Отд. II. С. 19.

Первый том сочинений Скитальца (СПб.: «Знание», 1902), как известно, был не только составлен Горьким, но и тщательно им отредактирован; ни одно из двалцати двух стихотворений книги он не оставил без своих исправлений, иногда дописывал целые четверостишия.<sup>29</sup> (В «Мелком бесе» Шарик упрекает Тургенева: «Вообще, вы мастер ляпать такие поэтические словечки, в которых больше поэзии, чем правды», — Л. 21.) Подражание Горькому у Скитальца подчас принимало форму плагиата. В декабре 1901 года Горький не без иронии писал К. П. Пятницкому: «В повести Скитальца "Сквозь строй" отец, умирая, говорит: "Лети, душа!" Сие невозможно. Ибо, во-первых, — в стихотворении того же Скитальца "Колокольчики" есть восклицание "Эх, лети, душа...", а во-вторых, в повести Горького "Трое" герой Илья, разбивая башку и спину, кричит: "Лети, душа!" Сей массовый полет душ может вызвать у критиков и читателей убеждение в том, что Горький подражает Скитальцу и наоборот. А так как сие восклицание принадлежит мне, Пешкову, и Скиталец спер его у меня, то дважды употреблять его — в стихах и прозе Скитальцу не надлежит. А потому пусть умирающий старик скажет "Вот и все!" или "Ну, конечно!" или "Дошел!" или....•30

\*Переимчивая\* писательская сущность Скитальца нашла отражение в образе сологубовского персонажа. Вызывающий псевдоним литератора Степанова — Тургенев — псевдоним-замена, одно знаменитое имя намекает на другое, на то, что его прототип — на самом деле псевдо-Горький, подражатель и имитатор Горького (это предположение высказано А. В. Лавровым).

Образ Тургенева, впрочем, не одномерен и не исчерпывается пародийным указанием на прототип. Он может быть прочитан в контексте более широких культурно-исторических обобщений, связанных с конкретной литературной ситуацией конца 90-х годов. В частности, в нем присутствуют элементы пародии на эстетические издержки и языковые штампы символизма: «Он думал, что его печаль — печаль великой души, томящейся в бедных оковах лживого бытия, и гордился своею печалью» (Л. 15); сентенция Тургенева — «Зеленоокие коты, любящие на кровлях, выше человеческого жилья, — вот прообраз сверхчеловека» (Л. 21); он же о Передонове: «Как он демонически зевает... как глубоко символична эта мрачная зияющая реакция на банальную скуку пошлой жизни!» (Л. 23); он же о Варваре: «Здесь есть что-то такое наивное, первоначальное, почти прерафаэлитское» (Л. 27) и т. п.

В то же время построчный комментарий глав «Сергей Тургенев и Шарик» почти исключает возможность переадресовки образов, созданных Сологубом: писатель действительно стремился к сатирическому изображению своих идейно-эстетических противников. Однако в свете творческой истории романа более важным представляется вопрос о месте отвергнутой сюжетной линии в структуре произведения.

Очевидно, с точки зрения первоначального замысла Тургенев и Шарик представляли близнечную пару Передонову и Володину. Не случайно в рукописи ранней редакции «Мелкого беса» авторская помета «С портрета М. Горького» была сделана на полях рядом с фрагментом: «Передонов... уселся в своем обычном положении: локти на ручки кресла, пальцы скрещены, нога на ногу» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 392), — поза Горького на известных фотопортретах.

Прежде всего персонажи соотносятся в плане идейного содержания. Главный герой романа осмыслялся критикой как «измельчавший русский Мефистофель». Так, например, А. А. Измайлов писал: «Стоило ли жить десятилетия, болезненно претерпевать всевозможные эволюции, чтобы начав Онегиным и Печериным через

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Подробнее об этом см. вступ. статью и примечания С. В. Касторского в кн.: М. Горький и поэты «Знания». Л., 1958.

<sup>30</sup> Горький М. Собр. соч. Т. 28. С. 207.

фазы Чичиковых, Тамариных и Обломовых спуститься до Передонова? Стыдно за Мефистофеля, разменявшегося на медные гроши... \*31 В сатирических образах Тургенева и Шарика тот же литературно-общественный тип «скитальца в родной земле», доведенный Сологубом до карикатуры, до полного измельчания. Наделяя своего героя Степанова-Скитальца псевдонимом Тургенев, автор романа, вероятно, отсылал читателя к пушкинской речи Ф. М. Достоевского, которая, как известно, была обращена ко всем «русским скитальцам» и насыщена выпадами против западников, в том числе и против создателя «Рудина», «Отцов и детей», «Нови» и др. (этим наблюдением я обязана Н. П. Генераловой).

Идейный параллелизм «передоновского» и «писательского» сюжетов в первоначальном замысле «Мелкого беса» сопровождался параллелизмом композиционным. Отношения внутренней дистрибуции в парах героев повторяются по принципу «зеркальности»: Шарик является отражением Передонова, Тургенев — Володина. Характерные черты облика учителя русской словесности — угрюмость, грубость, свирепость — Сологуб повторяет в портрете писателя-«учителя» Шарика («повадки имел преувеличенно грубые», «рубил и грубил»; «сохранял преувеличенно-насмешливое и угрюмое выражение»; «угрюмо заявил: А я желаю дать в морду какомунибудь мерзавцу!»; «свирепо произносил бранные слова» и т. д.). Садистические жесты «стегальных дел мастера» синонимичны нереализованным стремлениям Шарика бить «лежачих». По-видимому, не случайно в заметках о прозе Горького Сологуб пишет: «А дерутся в рассказах у Максима Горького много. И не потому, что того требует избранная тема, а потому, что искренно исповедуется вера в спасительность приложения кулачной силы к разрешению житейских запутанностей...» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 538).

Володин обидчив, восторжен, подобострастен, приторно-мягок (его речь изобилует уменьшительными суффиксами), его жесты бессмысленно-механичны. Соответственно Тургенев — «суетлив и ласков», обидчив и «застенчив», напыщенно восторженный и мечтательный: «мечтательно закатывал под лоб тусклые глазенки» (Л. 26).

Тождественность близнечных пар подчеркивается единообразием лексики героев и структуры диалогов. Речь Володина лишена самостоятельного содержания и смысла, является рефреном, «эхом» речи Передонова, при этом только Передонов, в силу своей целлюлярности, нарциссизма, реагирует на его сентенции. Аналогичный характер носят высказывания Тургенева: «никто не был поражен силою и страстностью его речи, — точно комар пропищал» (Л. 38).

Изоморфизм сюжетных линий усиливается параллелизмом действий персонажей (обе пары героев непрестанно пьют и безобразничают), а также с помощью введения в повествование «зеркальных» эпизодов. Очевидно, ситуация гипотетического сватовства Тургенева и Шарика к Грушиной с целью погубить друг друга неудачной женитьбой является отражением марьяжного конфликта: Передонов — Варвара — Володин, разрешившегося реальной гибелью Володина. Передоновская версия о Саше Пыльникове (переодетая девочка) прозвучала и в гипотезе Тургенева и Шарика об андрогинизме Саши («парень-девка»), высказанной писателями на обеде у Хрипача (Л. 59). Сон Володина, в котором он видит себя «бараньим царем» («на троне в золотой короне»), в редуцированном виде отзывается в сновидении Тургенева («я был царевич, прекрасный и юный», — Л. 43).

Разрушительные потенции Шарика и Тургенева, как правило, носят характер бесплотной копии (зеркальной симметрии) агрессивных акций их двойников: Передонов и Володин разрушают и пакостничают, главным образом, действием, Шарик и Тургенев — помыслом и словом. Например: «За ужином все напились допьяна, даже и женщины. Володин предложил еще попачкать стены: все обра-

<sup>31</sup> Измайлов А.А. Измельчавший русский Мефистофель и •передоновщина• // О Федоре Сологубе: Критика. Статьи и заметки. СПб., 1911. С. 16.

довались; немедленно, еще не кончив есть, принялись за дело и неистово забавлялись. Плевали на обои, обливали их пивом, пускали в стены и потолок чертей из жеваного хлеба. Потом придумали рвать полоски на азарт, — кто длиннее вытянет. Приведенный фрагмент имеет аналог в «писательском» сюжете: Авиновицкий обвиняет Тургенева и Шарика в том, что в своих сочинениях они «оплевывают» русскую жизнь. В ответ на гневную речь прокурора Тургенев восклицает: «О, презренная родина! (...) как бы я желал одним плевком оплевать все русское!» (Л. 55).

Важное место в серии «зеркальных» эпизодов занимают профетические диалоги героев о «светлой жизни»; Сологуб вводит их с целью профанации идеи общественного прогресса и философии «надежды» (пародирует чеховские грезы о счастливой жизни через двести-триста лет). Передонов говорит Володину: «Ты думаешь, через двести или триста лет люди будут работать?.. Нет, люди сами работать не будут... на все машины будут: повертел ручкой, как аристон, и готово. Да и вертеть долго скучно». Володин согласился, но заметил, что «нас тогда уже не будет». Передонов возразил: «— Это тебя не будет, а я доживу». «Дай вам бог, — весело сказал Володин, — двести лет прожить да триста на карачках проползать». Аналогичная по смыслу сцена есть и в писательском сюжете. Выслушав отповедь Авиновицкого, Шарик говорит Тургеневу: «— Пойдем на кряж, я хочу видеть этот поганый город под ногами у себя». — «Мы выше всех этих людей, — мечтательно сказал Тургенев, — такие, как мы, будут жить через двести, триста лет. Тогда жизнь будет светлая. А теперь наш удел — слава, но бессилие» (Л. 55).32

Полное отождествление персонажей происходит в заключительной сцене маскарада посредством реплики Шарика, брошенной разгулявшейся пьяной толпе: \*Глазеть на меня нечего, у меня такое же рыло, как у всякого здешнего прохвоста <math> \*(Л. 64).

Уподобление героев, несомненно, входило в авторский замысел и отвечало идейной направленности произведения. Создавая роман, Сологуб совершенно сознательно «метил» в Горького, олицетворявшего революционные надежды либерально-демократического сознания. В идеалах общественной борьбы, исповедуемых автором «Песни о Буревестнике», пьесы «На дне» или поэмы «Человек», Сологуб предчувствовал катастрофический, разрушительный, нигилистический пафос (в духе автора «Бесов»; перекличка названий двух романов, очевидно, носила идеологический характер). «Мелкий бес» можно рассматривать в качестве инвективы «На дне»: «передоновщина» всецело дискредитировала горьковскую тезу «человекобожества» («Человек! Это звучит гордо!»). Симптоматично, что роман Сологуба, большая часть которого (двадцать три главы из тридцати двух) была напечатана в «Вопросах жизни» в год первой русской революции, остался почти без внимания современников в период общественного подъема и приобрел чрезвычайную популярность в годы реакции: в 1908—1910 годах он был переиздан пять раз (общим тиражом более 15 тысяч экземпляров). По словам А. Блока, «Мелкий бес» был прочтен всею образованной Россией; 33 «крылатое слово передоновщина, — писал Иванов-Разумник, — сразу вошло в обиход русской жизни и литературы».34

В своем прогнозе о разрушительном влиянии художественного творчества и идейной позиции Горького на русское общество Сологуб не был одинок. Его

<sup>32</sup> Ср., например, с монологом Вершинина из «Трех сестер» А. П. Чехова: «Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двеститриста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее, в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье»; или с монологом Сони («Что же делать, надо жить!») из 4-го действия «Дяди Вани».

<sup>33</sup> Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 5. С. 284.

<sup>34</sup> О Федоре Сологубе. С. 16.

предчувствия разделяли В. В. Розанов, Мережковские и Д. В. Философов. З. Гиппиус, в частности, писала, что «проповедь» Горького несет с собой опасность уничтожения культуры, поскольку она освобождает человека «от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого помышления о Боге, от всякой надежды, от всякого страха, от всякого духовного или телесного устремления и, наконец, от всякой воли, — она — не освобождает лишь от инстинкта жить. И в конце этих последовательных освобождений — восклицание: "человек — это гордо!" «....» У такого освобожденного от всего существа, во-первых, нет чем гордиться, а во-вторых — оно совершенно не человек. Зверь? «....» от человека — в последнее зверство, конечное, слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее». Зб (Ср. заключительные строки «Мелкого беса»: «Передонов сидел понуро и бормотал что-то несвязное и бессмысленное».) Картина грядущей катастрофы (торжество хамодержавия), представленная Гиппиус в статье «Углекислота» (1903), по своему смыслу синонимична социально-историческому обобщению Сологуба, получившему емкое название — «передоновщина».

Вполне вероятно, что обсуждение «больного» вопроса о судьбе России, особенно остро стоявшего перед русской общественной мыслью на рубеже столетий, не входило в конкретное творческое задание автора романа. Между тем на страницах «Мелкого беса» этот вопрос получил своеобразное решение. 36 Сологуб создал собственный миф о национальной истории, согласно которому Россия предстает страной без будущего, покорной единственной неизменной стихии — «передоновщине», движимой необратимой волей к деструкции, антикультурности, всеобщему распаду и Хаосу. Передонов разрушает ее «тело», Шарик-Горький развращает «душу» и пробуждает асоциальные инстинкты. В современной русской жизни нет и не может быть никаких креативных сил. В свете исторической перспективы последующих лет роман об одержимости и безумии Передонова неожиданно получает провиденциальное звучание. (В этой связи герой повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» Шариков может рассматриваться как «духовное чадо» писателя Шарика.) Октябрьские события и социальные катаклизмы 20-х годов Сологуб воспринял как закономерное воцарение «передоновщины»; с полной определенностью он прокомментировал свое отношение к данному эпизоду русской истории в заключительных строках стихотворения «Успокоительная зелень...» (1926):

> Но все ж ликуй: вот Навьи Чары, Тяжелых снов больной угар, Ты эти предсказал кошмары, Где Передонов — комиссар!<sup>37</sup>

Реальное течение русской жизни первых десятилетий века, с точки зрения писателя, всецело подтвердило справедливость художественной и исторической концепции «Мелкого беса».

Упразднение «писательской» сюжетной линии в значительной степени обеднило художественный замысел «Мелкого беса» и смягчило его идеологическую остроту. Кроме того, изъятие из текста глав о Тургеневе и Шарике повлекло изменение в структуре романа и повлияло на дистрибуцию смыслов, изначально закрепленных за основными нарративами, — произошло заметное усиление эротической повествовательной линии и ее мнимого противостояния деструктивной (передоновской). В то же время редукция конкретной социальной проблематики текста способствовала возрастанию его метафизической напряженности; на фоне приглушенного

<sup>35</sup> Антон Крайний [Гиппиус З.]. Углекислота // Новый путь. 1904. № 1. С. 258—259.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> О своеобразии мифа национальной истории в «Мелком бесе» см.: *Ерофеев Вик.* На грани разрыва («Мелкий бес» Ф. Сологуба на фоне русской классической традиции) // Вопросы литературы. 1985. № 2. С. 148.

<sup>37</sup> Впервые: Азазель. 1991. № 1. С. 38.

общественного пафоса резче проявились рефлексии философских идей Ницше и Шопенгауэра.

Актуализация метафизического смысла текста, по-видимому, произошла без сознательного побуждения автора, как бы мимовольно, вследствие изъятия социально-обличительного сатирического сюжета о писателях. Между тем явное «облегчение» художественного замысла и «повреждение» текста уже после завершения работы над произведением вряд ли могло порадовать Сологуба, и только с очень большой долей условности можно допустить, что он совершил эту операцию по собственной воле.

Известно, что задолго до публикации в «Вопросах жизни» роман был прочитан редакцией «Нового пути» и на литературных вечерах («воскресеньях») у Сологуба в Андреевском городском училище. За Очевидно, содержание романа обсуждалось в ближайшем писательском окружении, и Сологуб мог учесть при публикации критические пожелания слушателей. В частности, он принял во внимание замечания о перенасыщенности текста эротическими и садо-мазохистскими сценами и снял целый ряд соответствующих эпизодов. (В январе 1929 года в письме Д. Е. Максимову Перцов сообщал: «"Мелкий бес" был забракован собственно мною, потому чот я считал рискованным для журнала помещение такой "эротической" вещи, когда нас и без того подозревали во всех содомских грехах. Ведь тогда в литературе еще господствовала традиционная pruderie и только после 1905 г. последовало разрешение на все. А наше положение религиозного журнала было особенно щекотливым»). За

«Горьковская» тема «Мелкого беса», напротив, вполне соответствовала идейноэстетической платформе «Нового пути» и не могла подвергнуться критике со стороны Мережковских и Философова, возглавлявших журнал. Особую позицию при обсуждении глав о писателях мог занимать только издатель. В конце 1903 года Перцов вынашивал план реорганизации журнала на основе гипотетического тандема с Горьким, однако редакционной политикой «Нового пути» фактически руководили Мережковские, для которых союз с «горчатами» был неприемлем, а кроме того, в начале 1904 года Перцов полностью устранился от издания. 40

Сюжет о писателях был отвергнут позднее — на стадии журнальной публикации романа. Л. М. Клейнборт вспоминал, что Сологуб, при личном свидании, показывал ему рукопись «Мелкого беса» и, в частности, отмечал изменения, которые были внесены в текст в интересах художественного целого редакцией «Вопросов жизни». В поздней рукописи сохранились единообразные карандашные перечеркивания отдельных сцен и целых глав, опущенных затем, за небольшим исключением, и в публикации; в комплекс вычеркнутых фрагментов входили главы о Тургеневе и Шарике. Таким образом, изъятие из текста «горьковской» темы произошло под давлением со стороны лидеров «Вопросов жизни».

Журнал издавался Д. Е. Жуковским с 1905 года вместо «Нового пути» и просуществовал всего год. После выхода из редакции Мережковских и Философова ее возглавили С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Д. Е. Жуковский и Г. И. Чулков (в 1904 году он был приглашен Мережковскими на должность секретаря «Нового пути», заведовал критическим и беллетристическим отделами «Вопросов жизни»). Именно Чулков настоял на публикации в журнале «Мелкого беса». Позднее он вспоминал: «Н. А. Бердяева мне удалось склонить на согласие без труда, но со

39 РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34. Л. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> См.: Перцов П. П. Литературные воспоминания: 1890—1902. М.; Л., 1933. С. 233—234; Гиппиус З. Слезинка Передонова // О Федоре Сологубе. С. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Подробнее об этом см. в нашей публикации: Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову // Русская литература. 1991. № 4; 1992. № 1 (прим. к п. 36 и вступит. заметку).

<sup>41</sup> Клейнборт Л. М. Встречи: Федор Сологуб // ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 442. Л. 20.

стороны С. Н. Булгакова и некоторых других я встретил упорное сопротивление. Федору Кузьмичу, ныне покойному, так, вероятно, и осталось неизвестным, какую борьбу я выдержал внутри редакции, добиваясь опубликования романа. 42

Новая редакция не то чтобы благоволила к группе «Знание», но и не вступала с нею в открытую конфронтацию. Осенью 1904 года («идеалисты» вошли в состав «Нового пути» в октябре 1904 года) Горький не исключал для себя возможности сотрудничать в предполагавшихся «Вопросах жизни», хотя и высказывал опасения, что «г. г. реалисты не вышибут г. г. мистиков из "Нового пути", а сольются с ними». В свою очередь С. Н. Булгаков в программной статье о редакционной политике отмечал: «Можно мириться с умеренным натурализмом, к которому, в сущности, в большинстве принадлежит поколение молодых беллетристов, группирующихся около "Знания"» (Вопросы жизни. 1905. № 2. С. 354). Одновременно лидеры журнала не могли не считаться с радикализмом Горького, хотя и не разделяли его политическое сгедо. В частности, Бердяев осуждал горьковский гуманизм с религиозных позиций: «"Человек" — пример безбожного, а значит "плоского" утверждения личности» (Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 186).

Вместе с тем внутри редакции «Вопросов жизни» Горький имел своего адепта в лице Г. Чулкова, литератора с революционным прошлым (в 1902 году он находился в тюремном заключении за нелегальную деятельность и связи с социал-демократами, затем в ссылке; был освобожден по амнистии; вплоть до 1904 года жил под негласным надзором в Нижнем Новгороде). Несмотря на свою близость с символистами и причастность к их литературно-групповым интересам (см. его рецензию на рассказ «Тюрьма» в № 9 «Вопросов жизни»), Чулков симпатизировал Горькому и даже обращался к нему за литературной и финансовой поддержкой. В целом отношение к Горькому в «Вопросах жизни» было сдержанным. Однако маловероятно, чтобы на страницах журнала могли появиться материалы наподобие новопутейских статей Гиппиус и Философова или сатирических глав о Тургеневе и Шарике из «Мелкого беса».

Не в пользу публикации рукописной версии романа была и конкретная общественная ситуация конца 1904-го — начала 1905 года. Накануне январских событий Горький принял участие в писательской депутации к Витте и Святополк-Мирскому с просьбой предотвратить катастрофу 9 января, через несколько дней он был арестован в числе других участников протеста и несколько недель провел в заключении в Петропавловской крепости. С. А. Венгеров вспоминал: «Весть об аресте Горького произвела огромную сенсацию в Европе, где она распространилась вместе с известием, будто бы Горького ждет смертная казнь. Этому вполне поверили. (...) Во всех европейских странах, не исключая отдаленной Португалии, собирались митинги и образовывались комитеты, посылавшие телеграммы и адресы о помиловании». 45

Такая политическая обстановка полностью исключала возможность появления в оппозиционном органе с радикально-демократической платформой первоначальной версии «Мелкого беса», содержавшей саркастические выпады против Горького.

45 Венгеров С. А. М. Горький / Русская литература XX века (1890—1910). М., 1914. Т. 1. С. 197.

<sup>42</sup> Чулков Г. Годы странствий. М., 1930. С. 151.

<sup>43</sup> Горький М. Письмо к К. П. Пятницкому от 18 или 19 сентября 1904 года // Горький М. Собр. соч. Т. 28. С. 324.

<sup>44</sup> В письме к В. Брюсову от 18 ноября 1902 года из якутской ссылки Чулков сообщал: «Участников февральского движения этого года (студентов и нестудентов) возвращают на родину. (...) Запрещен будет въезд только в большие города. Гласный надзор полиции продолжится до марта месяца 1904 года. Не знаю, куда мне ехать. Если Горький будет жить в Нижнем, постараюсь попасть туда» (РГБ. Ф. 386. Карт. 107. Ед. хр. 45. Л. 5—5, об.). В 1903 году Чулков поселился в Нижнем Новгороде и стал сотрудником «Нижегородского листка». Позднее он периодически обращался к Горькому по разным вопросам, в том числе и за финансовой поддержкой (см. письмо Чулкова от 8 декабря 1906 года — АГ-КГ-П 87-5-1).

Сологуб был вынужден внести изменения в текст романа. Отчасти по тем же идеологическим мотивам он не смог реставрировать отвергнутые главы в отдельном издании «Мелкого беса» (СПб.: «Шиповник», 1907).

В последующие годы внешние и внутренние обстоятельства жизни Сологуба также не благоприятствовали появлению «Мелкого беса» в исправленной редакции: за два года (1908-1910) книга переиздавалась в «Шиповнике» пять раз; очевидно, у писателя не было времени участвовать в столь стремительном издательском процессе, а возможно, и желания, поскольку роман пользовался успехом. События личной жизни также не располагали Сологуба к активному ведению дел: летом 1907 года он потерял самого близкого друга — от наследственной чахотки умерла его сестра Ольга Кузьминична; одновременно он был уволен в отставку из Андреевского училища, тогда же ему пришлось оставить казенную квартиру и заниматься поисками новой; а 1908 год прошел под знаком сближения с А. Н. Чеботаревской. Седьмое и восьмое издания «Мелкого беса» (СПб.: «Сирин», 1913) подготавливались к печати на фоне литературного скандала с Горьким (1912). Это обстоятельство однозначно исключало возможность реставрации в романе глав о Тургеневе и Шарике (Сологуб опасался дальнейшего обострения конфликта с автором сказки о Смертяшкине). Не подлежит сомнению, что отвергнутая сюжетная линия не могла быть восстановлена и в тексте последнего прижизненного издания «Мелкого беса» (1923), осуществленного З. И. Гржебиным, которого связывали с Горьким дружеские отношения. Кроме того, новая общественная ситуация также исключала возможность восстановления первоначального авторского замысла.

Л. Клейнборт

# ВСТРЕЧИ. А. А. БЛОК И ДРУГИЕ

(ПРЕДИСЛОВИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ А. В. ЛАВРОВА)

Имя человека, написавшего эти воспоминания, не встречается в текстах Блока — ни в статьях, ни в письмах, ни в дневниках и записных книжках. Блок не переписывался с Клейнбортом, книг его в своей библиотеке не имел. Все говорит о том, что в данном случае имело место лишь отдаленное знакомство, не подкрепленное близостью идей, интересов и переживаний. И тем не менее тот взгляд издали, которым охватывает и пристрастно оценивает поэта столь неожиданный мемуарист, по-своему любопытен — любопытен как попытка воспринять и осмыслить Блока, взирая на него с противоположного литературного полюса. В мемуарной блокиане отыщется немного подобных примеров. В наблюдениях и оценках Клейнборта сказывается очевидная невосприимчивость радикального демократа и «общественника» к исканиям и настроениям поэта-«декадента», символиста и мистика; сплошь и рядом приходится сталкиваться в этих воспоминаниях с непониманием внутреннего мира Блока, с ложными или прямолинейными выводами из описываемых поступков и приводимых высказываний. Такая заведомо неадекватная — хотя и претендующая на сугубую объективность — интерпретация личности Блока по-своему ценна: она позволяет отчетливее обозначить те контуры, которые приобретал образ поэта в оппозиционной символизму литературно-общественной среде, а также увидеть и конкретно воспринять «непереступимую черту», отделявшую в начале века не только интеллигенцию от народа, но и один клан интеллигенции от другого.

Лев Наумович (Максимович; Лейб Нахманович) Клейнборт (1875—1950) родил-

ся в местечке Копыль Минской губернии. Отец его, будучи студентом-медиком Кенигсбергского университета, принимал участие в русском и германском революпионном движении.1 «Народовольчество моего отца, испытавшего на себе влияние марксистского немецкого рабочего движения Бебеля. Либкнехта. Бернштейна, с которыми он состоял в личных отношениях, — носило своеобразный характер в 70-80-е гг., — пишет Клейнборт. — Недаром уже тогда он так увлекался Зибером. Так или иначе, но благодаря ему именно в нашем городке появляются журналы тех лет "Отечественные записки", "Дело", "Слово", "Сочинения" Щедрина, Некрасова, Писарева, Шелгунова, с одной стороны, Молешота и Бюхнера, Парвина и Спенсера — с другой. (...) И уже с гимназических лет, — кончил я гимназию в г. Слуцке, — я настроен революционно, читаю нелегальную литературу (...)». 2 «Из гимназических воспоминаний, — свидетельствует также Клейнборт в автобиографическом письме к С. А. Венгерову от 7 февраля 1913 года, наиболее врезались в память два: раз "попался" с сочинениями Михайловского. другой — с сочинениями Гл. Успенского. Оба раза обсуждался вопрос о моем исключении из гимназии».3 Идейные устремления отца Клейнборт унаследовал всецело: так, в 1923 году в Петрограде вышли в свет две его книги — «Григорий Захарович Елисеев» (биография одного из идейных вдохновителей российских шестидесятников) и «Николай Иванович Зибер» (о русском экономисте, одном из первых популяризаторов экономического учения Маркса).

В 1896 году Клейнборт поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, в 1898 году перешел на юридический факультет (где его однокашником оказался Блок). Университета Клейнборт не окончил: в 1901 году он был исключен за активное участие в студенческом движении и революционные связи (с 1897 года был представителем социал-демократической группы студенчества). На протяжении 1900-х годов его неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку: «Сидел много в тюрьмах — в 1899 г. по делу о студенч (еских) беспорядках, в 1901 г. (весь год) — по обвинению в пропаганде среди рабочих, 1908 г. (весь) за редактирование изданий О. Н. Поповой. В 1910 г. опять был приговорен суд (ебной) пал (атой) на 1 год по литерат (урному) делу . 4 Литерат урную деятельность Клейнборт начал в 1902 году в земских изданиях («Вестник Псковского губернского земства», «Саратовская земская неделя»), в том же году стал постоянным сотрудником в литературном и общественно-политическом журнале «Образование» (приобретшем к этому времени отчетливую социал-демократическую окраску), а с 1904 года — членом редакции и фактическим редактором второго, общественно-политического и экономического, отдела «Образования». С января 1906-го по июнь 1908 года в каждом номере этого журнала публиковались статьи Клейнборта из серии «Хроника русской жизни» (с 1907 года — под заглавием «Отклики русской жизни»). С января 1904 года Клейнборт постоянно участвовал и в другом журнале радикально-демократической ориентации — «Мире Божьем», где, как и в «Образовании», напечатал множество публицистических статей, затрагивавших экономическую, общественную, литературно-критическую проблематику. В 1906—1907 годах вышло в свет несколько брошюр Клейнборта, посвященных животрепещущим темам: «В тюрьме и ссылке», «О партиях и партийности», «Русский империализм в Азии», «Капитализм и еврейский вопрос» (конфискована), «Подоходный налог», «Безработица и движение безработных»; тогда же в издательстве О. Н. Поповой под редакцией Клейнборта печаталась еженедельными книжками серия «Темы жизни», включавшая популярную марксистскую литературу.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См. о нем (\*студент-медик\*): *Иохельсон В. И.* Далекое прошлое: Из воспоминаний старого народовольца // Былое. 1918. № 7(13). С. 59.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Клейнборт Л. М. Автобиография / ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 429. Л. 1—2.
 <sup>3</sup> ИРЛИ. Ф. 377 (Собр. автобиографий С. А. Венгерова). Ед. хр. 1779. Л. 1.

<sup>4</sup> Там же.

После закрытия «Образования» в 1909 году Клейнборт становится ближайшим сотрудником популярных столичных изданий — «Журнала для всех» (где заведует отделом), «Новой жизни» (в этом журнале в 1911—1912 годах продолжаются его «Отклики русской жизни»), «Современного мира». «С 1913 по 1917 гг., — пишет он в автобиографии, - я становлюсь заведующим отделом и в журнале "Современный мир", печатаюсь и в "Вестнике Европы" с 1912 по 1917 гг. Все мои работы тех лет выдержаны были в тонах журнального марксизма. (...) Я, если не первый, то один из первых, поднял в легальной журналистике вопрос о пролетарском творчестве и пролетарских писателях. В "Образовании", "Современном мире", "Вестнике Европы", "Северных записках" мной были напечатаны многочисленный ряд статей о пролетарских и крестьянских писателях, только начинавших свой путь, статей, которые впервые привлекли к ним внимание широкого круга читателей». 5 Клейнборту принадлежит безусловный приоритет на поприще аналитического освоения творчества писателей, вышедших из социальных «низов»; с его цикла «Очерки рабочей демократии», печатавшегося в «Современном мире» в 1913—1914 годах, статей о рабочей поэзии «Народная демократия» (Новая жизнь. 1911. № 6), «Поэты-пролетарии» (Современный мир. 1915. № 10), очерков «Что думает интеллигенция из народа? (Новая жизнь. 1911. № 4), «Новый читатель» (Современный мир. 1914. № 5), «Проблема интеллигенции в рабочем сознании» (Там же. 1915. № 12), «Беллетристы-самоучки» (Там же. 1916. № 1), «Рукописные журналы рабочих (Вестник Европы. 1917. № 7/8), «Художественные запросы пролетариата» (Там же. 1917. № 9/12) и др. началось осмысление того общественно-эстетического феномена, который несколько лет спустя будет обозначен недвусмысленным в своем победоносном пафосе термином «пролетарская культура». Очерки Клейнборта, впрочем, лишены всякого налета демагогии и тенденции к гиперболизации (которыми перенасыщены позднейшие писания на эту тему) и, благодаря собранной в них обильной фактической информации, сохраняют свое историко-культурное значение по сей день.

Статьи, печатавшиеся в журнальной периодике в 1900—1910-е годы, легли в основу книг Клейнборта «Очерки рабочей интеллигенции» (Пг., 1923. Т. 1—2; изд. 2-е — под заглавием «Рабочий класс и культура», — М., 1925. Т. 1—2), «Очерки народной литературы (1880—1923 гг.). Беллетристы: Факты, наблюдения, характеристики» (Л., 1924), «Очерки рабочей журналистики» (Пг.; М., 1924), «Русский читатель-рабочий» (Л., 1924), «История безработицы в России. 1857—1919 гг.» (Пг., 1925). Другое приоритетное направление деятельности Клейнборта — ознакомление русского читателя с белорусской литературой. Будучи сам родом из Белоруссии, Клейнборт обратил внимание на литературу этого края еще в предреволюционные годы; итогом изучения стала его монография «Молодая Белоруссия».6

Ближайший литературный круг Клейнборта составляли публицисты и критики из тех журналов, в которых он постоянно сотрудничал, а также писатели — выходцы из крестьянской и пролетарской среды (И. М. Касаткин, А. П. Чапыгин,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 429. Л. 4—5. Подробнее о жизни и творчестве Клейнборта см.: Русские писатели: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 549—550 (статья А. И. Рейтблата). См. также: Колоницкий Б. И. «Рабочая интеллигенция» в трудах Л. М. Клейнборта // Интеллигенция и российское общество в начале XX века. СПб., 1996. С. 114—138.

<sup>6</sup> В предисловии к этой книге Клейнборт писал: «Настоящая работа — в рамках журнальных статей — задумана мною еще в пору петербургских встреч с Янкой Купалой, Тишкой Гартным, Б. И. Эпимах-Шипилой... Первый очерк и был сдан в "Современный Мир" уже в годы войны. Но военный материал оттирал его из книжки в книжку... И то же имело место в "Вестнике Европы"... \* (Клейнборт Л. М. Молодая Белоруссия: Очерк современной белорусской литературы. 1905—1928 гг. Минск, 1928. С. 5). Книга содержит общие главы о новой белорусской литературе и печати, а также персональные главы о белорусских писателях Максиме Богдановиче, Янке Купале, Якубе Коласе, Тишке Гартном, Тётке, Карусе Каганце и др.

Н. С. Власов-Окский, А. С. Новиков-Прибой, П. Г. Низовой, А. Неверов и пр.). В цикле своих мемуарных очерков «Встречи», над которыми он стал работать в 1920-е годы, Клейнборт, однако, отразил гораздо более широкий спектр имен, <sub>вклю</sub>чавший как приверженцев реалистического направления и демократических идейных установок (В. Г. Короленко, Н. К. Михайловский, Д. Я. Айзман), так и представителей «нового» искусства (Ф. Сологуб) и адептов консервативного мировоззрения (В. В. Розанов). При жизни Клейнборта в печати появился лишь один очерк из этой серии — «Встречи. Леонид Андреев» (Былое. 1924. № 24), после его смерти печатались воспоминания о Есенине. В Одна из существенных причин того, почему «Встречи» Клейнборта оставались невостребованными, заключалась, по всей вероятности, в том мемуарном методе, которого придерживался автор: попытки сочетать собственно мемуарные свидетельства с развернутыми оценочными характеристиками и аналитическими построениями не располагали в пользу текста, который оказывался перегруженным необязательной для этого жанра информацией. Так, В. Д. Бонч-Бруевич, поначалу выразивший готовность напечатать в альманахе «Звенья» воспоминания Клейнборта о Д. Н. Мамине-Сибиряке, ознакомившись с ними, отказался от этого намерения. Прилагая в письме к Клейнборту от 14 апреля 1948 года рецензию специалиста, в которой было обрашено внимание на обилие в тексте воспоминаний неточностей и неясностей при питировании или пересказе других авторов, Бонч-Бруевич заключал: «Я думал сделать (...) выжимку только того, что принадлежит Вашим наблюдениям над Маминым-Сибиряком. Но и это сделать весьма трудно, так как Ваши личные воспоминания очень перепутаны с посторонними, так что нередко очень трудно разобраться и провести демаркационную линию между тем и другим». 19 июня 1948 года Бонч-Бруевич писал Клейнборту в той же связи еще более определенно: «Редакция "Звеньев" желала бы получить документальный, строго проверенный матерьял Воспоминаний от лиц. хорошо знавших писателя. Вы же работаете в области создания беллетризированного портрета. (...) Резюмирую: как беллетризированный и довольно субъективный "портрет" Ваши воспоминания о Д. Н. Мамине для нас не подходят. Может быть, Вы восстановите в своей памяти реальные факты из жизни Д. Н. Мамина, и тогда Ваш документальный матерьял будет принят в "Звенья" с удовольствием».9

Мемуарный очерк Клейнборта о Блоке также является скорее опытом создания «беллетризированного портрета», чем воспоминаниями в строгом смысле этого жанрового определения: авторские свидетельства о встречах и разговорах с Блоком, непосредственные впечатления от его личности сочетаются со сведениями «книжного» происхождения (в тексте щедро использованы публикации 1920-х годов: дневники Блока, письма Блока к родным, биографический очерк о Блоке М. А. Бекетовой и др.), с критическими рассуждениями о сущности символистского мироощущения, с попытками истолкования внутреннего мира Блока и т. п. В итоге начинает вырисовываться Блок в восприятии Клейнборта, что также имеет свой специфический интерес.

В 1945 году Клейнборт (живший тогда в городе Иваново) предложил через В. А. Мануйлова свои воспоминания В. Н. Орлову, комплектовавшему в Пушкинском Доме «Блоковский сборник», а также готовившему сборник воспоминаний о Блоке и блоковский том «Литературного наследства». Клейнборт опасался высылать единственный экземпляр воспоминаний по почте, в связи с чем Орлов писал

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> См.: Ширмаков П. П. Письма А. С. Неверова к Л. М. Клейнборту # Русская литература. 1967. № 3. С. 205—210.

<sup>8</sup> Впервые опубликованы (с сокращениями) в сб. «Воспоминания о Сергее Есенине» (М., 1965. С. 131—136) по авторизованной машинописи из Государственного Литературного музея.

<sup>9</sup> ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 462.

ему 25 января 1946 года: «...боюсь, что в блоковский том "Литературного наследства" воспоминания Ваши уже не попадут (если речь идет о нескольких месяцах ожидания). Постараемся в будущем опубликовать их отдельно — в каком-нибудь журнале, — скажем, в ленинградской "Звезде", членом редколлегии которой я состою. 10 В том же 1946 году, после погромного доклада А. А. Жданова, замыслы всех предполагавшихся блоковских изданий отодвинулись в неопределенное будущее. Неопубликованными остались и воспоминания Клейнборта.

Текст мемуарного очерка Л. М. Клейнборта «Встречи. А. А. Блок и другие» печатается по автографу, хранящемуся в его архиве в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 431).

## ВСТРЕЧИ А. А. БЛОК И ДРУГИЕ

### Поэт скорого конца

Очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу.

Блок1

Знавал я символистов не близко, хотя некоторые из них присылали мне свои книги. Долголетнее общение связало меня с одним  $\Gamma$ . И. Чулковым, который все старался убедить меня в том, что между социализмом и символизмом совсем нет той пропасти, которую мы, социалисты, так старательно роем. Чулков же — на протяжении ряда лет — был связан с А. А. Блоком, с которым, в свою очередь, пытался сблизить и меня.<sup>2</sup>

Ничего из этого не выходило. Блок принадлежал к тому типу натур, для которых совсем не существовали иначе чувствующие, чем он сам. Для него было органически неприемлемо то, что лежало в основе нашего, материалистического, жизнечувствия. Я же, с своей стороны, не снисходил к его туманностям, к его «завиванию в пустоту».3

Но Блок был, несомненно, одной из содержательных, подпольно чувствующих натур символизма. Еще с университетских лет — мы с ним одновременно были студентами юридического факультета<sup>4</sup> — он бросался мне в глаза этой глубинностью, при всем расхождении наших симпатий и антипатий. Я симпатизировал ему более, чем Брюсову, Белому или Кузмину. Пусть это не сближало, и впечатления мои скорее впечатления «зрителя», чем иные, от этих людей. Все же впечатлениями этими я хотел бы поделиться, и прежде всего от Блока, которого знал на протяжении лет, и попутно от других из них.

Это тем легче сделать, что при всей молчаливости, замкнутости поэта, вся его внутренняя жизнь, внутренняя замечательность, все, что составляло такую притягательность его облика, так проступало в столь неподвижных и в столь нежных чертах его лица. Уже облик его говорил о том, что это не В. Брюсов, у которого ум правит чувством, а то и рассудок, что — как бы ни оценивать Блока как поэта — то, что он воспевал в своей лирике, этот трагизм, эта незащищенность, пустота — органически сидело в нем, тревожило сердце, как хмель.

Бывают художественные индивидуальности, которые, казалось бы, своей судьбой рождены для благополучия, долголетия, личной жизни. Кому, казалось бы, жизнь уготовила столько домашнего уюта, домашней ласки! А кончают они эту

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Там же. Ед. хр. 480.

жизнь загадочно, печально, невыразимо скорым концом. Таков был и Блок. Чего ему не хватало для долгой, для покойной доли? А вот...

«Ветер, ветер на всем божьем свете», «а ты, душа, душа глухая... Пьяным пьяна, пьяным пьяна»... $^5$  Вот эта-то обреченность и читалась в самом его облике.

### Блок студент

I

Облик Блока, как у всех людей, отпечатлевал те или иные изменения по мере того, как он переходил от возраста к возрасту, но что-то оставалось в нем неизменное, какая-то сердцевина, не поддающаяся ни внутренним, ни внешним воздействиям.

Конечно, в ранней юности нужна особая наблюдательность, чтобы подметить эту сердцевину, но и тогда она была уже в нем, хотя и затененная молодой беспечностью, юным легкомыслием.

Я поступил в Петербургский университет ранее Блока, но в 1898 г. с физикоматематического факультета перешел на юридический, в как раз в тот год, когда Блок, кончив Введенскую гимназию, зачислился на этот факультет. Помню, как он своей мерной поступью вошел в аудиторию проф. Петражицкого в отлично сшитом сюртуке с светло-синим воротником, с ученической тетрадкой в руке.

Роста он был выше среднего, стройный, с белокурыми волосами, вьющимися около высокого лба, с выпуклыми глазами. Лицо несколько удлиненное, большие уши. Держался сдержанно, не проявляя инициативы к общению; самый вид его не располагал к общению с ним.

Чувствовалось, что это — матушкин сынок, выросший в замкнутом кругу, зараженном дворянскими традициями, что он обособлен от всего, что лежит вне привычного круга, конечно, узкосемейного.

Среда наших однокурсников не отличалась «благовоспитанностью». Это были, по преимуществу, выходцы из демократических слоев, и пренебрежение к «благовоспитанности», напротив, культивировалось у нас от поколения к поколению. И Блок, любезный, всегда ровный со всеми, бросался в глаза своей учтивостью. Он был прост, но простота его не переходила в упрощенность. Ни тени фамильярности, несдержанности в словах. Зато как он был приветлив, этот барчук, с статной талией, такой широкоплечий в ловко сшитом сюртуке, когда кто-либо или что-либо располагало к себе! Лицо его точно озарялось, неизвестно почему.

От этого сюртука, этого мускулистого торса веяло духами, розовым флиртом, игрой темперамента. Говорили, что он играет в любительских кружках, увлекается артистом Далматовым; и причесывается, как Далматов, и говорит далматовской дикцией. «Я был франт, — пишет он сам о себе в своих дневниках, — говорил изрядные пошлости, я сильно ломался». 10 Но ничего актерского я не замечал ни в его движениях, ни в жестах. Как-то флегматичен он был для актера. Слишком естественно было в нем все; франтил, но не ломался. Как тут разглядишь то, что составит сердцевину его, что еще так затенено?

Голубые глаза его так наивно глядят из-под век, улыбка так часто озаряет загорелое лицо. Конечно, он должен возбуждать самые благополучные ожидания. Но в то же время обращает внимание, что лицо его, подчас озаренное, точно из камня, совершенно лишено мимики; в глазах что-то немое, и голос низкий, подчас глуховатый. Сидит даже слишком прямо. На всем облике, столь тонком, что-то чуждое для других.

Эта неподвижность, очевидно, не деревянность, отнюдь нет. Но вот с одной стороны — духи, равновесие, физическая сила. Он крепко, бытовым образом

связан с землей. С другой — немота, скрытое за всем этим что-то, чего не уловить словом... что, может быть, было в юном Аполлоне Григорьеве...

«Демон-искуситель с детства порабощал душу мечтательного Аполлона», — писал позднее поэт. 11 И вот — было ясно, что хотя Блок посещает лекции, записывает их в свои тетрадки, но все эти предметы — теория права, статистика, политическая экономия и пр. — мало говорят его уму, еще менее его душевному складу. Я помню его отзывы о профессорах. Как ни талантливы были лекции, для Блока эти лекции звучали сухо, монотонно. Кауфмана, читавшего статистику, 12 он перестал даже слушать совсем. Когда ему ставили на вид, что все это силы и не малые... Сергеевич, Коркунов, 13 Петражицкий, он точно отмахивался.

— Да, да... что и говорить... Но в предметы свои они не вносят для меня ничего, кроме памяти.

Блоку чужды и профессора, и предметы, которые они преподают; они одинаково будничны для него и своими отвлеченными истинами, и своим сухим рассудочным умом. Есть некое «мерцание за его жизнью», 14 как у Аполлона, и неизвестно, для чего он поступал на этот факультет.

Он еще ближе к Жуковскому, чем к Вл. Соловьеву; он еще не знаком с Д. С. Мережковским, с З. Н. Гиппиус, 15 но для него нет вкуса к тому, где царит логика. Он не понимает, совсем не понимает хозяйственной, правовой жизни; чужд, совсем чужд вопросов экономики, права, и оставаться ему на юридическом факультете нет смысла.

И он переходит на факультет филологический, на славяно-русское отделение. 16 Конечно, и здесь читается «логика»; однако простор для алогического здесь больше, чем в статистике, чем в политической экономии. Он находит здесь такие предметы, как литература, искусство, философия; таких лекторов, как С. Ф. Платонов, А. И. Введенский, И. А. Шляпкин, Ф. Ф. Зелинский, М. И. Ростовцев. 17

II

Не помню, до того или после того я узнаю, что Блок пишет стихи и притом декадентские; никому из нас не приходило в голову, что этот загорелый юноша, несколько германского типа, едва лишь перешагнувший за порог семьи, — декадент. Что-то Аполлоновское светилось, бросалось в глаза в нем. Но черты духовного аристократизма мы приписывали его происхождению; как-никак он был отпрыск профессорских поколений.

Выявил Блока один университетский кружок, а именно кружок проф. Никольского. 18 Я перестал встречаться с Блоком на лекциях, но стал встречаться — правда, изредка — в этом кружке. Были еще «Беседы», руководимые А. С. Лаппо-Данилевским, где я мог встречать Блока, 19 но там я не бывал. Вот здесь я впервые услышал не только его стихи, но и высказывания его по вопросам литературы и искусства.

Никольский собственно был профессором гражданского и римского права, но при этом был он кантианцем, знатоком Пушкина и Шекспира, латинских и греческих классиков, которых цитировал на память; выпустил даже сборник своих стихов и стихотворных переводов. Мы, передовые, недолюбливали этого лысого магистра римского права, так как он был эстет, почитатель Аполлона Григорьева, которому он отдавал предпочтение перед Белинским, хотя исключен он был когда-то из училища правоведения за симпатии к радикализму. Что за влечением его к Пушкину, Шекспиру, Канту стояла некая плутоватость, он доказал дальнейшей своей политической «карьерой», но недаром в свое время его ценил такой чистый, высокоуважаемый деятель «Вестника Европы», как К. К. Арсеньев. 22 Он

<sup>\*</sup> См. статью Блока «Судьба Аполлона Григорьева». Вступительная статья к стихотворениям последнего.

был, бесспорно, способный человек, знаток Пушкина, пушкинского созвездия. И вот, рядом с римским правом, открыл он необязательный курс по Пушкину,<sup>23</sup> при нем же открыл литературный кружок, которому сумел сообщить живость и солидность. Он даже выпустил литературный сборник стихотворений студентов Петербургского университета в 1903 г.

К кружку Бориса Никольского примкнул и я. Здесь я встречал не только Блока, но других студентов, подвизавшихся на поприще поэзии, с которыми Блока связывали уже личные отношения. Таковы был $\langle u \rangle$  А. В. Гиппиус, эллинист А. Кондратьев, Л. Семенов — певец земного чрева, Д. Фридберг и др.  $^{24}$  Все это были мелкие дарования, музыкально небогатые. Ни одно из них не оставило свое имя в истории литературы. Но Никольский все же не выделял из них раннего Блока.

Помню, он проектировал реферат, направленный против декадентства, 25 который должен был, главным образом, разнести стихи Блока; даже такого слабого мастера стиха, как Л. Семенов, он предпочитал Блоку. Но Никольскому нельзя было отказать в художественном вкусе. Недаром он и сам был поэт. Чем же объясняется эта недооценка поэта? Без сомнения, теми «темнотами», теми туманностями, к которым Блок тяготел в первых своих опытах более, чем когда-либо потом.

- Странные образы, ворчал Никольский.
- Что-то невыразимое, некие голубые высоты...

Помню доклад Блока в аудитории старого здания во дворе университета, где собирался кружок. 26 Из доклада было ясно, что у автора все задатки стать романтиком, несомненна была осведомленность его во всем, что касалось романтизма и его особенностей, но с первых слов чувствовалось, что душа его слепа, совсем слепа к конкретному, к тому, что можно назвать действительностью; что все, что пахнет днями жизни, трудами истории, отскакивает от него, как от стены горох. Внутри его жила некая песня, но это была некая неизреченность.

Вот эта-то смутность, бескровность и охлажала Никольского.

В сборнике Никольского, иллюстрированном Репиным, приняли участие Л. Семенов, А. Кондратьев, В. Поляков, 27 Д. Фридберг, Л. Карсавин<sup>28</sup> и др. Я тоже писал стихи в ту пору, тоже откликнулся на призыв Никольского дать материал для «Сборника». Но Никольский браковал мои стихи. Из стихотворений Блока он выбрал «Ранний час», «Чем больней душе мятежной», «Тихо, ясные дни», но внес в них свои изменения; в одном из них даже отбросил целую строфу.<sup>29</sup> Я был свидетелем объяснения Никольского с Блоком.

Блок в стихах, данных для «Сборника», как и тех, которые не попали в него, уходил «за темную вуаль». Ничего четкого. Намек на что-то. Никольский, сторонник пушкинской ясности, просил Блока объяснить ему свое вдохновение, ввести в истоки своей поэтической души. Блок же только улыбался розовой улыбкой.

Плохо ли, хорошо ли, написал вот стихи о вечном... Он как-то спросил у Никольского, редактора сочинений  $\Phi$ ета в издании А.  $\Phi$ . Маркса:

- Вы же вот чтите Фета, разве у Фета этого нет?
- Чего?
- Безглагольного. Полетел к святой мечте на белых крыльях.
- Не спорю, все поэты имели эти ощущения, знали эти дебри, не определимые словами. Но все же и Фет, и Тютчев берут ясностью, предметностью.
  - Это одно и то же?
- Пушкин потому так ясен, что предметен. И наоборот, где условность, там косноязычие. Оттого-то декаденты такие стилизаторы, точно завитые у парикмахера.

Блок молчал, но против сокращений не возражал.

TTT

Шел год за годом. Блок уже отмечен кругами «Нового Пути», «Мира Искусства», подпадает под влияние Мережковских, как и прочие стихотворцы из кружка Никольского, и вот начинает выступать звезда его темнот: «Прекрасная Дама», которую он уже воспевает с постоянством обитателя горних высот:

Там, в ночной завывающей стуже, В поле звезд отыскал я кольцо, Вот лицо возникает из кружев. <sup>31</sup>

Как у пушкинского рыцаря... Это было его соловьевство — «виденье, непостижное уму» 32 — к которому он пришел через Жуковского, через Фета, имя которого так нежно звучит в его устах. Фет лишь приуготовил его восприятие; Вл. Соловьев же определил ноуменальное тяготение его воображения, дал ему «ноуменальную» влюбленность, источник его поэтических вдохновений и снов.

Помню, это «соловьевство» производило на меня впечатление бреда. Конечно, у Блока была невеста, дочь Д. И. Менделеева, в которую он был так влюблен. Воспитан он был, видимо, церковно, в духе брачной мистерии. Конечно, все мы влюблялись, все бредили, и такие ли, как мы, бредили? Вот что писал Белинский Бакунину о его сестрах:

«Я знаю тебе цену, она велика, но им я не знаю цены. Я никого не знаю выше Станкевича, но что он перед ними — ничто, меньше, в тысячу раз меньше, чем ничто». О Татьяне Бакуниной: «Я смотрел на нее, говорил с ней и сердился на себя, что говорил — надо было смотреть, любить и молиться. Эти глаза темно-голубые и глубокие, как море, этот взгляд, внезапно молниеносный, долгий, как вечность, по выражению Гегеля, это лицо кроткое, святое, на котором еще не изгладились следы жарких молений к небу — нет, обо всем этом не должно говорить, не должно сметь говорить». За Вот — та же мистерия, та же несказанность — не должно говорить, не должно сметь говорить. А тут еще соловьевцы типа Сергея Соловьева, Бориса Бугаева, которые тоже писали стихи, которые объявляли любовь Блока к Менделеевой земным отражением звездной вечности. А главное сам Соловьев, философ и поэт, от которого они получали свои вдохновения. И вот не реальный роман, а богослужение...

Однако уловить отчетливую связь этого бреда с мистическими озарениями Соловьева я затруднялся. Не подлежало сомнению — знал Блок философа лишь как поэта,<sup>34</sup> стихи же его составляли в то время небольшой сборник, стоявший особняком от его философских сочинений, к которым Блок был равнодушен. Хотя он изучал уже Платона, хотя «Толстой и Достоевский» Мережковского<sup>35</sup> были равносильны для него откровению, едва ли знал он толком даже статью Соловьева, где он изложил мистико-анархическую идею своей Вечной Жены, статью «О смысле любви».

Вл. Соловьев был еще жив, проживал в Петербурге, заканчивал «Три разговора», «Повесть об антихристе», которые так пришлись по вкусу К. П. Победоносцеву. 36 Правда, он был уже немощен: «есть бестолковщина, сон уже не тот, что-то готовится, кто-то идет». Но все же он выступал еще в ученых обществах, делал доклады.

Иные восхищались им как философом, публицистом, но таких были единицы. Как поэта его не знали. В среде молодежи он совсем не находил отклика. Даже в кружке Никольского не читали его книг, хотя передавали о нем какие-то слухи, и то о странностях Соловьева.

Помню, говорили, что он девственник, хотя влюбляется постоянно; что он видит в женщине лишь идеальный образ; что он ездил в Египет на свидание с «призраком», ждал пришествия антихриста, а как-то, войдя в каюту парохода, увидел на подушке спящего черта, в образе мохнатого зверя, и т. д. Говорили о

его галлюцинациях, видениях, но все это представлялось нам не более чем чудачеством не вполне нормального философа, вызывало немало «позитивистических» насмешек. Помню, после лекции Соловьева об антихристе, несколько студентов послали ему письмо, в коем уверяли его, что ему место «не на кафедре, а в приемной невропатолога». Однако не вспомню, чтобы Блок когда-либо принял участие в этих разговорах. Весь вид его говорил о том, что он выше наших преломлений.

Все же на лекции, на выступления Соловьева он не ходил. Они собирали полные залы вопреки тому, что не только радикалы, но и либералы не могли простить ему его стихов на «чудесное спасение» в Борках. За Одна его внешность — большая голова на тощем теле, это сочетание силы, духовной силы и физической немощи, — этот обаятельный голос привлекали слушателей. Я был раза два на его лекциях, но Блока на них не видал, точно интересовал его не тот Соловьев, который существовал в натуре, а Соловьев, преображенный его бредом.

— Ваша тема — влюбленность, — говорил Блоку Никольский, — а вы не знаете страсти. Ваша «Дама» не живет, а дымится. И лик у нее иконописный. Разве это «любимая»?

Что Блок был чувствителен, это бесспорно. И повышенно чувствителен, без чего поэзии не бывает; но вместе с тем он был холоден, — «там, в ночной завывающей стуже», как он пишет сам.

- Ну, да, не живет, а дымится, отвечал он.
- Вот... Может быть, тут есть некая музыка, которую вы слышите, но я ее не слышу. У Соловьева есть некоторое откровение, которое он мистически чувствует. У него это и образ, и учение, хотя поэт и мыслитель это огонь и вода. У вас же ничего, кроме шарады.
  - Шарады? улыбается Блок.
  - Ну, что это за образ: «Прекрасная Дама»?

Впоследствии сам Блок удивлялся, как могут иные толковать его стихи о «Прекрасной Даме», сам соглашался, что «Дама» его недоступна пониманию: открылась она ему лишь для него, самого поэта. Естественно, трудности для выражения такой невнятицы — непреоборимы.

Не помню, состоялся ли реферат о стихах декадентов, но беседы о стихах Блока в кружке помню.<sup>39</sup> Даже члены кружка, с которыми у него был один язык, указывали, что живые переживания есть в его стихах, но живого образа нет; что стихи о сущности мировых стихий должны быть непроизвольны, у Блока же нет выхода из темных для сознания ощущений. Спорить против этого было трудно, так как сами Мережковские, к которым тянулся Блок, держались того мнения, что стихи его «слабый, легкий бред, та непонятность, которую и понимать не хочется».<sup>40</sup>

#### IV

Мы, левые — марксисты, народники и пр. — в сущность мировых стихий, в океан мироздания не вникали. Нет, у нас была музыка иная — Маркс, Энгельс, Михайловский, сходки, обструкции, вечеринки. Это был всего только земной шар, — зато как звучало все земное для нас на этом земном шаре! Правда, и у нас не все было ясно, нет, но мы верили. Верили, что нам предстоит что-то огромное, что наступит, непременно наступит свобода, равенство, братство на земле, и вперед — без страха и сомненья!

Блок был далек от левого студенчества; материализм, позитивизм, социализм не лучше укладывались в русле его лирического сердца, чем статистика. Мы для него были люди, которые думают о низинах, а не о высотах бытия.

Сходки, кружки, конспирация вызывали у него мину высокомерия.

— Ораторы! — говорил он. — Сходочные ораторы. Плоские души.

Уравновешенный, верный дворянским традициям, которые укрепляли в нем детские и отроческие годы, Блок был пропитан почвенным консерватизмом, тем, который сидел так в Фете, Случевском, Голенищеве-Кутузове. Все его симпатии и антипатии шли по этой линии.

Проф. Введенский, проф. Шляпкин не потворствовали левым течениям, как и Борис Никольский, который уже в ту пору был монархистом, отчего они были непопулярны среди передовых элементов. Блок, напротив, симпатизирует им. Даже такой историк литературы, как проф. Бороздин, 43 сомнителен для него, и лишь потому, что он не прочь пощеголять «шестидесятыми годами» в своих лекциях. Вообще социологическое мышление, демократическая умственность не для него. Он замкнут в круге созерцаний, ибо любая художественная материя ему ближе, чем все цифры и категории, вместе взятые.

Все поэты держались в стороне от нас, левых. Помню такой разговор в аудитории Никольского.

- Ведь вот, говорил мне Л. Семенов, в «политику» не тянутся те из нас, кто позначительнее!
  - Кто же это такие? спращиваю я.
- Ну, кто поодареннее. Те, кто впоследствии заявят себя. Немало же из нас выйдет поэтов, художников.

Действительно, наши поэты «будущие», будущие художники, театралы, как И. Я. Билибин, И. С. Горюшкин-Сорокопудов, Э. А. Старк, <sup>44</sup> ученые, как Л. П. Карсавин, не тянулись к нашим организациям. Правда, А. М. Евлахов, В. Е. Максимов, П. Е. Щеголев, В. Львов-Рогачевский, Р. В. Иванов-Разумник, Н. И. Иорданский, Б. В. Савинков — все были охвачены левыми течениями. <sup>45</sup> Но Семенов, как и другие, проходили мимо таких, хоть сам он скоро делается не то толстовцем, не то террористом.

- Надо же правду сказать: чем больше мы говорим, тем хуже учимся. Привыкаем к фразе. Оттого так редки студенты, которые обращают внимание зрелостью, твердостью убеждений.
  - Однако правда не на вашей стороне, говорю я.
- Правда? Правда тяжкая ноша для нас. Программные идеи лишь кажутся справедливостью.

Эти суждения типичны были для стихотворцев и прежде всего для Блока, почему мы считали Блока «белоподкладочником», «академистом», как Семенова. Однако мы не относились к нему с тем пренебрежением, какое вызывало в нас все правое в университете.

Мы знали, что Блок — внук А. Н. Бекетова, нашего натуралиста, ректора университета, который уже был стар, пришел в физический упадок, но все же еще был памятен студентам. 46 Когда-то Бекетовы — богатые дворяне, потом порастеряли свои владения, ушли в науку, как один, так и другой. 47 Правда, оба остались верны дворянским традициям, но оба сочетали с этим барством любовь к литературе, демократизм. Андрей Николаевич был даже секретарем, а в годы боевых докладов вице-президентом Вольно-экономического общества. Живой, мягкий, он то и дело хлопотал за студентов.

Даже самая атмосфера бекетовского дома пользовалась расположением студенчества. Сам он увлекался Толстым, Тургеневым, Фетом. Жена его — Елизавета Григорьевна, переводчица тех лет — лично встречалась с Гоголем, Достоевским, Апол. Григорьевым, Майковым, Полонским. Все три дочери тоже были близки к литературе, особенно мать поэта, почитательница Бодлера, Вл. Соловьева, Розанова, посетительница собраний Религиозно-философского общества.

Все это побуждало нас не выказывать Блоку тех чувств, которые вызывала в нас его аполитичность, дворянский консерватизм.

В то время тайные организации, хотя и подпольные, играли немалую роль в жизни университета. Например, студенческая столовая, выдача субсидий частично находились в их руках. И вот, помню, раза два Блок просил нас за одного из своих товарищей; речь шла об устройстве ему даровых обедов. Мы исполняли его просьбу. Иногда просил он билеты на наши вечеринки, хотя не для себя. Человек его взглядов не имел шансов получить пропуск на них. Билеты давались обычно с отбором. Но ему предоставлялись они. Все потому, что он внук Бекетова.

Я помню лишь одно столкновение с ним на почве политических разногласий. Оно имело место в дни студенческих беспорядков в 1899 г. Поводом послужила «обструкция», т. е. бойкот профессорских лекций.

ν

Эта «обструкция» — бойкот профессорских лекций — была принята на общей сходке студентов как форма протеста против избиения студентов в день 8-го февраля 1899 г. 50 Но Блок — вместе с другими «академистами», которые были против «обструкции», — пришел экзаменоваться, да еще у кого, у такого профессора, как П. И. Георгиевский. 51 Это было еще в бытность его на юридическом факультете.

В то время политическую экономию читали у нас, наряду с Георгиевским, такие лектора, как А. А. Исаев и М. И. Туган-Барановский. <sup>52</sup> И тот, и другой по удельному весу своему были неизмеримо выше Георгиевского, но и Исаев, и Туган-Барановский тяготели к Марксу, и Блок слушал, а теперь явился держать экзамен у Георгиевского.

Пришел он экзаменоваться, надо думать, не умышленно, как другие. Для этого он был слишком тактичен, котя и свысока слушал все призывы на сходках и в коридорах университета. Впоследствии он сам рассказывал, что пошел на экзамен по рассеянности. 53 Это было на него похоже. Ведь душа была у него, этого юного Новалиса, к житейскому слепа, котя и выглядел он устойчивым дворянским сынком.

Так или иначе, когда мы вошли в аудиторию с целью убедить Георгиевского отложить экзамены, — я был в числе обструкционеров, — Блок сидел против него в своей тужурке из гладкого кастора, как всегда прямо, и апатично готовился к ответу. Его появление среди «академистов» — да еще у Георгиевского, к которому так благоволило высшее начальство, — настроило нас всех против него, чего до тех пор не было. Мы знали, что он считал бойкот затеей, которая вопроса о нагайках не решает, — чем виноваты тут профессора? — что ждать сочувствия от него нельзя, но чтобы он стал нам оказывать противодействие, вместе с «академистами», никто из нас не предполагал.

Георгиевский был обескуражен нашим появлением, — бывали случаи, что и профессора, и студентов выпроваживали из аудиторий. Все же профессор категорически отказался подчиниться нам. Тогда мы стали уговаривать студентов оставить аудиторию. Я подошел к Блоку, стал убеждать его отложить экзамен. Он смотрел на меня глазами, подернутыми недоумением и грустью, но ничего не отвечал; тогда другой обструкционер резко, враждебно спросил его:

- Будете экзаменоваться? Скажите прямо, Блок.

Матовый цвет сбежал с его малоподвижного лица, ресницы дрогнули, и он нерешительно ответил:

— Да, буду. — Лицо его стало почти отталкивающим.

Тогда тот в упор приблизился к Блоку и крикнул ему:

— От вас мы этого не ждали. Вы — подлец, Блок.

Не помню точно реплику, которую Блок подал на это, но реагировал он довольно пассивно. Лишь некоторая дрожь его холеных рук выдавала его волнение.

Все это воспринималось им, вероятно, как суета дня, которая глубоко в его сердце не западала. Георгиевский аудитории не оставил. Блок — как мы узнали потом — вынул билет и выдержал экзамев. Бойкот наш не прошел.

Я заметил своему коллеге, что не следовало так резко говорить с Блоком. Ведь А. Н. Бекетов был еще жив, не следовало старика огорчать. Но тот был другого мнения.

- Нет, это не так, отвечал он. По-настоящему Блока надо было выпроводить из аудитории вместе с Георгиевским. Одно дело проф. Бекетов, другое дело семья этого белоподкладчика. Отец его вопреки дарованиям, монархист, антисемит. Монархистка и мать, хоть и дочь Бекетова. Об отчиме говорить не приходится. 54 Слышал я о них.
  - Все же я не допускаю, чтобы он стал сознательно вредить нам.
  - Что же ато?
  - Не выспался малый, смеюсь я.
- Не выспался! Однако немецкой трезвости хватило, чтобы сдать экзамен у Георгиевского.

#### VI

Остался ли в сердце Блока след от этой обиды, по другой ли причине, но антидемократический душок в нем после этого стал сильнее. С 1899 г. студенческие беспорядки делаются перманентной тенденцией в университетах. И вот этот Новалис держится уже не безучастно к движению, к тем интересам, которые волнуют большинство студентов, но примыкает к «академистам», третирует «левую стадность», «бесплодие левых программ».

«Я со многими другими принадлежу к партии "охранителей", — пишет он сам о себе в своих студенческих записях, — деятельность которых будет заключаться в охранении даже не существующих порядков, а просто учебных занятий, которые, мне кажется, все больше составляют задачу университета. Такая партия тем более необходима, что носятся тревожные слухи о том, что Ванновский\* может изменить поведение, видя в студентах постоянное и часто возмутительное упорство и обструкцию всем его начинаниям».55

Что утешает нашего филолога — а Блок уже был на филологическом факультете, — это то, что его товарищи по факультету, на который он перешел, поддерживают еще падающий дух университета, что филологи — наиболее стойкий элемент среди студентов. Ведь в филологи шли люди, предназначенные стать педагогами министерства народного просвещения.

И сам он изучает философию, литературу, тянется к проф. Введенскому, проф. Шляпкину, обладателю десятипудовой туши, которую не всякий извозчик соглашался везти, профессорам с тем образом мыслей, который характерен был для этого факультета.

# Блок и Чулков

I

В 1903—04 гг. я уже вижу стихи Блока в «Новом Пути», в «Журнале для всех», в сборнике «Северные цветы». Выходит первый сборник его — «Стихи о Прекрасной Даме». Все те же образы о двух бытиях, то же алогическое строение стиха, нашептывает о том, чего никогда не бывает.

<sup>\*</sup> Бывший военный министр, которому царь поручил расследовать конфликт 8-го февраля.

Шаткость восприятия действительности. Преображение житейского в иное делает обыденное выспренним.

Если это поэт, то поэт для немногих, и я уже читаю, как его высмеивает «Новое Время». «Странные образы, но нет таланта», — пишет Ал. Жасминов (Буренин). — «Нелепость воображения». «Ни эстетической, ни психологической правды».\* Другая газета глумится почище «Нового Времени»: «Стихотворения откуда-то выкопанного поэта Ал. Блока (хорошо еще, что не Генриха Блока) — набор слов, оскорбительных и для здравого смысла, и для печатного слова. Новый пить. — уверяет газета, — в старую больницу для умалишенных».\*\*.57

Хотя Д. С. Мережковский был против его стихов, «Новый Путь» был первый журнал, который призрел Блока как поэта. Но шли уже годы русско-японской войны. В эпоху знаменитых «ужинов», убийства Сипягина и Плеве<sup>58</sup> нужны были иные издания, чем «Новый Путь». И «Новый Путь» Мережковского должен был перекраситься в «Вопросы Жизни», <sup>59</sup> где первые скрипки были уже у неоидеалистов — у Бердяева, у Булгакова.

Секретарем и членом редакции «Вопросов Жизни» состоял Г. И. Чулков, который уже был в коротких отношениях с Блоком. Ведь у обоих были две жизни — «бытовая» и «иная». Оба открывали бесконечное в конечном. Вот через Чулкова мы знакомимся с Блоком впервые, по-настоящему.

Прежде чем говорить об этих встречах, надо сказать несколько слов о Георгии Чулкове. Чулков — бывший студент медицинского факультета. Он усердно работал в своих клиниках, анатомических кабинетах московского университета, когда увлекся Марксом, вошел в социал-демократические кружки, после чего попал в якутскую ссылку. Здесь он пробыл четыре года. В Казалось бы, и медицина, и К. Маркс, и якутская ссылка должны были отвратить его от всяких «заумий», утвердить в позитивизме, в реальных категориях мышления и чувствования. Однако вернулся этот человек с впалой грудью и взбитыми волосами с мирочувствием мистика, символиста и, приехав в Петербург, тотчас направил свои стопы к Мережковским. Мережковские и устроили его в «Новом Пути», из которого он и переходит в «Вопросы Жизни». В

Правда, первая книжка его — «Кремнистый путь»  $^{62}$  — была разругана самими символистами. Вообще его стихи, его проза, вошедшие позднее в шеститомное собрание сочинений, выпущенное издательством «Шиповник»,  $^{63}$  не блестели художественными достоинствами. Зато сборники его статей, его труды о Тютчеве, Достоевском, Пушкине, которые он неизменно подносил мне, свидетельствовали о тонком критике, незаурядном знатоке литературы.

Когда закрылись «Вопросы Жизни», Чулков стал выпускать «Факелы», объединившие такие литературные силы, как Вяч. Иванов, Леонид Андреев, Ал. Блок, Лев Шестов, А. Мейер и др.<sup>64</sup>

Против него вели кампанию, подчас очень резкую, Зин. Гиппиус, Вал. Брюсов, Андрей Белый, Д. Философов; однако среди писателей русского символизма он занял одну из заметных высот. Отличался он от своих собратьев, шедших больше от консервативных корней, тем, что он всегда был обращен к левейшим течениям в искусстве, в русском общественном движении. Он держался того взгляда, что символизм, система идеалистических образов выступает лишь как художественнофилософское течение, но ничуть не идет вразрез ни с какими программами, ни с какими идеалами политического движения.

В 1906 г. он выпустил книгу «О мистическом анархизме» со вступительной статьей Вяч. Иванова, которая стала знаменем некоторых лиц (Блок, Городецкий,

<sup>\*</sup> Ал. Жасминов. «Голубые звуки и белые поэмы». «Новое Время».

<sup>\*\* «</sup>Знамя черное», 1903 г. № 79.

Мейер и др.). Философов писал о ней: «Как показатель, как психологический документ, она, пожалуй, важнее статьи В. Иванова». 65

Помню, Чулков мне еще прочел свою книжку в рукописи.

- Что скажете? любопытствовал он.
- Что скажу? отвечал я. Разругают, на чем свет стоит, и свои,  $_{\rm H}$  чужие.

Так оно и случилось. И свои, и чужие признали «манифест» «опасным омутом». И своими, и чужими Чулков был затравлен. Но он все же доказал, что старая бунтарская кровь в нем не остыла вместе с декадентством и мистицизмом. С одной стороны, он гнул к «последней внутренней свободе», «воплощению вечной премудрости», с другой — несгибаемо стоял на том, что «старый буржуазный порядок нужно уничтожить».

У Чулкова была еще такая черта: он любил соединять. З. Гиппиус писала о нем: «единственный в "Вопросах Жизни", кто соединяет несоединимое, правда, не столько людей и понятия, сколько слова, это — г. Чулков. Здесь в одной кастрюльке с наивной старательностью варит он мистицизм с декадентством, софианство Вл. Соловьева с оргиазмом Вяч. Иванова и посыпает их сахаром социализма, думая, что это анархическая соль». 66 Это зло. Но соединял Чулков не только слова, но и людей. Он соединил символистов с идеалистами, в итоге чего Мережковские остались без журнала. Соединил нас, «ортодоксов», с Бердяевым, Булгаковым, Философовым. Имели место даже такие собрания, такие собеседования на эту тему. Такова же была и его попытка сблизить меня с Блоком. Он то и дело присылал мне записочки: «Сегодня у меня Блок», «Мы собираемся с Блоком на взморье» и т. д. Я не отклонял этих предложений, и мы сходились то в «Буффе», 67 то на поплавке, где Блок пил крепкий, как кофе, чай.

II

Итак, декадентство, мистицизм — с одной стороны, бунт, социальная катастрофа — с другой. Вот из чего состоит «анархическая соль» Чулкова. Но раз так, и Блок, столько стихов посвящающий Чулкову, не должен ли подвинуться влево вместе с ним?

Действительно, в его консерватизме, который он впитал с молоком матери, не доросшей даже до Милюкова, до кадетского либерализма, заметен некий сдвиг. В 1905 г. он шествует даже 17-го октября с красным флагом. 68

— Это я подстегиваю Блока, — говорит мне Чулков.

Но далеко это не шло. Что-то Блок воспринял от Чулкова тех лет, но политика, как таковая, шла вразрез с основным душевным тоном его. «Я мещанин (по Горькому), — пишет он о самом себе в те годы. — Никогда я не стану ни революционером, ни строителем жизни просто по природе, качеству и теме душевных переживаний». В Хотя он подписался под «анархизмом» Чулкова, но тотчас же отрекся от него. Он был не способен к социологическому мышлению, даже такому, как «соль» Чулкова. И не это было причиной его сближения с последним.

А близость была настоящая. Что это было такое, говорят письма Блока. «Я очень нежно вас люблю, и вы любите меня также»; «пожалуйста, знайте, что я вас люблю очень, и по-настоящему»; «только понимайте меня так же, как поняли в том, что написали о Балаганчике» — таковы признания, которыми пересыпаны письма. 71 Что же их так сближало?

Может быть, журнал, журнальные интересы? Ведь и тот, и другой только начинали свой путь, а это так сближает в известном возрасте. Это ведь был уже не «Новый Путь», мало кем читаемый, кроме лиц, группировавшихся около Религиозно-философского общества. С вступлением в редакцию Булгакова и Бер-

дяева журнал выходит на широкую дорогу. Но неоидеалисты не сошлись характером с Мережковскими. Мережковские, после конфликта с Чулковым, вынуждены были уйти из «Вопросов Жизни». Булгаков, Бердяев были и против Блока с его невнятностью. Единственный, кто стоял за него теперь, как и за Сологуба с его «Мелким бесом», 72 был Чулков. Конечно, это не могло не сближать их между собой. Но Блок был слишком слеп к будням, слишком дымчат в повседневных отношениях, чтобы такие расчеты могли определять его притяжения и отталкивания. Нет, внутренний мотив здесь был другой.

Мотивом интимного сближения был, без сомнения, общий интерес к Вл. Соловьеву; тайна романтической любви.

Ведь, наряду с учением о мистическом анархизме, Чулков опубликовал другое учение, учение о метафизическом смысле и мистической тайне страсти. Вот к чему оно сводилось.

Он выступает против любви парной, парного союза. Так как ничто так не утверждает личность, как любовь, по его мнению, и притом метафизически, то брак сложнее, чем любовь двух индивидуумов; любовь должна быть исходом «из эгоизма вдвоем». Раз так, уверяет Чулков, совокупление ведет «к дурной бесконечности», т. е. к деторождению. Принципом же любовного союза должно быть целомудрие. Каким образом это вытекает из изначальности пола, понять нелегко, но логика для людей этого типа чувствования необязательна. И Чулков приходит к заключению, что единственное значение, мистическое значение в этом акте приобретает лишь «поцелуй, как символ любви». Ведь природа поцелуя «заключает в себе потенциально все формы полового общения». Значит, мы убиваем здесь двух зайцев: с одной стороны, достигаем того высокого проявления начала пола, о котором мечтает мистик-анархист, с другой — отрезаем дурную бесконечность, т. е. деторождение.

Вы сомневаетесь, может быть, в этой «тайне любви», в этом откровении пола? Так вот взгляните в статью Соловьева «В чем смысл любви». Вл. Соловьев на основе естественнонаучных данных доказывает то же, а именно, что половая любовь и размножение рода находятся между собой в обратном отношении. Планетная душа человека, земная малость наша — узка. Внутренняя же мистерия Эроса — космична. И вот эта мистерия — в чулковском поцелуе.

«Принимая все стадии и формы поцелуя, мы должны особенно сознательно отнестись к последнему поцелую». Вот в чем — тайна любви, лицо Единого Начала.\* Около того же Чулков бродит в своей статье о Вл. Соловьеве, вызвавшей столько откликов (С. Булгакова, А. Белого, С. Соловьева, Карташева и др.).\*\*.74

Первым же откликнулся на нее Блок, который прислал Чулкову длиннейшее послание на эту тему. 75 Ведь «тайна» Чулкова такая же невнятность, как «Прекрасная Дама» Блока. Хотя натуры их были разные, но некоторое переживание стало для них общим знаком. Выходило так, что обоих пленила тема Вл. Соловьева, что тот и другой духовные детища его. Здесь их приятия и неприятия мира, здесь их лирическое я, мечта о сочетании неба с землей через «Прекрасную Даму», через «Поцелуй», что приходит из дальних стран, через нездешнюю любовь.

И вот, когда так весело и вольно от солнца, а то белою ночью, когда все так газообразно, забираются они то на взморье, то в Шувалово, то в Сестрорецк — все с разговорами на эту тему. У них свой жаргон, свой стиль, им одним понятный.

Вот они — на поплавке, и я с ними на этот раз.

Чулков — в своем неизменном сюртуке — доказывает мне, что пол — не биологическое понятие, что половая оргийность — это источник мировой души. Я посмеиваюсь над его откровениями. Но он уже не одну рюмку коньяку выпил,

<sup>\*</sup> См. Георгий Чулков. «Сочинения». Том V. Тайна любви. 73.

<sup>\*\*</sup> Ibid. «Поэзия Влад. Соловьева».

и еще пенится вино в его бокале, и он не понимает, как это я не вижу, что все на дне поцелуя.

— Не эту же мы целуем, — кивает он в сторону, где сидит Незнакомка, явно из ночных фей. — А Ее, Единственную, незримую.

Блок молчит, курит. На нем темный костюм, пышный бант вместо галстуха, пальто, — все только что выутюженное... Ботинки с острым носком. Но о чем говорить? Тема же одна, начальная тема.

Предчувствую тебя, года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую тебя. <sup>76</sup>

III

Блок будто косноязычен...

Обычные разговоры не для него, — уже потому собственно четкое общение с ним затруднительно. Не то чтобы в нем сидело то высокомерие, романтическое высокомерие, которое столь характерно для символистов. Нет, он прост. Курит, улыбается, но чувствуется в нем замкнутость поэта, оберегающего свой мир от чуждых ему веяний и сфер.

Даже с Чулковым Блок немногословен. Он благожелателен, но молчалив. Говорит главным образом Чулков, и не всегда можно определить, когда Блок согласен с ним, когда не согласен; слушает он с вниманием, но в споры не вступает. Помню, Чулков подносит мне листок почтовой бумаги со стихами.

— Вот что Блок пишет мне.

На листке было написано:77

Не строй жилищ у речных излучин, Где шумной жизни заметен рост. Поверь, конец всегда однозвучен, Никому не понятен и торжественно прост. Твоя участь тиха, как рассказ вечерний, И душой одинокой ему покорись. Ты иди себе, молча, к какой хочешь вечерне, Где душа твоя просит, там и молись. Кто придет к тебе, будь он, как Ангел, светел, Ты прими его просто, будто видел во сне, И молчи без конца, чтоб никто не заметил, Кто сидел на скамье, промелькнул в окне. И никто не узнает, о чем молчанье, И о чем спокойных дум простота. Да. Она придет. Забелеет сиянье. Без вины прижмет к устам уста.\*

Иди себе *молча*, и *молчи* без конца. Это менее всего подходило Чулкову. Но сам Блок был таков, — потому-то он и с Чулковым не переходил известной черты. Тем более эта неизреченность не могла не давать себя знать у меня с ним.

У него был свой язык, своя изначальная тема, — голоса хаоса — и всякий, кто не слышал этих голосов, был для него беззвучен. Меня он помнил, как студента-позитивиста, с «социологическим» взглядом на жизнь; теперь знал меня, как автора статей, которые так «сужали духовные горизонты», столь принижали искусство «до быта, до протокола». Конечно, и я не оставался в долгу. Я видел, что их мистика хочет быть зрячей, но что дальше мнимой иллюзорности башня их созерцаний не идет. Поэтому если мы беседовали — особенно с Блоком, — то не поднимались высоко, говорили о мелочах дня. Но раз как-то разговор у нас вспыхнул, поднялся до высокого градуса.

<sup>\*</sup> Курсив мой.

Поводом были статьи Б. Садовского, которыми стали щеголять в то время «Весы». В этих статьях, циничных и невежественных, Садовской делал переоценку ценностей истории русской критики. Особенно третировал Садовской Белинского, который «все более и более погружался в болото ежедневности». Начиная с Белинского «наша критика и погибла в зародыше». «У нас нет критики», — восклицал этот декадент, — и весь путь от 1850 г. до декадентов «надо сплошь зачеркнуть, вычеркнуть, как пустое место». 78 И вот Блок — неожиданно для меня — сказал, перелистывая «Весы»:

- Что верно, то верно.
- Что именно?
- О Белинском. Все высоты гоголевского периода русской литературы превращал в низины.

Выходило так, что и, по его мнению, Белинский — «середина». Высокие ценности были не для него. Этого я не ожидал все же ни от Блока, ни от Чулкова.

#### ΙV

#### — А ваши высоты?

Блок усмехнулся. Что-то нетвердое легло у него между бровей, слишком женственных.

- Не тот же ли это черт с хвостом, что у Вл. Соловьева? вспыхнул я.
- Мы без хвоста, сказал лохматый Чулков.
- И без крыльев. Все пробуете крылья, а крыльев и нет.
- Ежели нет, то будут: для такой музыки должен быть создан инструмент.
- Не будут. Вот вы воспеваете «Прекрасную Даму», «ноуменальный поцелуй». Послушаешь вас, вы открыли какое-то чудо, чудотворную радость. Но где они, эти крылья, которых не было будто бы у Белинского?

Блок любил иронию, какую-то помесь философии с балагурством. Но он слушал меня сериозно. В глазах его обозначилось что-то, что разглядеть все же было трудно.

- Вы вот поносите наши «истины», продолжаю я, а не те же ли у вас постройки «от ума»? Если бы ваша тема, начальная тема была бы хоть лирически уловима, я бы понял вас, понял ваши нападки на Белинского. Но она даже лирически... неизреченна, подслеповата. Если бы вы обрели высоту, настоящую, не сочиненную, и то была бы некая полнота души. Но ведь никакой высоты, никакой полноты души у вас нет. За этой соловьевщиной у вас стоит вопль... о кукольности мира.
  - Маскарад, обмолвился Блок глуховатым голосом.
- Ноуменальная оргийность и эмпирическое дон-кихотство. Не прав ли я, Георгий Иванович?
  - Дальше.
- Что дальше? Гигантские замыслы и бессилие выполнения. Хочется взлететь, но крыльев нет. И вот фантастический мост между вами и вселенной и ваш «Поцелуй» вырождается в половые извращения, ваша София небесная в ту мозглятину, которой совсем нет ни у Фета, ни у Достоевского, ни у Вл. Соловьева. Впрочем, у вас своя музыка, для себя. Я лишь разозлился за Белинского.

Чулков стал мне возражать, стал доказывать, что дело не в нем, не в Блоке, а в том, что Белинский, что ни говори, не понимал, что есть вечного в Пушкине, Гоголе, Лермонтове. Вот Григорьев не попал в интеллигентские святцы, где Белинский столь недосягаемо высок. Между тем Григорьев, хотя и висящий над пропастью, все же единственный мост, переброшенный от тех лет к нам. От Белинского и пошла та арифметика, которая выдается за литературу.

— А у вас высшая математика?

- Конечно, сущность символизма на виду у вечности.

Что же касается их самих, то пусть они лунатики, галлюцинаты, пусть они лишь бродят по лабиринтам Единственной, все же у них не мозглятина, не истины от ума. Тайна мира вошла в них, присосалась к ним. Крыльев нет? Нет, крылья будут. Они должны «взлететь», уверял он меня. Что он мог сказать другое?

Я знал про это уменье «поплевывать с высокого дерева». Какие были бы они декаденты — и тот, и другой, — если бы чтили авторитет Белинского, Некрасова. Безбоязненность мнений, огульная удаль высокомерия — все это строится на символических жупелах, и оба не замечают, в какую пропасть, мало-помалу, втягивает эта дымчатая утонченность. И я вдруг теряю всякий пыл. Каждому же свое.

- Смотрите, замечаю я уже совсем мирно, как бы все это не кончилось у вас, как у Фофанова.<sup>79</sup>
  - Чем?
  - Водкой, сифилисом.

Блок молчит, курит. Потом, наклонив свою рыжеватую голову, вдруг — с каким-то внутренним слухом — сказал:

— Мы, конечно, говорим на разных языках. Но вот, что для нас вещее, может быть — это предсказание личных судеб наших. Ведь есть? — усмехнулся он Чулкову.

Я попал ему в глаз: Блок к этому времени как-то вдруг точно сорвался с бытовой оси.

Давно ли он был домосед, маменькин сынок, сдававший свои экзамены филолог? Давно ли от него веяло равновесием своего круга, своего домашнего уюта? Женившись на Любови Дмитриевне, он, казалось, обрел «Прекрасную Даму» наяву, и вся жизнь его сосредоточилась около жены, матери, теток, которые одни ведь и ценили его как поэта. Ни А. Н. Бекетов, ни Д. И. Менделеев, ни отец его Александр Львович не ценили его поэзии, его декадентства. И вот вдруг кабаки, кафешантаны, какие-то порочные похождения, чтобы ёкнуло сердце в груди.

Впечатление затона, как у Аполлона Григорьева, у которого «грешная плоть и дух» тоже вдруг «начали пошатываться под напором легиона бесов». 80

Вдруг как-то выступает то, что было так затемнено в Блоке, что дремало за его бекетовщиной, верностью семейным нравам.

У Григорьева наследственность была плохая. Отец пил, нравом был «бешен и неистов», мать болела странной болезнью. Глаза ее во время припадков становились мутными, нежное лицо покрывалось желтыми пятнами, на губах появлялось что-то зловещее. И Григорьеву Фет «нашептывал слова Мефистофеля», в как писал впоследствии Блок. Но ведь и у самого Блока наследственность была не лучше. Отец его обладал физической крепостью, но что-то демоническое сидело в нем. Он был талантливым ученым, но что-то полуненормальное сидело в нем, что-то садическое. Мать была эпилептична, не однажды стояла на грани безумия. Не здесь ли сидели психобиологические предрасположения сына? Но так или иначе вдруг заговорили в нем не то чувственность, которой так окрашены его губы, не то надрыв с оттенком патологии, что-то черное, от чего не спрячешься ни в какой домашний уют. Вдруг он стал искать что-то не только в святой мечте, в бело-голубых высотах, но и на дне порока, сатанинства, того забвения, которое дает пьянство, разврат, словом, на дне «бездны»... И вот он цедит, точно вот-вот только его застали на месте преступления:

— Паралич — вот фатум. Пропили жизнь.

Эти слова явно относятся как к нему, Блоку, так и к Чулкову, который таскается с ним по злачным местам.

— Вышли из своей палаты — на пороге сторож, в мозгах ни одной мысли, гримасы, прыгающие ощущения. Не отвертитесь.

- В русалок верят, а строением собственного тела не интересуются, говорю я.
  - Ну, я медик по образованию, замечает Чулков.
- А другие? Полеты в заоблачную высь и невежество в позитивных науках.
   Вот они Новалисы дворянства.

Но лишь раз, единственный раз обменялись мы такими комплиментами. Вообще же мы вели беседы на темы нейтральные, или Блок и Чулков, упершись во что-то свое, объяснялись какими-то темнотами, понятными им одним, и то говорил больше Чулков.

v

1905 г. уже отошел в прошлое, и все кипело в социальных, экономических проблемах и установках. Но беседы наших лунатиков шли мимо революции, мимо дороги истории. Чулков еще совмещал со своими «откровениями» политическую «соль», Блок же был насквозь лиричен, ему чудились лишь «голоса иные».

Правда, отношения приятелей приобретают характер неровный. Такие как будто близкие, понимающие друг друга с полуслова, они то сходятся, то расходятся; то свои, то чужие, и тогда уже не шатаются вместе, не видаются по неделям, по месяцам. Что-то нелегкое было в характере Блока. Похоже было, что ему не под силу подчас носить собственный облик; последний точно тяготит его самого, как это имело место когда-то у Лермонтова. Его невнятицы, его темноты отнюдь не были случайны в нем. Они сидели в его декадентской душе, и вот этот-то декаданс и лежал в основе их притяжений и отталкиваний. Однако близость эта — замкнутость в круг запредельных созерцаний — длилась у них, несмотря на расхождения, год за годом.

Чулков уже выпускает «Факелы» свои, у Блока завязываются какие-то отношения с Леонидом Андреевым, который начинает высоко ценить его стихи. 82 Помню, весной 1907 г. Чулков предложил мне провести с ним вечер в «Аполло». Это был один из перворазрядных кафешантанов на Фонтанке. 83

— Я звал Блока, — говорил он мне. — Но Блок не в духе.<sup>84</sup> Знаете...

Мы отправились с ним, прошли гостиные, от которых так несет скабрезностью и скукой, и заняли один из столиков против эстрады, на которой шесть этуалей, 85 нагнув декольтированные груди и высоко подняв юбки, отстукивали текстет. Лохматый Чулков тотчас накинулся на вино, хотя у него и тогда уже были плохие легкие, о чем говорила впалая грудь. Но не успели этуали отстукать свой номер на бис, как Георгий Иванович воззрился в проход между столиками.

- Вы что там ищете?
- А ведь Блок тут, сказал он.

Действительно, в узком сюртуке, красивый, с высоко поднятой рыжеватой головой, Блок шел, медленно поворачивая голову по сторонам, всматриваясь в женские лица. Чулков поднялся и нагнал его.

— Я сейчас к вам, — сказал Блок и скрылся с наших глаз.

Но не прошло десяти минут, как он вернулся к нам с одной из прелестниц этого варьетэ. Это была пышнотелая блондинка, с которой он видался, видимо, не первый раз. Она была мила сама по себе, совсем не походила на «даму от Максима», в но все же все било в ней на соблазн, на чувственность, начиная с прически и кончая туфельками. Блок, в черном сюртуке, так облегавшем его мускулистый торс, не сводил с нее глаз, и чем-то еле уловимым чуть-чуть дрожало его лицо. Казалось, он всем телом ощущает ее присутствие.

На эстраде уже — куплетист. Кругом курят, пьют, суетятся какие-то люди. А то — румынский оркестр. Но перед Блоком лишь ее, лишь ее лицо. Он взял ее горячую руку. Вот она, Незримая, что дымится в его снах и видениях. Конечно,

это не та, Незримая. Незримая разменялась на маски, но это — одна из них, котя и в красоте трактирной. Вот она кружит его в своих шелках, и ее взгляд струится, колдует — скоро заколдует его.

Я вижу, и ей, «дочери хаоса», этот широкоплечий Новалис с матовым лицом нравится не меньше, чем она ему. Я вижу, и у нее тем же дрожат руки, хотя она не столько «дочь хаоса», сколько дочь кафешантана. Но в зале было душно. После того как мы поужинали, захотелось на воздух.

— Никто не откроет окон, — сказал Блок.

Он вдруг скис, глаза выцвели, морщины легли между глазами. Он встал, назначил женщине свидание, целуя ее ладони долгими поцелуями.

— Не пройтись ли нам по набережной? А то — чувствую — не усну эту ночь, — предложил он.

Мы поднялись. Поднялась и «Незнакомка», прошелестела своими шелками и исчезла в проходе. Одни духи оставила после себя. Мы вышли, направились к набережной Невы.

#### VI

Мы сидим на выступе гранита — лицом к воде, спиной к набережной — под ночным небом, которое уже светлеет. Чулков, заметно угостившийся в Аполло, цитирует только что появившиеся пародии на декадентов A. А. Измайлова,  $^{87}$  а Блок, чертя что-то палкой на песке, подает реплики.

— Жду я с Белою Девой встречи. Ах, зачем, ах, зачем я так часто Перехожу за черту человеческой речи?88

— Это про меня, — отзывается Блок. — Что если меня попросят объяснить мои стихи. Ну, хоть эта душка, что оставила нам запах духов?

— Свершил я в душах сев. Взъярясь, взыграл дух росский, Доколь в пиитах жив Иванов Вячеслав, Взбодрясь, волхвует Тредьяковский.<sup>89</sup>

 Поэт, философ, а ведь, надо правду сказать, полуистлел... От древности, от археологии... — роняет Блок с какой-то усталой нежностью.

Я вспоминаю его отзыв об Иванове — «Красиво врет о кипарисах, а в остальном бездарен». Вообще, сам символист, он о своих отзывается часто так: «безвкусно», «неудобочитаемо».

Мы помолчали, глядя на реку, по которой уже совсем прошел ладожский лед. Было прохладно.

- Вы довольны? спросил меня Чулков.
- A то вот не угодно ли? сказал Блок и, держа строфу и сдерживая темп на рифмах, прочел стихи:

Я в тесной келье в этом мире, И келья тесная низка. А в четырех углах четыре Неутомимых паука. Они ловки, жирны, грязны И все плетут, плетут, плетут. И страшен их однообразный Непрерывающийся труд. Мои глаза — над паутиной. Она — сера, мягка, липка. И рады радостью звериной Четыре толстых паука.

Это были не его стихи. Это стихи З. Н. Гиппиус «Пауки».90

- Хорошо? спросил он меня.
- Хорошо, сказал я. На висках и у сжатого рта у него обозначились какие-то морщинки.
  - Не один космический замысел, но и выполнение?
  - И выполнение.
  - Вот, улыбнулся он мне дружелюбно. Это мастер стиха.

В Блоке была некая двойственность, в основе которой лежала правдивость его натуры. Он относился и к себе, и ко всему своему нетвердо; даже то, что было ему близко, умел вдруг почувствовать разрушительно. Например, того же Чулкова, Белого, Вячеслава Иванова. Такова уже артистическая натура, но поэзия Гиппиус не двоила его. Он ценил ее крепко, очень крепко, но не потому пришли ему на память стихи ее в эту ночь.

Я рассказал как-то Чулкову про свое знакомство с этой писательницей в 1905 г., помнится, 10-го января 1905 г. в Вольно-экономическом обществе, куда она пришла в сопровождении Д. В. Философова и Андрея Белого. Философов, здороваясь со мной, познакомил меня с ней. Рыжеватая головка, зеленоватые глаза, шелковое платье в обтяжку — взглянув на нее, я понял, как это случилось, что Фофанов от нее попал как-то в дом умалишенных. Она расспрашивала меня о том, что делается в «Мирах Божиих», где я печатал свои статьи, и что-то бестактное было в ее насмешливости, совсем недостойной ее статей, которые она печатала под псевдонимом Антона Крайнего. Там она то же и так же высмеивала, но там не было этого декаданса, этого ломанья.

Я рассказал об этом Чулкову, — уже тогда, когда Гиппиус называла его змеей, которую она пригрела на своей груди. Но он спросил меня:

- Сборник стихов ее видели, недавно появившийся в свет?92
- Не читал. Я совсем не знаю ее как поэта.
- Напрасно.
- Знаю ее рассказы, очень рассудочные. Сухость, антихудожественность, экзотика. Ни плоти, ни крови.
- Не буду вас предубеждать. A вот прочтите ее поэзию. Ручаюсь вам не потеряете времени.

Хотя Гиппиус его остро травила в своих статьях, он ставил ее имя рядом с именем Тютчева, а месяца через два принес мне сборник ее стихов.

— Первоклассный лирик, — сказал он. — Такого еще не было среди нас.

Я прочел и удивился — в такой степени это было противоположно тому, что я находил в ее повестях и романах. Поистине можно было простить ей за эти стихи всю эту повествовательную безвкусицу. Здесь ей можно было предъявлять самые высокие требования: в такой степени она сумела соединить огромный замысел и техническое выполнение.

Помню, Михайловский называл ее стихи бредом сумасшедшей. «О, ночному часу не верьте! — писал он. — Мне кажется, это лучшее произведение Гиппиус, и оно действительно очень хорошо, если видеть в нем горячечный бред или монолог больной, страдающей манией преследования». <sup>93</sup> Но то — Михайловский; а вот Волынский, столь близкий поэтессе, которому она посвящает сборник своих рассказов, <sup>94</sup> пишет об этих стихах, что они не обличают никакого поэтического дара; и он, как Михайловский, характеризовал этот «рассыпчатый сбор вычурных образов» как «лихорадочное расстройство». <sup>95</sup> Это уже меня удивляло.

Я сразу почувствовал в этом сборнике то, чего не было, что так не давалось Минскому, Брюсову, Мережковскому, Вяч. Иванову и т. д. Она, казалось мне, была единственная, которая сумела облечь в плоть и кровь образов тот хаос

движений, ту скованность космической скукой, которая именуется декадентским мирочувствием.

Михайловский, Волынский, может быть, по-своему были правы: в стихах есть что-то безумное, вернее заумное, но это не уродство, а красота заумия, красота столь зловещая, что в ней не отличишь высоты от бездны, бога от сатаны. Все это, конечно, встречает особые трудности для своего выражения. Оттого-то обычное символическое мастерство остается намерением, не более. У Гиппиус же совсем нет надуманности, как уверяли ее критики. В ее лирике веет дух искусства, то интуитивное пленительное, что составляет откровение поэзии.

Образ и символ слиты у нее, поскольку об этом может идти речь. Даже форма ее, вольная форма, имеет свой оригинальный ритм, какой нужен такой поэзии. Поэтесса стоит ведь перед темным, запредельным, которому так тесно в традиционной стихотворной речи. И она создает себе эту зыбкость стиха.

Для меня было очевидно, что этот мастер стиха займет место после Тютчева, Фета, Вл. Соловьева. Я соглашался на этот раз с Чулковым, возвращая ему книгу. Выслушав меня, он сказал:

- Вот видите. Я знаю хотя вы нас гладите по шерсти, но самый символизм вы приемлете каким-то уголком души.
  - Но где радость, где крылья? напомнил я ему наш разговор.
- «Люблю я отчаянье мое безмерное, нам радость в последней капле дана», процитировал он Гиппиус. $^{98}$ 
  - Вот то-то. Одно подполье души ничего более.
  - Но все же кружит над безднами, над провалами?
  - Кружит. Но глаз вечности не слеп.

Этот разговор Чулков передал Блоку. Отсюда эти «Пауки».

# Блок — сотрудник «Образования»

I

С конца 1906 г. художественным отделом журнала «Образование» стал заведовать М. П. Арцыбашев, автор нашумевшего романа «Санин». Он стал убеждать А. Я. Острогорского, издателя журнала, что «гражданские» поэты наши обмелели, что пора сочетать их с символистами, которые уже печатаются в «Вопросах Жизни», «Мире Божьем», «Русской Мысли». 97

Нельзя же все Галину да Галину,<sup>98</sup> — посмеивался он.

Где в журнале есть прогалина И местечко после точки, Там всегда четыре строчки, И под ними подпись Галина.

— Эти хоть мифотворцы, испанские гранды, а все же теснят Лукьян $\langle$ ов $\rangle$ ых и Василевских.

Арцыбашев знал, что символисты относятся к нему свысока, в «Санине» видят половой позитивизм, настоящим творцом проблемы пола считают В. В. Розанова. Но он разослал им приглашения.

Бальмонт и ранее присылал «Образованию» стихи; Брюсов, Сологуб тотчас откликнулись, прислали в ближайшие книжки свои произведения. Только Блок не заходил, не отвечал на приглашение. Зная, что я встречаюсь время от времени с Блоком, Арцыбашев говорил мне:

— Слушайте, напомните ему, такому-сякому. Сами же они объявляют urbi et orbi,\* что они уже больше не декаденты. «О, закрой мои бледные ноги»...<sup>100</sup>

<sup>\*</sup> граду и миру (лат.).

В самом деле, символизм, столь неприемлемый для левых, как-то расцвел, стал моден как раз в годы освободительного движения, в 1906—08 гг. Вечера искусства, кружки молодых, декаденты в розовых галстухах, декадентки в стилизованных прическах — все это стало неким бытовым явлением. Но не успел символизм расцвесть, как начался т. н. кризис символизма. Мнимые глубины, фальшивая усложненность, отсутствие пиетета перед тем, что традиционно... Декаденты начали то и дело восставать против декадентских галстухов, декадентских причесок, а потом и против самих себя.

Одним из ранних выразителей этого распыления был Блок. Уже во второй половине 1906 г., когда «башня» Вяч. Иванова стояла еще «незыблемо», Блок, помню, говорил Чулкову:

- Вот конкретность, непосредственность чувства - это Бунин Иван.  $^{101}$  А у Блока наоборот: ничего о жизни, все вне жизни. Поэтическое мракобесие.

Помню, заговорил о том, что он изжил свое декадентство, что он тоскует по конкретности, по обыденной простой жизни. Конечно, и этот «кризис» он воспринимал не теоретически, а лирически. Он же лишь лирик своего течения. Но так или иначе Блок первого тома дает трещину. Начинается Блок второго тома.

Π

Встретив Блока у Чулковых, я сказал ему, что Сологуб, Брюсов идут в очередной книжке журнала. Что же от него, Александра Александровича, ни слуху, ни духу? Он улыбнулся, вынул из бокового кармана сюртука два стихотворения, которые, должно быть, собирался прочесть Чулкову, и стал чи(та)ть их — так, как он обычно читал стихи — голосом приглушенным, но внятным. Ни повышений, ни понижений. Никакой игры лица. Лицо, озаренное каким-то светом, оставалось неподвижным. Прочел и предложил:

- Вот... хотите? Не очень верю, чтобы я был настоящий поэт.
- Почему? усмехнулся Чулков.
- Для того чтобы я стал поэтом истинным, я должен преодолеть в себе многое.
   А этого преодолеть не в силах я.
  - Что же собственно? спрашивал Чулков.
  - То, что сидит во мне наследственно. Яд декадентства.

Что это за наследственность, я знал. Как раз с тех пор, как стали давать себя чувствовать стремления к крайностям в его натуре, он все чаще стал задумываться о том, что отец его, Александр Львович, хотя и был оригинальным мыслителем, был человеком с оттенком садизма, и именно это демоническое было основным в нем; что мать его была эпилептичка. И тут, и там патологические предрасположения.

— Что это за поэт, в котором утрачена сочность, — говорил он. — Все непосредственное, жизненное... Вместо же того — хаос, бесформенность, декадентское злословие...

С тех пор он стал печататься в «Образовании»; 102 то стихи занесет, то за гонораром зайдет. Однако по тому, что он печатал у нас, я видел, что романтическую темноту не так-то легко изжить, преодолеть, раз она составляет самую натуру поэта.

Стихи его приобретали будто предметность, которой ранее не было. От этого они выигрывали. Поэт даже начинал входить в моду, благодаря этому. Однако, как он ни отталкивался от декадентства, от лирического максимализма, он совсем был чужд вопросов житейского, совсем не способен был к «конечному».

С одной стороны, ненависть к «невнятице», к нездешнему, с другой — преображение конечного в иное, так как оно не дается воображению. Все равно откровение бесконечного в конечном.

Все равно «над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак», 103 хохочущий дьявол с ледяными глазами.

#### TTT

Блок стал печататься регулярно у нас. Приходя, он садился около меня, так как знал меня ближе, чем Арцыбашева, заведовавшего беллетристическим отделом. Вообще же для него был здесь круг людей, совсем чужой, круг марксистской интеллигенции, для которой его стихи представляли темные закоулки искусства.

Помню, первый раз, когда он заглянул к нам, я спросил его:

- Что хорошего, Александр Александрович?
- Да вот смотрел «Жизнь человека» у Коммиссаржевской. 104
- Понравилось?
- Давно не испытал таких минут. Шедевр, отвечал он, как всегда сидя строго и прямо.

Хотя он был столь высокого мнения о пьесе, это не значит, что то было настоящее его мнение. Скоро после того «Жизнь человека» выцвела в его глазах, хотя его тянуло к Л. Андрееву, и он приглашал Андреева на чтение своей «Песни судьбы», 105 как Андреев звал его на чтение своих вещей. Совсем не принимал он Куприна, сильного по уму, по таланту, хотя и сам уходил в цыганско-ресторанную жизнь.

Помню, в «Образовании» печаталась в то время повесть В. В. Башкина «Красные маки», 106 в которой изображалась среда поэтов, беллетристов, критиков тех дней; вернее сказать, орда. Так выглядели у Башкина и критик Чайский, которому ничего не стоит и прорекламировать беллетриста, и на другой же день «уничтожить» его; и модный беллетрист Арбенев, который так много знает о похождениях этого «лихача», но и сам не чище его; и литературный салон модернистской знаменитости, где читаются доклады о Дионисе, об эросе, о мистическом анархизме. Все это подано, как одно лицо, жадное, пьяненькое, в рамках самодовольства и фальши. Влок обратил внимание на эту повесть.

Не то, чтобы повесть сама по себе показалась ему значительной. Но схвачено было с натуры.

— Схвачено лишь мелкое, — говорил Блок. — Но это мелкое захлестывает то место, где были когда-то Пушкин, Тютчев, Влад. Соловьев.

И этим-то привлекала его внимание повесть, в которой он узнавал всех до одного.

— Пусть это фотография, но где диктаторы духа, люди больших созерцаний? — замечал он.

Не в том беда, что пьют. Пили и Григорьевы, и Островские. Беда в том, что это вульгаризаторы искусства.

— Вот Куприн: какой талант! А превращает искусство в цирк. А ведет литературу на улицу...

#### IV

Блок стал вкладчиком «Образования», печатался у нас через книжку. Но какой бы то ни было близости с журналом у него не создавалось. И могла ли она создаваться?

Это уже были не «Вопросы Жизни», которыми руководили бывшие марксисты, но ныне идеалисты, близкие ему по духу. «Образование» направляли Луначарский, Базаров, Богданов, Орловский и пр. 107 Литературные круги, которые обслуживали его, встречали символизм, перекрасившийся с помощью Достоевского и Вл. Соловьева, что называется, в штыки.

Для нас это была стилизация, сверхидеализм, эти вычурные узоры искусства, без энтузиазма, без темперамента; для нас это были мифотворцы, декораторы, эти мистические переулки, и мы стирали с них румяна, заглядывая под маски этой «куцой достоевщины». Разумеется, и декаденты платили нам той же монетой. В их глазах мы были борцы за арифметические истины, те, что закрывают далекие горизонты, сводят все к элементарному, утилитарному; в их глазах были мы нигилисты, «упрощенцы», те, что оскопляют культуру, искусство, философию, ибо все это не своевременно, пока не решен социальный вопрос. Недаром в наших журналах, мол, царит такое позитивное мракобесие. Здесь же «коренная некультурность русской интеллигенции».

Очевидно, отделяла нас друг от друга дистанция не малого размера; вопреки начавшемуся кризису символизма, ничего не было общего между ними и нами, «носителями арифметических истин». И все же выходило как-то так, что наиболее видные из них чем далее, тем усерднее оплодотворяли именно наши журналы своими произведениями, по преимуществу лирикой.

Еще в «Начале», «Жизни», первых марксистских изданиях, сотрудничали Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, в «Мире Божием» — Мережковский, Бальмонт, Кречетов, 108 Чулков, теперь в «Образовании» — Сологуб, Брюсов, Бальмонт, позднее Мережковский, Гиппиус, Белый. Это ничего, что во вторых отделах Евг. Соловьев или А. Богданович, М. Неведомский 109 или А. Луначарский «стирали с них румяна». В первых отделах все-таки печатались не стихи лишь, но и романы символические.

Печатаясь на страницах «Образования» так же усердно, как Бальмонт или Брюсов, Блок лишь следовал традиции.

Острогорский устраивал многолюдные вечера для сотрудников «Образования» в своей просторной квартире, но Блока почему-то не звал на них. Как-то я сказал ему:

- Отчего вы не зовете Блока на наши вечера?
- Будет ли ему по себе среди наших позитивистов и марксистов? усмехнулся Острогорский.
  - Все равно. Простая вежливость требует.
  - Не возражаю.

Когда Блок явился к нам после этого, Острогорский пригласил его на наши вечера. Блок учтиво поблагодарил его, но, хотя на них бывали не одни марксисты, но и разнообразная публика, он ни разу не посетил наших журфиксов.

V

Не вспомню где, — если мне память не изменяет, на вечере издательства «Шиповник» — Блок подошел ко мне. Что-то дисгармоничное в лице, вокруг глаз — круги, и в то же время какая-то нежная сила в нем.

— На два слова — можно?

Мы отошли в сторону, присели рядом. Уже Вяч. Иванов «вершил в душах сев»; Е. В. Аничков собирался его сменить, хотя публика еще прибывала.

— Вы бы не отказались от стихов Кузмина? Из цикла «Александрийские песни»... $^{110}$ 

Очевидно, Кузмин сам стеснялся предлагать свое сотрудничество, хотя он знал меня лично. Я встречался с ним в театральной среде.

- Он не прочь нам предложить их? спросил я.
- Не прочь.
- Я поговорю о нем с Арцыбашевым, сказал я.

Кузмин начал печататься позднее Блока, в 1905 г., но писал много и уже имел особую репутацию среди символистов. Он изображал из себя «эллина», «аргонав-

та»; эллинство соединял с французским XVIII-м веком, восемнадцатый век с византийством. Все это без быта, откуда эта кукольность, орнаменты слов. Но не в этом состояла его особенность. Особенность его состояла в том, что он в своем цикле стихов «Сети», в своей повести «Крылья» 111 касался темы, до сих пор не затронутой в литературе. Воспользовавшись ослаблением цензурных строгостей, он — по преимуществу в «Весах» — трактовал один мотив из области половых аномалий — однополую любовь, веселые тайны извращенного Эроса.

Казалось бы, что здесь нового? Извилины человеческих хотений, увлекающих за черту жизненных норм, всегда были одни и те же. Но эстеты, мистики увидели в этой обнаженности, этой смелости, до которой не поднимался ни один писатель, некий глубокий смысл, проповедь какой-то полноты, вмещающей все провалы слепых в своей силе влечений. А вслед за тем и сам Кузмин уверовал, что он, может быть, не гениален, но тема его гениальна. «Мы, эллины, любовники прекрасного, вакханты грядущей жизни».

Конечно, печатать его вне символических изданий было немыслимо, хотя бы в том, что он предлагал «Образованию», не было никаких извращений, и, сидя рядом с Блоком, я спрашивал его:

- Нравятся вам «Сети»?
- Чудесны.
- А «Крылья»?
- Не хуже Лескова.
- Однако согласитесь: стилизация. «Я бледность щек удвою пудрой, я тень под глазом наведу».  $^{112}$ 
  - И что же?
  - Чувства принаряженные, вспрыснутые духами.
  - И все же какой он домашний, забавный!
  - Вернее... причудливый.
- Причудливый, но до чего естественный воображение так легко идет навстречу его словам. Редкий живописец слова.

Что Блок так ценил Кузмина, как писателя, меня не удивляло. И Вячеслав Иванов, и Валерий Брюсов высоко ставили его дарование. Но вот тема, «сюжет» его... Ведь не кто иной, как Зин. Гиппиус, писала в своем «Литературном дневнике»: «при нашей общей некультурности, какой-то повальной, атмосферной, не могла в наше эротическое заголение и обнажение не влиться явно струя хулиганская». 113 И в виде примера приводила Кузмина.

- А тема, «сюжет»? спрашиваю я.
- Тема? Все это у Кузмина внутрение оправдано.
- И банщик из «Крыльев»? «Ах, античное в руку сморканье». 114
- Все, а это главное в искусстве.
- Ну, разве эта «сладость губ мужских»<sup>115</sup>... может быть оправдана?
- Для меня Кузмин не порнограф. Арцыбашев, Каменский это порнография, потому что они бьют на эротику. Кузмин же никогда не бьет на соблазн. Самая манера его трактовать свой сюжет просветляет его.
  - «Внутренно оправдывает»?
- Именно. Искусство может очистить даже такой сюжет, как «непотребство», пронизать его солнечным светом. И это есть у Кузмина.

Конечно, даже Арцыбашев, автор «Санина», и слушать не хотел про Кузмина. Но я думал о Блоке: что значит не видеть обыденность, как она есть, или видеть ее через сны декадента! Слушая его, я как бы становился участником какого-то тайного дела.

## VI

В июне 1908 г. — со смертью А. Я. Острогорского, издателя «Образования», — в журнале произошла перемена. Купил журнал некий Василевский, и вместе с тем была сделана попытка еще теснее слить марксистов и символистов. И вот наряду со мной, Львовым-Рогачевским и др. в состав ближайших вошли Мережковский, Гиппиус, Андрей Белый, Блок, которые стали давать не только стихи, но и статьи свои.

В первой же книжке, отмеченной этим симбиозом, был напечатан рассказ Чулкова «Парадиз».  $^{116}$  Я не заметил этого «Парадиза», но некоторое время спустя Чулков спросил меня:

- Прочитали моего «Парадиза»?
- Нет, Георгий Иванович.
- Прочтите, прошу вас.
- А что?
- Потом поговорим.

Я прочел и понял, почему он просил меня прочесть рассказ. Он изображал в нем Блока.

- «Парадиз» это загородный кафешантан, в который приезжают два писателя: Александр Гердт и Сергей Гребнев. Сидят, скучают за бутылкой кианти. Ал. Гердт, небезызвестный поэт лет 28-ми «с бритым лицом и вьющимися белокурыми волосами», курит папиросу за папиросой.
- Погибли мы с вами, уверяет он равнодушно. Погибли. Судьба наша на лне бокала.
  - Мы не первые и не последние, отвечает Гребнев с усмешкой.
  - Но все же я лучше, чем вы думаете, Сергей Александрович.
  - Ла?
- Вам кажется, что у меня ничего нет за душой, что я только лирик. Но у меня что-то есть, уверяю вас.
- Тем хуже для вас, Александр Александрович. Если что-то есть, тогда ответственность.
- Может быть, но что с нас взять? Мы, поэты, как проститутки: самое дорогое и тайное отдаем людям.
  - Вот спросим у нее, она нам скажет...

 ${\tt W}$  он взял за руку стройную и надменную проститутку в черном платье и привлек к столу.

- Как вас звать, госпожа моя? спросил Гребнев, пододвигая ей стул.
- Клеопатра. Но на самом деле ее звали Наташей.

Это была странная девушка из «Парадиза». Рано продала ее тетка бондарше, торговке живым товаром; рано научилась она пить водку с апельсиновыми корками. Так она и попала в этот сад с электрическими фонариками. Но все это — водка, мужчины, бутафорские ворота, ночная жизнь — не могли убить в ней одного — какой-то фантастической складки. И томилось все же сердце ее по любви, хотя и невозможной.

- Госпожа Клеопатра, разрешите наш спор, сказал Гердт и налил ей стакан кианти. Вот он уверяет, что для него не все еще пропало. Я мол не погиб, а тебе капут.
  - Не знаю, о чем вы там толкуете. Скучно все.
- А ведь она гордая, заметил Гердт, как это хорошо, как хорошо! И откуда эта гордость, откуда? Впрочем, разве вы не видите она сумасшедшая, сумасшедшая, как мы с вами.

Время шло. К ним присоединились Герардовы, певица из Мариинского театра, художник Ломов; приехали после спектакля.

- Вот с нами сидела тут египетская царица Клеопатра,
   сказал им Гребнев.
   Гердт в нее влюбился.
- Ах, как это хорошо, всплеснула Герардова. Познакомьте меня с ней.
   Все поддержали ее. Тогда пригласили Наташу, пошли с ней в отдельный кабинет. Здесь Гердт стал на колени перед Наташей и говорил ей:
- Вот на вас черное платье, и я схожу с ума от счастья, потому что вы, божественная, позволяете мне стоять на коленях около вас и касаться вашей руки. Что за вздор, что женщину можно купить? Женщину купить нельзя.
- Вот это правда, сказала Наташа, но все-таки ты мне нравишься, кудрявенький.
- Гердт влюбился, Гердт влюбился, хлопала в ладоши Герардова. Но и она обнялась с Наташей, целуя ее в губы долгим поцелуем, прижавшись грудью к груди ее.

Все были пьяны, и Наташе совсем не казалось странным, что ее венчали на царство, что кудрявенький — это принц, ее жених. Говорила она милостиво, как царица. Гребнев вдруг стал злым.

— Все притворяются, и вы, Гердт, больше всех, — сказал он. — Сухой вы и бессердечный человек. Надо еще цикл стихов написать, вот вы и выдумываете себе любовь. Одна из вас говорит и чувствует по-настоящему, это — Клеопатра.

Тогда Гердт притащил Гребнева к Наташе и задыхающимся голосом просил ее:

- Накажите, божественная, этого человека. Накажите.
- Хорошо, согласилась Наташа и плеснула в него шампанским из бокала.
   Потом из «Парадиза» поехали в «Ниццу». В «Ницце» Гердт стал перед Наташей на колени, упрашивая ее раздеться.
- Я тебя, принц, люблю, говорила Наташа и смотрела на Гердта странными, верующими глазами. Я тебя люблю. Раздеться, говоришь? Ну, хорошо, кудрявенький.

С этой ночи Наташа не могла забыть своего кудрявенького принца; все ждала его возвращения. Но он не приходил; и она ходила среди столиков «Парадиза», искала его. Но вокруг все были чужие, пьяные лица, а его не было. И стали замечать, что с ней творится что-то неладное. Однажды она увидела в «Парадизе» Гребнева.

- Где же мой принц? подошла она к нему.
- Но зачем вам принц?
- Он мои ноги целовал, ответила Наташа и нахмурила брови.
- Что ж, раз так, поедем к нему.

Поехали. Гердт ничуть не удивился, увидев их. Он был один.

- Что с вами, принц? нежно повдоровалась с ним Наташа.
- Я здоров, рассеянно отвечал Гердт.
- Вы же подарили мне кольцо. Я хочу вернуть вам его.
- Ах, нет, я ничего вам не дарил.
- Но вы позабыли, принц. Вы подарили мне кольцо и сказали, что любите меня.

Гердт засмеялся, глядя пустыми глазами.

- Да! Ведь вы гордая царица Клеопатра.
- Так нельзя, прервал его Гребнев.
- Ax, все равно. Я не виноват, что судьба бросает меня в объятия шекспировских женщин.
- Но что вы хотите сказать, принц, спросила Наташа, чувствуя, что сейчас упадет.
  - Что я хочу сказать? Ха-ха-ха. Я любил тебя прежде.
  - И я любила, принц.

Гердт странно засмеялся, и глаза его сделались влажными.

- Напрасно, сказал он, напрасно. Прошедшего нет более.
- Гребнев рассердился.
- Пойдем отсюда, Клеопатра. Это не принц, а неврастеник.

На другой день Наташа уже не помнила ни улицы, ни дома, где жил принц, стоявший перед ней на коленях. Наступала осень. Однажды Наташа ехала из «Парадиза» домой. Навстречу ей ехала пьяная компания. Кто-то обозвал ее девкой.

Как девка? Она — девка? — пришла в неистовство Наташа. — Она, царица Клеопатра? С размаху ударила кого-то по щеке.

Ее отправили в участок, где ее тяжело и мрачно били городовые, а оттуда в сумасшедший дом.

## VII

Я прочитал рассказ, и Чулков меня спрашивал:

- Узнаете?
- Более, чем прозрачно. Блок.
- Блок и Чулков. Списано с одного нашего происшествия.
- У вас, выходит, Александр Александрович сквозь призму своих мистерий неврастеник, бессердечный человек.
- Да, надо еще цикл стихов написать. Вот и выдумывает себе любовь. Дурной человек. Он всю ее сломал.
  - Как сам Блок реагировал на рассказ?
  - В одном упрекнул меня, что я не посвятил этот «Парадиз» ему.

А вот и самые стихи Блока.

Их было много. Но одною чертой соединил их я — Одной безумной красотою, чье имя — страсть и жизнь моя. И страсти таинство свершаю. И поднимаясь над землей, Я видел, как идет другая на ложе страсти роковой. И неизбежно — те же речи, и повторенья тех же чар, И примелькавшиеся плечи, и застывающий пожар. Я долго был тебе покорным, тебя я страстью звал всю ночь! Но взорам светлым, взорам черным я говорю отныне: прочь! Высокий храм свой обхожу я, огни очей ночных гашу, Зане грозу в себе иную, и небывалую, ношу.

Эти стихи напечатаны в той же книжке «Образования», вслед за «Парадизом». 117 В этих стихах Блок расписывался в том, что изображал рассказ о нем. «Я был тебе покорным, тебя я страстью звал всю ночь. Но взорам светлым, взорам черным я говорю отныне: прочь!» Стихи пишет он уже от имени гуляки, хотя бы в «Образование», и самые стихи пишутся после попойки.

Он все более чует отвращение от домашнего очага, все более любит «серые ночи Полюстрова», пьяный угар, гитару; говоря об Ап. Григорьеве, говорит о самом себе, бездомном, беспокойном. Помните: «погибли мы с вами. Погибли, судьба наша на дне бокала».

Чулков «Одною ночью» занят, Я «Белой ночью» занялся, — Ведь ругань Белого не ранит Того, кто все равно спился. 118

Это — шутя, а вот сериозно.

Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне все равно.

# Вон счастие мое — на тройке В сребристый дым унесено. 119

Вот я на представлении его «Балаганчика». 120 Музыка Кузмина, этот чувственный дурман. Декорации Сапунова, столь трагически погибшего уже в Териоках. 121 Так как инициатива «Балаганчика» принадлежала Чулкову, напечатавшему его еще в своих «Факелах», то пояснительное слово к пьесе читает он. 122 Это, бесспорно, одно из эффектных представлений. Но вот выходит на вызов сам Блок. Я гляжу на него, и сердце сжимается у меня за поэта, сорвавшегося со своей оси.

Налет старообразности, который и прежде прятался за его чертами, теперь бросается в глаза. Оглушительный свист и оглушительные аплодисменты. Но он равнодушен и к тому, и к другому. Вот он отсюда поедет к Вяч. Иванову. Но что ему Иванов, когда «тайно сердце просит гибели»  $1^{123}$  Он «всех забыл»,  $1^{124}$  вошел в другой круг, где жжет себя в огне страстей. Оттуда он кинулся к цыганам, в ураган «этих диких, томительно страстных песен».

Пусть он называет уже мистиков идиотами, но от этого он не стал ближе к жизни, которая ему так нравится в Бунине. «Прекрасная Дама» еще дымится среди звезд, хотя она превращается в даму из «Аполло», с Елагина Острова, с которой он пьет коньяк, с которой его мчит столичный лихач. 125

Где бы ни пролегал путь этого поэта, белые сказки забвений все же уводят его от конечного. И еще хуже, когда такой лирик бросает свой кров, родной кров. Тогда ждут его лишь ветер да снега белые, да ночные поездки на острова.

# Блок — неонародник

I

Шли годы. «Образование» прекратило свое существование. <sup>126</sup> Я стал печататься в «Новой Жизни», в «Современном Мире», журнале, в котором я сотрудничал еще тогда, когда журнал назывался «Миром Божьим». <sup>127</sup> Чулков уехал за границу, за ним и Александр Блок. <sup>128</sup>

Я стал их терять из виду — и того, и другого. Вдруг стою как-то у витрины книжного магазина, рассматриваю новые книги, когда кто-то трогает меня за плечо. Я оглядываюсь: Чулков Георгий. Он с месяц как вернулся из Парижа. 129

- Довольны путешествием? спрашиваю я.
- Жаловаться не на что мне. Но приехал какой-то расстроенный. Боюсь, не схожу ли с ума.
  - Это не декадентщина, Чулков?
- Нет, милый мой. У меня все фамилии, все имена выпадают из головы.
   Встретишь Бердяева, Розанова и с трудом вспоминаешь, как их именовать.

Он взял меня под руку, такой же лохматый, как был. И повлек по Литейному пр.,\* потом к себе в номер меблированных комнат, где остановился — один, без жены, поставил бутылку коньяка на стол и стал рассказывать мне про Бал художников, на котором он был накануне своего отъезда из Парижа.

- Мужчины раздевали женщин догола. Что скажете?
- Не там ли вы с ума спятили, Георгий Иванович?
- Было от чего с ума сойти декаденту, хотя и левейшему из левых.

Похоже было, что у него жарок, хотя и небольшой. Я отставил от него коньяк.

- Зачем вы держите у себя это?
- Я уже не могу без вина ни думать, ни вдохновляться.

<sup>\*</sup> Ныне пр. Володарского. 130

- Что вы делаете? советовал я ему. Хотите травиться, травитесь сразу, а не изо дня в день.
  - Это же Блок научил меня пить.
  - А не наоборот?
  - Пожалуй, что наоборот. Есть такая радость...
  - Которой не отличить от явной гадости?
- Вл. Соловьев держался того взгляда, что вино вредно лишь на низших ступенях духовного развития, на высоких же ступенях прекрасный реактив. Возражаете?
  - По отношению к вам с Блоком возражаю.
  - Блок бы лучших стихов не написал без вина.
  - Видаетесь вы с ним?
- Видаемся, когда мы свои, а не чужие. Теперь я выступаю против него и устно, и печатно. $^{131}$

#### II

По всему, что я слышу о Блоке, выходит, что он все более отходит от декадентства, от искусства рафинированных символов, все более убеждается, что хуже мистики ничего нет на свете.

Он даже думает, что это уже сказалось на нем, даже как на лирике, на «Блоке второго тома». «Я думаю, что последняя тень декадентства отошла, — пишет он сам о себе в своих «Дневниках». — Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей. Настоящее большое произведение может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное отношение с миром». 132 Печатается он в сборниках «Знания», 133 «Шиповника», тяготеет к реалистическим изданиям. Но от чего отказывается поэт?

Бесспорно, он становится предметнее, но стиль его все тот же, все то же тревожит его лирическое сердце. Вот хотя бы «Незнакомка», действие которой происходит в «Озерках». Эти «загородные дачи», этот «крендель булочной» — уже не «внебытовые сущности», но в том-то и дело: и не живой быт. Да, да, «горячий воздух дик и глух», «а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск», но все же тот же стиль, тот же «берег очарованный и очарованная даль». 134

Как и ранее, он то и дело противопоставляет действительность и мечту, но элементы первой в стихах его, как прежде, в полном смысле ничтожны. У него музыкальное восприятие не только мира, внутренняя сущность которого «музыкальна», но и повседневности с ее переживаниями. Правда, он сам себя считает не музыкальным человеком в обычном смысле этого слова, ни на каких инструментах он не играл, не обладал даже музыкальным слухом. «Я до отчаяния ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого музыкального слуха», — уверяет он о самом себе. Но все же он чувствует себя «поэтом чисто музыкального типа», в котором живет некая песня, несказанное чувство ритма. Но в том-то и дело, что этот ритм, этот поток мелодий был, как и ранее, все же символический, и он мог бы сказать о себе, как и ранее: «Я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри не вышло наружу». 135

## Ш

В стихах не поступается этот Новалис деклассированного дворянства. В стихах за пределами действительности эта ритмическая смена эмоций. Но вот появляются статьи, публицистические статьи поэта. Все они резче загнуты, чем стихи его, против вчерашних своих — «образованных и ехидных интеллигентов, поседевших

в спорах о Христе и антихристе, супруг, дочерей, своячениц в приличных кофточках, многодумных философов, попов, лоснящихся от самодовольного жира». «Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме "утонченных натур", не нужных, — пишет он, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось». <sup>136</sup> Он воюет против Мережковского, который сводит на «хлестаковщину великого хама». <sup>137</sup> Напротив, он утверждает уже, что если есть реальное понятие «России», то выразителем его надо считать Горького. <sup>138</sup>

И вот здесь — в этих статьях — уже яснее, во что выливается «реализм» Блока. Он начинает вдруг некое «хождение в народ». Блок, тот самый, которого я еще помнил таким «белоподкладочником», вдруг оказывается «неонародником», делается поэтом с какой-то «социологической проблематикой».

Над ним посмеиваются Сологуб, Гиппиус, Вяч. Иванов, для которых направленство не более чем ученическая наивность. Но факт налицо.

- Я уже выступаю против Блока, говорит мне Чулков.
- За что же это?
- Он, вы не слыхали? подпал под влияние Клюева, поэта из олонецких крестьян. $^{139}$ 
  - Слыхал.
- Это Клюев «открыл ему глаза». Это Клюев уверил его в том, что литература находится в руках кучки интеллигенции, а вот придет писатель из народа и сметет все следы наши.
  - Вы подумайте!
- Блок считает теперь, что пощечины, которые Карпов, Санжарь закатывают культуре, попадают не в бровь, а в глаз. 140
  - Это не от водки?
- Он даже к хлыстам ездит за Московскую заставу. А вдруг «правда» не у Клюева, а у богородицы.

Чулков, по обыкновению, то сходится, то расходится с Блоком, то свой, то чужой. Но факт налицо. Отталкиваясь от соловьевщины, от декадентства, Блок попадает сначала в стихию чувственности, патологической чувственности, в жажду дойти до истины через грех и вслед за тем в «общественность», которая родится с тем же «реализмом».

Блок вдруг разглядел «народную интеллигенцию», которая сложилась после 1905 г. Он противопоставил ее нам, интеллигентам привилегированных кругов, и ему стало ясно, что конфликт неизбежен, но что не мы одолеем «их», а «они» нас, и так, что лишь мокрое местечко останется от нас. Конечно, мы «их» витии, вожди, — кто же, как не мы, обсасываем мужика, как леденец, зовем к диктатуре пролетариата, но, открыв глаза, Блок видит: это не поможет, народ превратит нас в пепел.

В этом и состоит «социологическая проблематика» Блока.

#### IV

Теперь, хотя реже, мы вновь встречаемся с Блоком, и он общительнее со мной, чем ранее, говорит со мной не как с автором, который «сужает духовные горизонты». Я замечаю: он все с большим интересом копается в книгах. Правда, знания его, по преимуществу, филологические, но значительная умственность его несомненна. Но статьи его, которые он пишет чем далее, тем охотнее, всегда говорят, что это статьи поэта.

Их язык — язык его стихов, и даже стиль их — тот же стиль, и даже настроения, которые он проводит в них, лиричны, как стихи. И такова же его речь, от которой веет максимализмом.

И аргументы его выветриваются, точно он и здесь кружит над теми же невнятностями, провалами, я даже затрудняюсь определить: что это, левое или правое.

С этих пор, о чем бы Блок ни говорил, он пророчествует гибель. «Гибель неизбежна», «мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке на верную гибель», «уже при дверях то время, когда неслыханному разрушению подвергнется и искусство». 141 Почему? «На улицах — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России жить трудно, холодно, мерзко». 142 Надо ли левее? Но странно — все это лишено какой-то конкретности.

Выходит так: с одной стороны, Блок вторгается в пекло политики, с другой, как и прежде, тщится отречься от политики, партийности; с одной стороны, предвещает какие-то вспышки, раздувает какой-то костер, с другой — идет на лекции П. Н. Милюкова, чтит Аполлона Григорьева, «этого неряху и пьяницу, безобразника и гитариста», который «не попал в интеллигентский лубок», этого «последнего романтика», который терпел голод и лишения, но не за «идеи», как Белинский, умер как все, «не оттого, что был честен», как Добролюбов.\*

«Какая близость с самой яркой современностью, с "Опавшими листьями" Розанова», — уверяет он. — Григорьев давно умер. «Но Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то "Новом Времени". Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только "Опавшие листья" увидят свет божий. А пока читайте хоть эти листья, полвека назад опавшие. Живых не слышите, может быть хоть мертвого послушаете. Во всем этом есть мудрость». «Пока не пройдут Добролюбовы, — цитирует он Ап. Григорьева, — честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать, потому что негде, потому что гонят истину», потому что, — добавляет Блок, — «сапоги выше Шекспира», как это принято «в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и... Мережковского».\*\*

И это он пишет и говорит как раз в эти дни. Как укладывается в нашем неонароднике это ожидание бунта, эти «Опавшие листья» с третированием Добролюбова, Чернышевского, Белинского — нелегко понять. Но очевидно: годы неонародничества проходят у него под знаком растерянности.

Вся его личность, демоническая, с чертами чисто «блоковскими», стоит поперек того пути, на который Блок хотел бы стать.

v

Трудно отходит Блок от того, что составляло самую натуру его; насколько это так, я сужу по тому пристрастию, которое он питает к отдельным декадентам, вопреки тому, что поэт отходит от искусства рафинированных символов.

В начале 1914 г. Мейерхольд ставил «Незнакомку» в зале Тенишевского училища.  $^{145}$  Я пришел в зал, но Блока до последнего антракта не видел. Лишь при выходе из здания я увидел его; у него был какой-то журнальчик в руках.

Я подошел к нему.

- Вот, сказал он, подавая мне «Обозрение театров», которое было у него в руке. Одна статья была обведена синим карандашом.
  - В чем дело, Александр Александрович?
  - Статья, направленная против Кузмина.

Оказывается, и Кузмин написал пьесу «Венецианские безумцы». Она готовилась к постановке в Москве, в литературном художественном кружке. Но спектакль должен был идти в пользу фонда стипендий имени Серова при Училище Живописи

<sup>\*</sup> См. вступительную статью Блока к стихотворениям Ап. Григорьева. 143

<sup>\*\*</sup> Ibid.144

и Ваяния. Преподаватели же школы категорически «отклонили дар», связанный с именем Кузмина. «Обозрение театров», в свою очередь, обличало автора «Сетей» и «Крыльев» по сему поводу. 146

— Официальная цензура разрешила, — говорил Блок. — Преподаватели же налагают veto — не на пьесу, в которой ничего нет «такого», а на автора.

Опять удивлял меня Блок. Уже не декадент, а «неонародник»... Этот изысканный Кузмин, воспевавший прелесть мужского тела, подчеркивал свою скандальность. Он не скрывал, что такие вещи, как «Крылья», «Сети» и т. д., автобиографичны, что он воспевает личные похождения. На вечере искусства, где шли его «Куранты любви», амура играл мужчина в коротенькой рубашечке. Потом — в артистическом кабачке — Кузмин, изображая из себя томную красавицу, сидел с ним, как голубь с голубкой, — возьмут соломинку в рот и тянут друг у друга пиво в соломинку. С этим «амуром» амурится Кузмин... Томная влюбленность, эротика, румяна, мушка на щеке... он не нуждается ни в какой маске.

Кузмин, говорят, стал популярен, его встречали овациями на «башне», в театре Коммиссаржевской; все пьесы Блока шли под музыку Кузмина. Но все же Блок, начинающий какое-то «хождение в народ», удивлял меня, говоря теперь:

- Никто не поднимет голос в защиту Кузмина.
- Как это сделать? усмехнулся я.
- Произведение поэта не подлежит суду преподавателей. Это покушение на свободу творчества.
  - Так ли это?
  - Конечно. Кузмин, как поэт, занимает одно из первых мест среди поэтов.
  - Вы еще верите в это?
- O! Разве «Александрийские песни» не поэзия? Эти звуки далеких флейт, эти аллеи, эти гибкие мужчины в атласных жилетах...

И так, от Кузмина к Клюеву, который теперь «открыл глаза» Блоку. Что же это за линия? Я слушаю и думаю: знает ли он, поэт-неонародник, что и Клюев, поэт из крестьян, грешит той же аномалией, как и Кузмин, открыто бегает за мужчинами?

#### VI

В этом состояла «социологическая» линия Блока.

И вот он решается возвысить голос, выступить с своим пророчеством сначала в «Религиозно-философском обществе», а потом в Союзе писателей. Я помню его доклады, особенно доклад о «несчастной» России: «Интеллигенция и народ». Это было в Союзе писателей. 148

Помню, зал был полон. Марксисты, идеалисты, народники, богоискатели, а перед слушателями был только что проснувшийся неонародник, который резко накидывался на старую русскую интеллигенцию, имевшую за собой столь крупные исторические заслуги в прошлом, с особой нежностью говорил об «интеллигенции из народа», которая еще никаких заслуг не имела; пророчил нашу гибель вообще и свою в частности.

Он призывал месть народа за вековые преступления привилегированных классов. Вот его родительский дом, с которым он крепко, бытовым образом связан, где пока еще так тепло и просторно, где старинная мебель, масса книг. Милые сердцу его еще разгуливают по парку. Но он, Блок, видит уже: Шахматово обречено. «Старый дом мой пронизан мятелью». Вот он уже несется, «черный ветер, потрясающий мой дом». 150 И пусть. Возмездие падет не на один его дом, его парк. Оно падет на все дома, все парки.

«Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага... Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера — все заткано паутиной... Радость остыла,

потухли очаги... Двери открыты на вьюжную площадь... Мы живем в эпоху распахнувшихся дверей, отпылавших очагов \* ... 151 На Блока накинулись М. П. Неведомский, проф. Рейснер, Б. Столпнер. 152 Они доказывали, что он слишком принижает себя, как интеллигента привилегированных слоев, слишком льстит интеллигенции из народа. Но В. Г. Короленко защищал его. Вообще, старики типа Н. Ф. Анненского, С. А. Венгерова приветствовали его, провожали аплодисментами, хотя не находили (...) у (?)\* Блока никакого социологического мышления. 153

\*Кидается прямо под ноги бешеной тройки\*, $^{154}$  «неслы(ханные перемены)\* $^{155}$  предсказывает России, но странно: все это (...), как его стихи. Повышенная чувствительность (...), из которой Блок исходит. Он подчас кричит — кричит о хамстве, о мещанской сытости. Но он неспособен спустить (...) предвидений на землю, связаться с тем соотношением сил, из которых состоят «мы» и «они».

Мысль его подслеповата, и я затрудняюсь определить, что это: левое или правое. Масштабы современности не даются ни уму, ни чувству его. Напротив, шаткость восприятия, неясность путей, которые он тщится наметить. Для него аргумент — не столько средство познания действительности, сколько выражение неспособности познать эту действительность.

Действительность для него непонятна, враждебна.

Конечно, катастрофа надвигалась. Но «неонародничество» имело для Блока значение постольку, поскольку этот социальный катастрофизм обострял тот личный, интимный катастрофизм, к которому поэт влекся лично, основным душевным тоном.

#### VII

Помню, зашел я в редакцию журнала «Новая Жизнь», выпускавшего и серию «Альманахов для всех». Блок изредка печатался там, как и я, и теперь был в редакции. Когда я уходил, он нагнал меня.

Пойдемте вместе.

Он заговорил со мной о моих статьях «Фабрично-заводские поэты», появившихся незадолго перед тем в «Современном Мире».  $^{156}$ 

- Откуда вы получаете эти стихи? спросил он.
- От авторов. Частью снабдили меня материалом газеты «Звезда» и «Правда».
- «Звезда», «Правда», оживился он. Как хорошо, что стали выходить такие газеты. Я их читаю.

Он раскрыл свой портфель и вынул из него книжку, совсем новенькую, но расчерканную им.

- Это «Говор зорь» Пимена Карпова. 157 Не видали еще?
- Нет.
- Хотите, возьмите.

Я взял книгу, поблагодарил его. Он стал рассказывать мне о своих отношениях с Клюевым, а затем с Карповым, с Санжарь, как-то не похожий на себя, Александра Блока, всегда такого малословного. Все, что он говорил, свидетельствовало о том, что он не сомневался, что и этот Карпов, и эта Санжарь, особенно Клюев — подлинный народ земли русской, что они стоят в центре каких(-то) дум и чувств его, особенно Клюев. Как это было непохоже на него, такого, каким я его знал с студенческих лет!

Вот... — говорил он о Клюеве. — Провозвестник новой силы...<sup>158</sup>

Я знал и Клюева, и Карпова, и Санжарь. Все они в разное время заходили ко мне, даже писали мне кое-что о себе, как Есенин, Чапыгин, Ян Купала. Карпов,

<sup>\*</sup> Здесь и далее текст частично утрачен (смытые чернила). (Ped.).

столь разрушительно настроенный против интеллигенции, против города, был одним из тех людей из народа, которые выпячивают свое «низовое», но низовое это было социально сомнительно. Не менее сомнительна была Санжарь, бывшая горничная, напечатавшая повесть «Записки Анны». Она приходила не только к Блоку, но и к Леониду Андрееву, но с совсем не литературной целью. Она желала, ни более, ни менее, как иметь от него дитя, к удивлению самого Леонида Николаевича! Что же касается Клюева, то он был неизмеримо талантливее Карпова или Санжарь. Это был не малый талант из крестьян Олонецкой губ (ернии). Но вот что говорил мне о его сношениях с Блоком столь близкий ему С. Клычков, автор романа «Чертухинский балакирь».

— Вы думаете, Клюев поднялся к такому, как Блок, по парадной? Нет, не за того его принимаете. Блок же барин, дворянин, хотя и деклассированный. Клюев поднимется к нему черным ходом, в такой поддевочке, с такой иконописью в лице; произведет сперва впечатление на кухне и затем уже — как бы случайно, божьим произволением — в кабинет барина, где и обнаружатся его таланты. Теперь Влок обработан. Клюев «открыл ему глаза».

Это увлечение было недолго, кажется. Но в  $\langle \dots \rangle$  Блок не замечал этого, особенно по отношению к Клюеву, который убеждал его бросить город, книги, отряхнуть прах свой  $\langle ? \rangle$  от своего прошлого и пойти за ним в неизвестную даль, по следам Александра Добролюбова. 160

— Вся ведь ваша культура, ваши города — одна пустыня, — убеждал «смиренный Миколай». $^{161}$ 

А то некий пламень, пламень крови сметет все направления, все лагеря. Мудрено ли, если Мережковский писал после этого в своем фельетоне «Религия и балаган»: «Я не удивлюсь, если завтра Вяч. Иванов, Ал. Блок и прочие окажутся и вместе с Илиодором и Гермогеном».  $^{162}$ 

## VII

Наступила война, и мировые события покатились в неизвестность. По мере того как мы терпим поражение за поражением, и около трона подбирается такая клика, как Гр. Распутин, Сухомлинов, Белецкий, Протопопов, 163 чувство катастрофизма начинает проникать многих и многих вплоть до Пуришкевича и Шульгина. 164 Но едва ли в ком это предчувствие было столь неотступно, как в А. А. Блоке.

Казалось, события, с такой слепотой следовавшие одно за другим, нужны были для того, чтоб подхватить какой-то тон, который уже давно звучит в душе поэта, подытожить некую судьбу поэта, судьбу его лирической личности.

Приехал опять Чулков не то из Швейцарии, не то из Софии;<sup>165</sup> его война задержала за рубежом. Отношения с Блоком были у него уже дисгармоничные — не стало в них какого-то жизненного пульса. И Чулков говорил уже о нем недружелюбно.

- Не нашел ничего лучшего, ворчит он, как начать эти события участием в «Летописи». $^{166}$ 
  - «Летопись» недавно была организована Максимом Горьким.
- Что же тут предосудительного? отвечаю я. Сотрудничает же в «Летописи» В. Брюсов. $^{167}$ 
  - Ну, Брюсов...
  - Печатался же Блок в «Образовании», в сборниках «Знания»...
  - А известно вам, за что Л. Андреев вылетел из редакторов «Знания»?
  - За что?
  - За то, что стал печатать Блока в сборниках Горького. 168
  - Однако в «Летопись» пригласил его не кто иной, как сам Горький.
  - Вот то-то и оно-то. Значит, не взгляды Горького приблизились к взглядам

Блока, а наоборот: недаром Блок уже пишет, что если есть что «великое, обетованное» на Руси, то выразителем этого следует признать Максима Горького. 189

- В чем же?
- Очевидно. «Летопись» же единственный у нас журнал пораженческого направления. Вот и разберитесь: что он такое, этот неонародник из декадентов.
  - Пораженец?
  - Не пораженец. Но все же лишь в победе Германии он видит спасение России.
  - Он такого высокого мнения о Германии?
- Да. Лишь бы Германия победила, и Россия переродится в руках немцев.
   Потому-то он против союзников.
  - Не то что Бунин, Андреев, Сологуб.
  - Дело тут не в мнениях лишь.
  - В чем же еще?
  - Это и голос крови. Он же наполовину немец.
  - По отцу?
  - Да, дед его прибыл же из Северной Германии.
- Вы не думаете, что для него и Германия такая же лирическая величина, как и Россия? Иначе же воспринимать историю он не может.
- Пусть так. Все же он мечтает о том, чтобы немцы взяли нас под свою высокую руку.
  - Вы еще видаетесь с ним?
- Конечно. Он уверяет меня, что лишь после того станет возможно жить в России.

## Смерть

I

1916-й год, но, хотя стоял на дворе октябрь, был теплый день, и я очутился в Зоологическом саду. Помню, повернул я на дорожку к хищникам, посыпанную песком.

Вдруг вижу — из ночи туманной, Шатаясь, подходит ко мне Стареющий юноша (странно, Не снится ль мне это во сне?) Знаком этот образ печальный, И где-то я видел его...<sup>170</sup>

Блок... Я жму ему руку, и вспоминаю почему-то стихи, где он изображал свой собственный облик. Лицо какое-то непросветленное, в глазах — ущерб, но те же очертания рта, чувственные губы. Он стоит — и с ним В. А. Пяст<sup>171</sup> — против львицы цвета глины или песка.

- Вот спорим, говорит он мне. Сколько лет может прожить такая хищница в клетке.
  - Лет тридцать пять.
  - А на воле?
  - Вдвое. Лет семьдесят.

Он глядит за решетку, но мысли его как будто не здесь.

- Давно не встречал вас, говорю я.
- Давно, соглашается он.
- Немало воды утекло с тех пор.
- Вернее, крови.

Мы пошли в буфет. На фронте дела шли худо, и мы заговорили о событиях.

Я с первых слов почувствовал, как он разрушительно настроен. Пораженческих нот в его словах нет, как всегда скупых, хотя я не от одного Чулкова слышал о его германофильстве. Но было очевидно, что он ждет, каждым нервом ждет землетрясения, перемен, от которых сотрясется Россия.

Верит он, как прежде, в бунт, который сметет все. Что из этого получится — возрождение или гибель? Какое измерение ему может дать война? Какое измерение может дать ему революция?

Для этого нужно носить в себе близкое, у него же какие-то (...) думы. Его потрясает эмпирический мир, круговорот (...) он то и дело рвет ткань реализма. Он не может не слышать (?) эпохи ее обвалами и вьюгами. Но за историей у него слышатся (?) шумы тысячелетий, которые смотрят мраком своих глаз.

Самое интимное, самое важное для него все же не здесь, а глубже — в «снегу времен», который знают лишь одни поэты. И вот и эта война потрясает  $\langle ? \rangle$  его постольку, поскольку она обостряет его тяжбу, личную тяжбу с миром, лирический строй души.

«Ох, ветер, ветер, на всем божьем свете ветер!» «Плачет душа одинокая»... Я смотрю в его непросветленные черты, в чувственные губы его, и думаю: нет, обращение к конечному не стало переломом его созерцания. Мне ясно, почему-то ясно становится: за историей, за вселенной с ее звездной сыпью — не один его лирический бред, но здесь его гибель, личная гибель, которая его скоро, непременно скоро ждет.

TT

Таким пришел Блок и к революции, сначала Февральской, потом Октябрьской. От благополучия ничего не осталось у него уже не во внутреннем лишь, но и внешнем смысле этого слова.

Революция разнесла бесповоротно дворянство как класс, разбила все помещичьи остатки, которые еще «имели место около него», Блок сам испытал на себе эту разоренность. Его Шахматово разгромили и вместе с Шахматовым многое и многое, что ему было дорого. Откуда получать пищу? Лепешки из пшена, картофельные котлеты... Он тащит на спине пайки, дежурит у ворот, рубит дрова, которые таскает на верхний этаж. Все это ввергает его в голод и холод тех лет. Однако же революцию — и именно Октябрьскую — он принимает, как спасение, как праздник преображения, пронизанный ветром поэт.

Блок знал: в том кругу, к которому он принадлежал по рождению, по личным связям, он останется один. В самом деле, его (...) же исключили из тогдашнего Союза писателей. Я помню это собрание. Председательствовал С. А. Венгеров, который и (внес?) предложение об исключении поэта. Ни один голос не раздался в защиту его. Блок был исключен единогласно. 172 И вслед за тем его начали бойкотировать кругом. Ф. Ф. Зелинский потребовал удаления Блока из «Школы журнализма», где он состоял одним из лекторов. 173 Поэты отказывались выступать с ним на вечерах. Друзья демонстративно не здоровались с ним при встрече. Но что друзья? Он же сказал как-то:

Что же приятней на свете, Чем утрата лучших друзей?<sup>174</sup>

Но главное не в друзьях, не в Венгерове, не в Зелинском. Это же последняя ставка его на историю, на «жизни мышью беготню», 175 последняя попытка обойти холод и мрак, апокалиптическое чувство конца, отречься от декадентства. «Мировой пожар зажечь». Инстинкт, столь знакомый таким талантам с сорвавшимся разумом, диктует ему это преодоление сверхреального, обойти хаос, и вот он делает

последнюю попытку преодолеть свою гибель, вернуть себе разум, прилепиться к быту и событиям.

Вспоминаю вечер, посвященный В. Ф. Коммиссаржевской, в зале городской думы. 176 На трибуне — Блок. Он говорил там, еще в 1910 г.: «Бывают скрипки расстроенные и скрипки настроенные. Расстроенная скрипка всегда нарушает гармонию целого. Но не должно человеку плакать пьяными слезами, изрыгать богохуления, предаваться истерике, клянчить и нарушать визгливым воем своей расстроенной души важную торжественность мирового оркестра. И есть в мире люди, которые остаются сериозными и трагически-скорбными, когда все кругом летит в вихре безумия, — они смотрят сквозь тучи и говорят: там есть весна, там есть заря».\*

Ежели это так, то и Блок так же смотрел «сквозь тучи» и думал: там есть «весна», там есть «заря». Он делал попытку, последнюю попытку, сорвать с себя призраки бытия, прилепиться к быту и событиям. С какими, однако, масшта (ба)ми быта и событий вступает (он) в революцию?

## Ш

Вот что записывает в эти дни Блок. 178

«Я подал голос за социалистический блок с(оциалистов-)р(еволюционеров) с меньшевиками». «Почему я врал маме, что Либер и Дан — большевики? Оба — меньшевики». «Вообще, все правы — и кадеты правы, и Горький с двумя душами, и в большевиках есть страшная правда». И тут же: «Я борюсь, насколько могу, с жидами, дружу с евреями, прислушиваюсь к растущему антисемитизму». Далее: «я не умею бунтовать против ка-детов и с удовольствием почитываю иногда "Русскую свободу", которой прежде совсем не понимал». И тут же хлопоты о том, чтобы «осилить ничтожную кучку жидков». «Резко отличаются, конечно, евреи — они умны, нигилисты до конца ногтей, а некоторые заметно наглы».

Далее. «Я начинаю бояться за великую Россию». И тут же: «о сволочь, родимая сволочь! Почему учредилка? Ложь выборная». «Я нисколько не удивлюсь, если народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенция понять не может, начнет также спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов». «Наступит ли от этого порядок? Нет, если пролетариат будет иметь власть, то нам придется долго ждать "порядка", может быть, нам и не дождаться». Ведь «вот наша пьяненькая правда, — это о народе по его словам: глупый, озлобленный, корыстный, тупой, наглый»... И все-таки, все-таки «пусть будет у пролетариата власть».

Разберитесь, где здесь Ленин, где Пимен Карпов, о котором он писал свой «Пламень». «Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, книг, картин». Ясно, при таком багаже, за революцию можно ухватиться, лишь вообразив ее как-то по-своему. Блок заряжен огромным зарядом; он проявляет максимум революционности, на какую лишь способен в дни ликвидации дворянства, как класса. Но что, если это не так? если настоящая революция совсем не то, что входит в мозг и сердце поэта? Что, если это приснилось ему?

Недаром Георгий Чулков, теперь отошедший от Блока совсем, невесело, весьма невесело смотрит на будущее его.

- Блок не найдет здесь опоры, говорит он мне, не найдет защиты от самого себя.
  - Вы думаете?
- Конечно. Как лунатик, бредет он по узкому карнизу. Боюсь, его (...) последний день, роковой день.

<sup>\* «</sup>Ежегодник императорских театров». 1910 г. Вып. II. «Памяти В. Ф. Коммиссаржевской». 177

<sup>13</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

В самом деле, что, если перед революцией, с ее железной поступью он останется все тем же Новалисом, пропевшим песню морю огня, хотя (...) горело его собственное Шахматово? Тогда ставка его будет бита.

Последняя ставка поэта-барича. Он должен понять раз навсегда: дело не в истории. Дело в беде бытия. Последняя попытка обойти свою судьбу бита. «Апокалиптический» конец.

#### IV

После призыва ратников ополчения второго разряда — еще до революции — Блок был зачислен табельщиком в одну из инженерно-строительных дружин. 179 Тогда же на фронт уехал и я, и встретился с Блоком я лишь в Доме писателей на ул. Некрасова, позже в очередях Дома ученых, где мы проводили немало времени.

Рассказывая мне, как громили их Шахматово, старое пепелище Бекетовых — дико громили, — Блок уронил:

- Все крестьяне, с которыми были предобрые отношения. Но злого чувства у меня против них нет, Христос с ними.
  - Благословляете именем Христа, улыбнулся я.

Он помолчал, потом сказал:

- Говорят, я стал писать политические стихи.
- «Лвеналиать»?
- Как за границей ругают их!
- Вы же хотели дать изображение буйных, даже преступных со(лдат) и благословить их Христовым именем, сплести стихию с революцией.
  - Нет, написалось это без всякой мысли.

За Пряжкой, где он жил, шалили озорные пули. Уже шла ночь, между тем носились слухи, что Русь, разбойная Русь уже громит погреба (?). Поэт запер двери и стал глядеть в окно. И вдруг — из-под этой татарщины — мелькнуло что-то иное, некое преображение. Он написал.

— Не знаю сам, как это вылилось у меня. Только слепые могут видеть здесь политику.\*

*(...)* 

— Далее?

В своей молитве суеверной Ищу защиты у Христа, Но из-под маски лицемерной Смеются лживые уста. 180

— Не оттого ли «Двенадцать» не угодили ни тем, ни другим? 181 Блок молчал.

v

Чулков был прав. Блок принял Октябрьскую революцию как исход из личных тупиков тех <? >> восприятий, которые им владели всю жизнь. Как он временно <? >> 
(ни отталкивался от? >> романтики, мистики, все это отталкивание заливалось волной максимализма. Мистик он оказался мнимый, и все же он льнул к 
(мистике? >> и богослужениям. И все потому, что элементы реализма в нем были ничтожны <? >>> .
Многое увидел он в Октябрьской революции, но <... >>> не разглядел — подлинной революции.

<sup>\*</sup> Дальнейший текст (около 15 рукописных строк) связному прочтению не поддается (размытые чернила). (Ped.).

Чтобы принять революцию, нужно было понять (революцию в?) экономике, в задачах хозяйственного строительства. (Блок) был чужд этого. Ее железная логика не могла  $\langle \ldots \rangle$ \*

¹ Из стихотворения «Незнакомка» (1906; Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1961. Т. 2. С. 186. Далее ссылки на это издание даются с указанием номера тома римской цифрой и номера странипы — арабской).

<sup>2</sup> С прозаиком, поэтом, критиком Георгием Ивановичем Чулковым (1879—1939) Клейнборт был знаком со времени его приезда в Петербург — с 1904 года (в это время Чулков был секретарем журнала «Новый путь»). Сохранилось письмо Чулкова к Клейнборту от 30 декабря 1904 года, извещавшего: «К великой моей досаде, наша совместная встреча Нового года не состоится: Бердяев в Киеве, а я буду дома по своим личным делам» (ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 221). О взаимоотношениях Блока и Чулкова см.: Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 89—171 (письма Блока к Г. И. Чулкову со вступительной статьей «Александр Блок и его время» и примечаниями Г. Чулкова); Лит. наследство. 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 370—422 (Переписка Г. И. Чулкова с Блоком. Вступит. статья, публ. и коммент. А. В. Лаврова).

<sup>3</sup> Образ восходит к «Воспоминаниям об Александре Александровиче Блоке» (1921) Андрея Белого: «Мои сидения с А. А. и Л. Д. (Блок) в уютном кабинете А. А. на Петербургской стороне и наши беседы З. Н. (Гиппиус) называла тогда: "завиваться в пустоту", т. е. разговоры о "несказа́нном", "не уплотняемом" никаким решением, формулой, общественным или религиозным поступком» (Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1.

C. 299—300).

4 Клейнборт был студентом юридического факультета Петербургского университета с 1898 года, в январе 1901 года был «арестован по делу "Рабочей библиотеки". Просидел в Доме предварительного заключения год — с января 1901 по январь 1902 г.; после чего был выслан» (автобиография Клейнборта — ИРЛИ. Ф. 586. Ед. хр. 429. Л. 2—3). Блок учился на юридическом факультете с 1898-го по 1901 год.

<sup>5</sup> Цитаты из поэмы «Двенадцать» (III, 347) и стихотворения «Я пригвожден к трактирной

стойке...» (1908; III, 168).

6 На физико-математический факультет Петербургского университета Клейнборт поступил в 1896 году.

<sup>7</sup> Подробные сведения о гимназических и студенческих занятиях Блока см. в работах: *Кумпан К.А., Конечный А.М.* Александр Блок во Введенской гимназии // Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 597—619; *Иезуитова Л.А., Скворцова Н.В.* Александр Блок в Петербургском университете // Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1982. Т. IV. С. 52—86.

8 Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — юрист, профессор Петербургского университета. Блок отзывается о его лекциях в письмах к отцу от 18 октября 1898 года (VIII, 7) и 26 сентября 1900 года (Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. [Т. 1]. С. 56). В 1898—1899 учебном году Петражицкий читал курсы лекций «Энциклопедия права» и «История философии права» (см.: Иезуитова Л. А., Скворцова Н. В. Александр Блок в Петербургском университете. С. 82).

9 Далматов Василий Пантелеймонович (1852—1912) — драматический артист; играл в труппах Александринского театра и театра Литературно-Художественного общества (театр Суворина). Ср. мемуарное свидетельство Блока в статье «Памяти К. В. Бравича» (1912): «Я, студент-первокурсник — с трепетом жду в коридоре В. П. Далматова, который запишет меня на свой бенефис ⟨...⟩» (V, 470). Блок высоко оценивал исполнение Далматовым роли короля Лира в переписке с З. Н. Гиппиус (сентябрь 1902 года; см.: VIII, 45—46; Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Тарту, 1981. С. 130—131 (Учен. зап. Тартуск. ун-та. Вып. 535)). Об увлечении Блока Далматовым в пору окончания гимназии и первые университетские годы см. также: Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 255; Александре Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 97, 112 (воспоминания Г. П. Блока).

10 Контаминация цитат из дневниковой записи Блока от 30 (17) августа 1918 года (VII, 339,

11 Имеется в виду фрагмент из статьи Блока «Судьба Аполлона Григорьева» (1915): «Фет, которому родители вполне доверили Аполлона, был настоящим демоном-искусителем. Этот мудрец с мальчишества (...) был полною противоположностью неумелому и нелепому Аполлону» (V, 493).

12 Кауфман Илларион Игнатьевич (1847—1915) — экономист и статистик, профессор Петербургского университета; читал курс «Статистика» в 1899—1900 учебном году. Ср. строки «Ждет меня еще гроза: / Статистические числа, / Злые Кауфмана глаза...» из шуточного стихотворения

<sup>\*</sup> Окончание фразы прочтению не поддается. ( $Pe\partial$ .).

Блока «Права русского исторью...» (26 апреля 1901 года; I, 547), а также написанное им совместно с матерью стихотворение «И. И. Кауфману» (I, 555).

13 Профессора Петербургского университета Василий Иванович Сергеевич (1835—1911) и Николай Михайлович Коркунов (1853—1904). Курс лекций Сергеевича «История русского права до XVIII века» Блок слушал в 1898—1899 учебном году. Во время обучения Блока на юридическом факультете Коркунов в университете не преподавал; Блок изучал его книгу «Русское государственное право» (СПб., 1892—1893. Т. 1—2), ср. его признание в письме к А. В. Гиппиусу от 25 июня 1901 года: «А Коркунова я давно бросил, почуяв силу Мережковского и Флобера» (VIII, 18).

14 Цитата из статьи «Судьба Аполлона Григорьева» (V, 490).

 $^{15}$  Личное знакомство Блока с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус состоялось 26 марта 1902 года (см.: *Минц З. Г.* А. Блок в полемике с Мережковскими. С. 119—120).

16 Блок перешел с юридического на первый курс историко-филологического факультета Пе-

тербургского университета осенью 1901 года.

17 Профессора Петербургского университета историк Сергей Федорович Платонов (1860—1933), философ Александр Иванович Введенский (1856—1925), историк русской литературы Илья Александрович Шляпкин (1858—1918), филолог-классик Фаддей Францевич Зелинский (1859—1944), историк и археолог Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952). На историко-филологическом факультете Блок слушал лекции всех перечисленных профессоров, кроме Ростовцева (см.: Иезуитова Л. А., Скворцова Н. В. Александр Блок в Петербургском университете. С. 63—64, 69—70, 83—85).

18 Никольский Борис Владимирович (1870—1920) — юрист, приват-доцент Петербургского университета; поэт, критик, руководитель студенческого ∗Кружка изящной словесности∗ и редактор «Литературно-художественного сборника» (СПб., 1903) стихотворений студентов Петербургского университета, в котором состоялось одно из первых поэтических выступлений Блока. См.: Блок — участник студенческого сборника / Публ. В. И. Беззубова и С. Г. Исакова // Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 325—332; Иванова Е. В. Блок в Кружке изящной словесности Б. В. Никольского // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1991. С. 198—212.

- <sup>19</sup> Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919) историк, профессор Петербургского университета, проводивший рефератные вечера Беседы студентов Историко-филологического факультета. Блок участвовал в вечере 30 октября 1901 года, на котором был прочитан доклад Иванова-Разумника «О "декадентстве" в современном русском искусстве (см.: *Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 22—24 (далее: ЗК); Лит. наследство. 1981. Т. 92. Кн. 2. С. 367—368).
  - 20 См.: Никольский Б. В. Сборник стихотворений. СПб., 1899.

<sup>21</sup> См. об этом: Самойлович А. В. Пушкинист Б. В. Никольский (по личным воспоминаниям) // Парфенон. Пб., 1922. Сб. 1. С. 53—54.

22 Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — юрист, литературный критик, публицист; один из руководителей и постоянных авторов журнала «Вестник Европы» со времени его возникновения в 1866 году.

23 Факультативный курс «Политические идеалы в лирике Пушкина» Никольский читал в Петербургском университете в 1901—1902 годах (см.: Блок — участник студенческого сборника. С. 327)

24 Гиппиус Александр Васильевич (1878—1942) — юрист и поэт-дилетант, один из ближайших друзей молодого Блока (см.: Переписка Блока с А. В. Гиппиусом / Предисл., публ. и коммент. В. В. Бузник, Л. К. Долгополова и В. А. Шошина // Лит. наследство. 1980. Т. 92. Кн. 1. С. 414—457). Кондратьев Александр Алексеевич (1876—1967) — прозаик и поэт, товарищ Блока по юридическому факультету (см.: Письма А. А. Кондратьева к Блоку / Предисл., публ. и коммент. Р. Д. Тименчика // Там же. С. 552—562). Семенов Леонид Дмитриевич (Семенов-Тян-Шанский; 1880—1917) — поэт, драматург, прозаик; товарищ Блока по историко-филологическому факультету. Фридберг Дмитрий Наумович (1883—1961) — поэт, товарищ Блока по историко-филологическому факультету. См.: Иезуитова Л. А., Скворцова Н. В. Александр Блок в Петербургском университете. С. 66—68.

 $^{25}$  Об  $^{
m 25}$ ом несостоявшемся докладе, намеченном на конец января 1904 года, см.: Ивано-

ва Е. В. Блок в Кружке изящной словесности Б. В. Никольского. С. 204—205.

<sup>26</sup> Документальных сведений о докладе Блока в кружке Никольского не выявлено; возможно, что мемуарист в данном случае допустил аберрацию, имея в виду заседание Кружка 13 декабря 1904 года, на котором были прочитаны доклады ∢"Стихи о Прекрасной Даме" Александра Блока С. Городецкого и ∢Вечная подруга Соловьева и Прекрасная Дама Ал. Блока А. А. Кондратьева. См.: Там же. С. 208.

27 Поляков Виктор Лазаревич (1881—1906) — поэт, студент юридического факультета; посмертно был издан его сборник «Стихотворения» (СПб., 1909), на который Блок откликнулся в

статье «Противоречия» (1910; V, 411-412).

28 Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — студент историко-филологического факультета; впоследствии — видный философ, историк, прозаик. Стихотворение «Иллюзии... Мечты», опубликованное в «Литературно-художественном сборнике» студентов Петербургского университета, — его литературный дебют.

29 Три упомянутых стихотворения Блока были напечатаны в «Литературно-художественном сборнике» (С. 7—9; первая строка третьего стихотворения в окончательном тексте — «Видно, дни золотые пришли...»). Из стихотворения «Ранний час. В пути незрима...» (1901; I, 128) Никольский при публикации изъял последнюю строфу.

30 Под редакцией Б. В. Никольского вышло в свет Полное собрание стихотворений

А. А. Фета в трех томах (СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1901; изд. 2-е — СПб., 1910).

31 Первые строки стихотворения Блока (август 1905 года; II, 81).

32 Из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

33 Неточные цитаты из письма В. Г. Белинского к М. А. Бакунину от 20—21 июня 1838 года (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 11. С. 247), целиком приведенного в работе А. А. Корнилова «Семейство Бакуниных (По неизданным материалам)» (Русская мысль. 1913. № 4. Отд. II. С. 74). В оригинале: «по выражению Гоголя» (а не Гегеля — как в тексте Клейнборта).

34 О восприятии Блоком творчества Вл. Соловьева см.: *Максимов Д*. Ал. Блок и Вл. Соловьев (По материалам из библиотеки Ал. Блока) // Творчество писателя и литературный процесс. Ива-

ново, 1981. С. 115—189.

35 Литературно-критическое и философское исследование Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» было опубликовано в журнале «Мир искусства» в 1900—1902 годах; отд. изд. —

СПб., 1901—1902. Т. 1—2.

36 Сведения об отношении обер-прокурора Синода, ведущего государственного деятеля Константина Петровича Победоносцева (1827—1907) к Соловьеву, возможно, восходят к «Биографии Владимира Сергеевича Соловьева «, составленной С. М. Соловьевым: «, Три разговора" и "Повесть об антихристе" примирили с Соловьевым православную дерковь. Даже его упорный гонитель Победоносцев был в восторге « (Соловьев Вл. Стихотворения. Изд. 7-е. Под ред. и с предисл. С. М. Соловьева М., 1921. С. 45).

37 См. отклик Вл. Соловьева на это письмо — послание студентам Московского университета, гг. X, Y, Z и т. д. (Соловьев Вл. Письма. Пб., 1923. [Т. 4]. С. 143—144). Лекцию о конце всемирной истории Соловьев прочел в Петербурге в начале марта 1900 года (см.: Соловьев С. М. Жизнь

и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 395—396).

<sup>38</sup> Подразумевается крушение царского поезда у станции Борки (1888), при котором императорская семья не пострадала. Клейнборт здесь, по всей вероятности, ошибается: никакого поэтического отклика Вл. Соловьева на это событие в изданиях его стихотворений не имеется.

<sup>39</sup> См. прим. 26.

40 Оценки поэзии Блока из рецензии З. Н. Гиппиус на «Стихи о Прекрасной Даме» (Новый путь. 1904. № 12. С. 278—279; подпись: Х); цитируется в статье Г. Чулкова «Александр Блок и его время» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 104).

41 «Впереді без страха и сомненья...» — первая строка из стихотворения А. Н. Плещеева (1846), которое пользовалось в революционно-демократической среде широчайшей популяр-

ностью.

<sup>42</sup> Граф Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913) — поэт. Славянофильским настроением был проникнут в особенности его сборник «Стихотворения» (СПб., 1884).

43 Бороздин Александр Корнилиевич (1863—1918) — историк русской литературы, профессор (с 1901 года) историко-филологического факультета Петербургского университета. Блок слу-

шал его курс «Русская литература эпохи Александра I» в 1903—1904 учебном году.

44 Художник Иван Яковлевич Билибин (1876—1942) учился на юридическом факультете Петербургского университета в 1896—1900 годах. Живописец и график Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов (1873—1954) учился в Академии художеств (с 1895 года) у И. Е. Репина. Эдуард

Александрович Старк (псевдоним — Зигфрид; 1874—1942) — театральный критик.

45 Евлахов Александр Михайлович (1880—1966) — историк и теоретик литературы, литературный критик. Максимов Владислав Евгеньевич (псевдоним — Евгеньев-Максимов; 1883—1955) — историк русской литературы. Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, литературовед-пушкинист, редактор журнала «Былое». В. Львов-Рогачевский (наст. имя — Василий Львович Рогачевский; 1874—1930) — литературный критик, литературовед; член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» с 1898 года, позднее — меньшевик. Иванов-Разумник (наст. имя — Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) — критик, публицист, историк русской литературы; идеолог «неонародничества». Иорданский Николай Иванович (1876—1928) — журналист, публицист; член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» с 1899 года; вместе с Клейнбортом деятельно сотрудничал в журналах «Образование» и «Мир Божий». Савинков Борис Викторович (лит. псевдоним — В. Ропшин; 1879—1925) — член социал-демократической группы «Рабочее знамя», с 1903 года — член партии эсеров, участник ее Боевой организации.

46 Андрей Николаевич Бекетов (1825—1902) был выборным ректором Петербургского уни-

верситета в 1876—1884 годах; в 1897 году его разбил паралич.

<sup>47</sup> Имеются в виду А. Н. Бекетов и его брат, химик и физик, академик Николай Николаевич Бекетов (1827—1911).

<sup>48</sup> Бабушка Блока Елизавета Григорьевна Бекетова (1834—1902), переводчица многочисленных произведений западноевропейской и американской классической литературы.

49 Эти сведения почерпнуты мемуаристом из «Автобиографии» (1915) Блока (см.: VII, 10—11).

50 О студенческой забастовке, начавшейся в Петербургском университете 9 февраля 1899 года, см.: *Чертков В.* Русские студенты в освободительном движении. М., 1907. С. 12; *Ушаков А. В.* Революционное движение демократической интеллигенции в России: 1895—1904. М., 1976. С. 133—134.

51 Георгиевский Павел Иванович (1857—?) — политико-эконом, профессор Петербургского университета. Блок слушал его лекционный курс «Политэкономия» в 1898—1899 учебном году. В письме к отцу от 18 октября 1898 года Блок отмечал, что Георгиевский читает «ровно и очень недурно» (VIII, 7).

52 Исаев Андрей Алексеевич (1851—1924) — экономист народнического направления, статистик и социолог. Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — историк, экономист,

представитель «легального марксизма».

53 Ср. детальное освещение этого эпизода в ретроспективной дневниковой записи Блока от

30(17) августа 1918 года (VII, 340—341).

 $^{54}$  Кублицкий-Пиоттух Франц Феликсович (1860—1920) — гвардейский офицер. О политических убеждениях его и матери Блока, Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух, в 1890-е годы свидетельствует М. А. Бекетова: «Под влиянием мужа Ал. Андр. сделалась одно время настоящей монархисткой. Она благодушно относилась к Александру III  $\langle \dots \rangle$ , Николая II прямотаки полюбила, как любили его все военные, в особенности гвардейцы» (Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 315).

55 Сокращенная цитата из письма к С. А. Кублицкой-Пиоттух от 27 ноября 1901 года (Письма Александра Блока к родным. [Т. 1]. С. 69—70). Ванновский Петр Семенович (1822—1904) — генерал, военный министр в 1881—1897 годах, министр народного просвещения в 1901—1902

годах.

56 Имеются в виду публикации циклов стихотворений Блока «Из посвящений» (Новый путь. 1903. № 3), «Стихи о Прекрасной Даме» (Северные цветы: 3-й альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903) и отдельных стихотворений в «Новом пути» (1904. № 6, 11) и «Ежемесяч-

ном журнале для всех (1904. № 1, 4, 5).

57 Об этих отзывах см.: Скворцова Н. В. Раннее творчество Блока в оценке критиков и современников (1902—1905) // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1987. С. 127—128. Об анонимном отзыве на первую публикацию в «Новом пути» стихотворений Блока, помещенном в газете «Знамя» (1903. 24 марта. № 79. С. 2) и включавшем тексты двух его стихотворений — «Я к людям не выйду навстречу...» и «Царица смотрела заставки...», — упоминает сам Блок в письме к отцу от 4 апреля (Великая Пятница) 1903 года (Письма Александра Блока к родным. [Т. 1]. С. 83; в примечаниях М. А. Бекетовой (С. 319) приводится в сокращении цитата из этого отзыва, дословно воспроизводимая Клейнбортом). «Генрих Блок» — петербургская банкирская филма

<sup>58</sup> Министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853—1902) был убит 2 апреля 1902 года эсером С. В. Балмашевым, сменивший его на этом посту Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904), шеф отдельного корпуса жандармов, был убит 15 июля 1904 года эсером

Е. С. Созоновым.

<sup>59</sup> О преобразовании журнала «Новый путь» (1903—1904) в «Вопросы жизни» (1905) см.: Корецкая И. В. «Новый путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX—начала XX века. 1890—1904: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 228—233.

60 Сосланный в 1902 году в Якутию (улус Амга) за участие в нелегальной деятельности и связь с социал-демократической партией, Чулков провел там около года, после чего был освобожден по амнистии и в дальнейшем жил под гласным надзором полиции в Нижнем Новгороде; в Петербурге обосновался весной 1904 года.

 $^{61}$  Подробнее об этом см. в кн.:  $Чулков \Gamma$ . Годы странствий: Из книги воспоминаний. М.,

1930. C. 51-61.

 $^{62}$  Первый сборник стихов и прозы Г. Чулкова «Кремнистый путь» вышел в московском издательстве В. М. Саблина в 1904 году.

63 «Сочинения» Чулкова в шести томах были выпущены в свет петербургским издательством

«Шиповник» в 1911—1912 годах.

64 Три альманаха «Факелы» были изданы в Петербурге в 1906—1908 годах; Л. И. Шестов и религиозный философ и публицист Александр Александрович Мейер (1875—1939) участвовали во втором, теоретико-философском выпуске «Факелов» (СПб., 1907).

65 Цитируется статья Д. В. Философова «Мистический анархизм. Декадентство, общественность и мистический анархизм» (Золотое руно. 1906. № 10. С. 59).

66 Контаминация цитат из статьи З. Н. Гиппиус «Все против всех» (1905). См.: Антон Крайний [Гиппиус З.]. Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908. С. 322, 323.

67 Видимо, Летний сад и театр «Буфф» (Фонтанка, 114).

68 Сведения восходят к биографическому очерку «Александр Блок» (1922) М. А. Бекетовой: «17-е октября и дни всеобщего ликования Ал. Ал. переживал сильно. Он участвовал даже в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чувствуя себя заодно с толпой» (*Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 72).

69 Контаминация сокращенных цитат из письма Блока к отцу от 30 декабря 1905 года (VIII.

144, 145).

70 Имеется в виду «письмо в редакцию», опубликованное в «Весах» (1907. № 8), в котором Блок заявлял, что не имеет ничего общего с «мистическим анархизмом» (V, 675—676, 789—790; см. также: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 400—402).

71 Цитаты из недатированного письма Блока Чулкову (1906). См.: Письма Александра

Блока. С. 134.

72 Роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» печатался в 1905 году в «Вопросах жизни» (№ 6—11); публикация не была завершена в связи с прекращением журнала.

73 Пересказ и контаминация цитат из статьи «Тайна любви» (Чулков Г. Соч. СПб., 1912. Т. 5.

Статьи 1905—1911 гг. С. 207—216).

74 Отклики на статью Чулкова «Поэзия Владимира Соловьева» последовали за ее первой публикацией в «Вопросах жизни» (1905. № 4/5), сам Чулков перечисляет их в примечаниях к адресованным ему письмам Блока (Письма Александра Блока. С. 154—155). См. обзор этих отзывов: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 396.

75 Это письмо Блока (от 23 июня 1905 года) опубликовано в кн.: Письма Александра Блока. С. 125—129; см. также: VIII, 126—129.

76 Первые строки стихотворения Блока (1901; І, 94).

- $^{77}$  Приводится полный текст стихотворения (ию́нь 1905 года), посвященного  $\Gamma$ . Чулкову (II, 65).
- 78 См. обзор критических выступлений Б. А. Садовского против Белинского и его последователей (Весы. 1905. № 9/10. С. 75; 1904. № 9. С. 63—64; 1905. № 4. С. 55) в статье: *Азадовский К. М., Максимов Д. Е.* Брюсов и «Весы» (К истории издания) // Лит. наследство. 1976. Т. 85. С. 297.
- <sup>79</sup> Поэт Константин Михайлович Фофанов (1862—1911), страдавший с 1880-х годов наследственным хроническим алкоголизмом, перенес на этой почве тяжелое психическое заболевание.

80 Неточные цитаты из статьи Блока «Судьба Аполлона Григорьева» (V, 498).

81 Цитаты из той же статьи (V, 491, 493).

82 Личное знакомство Блока и Л. Н. Андреева состоялось, видимо, 15 сентября 1907 года, последующие взаимоотношения между ними приходятся главным образом на 1907—1908 годы (см.: Беззибов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 228—239).

83 «"Аполло" — петербургский кафе-шантан, где Блок и Чулков встречались за бутылкой вина», — поясняет Чулков в примечании к адресованному ему письму Блока от 11 апреля 1907 года (Письма Александра Блока. С. 163). Адрес театра-концерта «Аполло» — Фонтанка, 13.

84 Возможно, речь идет о вечере 11 апреля 1907 года; Чулков в этот день отправил Блоку письмо с приглашением в «Аполло» (см.: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 399); Блок тогда же ответил: «В "Аполло" не хочется, да и не могу. Голова болит» (Письма Александра Блока. С. 138).

85 От étoile — звезда (фр.).

86 Образ восходит к популярному французскому водевилю «Дама от Максима» («La dame de

chez Maxime», 1899) Жоржа Фейдо.

87 Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921) — литературный критик, прозаик, поэтпародист. Сборник его пародий «Кривое зеркало» вышел в 1908 году (изд. 4-е — СПб., 1914). См.: Русская литература XX века в зеркале пародии / Сост., вступит. статья, коммент. О. Б. Кушлиной. М., 1993. С. 126—136.

88 Цитата из пародийного стихотворения Измайлова «Луна в белом чепчике с узором...», впервые опубликованного в газете «Свободные мысли» (1907. 28 мая. № 2). См.: Русская стихотворная пародия (XVIII—начало XX в.). Л., 1960. С. 634—635, 812 (Б-ка поэта. Большая сер.; примеч. А. А. Морозова).

89 Цитата из пародийного стихотворения Измайлова «Истомных сред моих яд чарый пролияв...», впервые опубликованного в том же номере газеты «Свободные мысли». См.: Русская

стихотворная пародия (XVIII—начало XX в.). С. 640—641, 814.

90 Стихотворение «Пауки» (1903), входящее в книгу З. Н. Гиппиус «Собрание стихов. 1889—1903» (М., 1904), цитируется в сокращении и с неточностями. См.: Гиппиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Л., 1991. С. 114—115.

91 Этот слух, по всей вероятности, лишен реальных оснований.

92 Имеется в виду «Собрание стихов. 1889—1903».

93 Цитируется статья Н. К. Михайловского «Г-жа Гиппиус и "ступени к новой красоте"» (впервые: Русское богатство. 1896. № 3; *Михайловский Н. К.* Отклики. СПб., 1904. Т. 1. С. 320).

<sup>94</sup> А. Л. Волынскому был посвящен сборник З. Н. Гиппиус «Новые люди. Рассказы» (СПб., 1896); во втором издании сборника (СПб., 1907) посвящение снято.

95 См.: Волынский А. Л. Борьба за идеализм: Критические статьи. СПб., 1900. С. 399—400.

96 Цитата из стихотворения «До дна» (1901). См.: Гиппиус З. Н. Сочинения. С. 85.

97 Острогорский Александр Яковлевич (1868—1908) — педагог, редактор-издатель журнала «Образование» (в котором Клейнборт был членом редакции с 1904 года). Об изменении ориента-

ции журнала с 1907 года, связанном с появлением в числе его редакторов М. П. Арцыбашева, см.: *Ермаков А. Ф.* «Образование» // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905— 1917: Большевистские и общедемократические издания. М., 1984. С. 115—117.

98 Г. Галина (Глафира Адольфовна Ринкс; 1870—1942) — поэтесса, детская писательница; в 1900-е годы постоянно печаталась в журналах «Образование», «Мир Божий», «Журнал для всех» и др.

- 99 Лукьянов Александр Александрович (1871—1942) поэт из круга «Знания», регулярно печатавшийся в «Образовании». Василевский Илья Маркович (псевдоним — Не-Буква; 1882— 1938) — фельетонист, журналист, литературный критик; издатель «Образования» с июля 1908 по август 1909 года.
  - 100 Неточно приводится знаменитое однострочное стихотворение В. Брюсова (1894).

101 Ср. высокую оценку поэзии И. А. Бунина в статье Блока «О лирике» (июнь—июль

1907 года; V, 141-144).

102 Первая публикация Блока в «Образовании» — стихотворение «Балаган» («Над черной слякотью дороги...»), напечатанное под редакционным заглавием «На пути» (1907. № 3). О сотрудничестве Блока в «Образовании» см.: Лавров А. В. Блок и Арцыбашев // Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сборник VIII. Тарту. 1988. С. 54—56 (Учен. зап. Тартуск. ун-та, Вып. 813).

103 Из стихотворения Блока «Черный ворон в сумраке снежном...» (1910), входящего в цикл

«Три послания» (III, 162).

104 Премьера «Жизни Человека» Л. Н. Андреева в постановке В. Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Коммиссаржевской состоялась 22 февраля 1907 года. Высокую оценку этому спектаклю Блок дал в статье «О драме» (август—сентябрь 1907 года; V, 190—194).

105 3 мая 1908 года Блок сообщал матери: «Завтра читаю "Песню Судьбы" у Чулковых. Будут слушать: Л. Андреев с женой (...)» (Письма Александра Блока к родным. [Т. 1]. С. 211; VIII, 240).

106 Башкин Василий Васильевич (1880—1909) — поэт, прозаик. Его повесть «Красные маки»

была напечатана в № 10 и 11 «Образования» за 1907 год.

107 Базаров Владимир Александрович (наст. фам. — Руднев; 1874—1939) — философ, экономист, критик, публицист; с 1904 года — большевик. Богданов Александр Александрович (наст. фам. — Малиновский; 1873—1928) — ученый, публицист, с 1903 года — большевик. П. Орловский — псевдоним Вацлава Вацлавовича Воровского (1871—1923), публициста и литературного критика, большевика с 1903 года.

108 Сергей Кречетов (наст. фам. — Соколов; 1878—1936) — поэт, критик, владелец символист-

ского издательства «Гриф».

109 Соловьев Евгений Андреевич (псевдоним — Андреевич; 1867—1905) — литературный критик, историк литературы; ведущий сотрудник журнала «Жизнь». Богданович Ангел Иванович (псевдоним — А. Б.; 1860—1907) — критик, публицист; фактический редактор и ведущий сотрудник журнала «Мир Божий». М. Неведомский (наст. имя — Михаил Петрович Миклашевский; 1866—1943) — публицист, литературный критик, постоянный сотрудник журналов «Мир Божий», «Современный мир»; меньшевик.

110 Впервые одиннадцать стихотворений из цикла «Александрийские песни» были опубликованы в «Весах» (1906. № 7), четыре стихотворения — в сборнике «Корабли» (М., 1907), остальные стихотворения, включенные в цикл, впервые были напечатаны в первой книге стихов М. Кузмина «Сети» (М., 1908), в которую «Александрийские песни» вощли в полном составе.

111 «Крыльям» Кузмина был отведен отдельный номер журнала «Весы» (1906. № 11); в 1907 году «Крылья» были напечатаны отдельным изданием. Произведение это вызвало скан-

дальный эффект в литературной среде.

112 Из стихотворения «Туманный день пройдет уныло...», входящего в цикл «Обманщик обманувшийся» книги «Сети» (см.: Кузмин М. Избр. произведения. Л., 1990. С. 44).

113 Цитата из статьи З. Н. Гиппиус (Антона Крайнего) «Братская могила» (Весы. 1907. № 7. C. 60).

<sup>114</sup> Цитата из пародийного стихотворения А. А. Измайлова «Ах, любовь минувшего лета...» (см.: Русская литература XX века в зеркале пародии. С. 134).

115 «Сладость губ мужских и усатых!» — строка из того же стихотворения.

116 Рассказ Г. Чулкова «Парадиз» был опубликован в № 7 «Образования» за 1908 год; в сборнике Чулкова «Рассказы» (СПб., 1909) напечатан с посвящением: «Александру Блоку»; с тем же посвящением перепечатан в т. 1 «Сочинений» Чулкова (СПб., [1911]. С. 187—206). Далее в тексте — частично пересказ, частично монтаж цитат из этого рассказа. У Чулкова фамилия одного из героев — Герт (а не Гердт, как в пересказе Клейнборта).

 $^{117}$  Фрагмент из стихотворения «И я любил. И я изведал...» (30 марта 1908 года; III, 160, 555) в первоначальной редакции, опубликованной в «Образовании» (1908. № 7. Отд. І. С. 48) под заглавием «Анархист»; при воспроизведении текста каждые две стихотворные строки объедине-

ны в одну.

118 Шуточный экспромт Блока (май 1908 года; III, 363), приведенный в статье Г. Чулкова «Александр Блок и его время» (Письма Александра Блока. С. 117).

119 Первая строфа стихотворения Блока, написанного 26 октября 1908 года (ІІІ, 168).

120 Премьера «Балаганчика» Блока в постановке В. Э. Мейерхольда состоялась в театре В. Ф. Коммиссаржевской 30 декабря 1906 года (музыка М. А. Кузмина, декорации Н. Н. Сапунова).

 $^{121}$  Художник Николай Николаевич Сапунов (1880—1912) утонул 15 июня 1912 года в Фин-

ском заливе близ Териок.

122 Подробнее об этом см.: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 372—374. Свою интерпретацию постановки «Балаганчика» Чулков дал в отзыве на премьеру (Товарищ. 1907. 1 янв. № 154; подпись: Tch.), а также в статьях «О новом театре (По поводу новых постановок в театре В. Ф. Коммиссаржевской) (Молодая жизнь. 1906. 27 дек. № 4), «"Балаганчик". По поводу постановки пьесы Блока в театре В. Ф. Коммиссаржевской» (Перевал. 1907. № 4).

123 Первая строка стихотворения «Обреченный» из цикла Блока «Снежная Маска» (1907; II, 249).

124 Фрагмент строки «Я всех забыл, кого любил...» стихотворения «Сердце предано метели» из цикла «Снежная Маска» (II, 251).

125 Реминисценции из стихотворения Блока «На островах» (1909; III, 20).

126 Последняя книжка журнала «Образование» вышла в мае 1909 года.

127 После приостановления в сентябре 1906 года в административном порядке журнала «Мир Божий» издание было возобновлено в октябре того же года под новым названием «Современный мир». См.: Скворцова Л. А. «Современный мир» // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905—1917: Большевистские и общедемократические издания. С. 118—120.

128 Имеются в виду заграничные поездки Блока и Чулкова летом 1911 года (см.: Лит. наслед-

ство. Т. 92. Кн. 4. С. 415-416).

 $^{129}$  О своем возвращении в Петербург Чулков сообщил в Париж в письме от 22 августа (ст. ст.) 1911 года (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 480).

130 Так назывался Литейный проспект в 1918—1944 годах.

131 Вероятно, Чулков подразумевал свои статьи «Memento mori» (Речь. 1908. 22 дек. № 315) и «Лицом к лицу» (Золотое руно. 1909. № 1), полемически направленные против доклада Блока о России и интеллигенции. См.: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 383—384.

132 Приводимый текст восходит не к дневнику Блока, а к его письму к матери от 21 февраля 1911 года; фразы из письма цитируются неточно и в сокращении (см.: Письма Александра Блока к родным. М.; Л., 1932. Т. 2. С. 124, 125—126; VIII, 331, 332) — возможно, по публикации фрагментов письма в биографическом очерке М. А. Бекетовой «Александр Блок» (1922; ср.: Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 102—103).

133 Ошибочное утверждение: в сборниках товарищества «Знание» Блок не участвовал.

 $^{134}$  Цитаты из стихотворения «Незнакомка» (1906; II, 185-186).

135 Неточные цитаты из письма Блока к Андрею Белому от 3 января 1903 года (VIII, 51); письмо приведено Белым в его «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» (Записки мечтателей. 1922. № 6). Подробнее о блоковской «немузыкальности» см.: Хопрова Т. Музыка в жизни и творчестве А. Блока. Л., 1974. С. 5-7.

136 Неточные цитаты из статьи «Литературные итоги 1907 года» (ноябрь—декабрь 1907 года;

V, 210, 211).

137 Искаженная цитата из статьи «О реалистах» (май—июнь 1907 года); в оригинале: «Мучительно слушать, когда каждую крупицу индивидуального, прекрасного, сильного Мережковский готов за последние годы свести на "хлестаковщину," "мещанство" и "великого хама" (V, 101— 102).

138 Имеется в виду характеристика Горького из той же статьи (V, 103).

139 Об отношениях Блока с Н. А. Клюевым, завязавшихся осенью 1907 года, см.: Письма Н. А. Клюева к Блоку / Вступит. статья, публ. и коммент. К. М. Азадовского // Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 427—523.

140 Карпов Пимен Иванович (1887—1963) — поэт, прозаик; родом из крестьянской среды (см.: Блок и П. И. Карпов / Вступит. статья, публ. и коммент. К. М. Азадовского // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1991. С. 234—280). Санжарь Надежда Дмитриевна (1875— 1933) — писательница, автор повести «Записки Анны» (1910); дочь крестьянина и донской казачки, горничная, работница модных мастерских. См. публикацию писем Н. Д. Санжарь к Блоку, подготовленную А. Е. Заблоцкой (Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. Вып. 7). Произведения Карпова и Санжарь Клейнборт подробно рассматривает в своих «Очерках народной литературы (1880—1923 гг.). (Л., 1924. С. 56—83), там же он, в частности, отмечает, что каждая из книг Карпова, Санжарь и Мих. Сивачева «закатывает "пощечину" культуре» (С. 56). В той же книге Клейнборт сочувственно цитирует заключительные фразы статьи Блока «Пламень» (1913), в которой на основании анализа одноименного романа Карпова делается вывод о важности этого произведения для «познания России», которая, «вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной» (V, 486). Опираясь на суждения Блока, Клейнборт делает собственный вывод о творчестве трех писателей «из народа»: «Исходя из личных отношений, каждый пишет обвинительный акт, и обвинения злы, беря за одну скобку и революционера, и либерала, и дамочку-кокетку...  $\langle ... \rangle$  Потерпев неудачу в попытке попасть в верхи, каждый выпячивает свое низовое. Но что могут противопоставить Сивачев, Карпов, Санжарь? В то время как рабочий индустриальный противопоставляет свою печать, свое классовое лицо, наши беллетристы не могут выйти из этой пустой "розни интеллигенции и народа". Оттого и злоба их лишена идейной базы. Будь Карповы — единицы, в этом опасности бы не было. Но тонок у нас слой фабричной интеллигенции; толст слой, из которого пришли к нам Сивачевы... Вот почему так пророчески прав покойный Блок» (Клейнборт Л. М. Очерки народной литературы. С. 83).

141 Контаминация цитат из предисловия к неоконченной книге «Молнии искусства» (1909) и

статьи «Народ и интеллигенция» (1908; V, 385, 328, 388).

142 Неточная цитата из статьи «Литературные итоги 1907 года» (V, 211).

143 Контаминация цитат из статьи «Судьба Аполлона Григорьева» (V, 513, 488—491). Обыгрываются первые строки предсмертного стихотворения Н. А. Добролюбова (1861): «Милый друг, я умираю/Оттого, что был я честен».

144 Контаминация неточных цитат из той же статьи (V, 511, 509, 490).

145 Премьера «Незнакомки» Блока (вместе с «Балаганчиком») в постановке В. Э. Мейерхольда (сорежиссер и художник — Ю. М. Бонди) состоялась в зале Тенишевского училища 7 апреля 1914 года (спектакль был осуществлен силами Студии Вс. Мейерхольда, композитор — М. А. Кузмин).

<sup>146</sup> Комедия М. Кузмина «Венецианские безумцы» вышла в свет отдельным изданием в Москве в 1915 году. В «Обозрении театров» сообщение, о котором говорит Клейнборт, не обнаружено. О несостоявшемся спектакле (намеченном на 27 марта 1914 года) см. комментарий А. Ти-

мофеева в кн.: Кузмин М. Театр. Т. IV. Berkeley, 1994. С. 330.

<sup>147</sup> Вероятно, имеется в виду вечер искусств, состоявшийся в Петербурге 23 апреля 1908 года в Зале Павловой; в программу входили «Куранты любви» Кузмина в исполнении артистов Старинного театра. См.: Речь. 1908. 20 апр. № 94; 25 апр. № 98; Лит. наследство. 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 325.

148 Доклад о России и интеллигенции Блок (по приглашению С. А. Венгерова) повторил в Литературном обществе 12 декабря 1908 года (под названием ∗Обожествление народа в литературе∗, которое было дано Венгеровым); председательствовал на заседании В. Г. Короленко. 22 декабря Блок зафиксировал в записной книжке сведения о прениях по докладу (ЗК, 124—126).

149 Из стихотворения «Посещение» (1910; III, 262).

150 Неточная цитата из стихотворения «Дикий ветер...» (1916; III, 279).

151 Контаминация цитат из статьи «Безвременье» (1906; V, 70—71).

152 Рейснер Михаил Андреевич (1868—1928) — юрист, публицист, профессор Петербургского университета. Столпнер Борис Григорьевич (1871—1967) — философ, социолог, переводчик на русский язык произведений Гегеля и других мыслителей.

153 Анненский Николай Федорович (1843—1912) — публицист, экономист, общественный деятель; член редакции журнала «Русское богатство». Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк русской литературы и общественной мысли, библиограф. Ход дискуссии по докладу Блок осветил в письме к матери от 14 декабря 1908 года (VIII, 268—269).

154 Неточная цитата из статьи «Народ и интеллигенция» (V, 328).

155 Цитата из первой главы поэмы «Возмездие» (III, 306).

<sup>156</sup> Имеется в виду статья 5-я «Фабрично-заводские поэты» из цикла «Очерки рабочей демок-

ратии Уклейнборта (Современный мир. 1913. № 11. С. 168—190).

157 Книга П. И. Карпова «Говор зорь. Страницы о народе и "интеллигенции" « (СПб., [1909]) сохранилась в библиотеке Блока, имеет его многочисленные пометы и подчеркивания (см.: Библиотека А. А. Блока: Описание / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина. Л., 1985. Кн. 2. С. 16—23).

158 Ср. оценки поэзии Клюева в статье С. Городецкого «Незакатное пламя» (Голос земли.

1912. 10 февр. № 30; *Азадовский К.* Николай Клюев: Путь поэта. Л., 1990. С. 107—108).

159 О том, что Н. Д. Санжарь обращалась с таким предложением не только к Л. Н. Андрееву, но также к Вяч. Иванову и А. Блоку, свидетельствует в мемуарном очерке «Встречи» В. Е. Беклемишева (см.: Книги. Архивы. Автографы. М., 1973. С. 53; в тексте Санжарь фигурирует как «молодая писательница N»). Подробнее см.: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 122—123 (комментарий А. Е. Парниса); Лица. Вып. 7. С. 82—83 (вступит. статья А. Е. Заблоцкий).

<sup>160</sup> Поэт Александр Михайлович Добролюбов (1876—1945?) весной 1898 года оставил дом и Петербургский университет и пустился в странствия по отдаленным губерниям; свой «уход» он

воспринимал как путь к обретению религиозных ценностей.

161 Так называет Клюева С. А. Есенин в стихотворении «О Русь, взмахни крылами...» (1917).

162 Статья Д. С. Мережковского «Балаган и трагедия», полемически направленная против Вяч. Иванова и Блока, была напечатана в газете «Русское слово» (1910. 14 сент. № 211). Религиозный проповедник иеромонах Илиодор (Сергей Михайлович Труфанов; 1880—1952) и епископ саратовский Гермоген (Григорий Ефимович Долганов; 1858—1919) называются как характерные выразители политической реакции и церковного обскурантизма.

163 Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — генерал, военный министр в 1909—1915 годах. Белецкий Степан Петрович (1873—1918) — директор департамента полиции, товарищ министра внутренних дел в 1912—1915 годах. Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918) — министр внутренних дел и шеф жандармов (1916).

184 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920); Шульгин Василий Витальевич

(1878—1976) — монархисты, лидеры правых в Государственной Думе.

165 Из Швейцарии, где он лечился от туберкулеза, Чулков возвращался (в связи с мировой войной) кружным путем — через Средиземное море и Софию; в Петроград он прибыл в начале февраля 1915 года; обосновался в Царском Селе, где прожил до лета 1916 года.

166 В литературно-политическом журнале «Летопись» (декабрь 1915—декабрь 1917), организованном М. Горьким, были опубликованы пять стихотворений Аветика Исаакяна в переводе

Блока (1916. № 1).

 $^{167}$  В 1916 году Брюсов напечатал в «Летописи» свои переводы из Я. Райниса (№ 1), И. Эркко (№ 2), Шекспира (№ 4), Э. Верхарна (№ 12), а также статью «Одна из граней творчества Эмиля

Верхарна (№ 12).

- <sup>168</sup> Попытка Л. Н. Андреева в июле 1907 года привлечь Блока и Ф. Сологуба к сотрудничеству в сборниках ∢Знания вызвала резкие возражения Горького, в результате чего Андреев (в письме к Горькому от 13 августа 1907 года) от редактирования сборников отказался (см.: Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 284—296).
  - 169 Подразумевается характеристика Горького в статье Блока «О реалистах» (1907; V, 103).

170 Неточные цитаты из стихотворения Блока «Двойник» (1909; III, 13—14).

- 171 Пяст Владимир Алексеевич (наст. фам. Пестовский; 1886—1940) поэт, переводчик; близкий друг Блока (см.: Переписка с Вл. Пястом/ Вступит. статья, публ. и коммент. 3. Г. Минц // Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 175—228).
- 172 Документальных сведений, подтверждающих это сообщение мемуариста, выявить не удалось.
- 173 См.: Орлов Вл. Поэма Александра Блока «Двенадцать»: Страница из истории советской литературы. М., 1962. С. 144—145.

174 Из поэмы Блока «Ночная Фиалка» (1906; II, 27).

- 175 Из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830) А. С. Пушкина.
- <sup>176</sup> Вечер памяти В. Ф. Коммиссаржевской состоялся в зале Петербургской городской думы 7 марта 1910 года.

177 Сокращенная цитата из статьи «Памяти В. Ф. Коммиссаржевской» (1910; V, 417).

178 Далее — монтаж цитат из дневника Блока (VII, 277, 315) и его писем к матери лета 1917 года (Письма Александра Блока к родным. Т. 2. С. 370, 369, 383, 389).

179 Блок находился в расположении 13-й инженерно-строительной дружины (ст. Лунинец Полесских жел. дор.) с конца июля до конца сентября 1916 года и с начала ноября 1916 года до 17 марта 1917 года.

180 Из стихотворения Блока «Люблю высокие соборы...» (1902; І, 187).

181 Ср. в этой связи: «Даже "Двенадцать" Влока можно толковать и направо, и налево, что и делают наши критики» (Клейнборт Л. М. Молодая Белоруссия: Очерк современной белорусской литературы. 1905—1928 гг. Минск, 1928. С. 293).

В. В. Попов

## М. А. ОСОРГИН И И. Г. ЭРЕНБУРГ

Более чем на полтора десятилетия судьба связала имена М. А. Осоргина и И. Г. Эренбурга. В 20-х и начале 30-х годов, когда Эренбург ежегодно выпускал роман за романом, Осоргин с таким же постоянством на страницах русской зарубежной печати высказывал о них свое мнение, понимая творчество Эренбурга, пожалуй, лучше, точнее, чем кто-либо иной. Чуткий к отзывам критики на свои произведения, Эренбург не мог не читать выступлений Осоргина, и, следовательно, они постоянно находились в поле зрения друг друга. Обнаружилось достаточно данных, указывающих и на личное знакомство двух литераторов. Однако по неизвестной причине и Осоргин и Эренбург в конце жизни не нашли возможным в своих мемуарах хотя бы упомянуть друг о друге. Между тем их взаимоотношения были не столько их личным делом, сколько фактом истории литературы. В настоящей работе впервые предпринимается попытка собрать воедино все рецензии Осоргина на произведения Эренбурга, выявить зафиксированные случаи контактов

писателей. Это, надо надеяться, поможет открыть некоторые новые страницы в истории литературы XX века.

Имена М. А. Осоргина и И. Г. Эренбурга впервые оказались рядом 10 декабря 1917 года в однодневной московской газете «Слову — свобода!», выпущенной И. Буниным, В. Вересаевым, Н. Телешовым, А. Н. Толстым, Л. Шестовым и полусотней других авторов в знак протеста против опубликованного 8 декабря декрета советской власти о печати, вводившего в стране политическую цензуру.

Возможно, при подготовке номера состоялась и личная встреча Эренбурга и Осоргина, но ее могло и не быть. Зато достоверно известно, что 24 февраля 1918 года оба они присутствовали на собрании литературно-художественного кружка «Среда», где беллетрист и драматург Сергей Ауслендер читал свои новые рассказы «В царскосельских аллеях» и «Московская принцесса». «В прениях, — сообщала газета «Эпоха» об этом чтении, — приняли участие И. Эренбург, Андрей Соболь, Т. Краснопольская, М. А. Осоргин» (1918. 25 февр.). По отдельности их имена встречаются во многих коротких сообщениях о собраниях в литературно-художественном кафе «Трилистник», но поскольку в этих информациях говорилось лишь о выступавших, а не о присутствовавших, весьма вероятны одновременные появления там Осоргина и Эренбурга в качестве слушателей.

Впрочем, тем местом в Москве зимы и весны 1918 года, где Осоргин и Эренбург никак не могли разминуться, была редакция газеты «Понедельник власти народа» (с № 6 — просто «Понедельник»), в которой оба активно сотрудничали, выступая практически в каждом номере. Более того, когда Эренбург завел в газете рубрику «Силуэты», под которой печатались эссе о современных писателях, первый «силуэт» (о Бальмонте) написал он сам, второй (о Б. Зайцеве) — М. Осоргин. Затем появились эренбурговские «силуэты» об А. Н. Толстом, Б. Савинкове-Ропшине, но Осоргин в этой рубрике больше участия не принимал.

Безусловно, Эренбург и Осоргин должны были встречаться и зимой 1920—1921 годов, когда Осоргин стал одним из организаторов и руководителей «Книжной лавки писателей», занимавшейся, в частности, скупкой у писателей и продажей рукописных книг. За неимением полиграфических возможностей авторы сами переписывали и разрисовывали свои книги. Эренбург был одним из клиентов, продавшим через эту лавку не менее 13 собственных изданий, из которых в настоящее время известна судьба лишь четырех, об остальных мы можем судить только по описанию, составленному и опубликованному Осоргиным во «Временнике Общества друзей русской книги» (кн. 3, Париж, 1932).

В 1918—1921 годах по крайней мере дважды делались попытки свести под одну обложку произведения И. Эренбурга и М. Осоргина. Весной 1918 года в газетах появился анонс: «В издательстве "Верфь" в непродолжительном времени выходит художественно-публицистический сборник "Пережитое", посвященный обзорам за год революции. В книге статьи М. Осоргина, Н. Арского, А. Диктоф-Деренталя, С. Раецкого, Н. Каржанского, М. Мандельштама, О. С. Минора, В. Ранделя, А. Соболя, стихотворения и рассказы К. Бальмонта, Ив. Новикова, гр. А. Н. Толстого, Ев. И. Чирикова, Вл. Швейцера, И. Эренбурга и др.» (Понедельник власти народа. 1918. 1 апр.).

Сборник «Пережитое» действительно вскоре вышел, но в чуть меньшем объеме, чем планировался. Очерк М. Осоргина «Первые дни» в нем появился, но произведения Эренбурга не было. На страницах книги редакция дала этому объяснение: «Ввиду технических затруднений, возникших во время печатания сборника, часть намеченного для него материала откладывается для второй книги "Пережитого"». Среди произведений, не вошедших в первый сборник, оказалась и «Песнь об одном прапорщике» И. Эренбурга. Однако второй сборник «Пережитого» так и не вышел.

Другой эпизод связан с Ригой 1921 года. И. Эренбург, отправляясь в длитель-

ную «творческую командировку» за рубеж, больше чем на месяц задержался в столице Латвии в ожидании французской визы. С собой он вез помимо своих рукописей значительное количество произведений оставшихся в России писателей. Вскоре после отъезда Эренбурга из Риги в газетах появилась информация: «Организованное недавно в Риге "Книгоиздательство русских писателей", приступающее к изданию новых, написанных в России, произведений так называемой московской группы русских писателей — Федора Сологуба, Андрея Белого, Н. Бердяева, Б. Зайцева, Г. Чулкова, М. Осоргина, И. Новикова, Н. Ашукина, М. Цветаевой, И. Эренбурга, Сухотина, П. Муратова и др., подготовило к печати и на днях выпускает в свет сборник рассказов-набросков Мих. Осоргина "Из маленького домика", оригинально задуманный и выдержанный в стиле монолога московской действительности, противопоставленной итальянским воспоминаниям автора» (Голос России, Берлин, 1921. 8 мая; с ссылкой на рижскую газету «Сегодня»). Судя по набору имен, о большинстве которых доподлинно известно, что с этими писателями Эренбург общался в Москве, можно предположить, что значительная часть рукописей в новое издательство поступила через Эренбурга. Если эта версия верна, то не искдючено, что перед отъездом за границу Эренбург встречался и с Осоргиным, объявленная книга которого, кстати, действительно вышла вскоре в этом издательстве.

Месяц спустя в газетах появилась новая информация: «"Книгоиздательство русских писателей" в Риге сообщает, что в печати находится и непосредственно выйдет в свет альманах московских писателей "Московские раздумья" с частью романа Андрея Белого "Эпопея", рассказами Зайцева, Муратова, Новикова и Осоргина и стихотворениями Чулкова, Цветаевой, Эренбурга, Белого, Сухотина и Ашукина» (Воля России, Прага, 1921. 16 июня). Здесь еще больше виден эренбурговский «след»: авторы те же, а название альманаха явно взято из вышедшей в Риге книги стихов Эренбурга, где так озаглавлен один из разделов. Вновь возникла возможность встретиться Эренбургу и Осоргину под одной обложкой, но и эта встреча, увы, не состоялась. Никаких подтверждений выхода альманаха отыскать не удалось, и это издание пополнило список довольно частых в те времена неосуществленных замыслов.

С начала 20-х годов и до начала второй мировой войны Осоргин и Эренбург одновременно жили сперва в Берлине, затем в Париже, но каких-либо упоминаний в прессе или в рассказах современников о том, что их видели вместе, не нашлось. Лишь один раз, в ноябре 1922 года, в день юбилея Г. Гауптмана, их подписи, наряду с подписями других литераторов, были поставлены под приветственным адресом немецкому писателю, о чем тогда сообщалось в газетах (см.: Дни, Берлин, 1922. 15 ноября).

В эти годы Эренбург нередко печатно откликался на творчество других писателей. Помимо книги эссе «Портреты русских поэтов» и статей о различных явлениях в современной литературе, он опубликовал более десятка рецензий на самые разнообразные произведения, однако о творчестве М. Осоргина им не было написано ни строчки. Удалось разыскать лишь одно публичное высказывание Эренбурга о нем. 31 декабря 1925 года, через несколько дней после гибели С. Есенина, в парижской газете «Последние новости» была опубликована статья М. Осоргина «Отговорила роща золотая...», посвященная памяти ушедшего поэта. На смерть Есенина откликнулись и многие другие, в том числе и Эренбург. А 14 января 1926 года И. Эренбург выступил в Париже в помещении Географического общества с содокладом о Есенине. Аудитория, в основном сотрудники советского посольства, была настроена явно антиэмигрантски, и на слова Эренбурга: «Когда на могиле умершего сводят счеты — это характеризует нашу культуру», из зала послышались крики: «Например — Осоргин!». Услышав это, Эренбург резко заявил: «Я считаю, что статья Осоргина о Есенине — статья человека, поэзии Есенина далекого, высоко благородна». Аудитория, по-видимому, не ожидавшая этого, замерла (см.: Дни, Париж, 1926. 17 янв.).

Сравнительно недавно обнаружилась короткая переписка Эренбурга с Осоргиным. После открытия некоторых ранее засекреченных архивных материалов вышел «Краткий путеводитель по бывшему спецхрану РГАЛИ» (Москва; Париж, 1994), где среди прочего были указаны в собрании М. Осоргина (Ф. 1464. Оп. 1— 3) «письма Эренбургу, 1925, и письма Эренбурга, 1925 (3)». Однако волей вдовы Осоргина его переписка закрыта для исследователей до 2000 года. Удалось лишь установить, что письма эти относятся к осени 1925 года и первое послание Эренбурга от 1 октября содержит копию его письма в редакцию газеты «Парижский вестник». Исходя из этого можно выдвинуть, как кажется, весьма правдоподобную версию о теме этой переписки. Дело в том, что летом 1925 года в Париже на русском языке вышел роман И. Эренбурга «Рвач», в котором один из третьестепенных персонажей, сахарозаводчик — хам и подлец, — всего лишь несколько раз упомянутый в романе, носит фамилию Гумилов. В одном случае наборщики ошиблись и взамен «о» поставили в тексте «е». Это дало повод Вл. Ходасевичу выступить в газете «Дни» со статьей «Вместо рецензии» и заявить, что опечатка в «Рваче» намеренная и сделана она в целях оскорбления памяти поэта Н. Гумилева.

Статья Вл. Ходасевича была опубликована 27 сентября, а 29 сентября Эренбург в ответ на нее написал в газету «Парижский вестник»: «Я не знаю, бывают ли намеренные опечатки, но намеренная неправда прием достаточно распространенный. Обидно только узнать, что к нему прибегает поэт. Вздорность обвинения, разумеется, ясна и самому Ходасевичу. В берлинском журнале "Русская книга", в котором, насколько мне помнится, сотрудничал и В. Ходасевич, была помещена моя статья, где, восставая против травли советских писателей эмигрантской прессой, я в то же время ясно и без обиняков высказал мое отношение к трагической гибели Н. С. Гумилева. Думается, что заподозрить человека в столь глупой и трусливой подлости, какой являлось бы оскорбление памяти покойного поэта путем опечатки, может только человек, чуждый благородству и чести».

Письмо Эренбурга было опубликовано «Парижским вестником» 2 октября, а 1 октября он, вполне возможно, послал копию этого письма Осоргину. Видимо, Эренбург рассчитывал на его поддержку. Остальные письма — Осоргина от 8 октября, Эренбурга — от 10 октября, скорей всего, продолжение этой темы. Свидетельств о реакции Осоргина осенью 1925 года на полемику Эренбурга с Ходасевичем разыскать не удалось. Возможно, она и не последовала. Заметим, что к моменту обмена письмами между Ходасевичем и Эренбургом Осоргин не был знаком с романом, ибо, как сообщили «Последние новости», где работал Осоргин, «Рвач» появился для отзыва в этой редакции только к 22 октября, т. е. через три с лишним недели после начала полемики. Не зная текста романа, Осоргин не стал вмешиваться, а когда он прочитал «Рвача», писать что-либо по этому поводу было поздно.

Однако два с лишним года спустя у Осоргина появилась возможность для сопоставления творческих судеб Ходасевича и Эренбурга и публикации любопытной статьи о сравнительной эволюции этих писателей.

В 1928 году М. Осоргин, постоянно сотрудничавший в газете «Последние новости», начал публиковаться в конкурирующем издании — газете «Дни». Это не было в те времена чем-то исключительным. Так поступали и другие. Например, Н. Берберова, сотрудничая в тех же «Последних новостях», под псевдонимом «Гулливер» печатала свои статьи в парижской газете «Возрождение». Осоргин тоже воспользовался псевдонимом и свои небольшие заметки под рубрикой «Блокнот» подписывал «А. Пропо» (см.: Бармаш Н. В., Фини Д.М., Осоргина Т. В. Михаил Андреевич Осоргин. Библиография. Paris, 1973). И вот в «Днях» 3 июня 1928 года появилась небольшая заметка, впоследствии нигде не перепечатывавшаяся, которую, думается, стоит привести полностью:

<sup>«</sup>Для того, чтобы отделить существенное в мировоззрении писателя — от

случайных и временных его настроений, чрезвычайно полезно бывает перелистывать страницы его прежних работ. Возможные при этом неожиданности не должны нас поражать: они свидетельствуют лишь о том, что мысль писателя постепенно эволюционирует, и рост ее не окончился.

В первые месяцы коммунистического переворота, в феврале 1918 года, В. Ходасевич напечатал в московской литературной газете "Понедельник" (ном. 1) статью "О завтрашнем дне". Упомянув о вырождении символизма, он высказал надежду, что русская поэзия становится "пирожным", должна измениться в корне и пойти по новому пути: "Она станет народной в истинном смысле слова. Она будет меньше говорить, но нужнее; печь хлебы, а не пирожные".

"Когда в муке заводится моль, бескровное существо с бессильными крылышками, — мудрый хозяин пересыпает и ворошит весь мешок, до самого дна. Наш хозяин и делает это рукой революции. Вся Россия ныне перетряхивается, пересыпается в новый мешок".

Но кто же будут эти новые поэты, откуда они придут? В. Ходасевич не думает, что они могли выйти из прежних кругов, столь мало жизнеспособных.

"Знаю только одно, — пишет он, — спасение нашей поэзии в революции. Даже если бы и на этот раз суждено было ей смениться реакцией — эта реакция не так будет гибельна для поэзии, как минувшая. Ибо все же помолодеют, поздоровеют те, кто сейчас дышит электрическим воздухом грозы. Но повторяю: из русских поэтов хорошее будущее можно предсказать только тем, кто примет эту грозу и в известном смысле — всю, целиком. Ибо как ни связан поэт со своей страной, все же он не политик, не строитель реальных форм будущего, и порой то, что неприемлемо для политика — живительно для поэта".

Далеко не так оптимистично был в то время настроен другой поэт — И. Эренбург. В том же номере той же газеты, в статье "Большевики в поэзии", он обрушивается на футуристов за их близость к большевикам, в частности, на Маяковского, воспевающего насаждение социализма и обличающего "коварство Англии".

"Люди, глубоко ненавидящие буржуазную культуру, — пишет Эренбург, — с ужасом отплевываются от большевиков. Классовое насилие, общественная безнравственность, отсутствие иных ценностей, кроме материальных, иных богов, кроме бога пищеварения — все это свойства образцового буржуазного строя с переменой ролей и сильной утрировкой, составляют суть «нового» общества. Большевистский «социализм» лишь пародия на благоустроенное буржуазное государство".

 "Принят большевизм, — пишет он далее, — но эта подделка преображения мира не заставит нас отказаться от веры в возможность иной правды на земле".

Было бы грубостью сказать, что спустя ровно десять лет два процитированных поэта поменялись взглядами на революцию и пути развития поэзии. Но все же, наблюдая разницу в их теперешних позициях, не безлюбопытно ознакомиться с их прежними мыслями».

Псевдоним «А. Пропо» образован от французского «À-ргороз» («Кстати»). У Осоргина могли быть самые различные поводы, чтобы «кстати» рассказать о трансформации Ходасевича и Эренбурга. Что касается Ходасевича, то, хотя эти заметки и отражают его позицию 1925 года, вряд ли они навеяны дискуссией о «Рваче». Слишком много оснований для данной ему Осоргиным характеристики предоставил к этому времени Ходасевич. Однако публично его преображение началось именно той осенью. На это тогда же обратил внимание советский журнал «Жизнь искусства» (1925. № 41), написавший с большевистской прямотой и резкостью в связи с выпадом Ходасевича против Эренбурга: «Влад. Ходасевич раз навсегда стал непримиримым черносотенцем и глашатаем самодержавия... Очевидно, поэт Ходасевич решил никогда не вступать на территорию СССР. Тем и лучше. В нашей стране нет места подобным шарлатанам и негодяям».

Впрочем, нам гораздо интереснее в «Блокноте» А. Пропо его позиция в отношении Эренбурга, весьма важная в понимании реакции Осоргина на творчество этого писателя и подтверждаемая всеми рецензиями Осоргина на книги Эренбурга на протяжении 15 лет, даже на те из них, что не получили его положительной оценки. Рецензии эти, которых Осоргин, кстати, написал больше, чем любой другой критик, обращавшийся к творчеству Эренбурга, дают, особенно собранные вместе, полный, законченный образ Эренбурга-художника (который многим не удалось создать и в объемных монографиях).

Эти мастерские миниатюры, никогда не переиздававшиеся, безусловно заслуживают быть собранными и представленными на суд сегодняшних читателей и историков литературы.

\* \* \*

М. Осоргин прибыл в Берлин осенью 1922 года в числе других писателей и ученых, высланных из России советской властью. Через год он перебрался из Берлина в Париж. Профессиональный литератор, Осоргин сразу же окунулся в гущу русской зарубежной литературной жизни, но, будучи по преимуществу беллетристом и очеркистом, вынужден был стать критиком. Одним из объектов пристального внимания Осоргина оказались книги И. Эренбурга. Они выходили тогда одна за другой, порою по нескольку в год, и, пользуясь большой популярностью у читателей, давали богатую пищу перу литературных критиков.

Положение Эренбурга-писателя в те годы резко разнилось с положением других литераторов, как правило четко подразделявшихся на советских и эмигрантских. Эренбург же, постоянно живя за границей, но имея советское гражданство, как бы совмещал в себе обе эти ипостаси. Его книги выходили как в России, так и в зарубежье, что не могло не навлечь на него нелюбовь, а порой и зависть литераторов по обе стороны границы. С 1923 по 1933 год ни один советский рецензент не написал о книге Эренбурга, вышедшей за границей, так же как ни один русский критик, живший в Германии или во Франции (эмигрантская печать Чехословакии, Латвии или Польши с местом издания не считалась), не откликнулся ни на одно советское издание писателя.

Придерживался этого правила и М. Осоргин. Он не рецензировал выходящие в России книги Эренбурга, но из 12 его произведений, вышедших за рубежом, уделил внимание девяти. Вряд ли в этом крылись политические или идейные соображения. Все газетные (у журналов другая оперативность) рецензии Осоргина на произведения Эренбурга были первыми откликами в печати. Когда же следовать этому принципу не удавалось, Осоргин рецензий на Эренбурга не писал. Так, 29 сентября 1932 года «Последние новости» сообщили о получении для отзыва сразу двух книг Эренбурга — «Москва слезам не верит» и «Испания». Одновременно обе Осоргин рецензировать не мог и 6 октября откликнулся на роман «Москва слезам не верит», оставив «Испанию» другому критику той же газеты. Также по «техническим» причинам не появилось рецензий Осоргина на «Единый фронт» и «Визу времени», о причинах его молчания по поводу романа «Рвач» здесь уже упоминалось. Всем остальным зарубежным изданиям Эренбурга Осоргин дал свои характеристики, остающиеся в основном верными и до сих пор.

М. Осоргин весьма сожалел, что в свое время не отреагировал на первый роман Эренбурга «Хулио Хуренито», который был опубликован и со всех сторон рассмотрен критикой еще до появления Осоргина за границей. Но почти всегда, в той или иной степени касаясь творчества Эренбурга, Осоргин не упускал возможности в очередной раз оценить и «Хулио Хуренито»; разрозненные упоминания о нем отражают весьма высокое мнение Осоргина об этом романе.

Итак, перед нами одиннадцать рецензий М. Осоргина, прослеживающих пят-

надцатилетний период творчества И. Эренбурга. И хотя у каждой из них своя судьба и свои особенности, собранные вместе, они вполне могут рассматриваться как единое целое.

# Эренбурговы трубки

Тринадцать трубок И. Эренбурга рассказывают тринадцать историй, пересказать содержание которых, конечно, нельзя. Истории разноценны по занимательности, разнообразны по техническим приемам и языку, космополитичны по содержанию. Единственное, что их объединяет, это присутствие в каждой истории одного и того же персонажа, автором не предусмотренного: Ильи Григорьевича Эренбурга, дыхание которого слегка отравлено четырнадцатой трубкой.

Эренбург приемлет мир как объект наблюдений, пользуясь им лично лишь в пределах настоятельной потребности организма. Не снисходя до огульно-отрицательного к миру отношения, он не возвышает его и до степени отрадного факта. На протяжении всей своей книги, включающей 258 страниц, Эренбург только раз, только в последнем абзаце истории трубки ребенка-коммунара, расстрелянного версальской красавицей, позволил себе «сухими от злобы губами» настоящий возглас молитвы и чувство святой ненависти: но для этого ему пришлось взвинтить себя не бытовой, а усердно-циничной историей. В остальных случаях автор, не расставаясь с трубкой, мимо ее мундштука, цедит свои ядовитые, но не убивающие наповал слова.

Когда Эренбург не упражняется в трудных пассажах языка (что обязан делать дома и для себя каждый виртуоз и что Илья Эренбург публично проделывает в интересных все-таки «Шести повестях о легких концах»), а пишет по-настоящему, с уверенностью и простотой уже почтенного и известного писателя, — тогда книга Эренбурга берется и прочитывается до конца. Такова и эта книга, злая, искусно пародирующая, книга ума одинокого и независимого. Но пессимизм его и скептицизм его ленивы, не заражают. Ставя точку и расставаясь с читателем, он протягивает ему вялую и неуважающую руку, решительно не обещая ему и впредь ни возвышающего пафоса, ни искристого смеха. И даже в юморе Эренбурга слишком много ума и остроумия: он отпугивает, не вызывая ни твеновского смеха, ни гоголевских слез. В нем чувствуется ядовитая, но не змеиная, а табачная, проникотинная слюна.

Не в упрек писателю Эренбургу все это говорится, потому что он все же писатель настоящий, крупный, любящий слово и не только умеющий использовать талант свой, но и работать умеющий. Не студиец, а мастер. И не его вина, что не любит он того, во что верит, и верит ли во что по-настоящему — сам не знает. Жизнь, наступающую на него со всех сторон, — он умом приемлет, а от сердца отгоняет дымом тринадцати трубок. Пожалуй, из всех современных писателей русских это — самый крупный циник, и больше всех обреченный на одиночество. Таково впечатление внимательного читателя — автору же вольно это отрицать.

Не знаю, как нынешний, взрослый прозаик Эренбург относится к молодому поэту Эренбургу, написавшему «Молитву о России», вероятно — с родительским снисхождением. И правда, тот был юн, немножко нелеп, как необкуренная трубка. Нынешний Эренбург покрылся ровным черным глянцем и продается в красивых издательских футлярах. К прежнему нельзя было не относиться с любовью, теперешнему же более приличествует почтение, и трубка у прежнего была дешевая, российская, — у нынешнего английская, значительная, достойная красоваться в коллекции. Тот курил нервно, порывисто, — этот регулирует равномерность своего дыхания с тем же искусством, как лорд Эдуард Грайтон, герой истории пятой трубки.

К счастью, и этот еще молод. Это дает нам право надеяться, что однажды он

нарушит темп своего дыхания и — в порыве любви или ненависти — закурит свой мундштук. Трубка, может быть, и погибнет, но курильщик снова станет человеком и снимет, наконец, свою кандидатуру на вакантный пост... ангела Лаодикийской церкви.

# Портреты русских поэтов

Эта новая хрестоматия современной поэзии задумана и выполнена превосходно. Автор объединил в ней четырнадцать поэтов (Ахматова, Балтрушайтис, Бальмонт, Блок, Брюсов, Белый, Волошин, Есенин, В. Иванов, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Сологуб, Цветаева) разных школ и поколений. Каждый из них представлен пятью-шестью стихотворениями, каждому посвящена краткая характеристика. В выборе поэтического материала автор руководится исключительно своим вкусом, и этот вкус безукоризнен. Ни на полноту, ни на систематичность книга Эренбурга не претендует: в списке его отсутствуют такие крупные имена, как, например, Кузмин и Гумилев, и фигурируют совсем молодые поэты (Есенин, Пастернак). В этом личном подходе, свободе и беспрограммности — большая творческая легкость. Слава Богу, книга о поэзии обошлась без регистрации и ярлыков! Художественное чувство уберегло автора от подмены литературы идеологией.

«Портреты» поэтов — сжатые, отчетливые психологические «этюды». Это — не критика стихов, не обсуждение их эстетической ценности, не исследование стиля. Эренбурга интересует в поэте человек — его характерное, неповторимое лицо, его своеобразный жест, его особый голос. Он читает стихи, и воображению его представляется их автор. Нечего и говорить, что это творческое построение может вовсе не соответствовать эмпирической действительности. И в то же время художественно быть правдивее ее.

Никакой «переоценки ценностей» в книге Эренбурга мы не найдем: говоря о старших, канонизированных поэтах, он придерживается уже сложившейся по отношению к ним традиции... Но это «принятое суждение» он вводит в яркие пластические формы; знакомые лица оживают, движутся, подходят совсем близко.

Это, например, характеристика Блока: «На спокойном холодном лице большие глаза, в которых ни ожидания, ни тоски, но только последняя усталость». По существу ничего нового в этом образе; но он выразительнее всех исследований блоковской безнадежности и пафоса смерти.

Так же своеобразно выражено привычное представление о Бальмонте: «Как образцовый король, Бальмонт величественен, нелеп и трогателен»; «Любите же в Бальмонте великолепие анахронизма!»

Остроумна характеристика Брюсова — «русского американца». «В задании Брюсова есть великая мощь, титаническое дерзание: он хочет создать непоэтическую поэзию».

Великолепен А. Белый: «Огромные широко разверстые глаза, бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб, с островком стоящих дыбом волос... Когда он рядом... ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми. Ветер в комнате».

Тут внутренний образ так сливается с внешним, через материальное так просвечивает дух, что описание наружности претворяется в литературную характеристику.

Особенно удачно зарисован С. Есенин. Отмечаются мелкие черты: «цилиндр, пестрый галстук, модный пиджак». Не забудьте, что речь идет о стиле поэзии Есенина, этого «светского, хорошенького паренька, говорящего нараспев, рязанского Леля, Ивана-счастливца наших сказок».

Законченность и заостренность рисунка Эренбурга напоминает старый благородный жанр portrait litteraire.

Его словечки почти всегда удачны, эпиграммы остроумны и сравнения занятны. Психологических открытий он не делает (если не считать блестящего доказательства: «Да, Балтрушайтис скучен и однообразен, но в этом его мощь»). Но ведь и известная поверхностность обусловливается самим жанром.

# Трест Д. Е. История гибели Европы

Новой книгой «Трест Д. Е.» Илья Эренбург не побил собственного рекорда, установленного «Хулио Хуренито». «Трест Д. Е.» — книга усталого остроумия и притупленной злости. Но, благодаря множеству профессиональных литературных трюков, этот длинный фельетон юмористической газеты все же прочитывается без особого утомления.

Гибель Европы — тема столь же соблазнительная, как и мировая социальная революция. Эренбург подходит к ней с нигилистической усмешечкой, забывая, что тема эта привлекательна в ее значительности, а не в ее карикатуре. Поэтому и книгу его — как большинство книг Эренбурга — читать досадно: она не веселит (автор сам не весел!) и не волнует (она на это и не рассчитана). В ней слышится брюзжанье, к которому ухо уже прислушалось. «Опять завел Илья Эренбург свою волынку!» Послушать можно, но улыбаться наскучило, разве — при большом досуге. А между тем все, от цветистой обложки до пометок на полях, от тройных подчеркиваний до афишек в тексте —рассчитано на то, чтобы читатель непрерывно смеялся или сердился.

Что-то есть общее с Сергеем Бобровым («Спецификация идитола»), с Михаилом Козыревым («Неуловимый враг» — в московском сборнике «Недра») и с другими. Эренбург вообще созвучен нынешним российским «прозроманистам ускоренного темпа». Как и они — он не владеет читателем, изо всех сил стараясь владеть; как и они — он не радостен и в себе не уверен. Кого-то хочет уколоть притупленным шилом; что-то хочет провозгласить, — а в самом нет ни во что веры.

Писывал Эренбург лучше; может быть, и еще напишет неплохо. Пока же Эренбург — не в пример прочим — поражает количеством быстро, одна за другой выпускаемых книг. Качество от этого не выигрывает.

## Роман И. Эренбурга

Нет на свете ни добра, ни радости, ни чистоты, ни свежего воздуха. Все отменено Ильей Эренбургом. Жизнь, это что-то вроде неприбранной мятой постели, на которой год не менялось белье; кругом окурки, остатки дрянного ужина, пахнет селедкой и козлом.

Эренбургу скучно и хочется создать хоть один «положительный тип» человека чистых убеждений и твердой воли. Он берет проститутку, рождает от нее сына, помещает его за тонкой стенкой, чтобы он, подрастая, мог видеть в щелочку, чем занимается его мамаша. Затем отдает его в гимназию за счет благодетеля, который его порет. Позже стал Николай Курбов репетитором, но его выгнали, заподозрив несправедливо в воровстве. Тогда Курбов стал марксистом и пропагандистом, а приятель-провокатор его выдал, и он попал на каторгу, откуда бежал; товарищапровокатора он встретил и утопил в Днепре.

Дальше — фронт, отравление газами, наконец, революция, февраль, октябрь. Курбов — комиссар. Курбов — расстреливает. Курбов — коммунист. Курбов — большая шишка. Курбов — чекист.

Контрреволюционеры, сплошь мерзавцы, на французские деньги устраивают заговор против Курбова и втягивают в этот заговор на роль исполнительницы

Катю — девушку голубиной чистоты и беспросветной глупости, которая в грязном притоне пьет с ними самогон и там же знакомится с Курбовым. Страстная любовь с обеих сторон. Я забыл сказать, что Курбов, как тип положительный (и очень занятой), сохранил не только душевную чистоту, но и телесную невинность до солидного возраста. Все-таки Катя хочет его убить. Они встречаются в том же притоне, но... в отдельной комнате познают любовь, Катя отдает ему револьвер, Курбов же ничего не понимает дальше. Ясно — он уже не может быть цельным и прямолинейным человеком. Поэтому он идет в Кремль, пожимает руки товарищам, сплошь превосходным людям, и в последней строке романа — стреляется.

Таков остов романа. Детали же — обстановка чека, где один следователь оказался все же мерзавцем и скверно поступил с беременной женщиной; правда, другой, нежнейшей души человек, подписавший тысячу смертных приговоров, тут же его застрелил. Мир убийц, палачей, шпионов, разврата, но взятый не нарочито, как таковой, а в качестве «российской действительности». И не будь светлого явления Николая Курбова, — пришлось бы извериться в людях окончательно.

Очень неприятный роман написал на этот раз Илья Эренбург и очень плохой. Плохой скучным своим историко-биографическим построением, плохой шаблонно вымученной завязкой и развязкой, извращенно рисующий жизнь и мелко ее воспринимающий. Плохой и по форме: ритм прозы, автомобильный бег слов, — мало все это удалось Эренбургу на этот раз. Хороши только отдельные фразы, неожиданно прекрасные и яркие сравнения; Эренбург — большой писатель и умеет иногда мастерски видеть.

Как обычно, в романе Эренбурга много злости, но ленивой и неубедительной, более похожей на брань. Это тоже шаг назад; раньше Эренбург злился и ненавидел лучше (\*13 трубок\*). И увы! Нет самого ценного, что было в Эренбурге: нет юмора (\*Хулио Хуренито\*).

Вообще роман разочаровывает. В № 1 Маяковского журнала «Леф» есть рассказ О. М. Брика «Не попутчица» («Опыт лаконической прозы на сегодняшнюю тему»). Там тоже благородный коммунист влюбился в буржуйку, и скверно бы вышло, если бы не было на свете ЦК РКП и Госполитуправления; но, к счастью, все кончилось благополучно, порок был наказан, а добродетель охранена и притом без особых трагедий. Есть между этими двумя произведениями какое-то сходство, не только в теме. Но И. Эренбург и О. Брик — очень уж сопоставление обидное.

Ждем от И. Эренбурга лучшей книги; можно не торопясь. Очень уж много он выпустил книг за последнее время, а это сказывается на их качестве.

# «В Проточном переулке»

Об Илье Эренбурге так много написано (главным образом — недоброжелательного), что вряд ли представит интерес изложение нового его романа «В Проточном переулке», вышедшего в Париже. Почему в Париже, почему за рубежом, где книга его не может рассчитывать на большое распространение? Почему не в России? Очевидно потому, что в России Илья Эренбург не в фаворе у казенных издательств; кажется, Госиздат наложил даже на него запрет и не издает рукописей, ранее у него приобретенных. Непризнанный здесь и отвергнутый там, Эренбург имеет все права считать себя гонимым писателем. На его счастье есть у него в прошлом «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.», — две книги, которые усердно читаются и переводятся. В более отдаленном прошлом есть «Молитва о России» и прочие ошибки молодости. Эти ошибки автором уже забыты, — но странно, что хочет он забыть также и путь гротеска и авантюры: в последние годы Илья Эренбург стал упрямым бытовиком.

Каждый писатель волен идти путем, какой ему нравится, особенно когда он обладает завидной способностью за три месяца написать целый роман (помета: «сентябрь—ноябрь 1926»). Но если автор «Хулио Хуренито» и «Треста» стоит в литературе почти особняком, то автор «Жизни и гибели Николая Курбова» и «Любовь Жанны Ней», как и последнего романа — «В Проточном переулке», марширует в толпе ему подобных. Опустившаяся баронесса, наглый нэпман, спившийся учитель латыни, беспризорные в подвале, дрянненький обольститель, обольщенная им девушка новой формации, читающая Бухарина и Сейфуллину, даже идеалист-горбун Юзик из Гомеля (единственный, кого хотел бы Эренбург любить), — всех этих персонажей мы уже встречали и постоянно встречаем в «Красной нови», в «Новом мире», в толстых и тоненьких книгах, наводняющих рынок. Один пишет лучше, другой хуже, третий совсем плохо, — каждый тянет клочок шерсти из серенькой шкурки мелкого обывательского беса. Российский быт богат и неистощим: даже сидя в Париже, Эренбург не исчерпал бытовых гримас Проточного переулка.

Но вот что ново: Илья Эренбург стал писать простым языком, даже больше: с замоскворецкой развалкой. И еще: Илья Эренбург, автор ядовито-слюнных «13 трубок», пытается полюбить маленького человека, или хотя бы оправдать его (полюбить — Юзика, оправдать крохотного и грешного журналиста Прахова).

Обе новые черты Эренбургова писанья — положительны и благоприятны. Не есть ли эта проснувшаяся кротость и сентиментальность — возврат к ошибкам молодости? Или — результат европейского кофейного покоя, вдали от бытовых треволнений Проточного переулка? Или просто — укатали Сивку крутые горки.

## Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца

После ряда неудачных романов («Николай Курбов», «Любовь Жанны Ней», «В Проточном переулке»), неудачных главным образом попытками изображения положительных типов, — Илья Эренбург написал хорошую книгу в чисто эренбурговском духе: злую и достаточно циничную сатиру на всех и вся, — и на советский быт, и на эмиграцию, и на всякое попутно попавшееся государство, какое случалось в маршруте Лазика Ройтшванеца, маленького еврея из Гомеля, претерпевшего великое число житейских бурь и неудач.

Эту злющую и остроумную книгу Эренбурга прочесть приятно и интересно, в особенности в первой ее части, в бытовой российской, где у сатирика было больше материала. Вторая половина романа бледнее и растянутее; главы, относящиеся к быту художников, кажутся случайными, во всяком случае гораздо мельче по значению. Как бы охотясь на крупного зверя, Эренбург заодно зря бьет и по малой птахе. Есть еще и заметный недостаток: болтливость героя заражает порой автора.

Но все же Эренбурга можно поздравить: он опять написал хорошую книгу, напомнившую не только «Трест Д. Е.», но и «Хулио Хуренито». Любопытно, кстати, возможно ли будет эту книгу переиздать в России?

## «Заговор равных»

Есть как бы два романа Ильи Эренбурга под названием «Заговор равных»; один напечатан в «Красной нови» — маленький, причесанный, охолощенный, приемлемый в целях воспитания советского читателя; другой (изд. «Петрополис» в Берлине) — более обширный, трепанный, подозрительный по идеологии, смущающий честную коммунистическую душу. Желающим изучать редакционные приемы советской цензуры рекомендуется просмотреть оба издания; здесь мы ограничимся последним, как полным и подлинным.

Эпоха — после Термидора, герой — Бабеф. Героев Эренбург не любит; впрочем, он вообще никого не любит или, может быть, стыдится выражения хороших чувств. К Бабефу он справедлив документальной справедливостью Ленотра. Он

рисует нам хорошего, буйного, непримиримого, немного смешного Бабефа, не слишком французского, не вполне русского. Во всяком случае, такие верующие Бабефы знакомы русской революции и, конечно, ею уничтожены, попросту — вычищены. И в этом вся опасность писаний И. Эренбурга: не поймешь, пишет ли он историю или намекает на современность? В сущности виноват ли он, что напрашивается так много параллелей; где Термидор, где НЭП, и где Франция, где СССР, — разобраться в этом не так легко; может быть, просто — обычная наша подозрительность.

Роман Эренбурга написан с обычной живостью и с предельной небрежностью. Читается он и как роман и как сатира, скорее последнее. Люди — не личности, во всяком случае не исторические личности, а марионетки, которых дергает за веревочку злой и неверующий автор. Их жесты волнуют, глубоко не задевая; трагизм их переживаний смягчен масками «коммедиа делл-арте». Из-за кулисы выглядывает, попыхивая трубкой, сам автор, Илья Эренбург, и спрашивает с кривой улыбкой: «Любопытные фигурки? А как нравится вам ситуация? Что это вам напоминает? Ничего не поделаешь — такова история!» И читатель не может не верить Эренбургу: «Действительно, такова история».

На днях на общем собрании литературной группы «Кузница» (см. «Чит. и пис.» № 49) блюститель советской литературной благонадежности П. М. Керженцев сказал: «Надо констатировать, что некоторые известные и печатающиеся у нас писатели враждебны нам и их нельзя назвать "попутчиками". Таковы, в первую очередь, Булгаков и Эренбург». Попытаемся такой характеристикой, довольно справедливой, пробудить к Эренбургу интерес здесь, за рубежом, но с оговоркой, что еще более враждебен он местной путанной идеологии. Одну (при этом основную) черту его творчества отметим благожелательно: он вообще враждебен всякой догме и всякому ликованию. Плохо же то, что он не верит не только в сущее, но и в грядущее, — имея на то, впрочем, исторические основания. Но и без них он не верил бы: иллюзии не по его части. Впрочем, в чужую душу заглядывать не след.

# 10 Л. С.

При всей моей чувствительной склонности к Илье Эренбургу, недавно отмеченной Г. Адамовичем в «Иллюстрированной России», я не уверен, что стоит поздравить моего любимца с выходом новой книги 10 Л. С. (Петрополис — Берлин) — читай: десять лошадиных сил. Десятисильный писательский мотор Эренбурга выпускает по тому в лунный месяц. Эта книга — из серии злых и обличительных: она могла бы быть и тоньше (по количеству печатных листов), но она распухла от обильного материала.

Г. Адамович правильно пишет, что Эренбурга принято замалчивать и при том по обе стороны рубежа: ни там, ни здесь его не любят. Если о нем пишут, — то его непременно бранят. При этом его читают не только обе стороны, но и на иностранных языках; так, например, немцы переводят все, что пишет Эренбург, и, вероятно, не только потому, что у него такая звучащая по-немецки фамилия. Я думаю, что потому его переводят и читают, что он интересен, а главное, приятно зол. В списке его книг, прочитанных и перечисленных Г. Адамовичем, как раз пропущены самые лучшие: «Хулио Хуренито», «Трест Д. Е.» и «13 трубок».

Замалчивают Эренбурга потому, что он сидит между двумя стульями: один стул в кафе на Монпарнасе, а другой стул, колченогий, в Москве; не идейно, а фактически. Мне лично Эренбург чужд по духу его творчества, но я очень ценю в нем деятельную ненависть. За это же можно, по-моему, ценить и Зинаиду Гиппиус, с которой у Эренбурга так много общего (особенно с Антоном Крайним); только Эренбург не злобен, а зол, и слишком ленив, чтобы быть мелочным. Зол он не на кого-нибудь в частности, а на весь мир, за исключением своего кафе и

своей трубки. Подчиняясь естественной потребности разнообразить чувства, он пытается иногда любить (создает «положительные типы»), но у него это не получается (как и у Гиппиус не выходит ее роман с Богом). Напротив, в ненависти он очень хорош, и Г. Адамович не прав, говоря, что книги Эренбурга портят кровь; напротив, они кровь полируют, очищают, не давая ей слишком застаиваться; и это полезно.

«Десять лошадиных сил» — довольно сумбурное произведение, продиктованное не столько ненавистью, сколько досадой. Это — плод огромнейшей газетной эрудиции; настрижены и изучены заметки за многие годы о нефти, о каучуке, о миллиардерах, их махинациях и особенно о бирже. Биржевому маклеру всегда кажется, что все в мире связано с «курсами» и «пакетом», в том числе повышение и понижение любовного пыла собственной подруги. Эренбург, у которого, конечно, нет в портфеле контрольного пакета, ужасается, наблюдая, как много власти в руках нефтяных и каучуковых королей. Королям он хочет противопоставить рабов. Рабы — типы положительные, их портреты не выходят: Пьеры однообразно «худы и бледны», их пальцы вздрагивают во сне (продолжают работать), их жены штопают носки и стирают белье. Все это так — но до чего же они не выразительны, эти Пьеры с женами. Совсем иное — Ситроен, или Форд, или сэр Детердинг. Их и только их по-настоящему знает и ценит Эренбург, для них его краски богаты и его перо красноречиво. К ним он даже справедлив, совсем не хочет рисовать их злодеями (какая дешевка!), а дает нам понять, что и они жертвы капиталистической машины, вечные труженики, которые уже не могут остановиться, которые даже не пользуются со вкусом своими гигантскими богатствами. Пролетариат, по Эренбургу, забит, затуркан и уже ни к чему не способен; те же, кто его высосали и искалечили, — роковым образом влекут нас к пропасти, куда мы все равно свалимся. Эренбург курит, пьет кофе и ясно видит, как все это произойдет, как мир полетит вверх тормашками. Жуткая и сладкая картина! Втайне он надеется, что угол Монпарнаса и Бульвара Распай уцелеет.

Эренбург очень, очень талантливый писатель. Ни Форда, ни Ситроена он, вероятно, не видывал, а какие портреты, сколько красок и художественного беспристрастия! Рядом с этими любовными портретами — дерзкие и сильные карикатуры людей и людишек, собирающих крохи у стола миллиардеров; огромный и презренный мир. Игрочишки и прислуживающие: это они, а не рабочие настоящее пушечное мясо. О тех, о рабочих — стоит ли говорить: у них столько плакальщиков и защитников, ими так усердно занимаются советские и прочие литературные бездарности: все эти страдающие Иваны и сознательные Марьи. Какая безвкусица! Ну, конечно, чахотка, ну гетакомбы трупов, — а дальше? Забастовка? Коммунистический переворот? Предприятия Ситроена и Форда в руках самих рабочих? И скучно и немодно! Мир и так лопнет — без программ. Не будь Эренбург талантливым писателем — он сбился бы на дешевые финалы и пустил бы слюну любви и радости. Но он предпочитает быть злым до конца, и глаза его не тухнут... ровно до того часа, как гарсоны начинают прибирать столики и ставить на них стулья. Эренбург ложится спать; рядом на стуле трубка; завтра новый день — и новый роман.

Как и его герои-миллиардеры, Эренбург не может остановиться. Он бы и не писал, но не может не писать.

«Игра никогда не может кончиться. Игрок то проигрывает, то отыгрывается, но он не уходит. Наконец-то он выигрывает. Но он все-таки не уходит. Он хочет выиграть больше. Тогда он снова начинает проигрывать. Это как прилив и отлив. Игра постоянная, игрок и не хочет выиграть. Он хочет только играть. Нет, он даже не хочет играть, он очень устал. Впрочем, это неважно — хочет он или не хочет. Его ведь спрашивают об одном:

<sup>-</sup> Прикупаете?»

Так пишет Эренбург свои романы; не может не писать. Давно нет любви, да и ненависть притупилась, — но рука сама покупает номера газет, в газетах пишут, что сэр Детердинг, невзирая на Берлинский процесс, играет в лаун-теннис; а немецкий издатель каждую треть года присылает счет проданных экземпляров и переводчик уже обеспечил себе работу над будущим романом. Остановиться невозможно, — да его и не спрашивают. «Это как прилив и отлив».

И все-таки я, по свидетельству  $\Gamma$ . Адамовича, «один из немногочисленных поклонников Эренбурга». Может быть, Эренбург угробил или угробит свой талант, — но он полирует кровь; не нам, так своим иностранным читателям. Его замалчивают и в настоящей и в зарубежной России: тем приятнее расписаться в чувствительной к нему слабости.

#### «Москва слезам не верит»

(Илья Эренбург. Москва слезам не верит. Роман. Изд. «Геликон», Париж, 1933)

Очень трудно писать об Эренбурге — по ряду причин. Во-первых, нужно вооружиться полнейшим беспристрастием (не лучшее качество критика), так как Эренбург — «советский» писатель, в здешней печати не защищенный; пусть там ругают здешних сплеча, — здесь приличествует иной подход. Во-вторых, тамошний Эренбург оказывается все-таки здешним монпарнасцем, и ни в одном своем романе он уже не может обойтись без обстановки парижской богемы, именно монпарнасской, без отеля, кафе и бистро, без этого кислого, нечистого и пудренного так называемого воздуха, в котором азот чувствуется, а кислород исчез, — хотя бы и попытался Эренбург перенести действие в рабочий Биянкур, в среду почти настоящих коммунистов. В-третьих, — и это главное, — если даже «Москва слезам не верит», — то как же можем мы верить в «положительное» у Эренбурга, столь сильного в отрицаниях и столь всегда беспомощного в создании типов похвального поведения? С другой стороны, Эренбург — сам свой собственный «социальный заказчик», и это с выгодной стороны выделяет его из советской писательской массы, не говоря уже о том, что и его писательское дарование и его «довоенная» опытность вообще не позволяют смешивать его с массой.

Превосходный заголовок романа, «Москва слезам не верит», не имеет ничего общего с содержанием. Подозреваю даже, что Эренбург не знает, откуда произошла эта историческая пословица, исключительно в данном случае не подходящая. Но это не важно — заголовок прекрасно звучит. Действие романа развивается в этажах дешевого и грязного отеля «Монблан» в дни нынешнего кризиса (роман написан в феврале—апреле 1932 года, какая счастливая творческая способносты). Лица — хозяйка-француженка, ее ничтожный и преступный сын, жильцы, почти все — рабочие, среди них француз-фотограф с дочерью Аннмари (тип дочери — «положительный»), малопонятный немец с уголовно-политическим прошлым, понятный и очень хорошо нарисованный испанец-коммунист Гомес, коммунист-провокатор француз Бине, чета русских эмигрантов Голубевы (читатель ошибается, предположив, что они изображены уродливо и тенденциозно!), несколько второстепенных персонажей (хороша Симона, не то проститутка, не то святая), и, наконец, герой романа — молодой художник-коммунист Мей, русский, приехавший в Париж на год совершенствоваться в искусстве. Бедность, любовные истории, невыразительное описание забастовки и демонстрации, — все, как полагается. Не излагаю содержания подробно, чтобы не лишать читателя предстоящего удовольствия; скажу только, что если Эренбург не всегда захватывает, то он и не умеет быть скучным и утомительным; опытность и талант берут свое.

Никакой душевной драмы у Мея; знает, что делает, принимает жизнь радостно и деловито, любуется всем и готов ко всему; Мей не ходулен — и это уже много! Сделать из него «героя нашего времени» автор не мог, потому что, если Мей с радостью думает о «бодром запахе кислого хлеба» и московском общежитии, и в нем это естественно, — то самому автору приходится сильно настроить себя, чтобы, от Монпарнаса отрешившись, тоже увлечься мечтами о «запахе штукатурки» советского строительства. Он и не очень на этом настаивает. Тяжелую душевную драму переживают Голубевы; муж, бывший офицер, безработный, в конце концов делает попытку вернуться в Россию, но натыкается на равнодушный отказ (вот где, вероятно, «Москва слезам не верит»!); жена, отдавшись в увлечении провокатору-коммунисту, поджигает и себя и отель. Мей, у которого очень светлый роман с Аннмари, девицей простой и пустошней, хочет увезти ее в СССР, но увозит только ее образ, — сама она остается. Голубев почему-то принимает участие в коммунистической демонстрации, и, избитый, оказывается в тюрьме. Это не убедительно, но более или менее искусно включено в сеть событий.

Повторяю, — это все интересно и искусно подано. Ни в каких «тенденциях» и ни в каких невкусных вычурах Эренбурга не упрекнешь, — а случай для «советского» автора мог быть отличный. Эренбург по-настоящему знает и Париж, и современные настроения, и даже настроения эмигрантские; дешевые выдумки его не соблазняют. Но вот какого упрека я не могу миновать. Монпарнас так въелся в его творчество, что все страницы романа пропитаны его ароматом. Монпарнас — толпа, проходящая мимо столика кафе, люди — не люди, женщины — не женщины, кофейни — пивной скептицизм, ленивая идеология, иногда попытка встать и убежать, — но как убежишь, когда гарсон где-то мотается, не подходит. Эта тягучая кофейность, лишенная веры, взлетов, поэзии, эта привычка рисовать, а не жить, излагать взгляды, а не иметь их, привставать из-за столика, а не стремиться, всегда отражается в творчестве Эренбурга. И хуже всего то, что так роднит Эренбурга с наметившейся плеядой молодых эмигрантских писателеймонпарнасцев; их герои, сидя за столиками, не мыслят человеческой жизни без наличия рядом с ними дешевого порока, проституток, ленивого извращения, непристойных слов и всюду их преследующего аромата общей уборной. Своеобразный реализм в крайне ограниченной области, за которую никак не переступишь. Что другое — бледновато, но крюк, на котором висят куски нарезанной газеты, это всегда воссоздано идеально и точно. И монпарнасский лексикон безукоризненен.

Москва слезам не верит. Не знаю, верит ли она ленивым ласковым улыбкам. Автор сейчас в Москве — ему знать лучше.

### «День второй»

В четырехстах нумерованных экземплярах, на дорогой бумаге, в холщовом переплете вышла новая книга Ильи Эренбурга «День второй». Видимо, автор эту свою книгу ценит по-особому. И он прав: это его первый опыт утверждения, на смену вечному отрицанию. И. Эренбург был в СССР, посетил в Сибири пункты «американского строительства», раздул свой писательский портфель богатейшими материалами и, вернувшись на родной Монпарнас, в ударном порядке разрешился от бремени (дата романа: декабрь 1932—февраль 1933).

Если я позволяю себе в таком тоне говорить о писателе, талант которого признаю и уважаю, то только потому, что его поспешность действует раздражающе: он сам свой собственный вредитель. Его поистине богатейший материал остался материалом, не став романом. Это называется «монтажной формой», но название не служит оправданием. «День второй» — тетрадь наблюдений и документов, с подклейкой любовного вымысла.

Именно материалами его книга интересна до чрезвычайности. Рассказать ее невозможно, в ней тысячи волшебных человеческих историй в форме героических анекдотов, десяток героев и героинь, темп эпохи и сама эпоха. Строительство Кузнецкого завода в сердце Азии. Союзу нужна сталь. Союзу нужен чугун. Десятки тысяч людей лихорадочно строят. Одни — шкурники, другие — конченые люди, но все закручены вихрем ударного строительства. Во главе — новая молодежь, идейная и доблестная. Совсем новая, какой нам не понять, а вот Эренбург понял.

Тут нужна сугубая откровенность. Когда мы, здешние, читаем о положительном в СССР, хотя бы о том же строительном энтузиазме, о чистом подвижничестве молодежи и даже стариков, в нас борются два чувства. Желание, чтобы это было действительно так, — потому что ведь это — наша Россия; и второе, — ревнивое недоверие.

Илья Эренбург — писатель со вкусом. Он не рисует земного рая и ангелов; он чередует светлое с темным в таких пропорциях, в каких социальные заказы обычно не пишутся; он — бытописатель без упрека. Но он, так много увидав, притом со стороны, записав так много героических анекдотов, не мог не увлечься (при всем своем вкусе) яркостью олеографий. Очень редким авторам удается избегнуть исторической фразы в устах умирающего героя. Нынешние герои, презирая воспаление легких, выбегают на мороз от доменной печи в радостном сознании, что они «строят гигант». «Мы не увидим — дети увидят». У Эренбурга один из героев, старый большевик, умирая на работе, говорит молодому: «Чувствую крышка... а ты того... Бетонщиков подгони». И таких рассказов много. Может быть, все это — истинная правда, даже фотографии, но это художественно-нестерпимо! Вспомните фильм «Путевка в жизнь»; сколько там отменных картин, и как ужасно, когда в советской канцелярии чиновники прыгают от радости, получив телеграмму, что беспризорники ведут себя образдово; или когда милиционеры обнимают этих беспризорников, узнав об их добродетели. Отчаянная безвкусица! Так наши отцы восхищались рассказом о солдате, которому император сказал «прыгай в окно!», — и едва успел удержать его за фалды. Обидно, что Эренбург не чуждается такого лубка!

Еще обиднее, что его главный герой, Володя Сафонов, юноша, отравленный сомнениями, по природе хороший, страдает невероятно болтливо и умирает непохоже. За всех строителей, отдающих мысль и время работе, не имеющих времени рассуждать, — рассуждает стоящий в стороне автор, и так подробно и умно, что иной раз хочется на него цыкнуть и сказать: «помолчите минуточку, дайте посмотреть на людей, которых вы так чудесно разыскали и подобрали; просто посмотреть — без всяких толкований!» Это — основной и крупнейший недостаток Эренбурга: слишком словоохотливый гид! И это особенно обидно, когда он ведет вас по выставке исключительно интересной и ценной, им же самим собранной. Книга Эренбурга, не будь она написана в три месяца в ударном порядке, могла бы захватить и увести мысль в неведомые нам страны, — если бы это был фильм молчаливый, а не столь звуковой.

Еще одно. Собрано героическое и отрицательное — и нет простого и среднего. Непрерывно табельные дни — и не видно понедельника. Люди спотыкаются на Достоевском и спасаются Маяковским; хотелось бы увидеть, как они ходят по улицам, не замощенным литературой. Строители, вредители, энтузиасты, погибшие, — а где простой человек? Его так же нет, как нет в книге Эренбурга простого слова — только сделанные, умные и преисполненные нарочитого значения. Есть «сегодня» и нет «всегда», того «всегда», которое остается, хотя бы «сегодня» полетело к черту.

Стараюсь судить резко книгу Эренбурга; она этого заслуживает. Но значительность ее материала — вне всякого сомнения. Ее непременно нужно прочитать — хотя бы с раздражением. Стоящим в стороне он дает понятие о новом российском

человеке, главным образом, о молодежи. Эренбург наблюдателен, и он — художник, а не исполнитель заказов; материал собран им, а не ему навязан; и такой материал не может обесценить даже поспешность работы и грубоватый монтаж. Иными словами, новая книга И. Эренбурга, со всеми оговорками, должна быть причислена к его крупнейшим работам.

### Четырнадцатая трубка Эренбурга

«По роду литературных занятий большую часть времени последние годы я проживаю за рубежом. И я слышал разговоры о том, что этот образ жизни мне мешает видеть нашу работу. Было бы неуместно, да и попросту глупо, доказывать, что мне все ясно и понятно. В моей жизни я много раз ошибался. Вполне возможно, что ошибаюсь и теперь».

Так говорил Илья Эренбург на писательском съезде в Москве. Эти слова не могут не обезоружить критика, также «по роду литературных занятий» проживающего за рубежом, котя и менее добровольно. Во всяком случае, прочтя вторую книгу обновленного Эренбурга (первая — «День второй», эта — «Не переводя дыхания»), я готов признать, что Эренбург искренне переживает вторую литературную молодость. Мало того, теперь он дает то, чего у него прежде напрасно просили: он рисует нам «положительные типы», на которые раньше был совершенно не способен. И эти типы — живые люди, взаправду им виденные в дни недолгих отлучек с Монпарнаса в признавшее его отечество.

Я пишу это без малейшей иронии, хотя и с большой грустью. Больше нет злого и бичующего Эренбурга, автора «Хулио Хуренито», «Треста Д. Е.» и «13 трубок», писанных свободным пером с предельной резкостью и дерзким издевательством. Есть Эренбург — «рядовой советский писатель», как он сам себя и назвал в той речи на московском съезде. Что «советский», — это хорошо, что «рядовой», — это хуже, но это так. Если бы новый роман «Не переводя дыхания» вышел анонимно, было бы трудно догадаться, что писал его Эренбург, разве по одной детали: по портрету Штрема, агента «умирающего капитализма»; этот маленький поясной портрет — отличная миниатюра знакомого стиля эренбурговских табакерок. Остальное мог написать и другой «рядовой писатель», которого пришлось бы поздравить только с необычной грамотностью и легкостью преодоления стиля.

Эренбург уже не просто пишет; он поет. Поет он лучшее, что есть в современной российской жизни, — работающую и жизнерадостную молодежь. Поет не соло, а в хоре. От его участия хор выигрывает; но скажу откровенно, мне было жаль потерять солиста, писателя с отчетливой, не всем слышимой индивидуальностью. Для перехода в хор нужно отказаться от очень многого, — а научиться только пустякам. Этим пустякам Эренбург научился без труда. Достаточно сказать, что в короткое время он с легкостью настоящего таланта постиг, «как получаются пропсы из тонкомерных фаутных хлыстов», как расположить рамы по системе «тендем», он свободно раскидывает по страницам такие словечки, как клепка, лущение, шпон, слипер, окорка, филенки, крошка, калевка; он уверяет, что у нас изготовляют ящики для экспорта бананов (?), он искренне огорчен, что картофель страдает от сорняков (до сих пор сеяли картофель для борьбы с сорняками), он, Илья Эренбург, от пуговки жилета до костного мозга городской писатель, посвящает полстранички описанию красот природы, он даже усмотрел в небе «красавицу полярную звезду» (почему эта маленькая и невзрачная звездочка оказалась красавицей?), он восклицает устами ученого оригинала Лясса: «Была у нас в Средней Азии пустыня. Нет пустыни — сады!», его язык научился выговаривать: «Надо войти в массы, чтобы затем из масс выйти».

Все это, конечно, огромные приобретения. Но и сколько утрат. В его романе славный парень, комсомолец Мезенцев, сходится со столь же славной комсомолкой

Варей, которая скрыла от него, что ее отец был кулак. Отсюда и партийные неприятности и личная драма. У нынешнего Эренбурга это серьезно. Прежний Эренбург использовал бы такой материал для сатиры, особенно если бы речь шла о личной драме благородного лорда, влюбившегося в девушку, двоюродная тетушка которой была заподозрена в любовной переписке с неродовитым и антиобщественным элементом, впрочем, впоследствии уехавшим в колонии и там исправившимся, так что вопрос, как у Эренбурга, исчерпался благополучно. Пропустить такой случай! И еще сколько подобных же случаев! Не одернуть Лясса по поводу пустыни, ставшей садом! Вот источник моей грусти о прежнем Илье Эренбурге — хотя я не могу не порадоваться за настоящего: родился новый, счастливый писатель-идеалист, пускающий в воздух блаженные, изящные колечки из четырнадцатой трубки. И завидно, и за человека приятно.

Еще из все той же речи Эренбурга: «Многие из авторов идут по пути наименьшего сопротивления. Легкость пути действует на некоторых писателей расслабляюще. Мучительный процесс творчества они подменивают умелым лавированием. Они тщательно обходят темы, которые им кажутся трудными. "Да, что вы, разве об этом можно сейчас писать?" Они... ухитряются, оставаясь, якобы, в русле главных тем, до неузнаваемости их оскоплять». — Так говорил Эренбург, смеявшийся над тем, что «некоторые писатели» идут на такой смелый поступок, что ударник выпивает рюмку водки, и оживляют рассказ об ударнике «размеренно вставленными, аккуратными любовными сценами». И что же получается? Получается, что настоящие рабочие «так же не похожи на классических ударников, как не были похожи их забитые и несчастные прадеды на галантных пастушков пасторали».

Все — отличные слова! Эренбург смелее «некоторых писателей». У него один ударник не «выпивает рюмку водки», а прямо пьянствует (позже, конечно, исправляется), а любовные сцены, котя и аккуратно вставлены, но приправлены душевными драмами. Но когда поешь в коре, приходится участвовать и в пасторалях. Благородный и приятнейший коммунист — начальник Голубев — живой лик диккенсовского добряка, главы старой и прочной коммерческой фирмы. А конец романа с детками, цветами жизни, которые пойдут на смену нынешней еще молодой смены,— так хорошо и так сладко, что грусть о прежнем «отрицательном» и злющем Эренбурге начинает во мне испаряться и превращаться пока в равнодушие, в ожидании следующей книги, которая, может быть, окончательно приучит нас ценить соответственно и нового Эренбурга. К счастью, он вообще пишет «не переводя дыхания», или, как все на том же съезде сам про себя выразился: «лично плодовит, как крольчиха».

#### ПРИМЕЧАНИЯ

#### Эренбурговы трубки

Это первая рецензия М. Осоргина на творчество И. Эренбурга и первый отклик в печати на книгу новелл писателя, вышедшую в середине января 1923 года. Рецензия за подписью Мих. Осопубликована в берлинской газете «Дни» 28 января.

#### Портреты русских поэтов

Рецензия на книгу «Портреты русских поэтов», вышедшую в берлинском издательстве «Аргонавты» в начале марта 1922 года, — единственный случай, когда Осоргин писал о произведении Эренбурга, опубликованном за год до рецензии и уже оцененном такими критиками, как А. Вольский, Д. Выгодский, И. Оксенов и др. Содержание и даже построение всех этих рецензий весьма схожи, различные критики писали об одном и том же, даже приводимые ими примеры мало разнились между собой. Отличались лишь оценочные знаки. То, что один считал положительным, другой объявлял недостатком. В том же духе написал свою рецензию и М. Осоргин, дав лишь более высокую, чем другие, оценку писательского таланта И. Эренбурга.

Рецензия за подписью М. О. опубликована 5 марта 1923 года в парижском журнале «Звено» № 5. Не учтена в кн.: *Бармаш Н. В., Фини Д. М., Осоргина Т. А.* Михаил Андреевич Осоргин. Библиография. Paris, 1973.

# Трест Д. Е. История гибели Европы

Фантастический роман И. Эренбурга «Трест Д. Е.» явно вторичен по отношению к его первому роману «Хулио Хуренито», что ясно почувствовал и выразил М. Осоргин, написав о романе короткую, резко противоречивую рецензию, где приятие и отрицание эренбурговской книги чередуется буквально через каждое предложение. Отсюда и двойственный вывод: «писывал Эренбург лучше», мол, книга не плоха, хотя и не самая хорошая у писателя.

О том, что отрицательные оценки в этой рецензии относительны, говорят и последующие характеристики Осоргиным «Треста Д. Е.»: «На его счастье есть у него в прошлом "Хулио Хуренито" и "Трест Д. Е.", — две книги, которые усердно читаются и переводятся»; «Он опять написал хорошую книгу, напомнившую не только "Трест Д. Е.", но и "Хулио Хуренито"»; «В списке его книг... пропущены самые лучшие: "Хулио Хуренито", "Трест Д. Е." и "13 трубок"».

Рецензия за подписью Мих. Ос. опубликована в журнале «Современные записки» (1923. № 17).

#### Роман И. Эренбурга

Еще до выхода в свет книги «Жизнь и гибель Николая Курбова» И. Эренбург напечатал отрывки из романа — главы о семье Голубковых, о февральской революции и «Тараканий брод» — в альманахе «Струги», вышедшем под редакцией поэта В. Корвин-Пиотровского в берлинском издательстве «Манфред» в конце января 1923 года. Первую рецензию на этот альманах написал М. Осоргин, коснувшись в ней и публикации эренбурговских отрывков: «Об Илье Эренбурге положительно неудобно больше говориты! Он так много пишет и печатает, с такой потрясающей быстротой, что делается за него уже не радостно, а страшно. Во всем, что он пишет, есть что-то; есть и в новом романе "Жизнь и гибель Николая Курбова". Но это эренбурговское "что-то" раскидано и разметано по книгам, книжечкам, романам, и собрать и осмыслить эренбурговскую сущность невозможно. Есть в нем хорошая злость и здоровый пессимизм, — а где его положительное? Так можно обратиться в беллетриста-фельетониста, а это плохо!» (Дни, Берлин, 1923. 4 марта).

Через две недели после публикации этой рецензии Осоргин мог уже ознакомиться с полным текстом эренбурговского романа, который в середине марта вышел одновременно в России, в издательстве «Новая Москва», и в Берлине, в «Геликоне».

При журнальной публикации, а рецения Осоргина на «Курбова», как и предыдущая, была напечатана в журнале, трудно установить точную дату написания рецензии. Неизвестно, читал ли Осоргин мнение других критиков об этом романе, прежде чем изложить свое. Скорее всего, мог прочитать, ибо ранее его рецензии за рубежом вышли отзывы на «Курбова» А. Бахраха (Дни. 1923. 17 июня), Р. Гуля (Новая русская книга. 1923. № 5—6), считавших новый роман Эренбурга «замечательной книгой», Б. Каменецкого (Ю. Айхенвальда), на которого «Курбов» произвел «тягостное впечатление», но был отмечен им как явление «если не высокого искусства, то, бесспорно, мастерства» (Сегодня, Рига, 1923. 8 июля).

Осоргин, безусловно, высказывает свой личный взгляд на роман, и тот ему весьма не нравится. Резко не понравился «Курбов» и советской критике, с которой Осоргин, особенно со статьей Б. Волина (На посту. 1923. № 1), весьма вероятно, успел познакомиться, если свою рецензию писал не весной, когда вышел роман, а во второй половине лета. Но если Волин и другие советские критики не приняли роман Эренбурга исключительно потому, что он «искажает революционную действительность, пасквильничает, утрирует факты и типы и клевещет, клевещет без конца и без зазрения совести на революцию, революционеров и коммунистов», то Осоргин судит художественное произведение по законам жанра, отмечая, что Эренбург написал роман «плохой шаблонно вымученной завязкой и развязкой», «плохой по форме», и подтверждая одновременно свое прежнее мнение, что все-таки «Эренбург — большой писатель». Несмотря на эту частную неудачу, Осоргин ждет «от И. Эренбурга лучшей книги».

Рецензия за подписью Мих. Осоргин была опубликована в пражском журнале «Воля России» (1923. № 18, вышел в свет 1 ноября 1923 года).

## «В Проточном переулке»

После публикации романа «Жизнь и гибель Николая Курбова» прошло четыре года, в течение которых Эренбург публиковал свои произведения преимущественно в России. За это время за границей вышла только одна его книга — роман «Рвач», на который после выпадов Вл. Ходасевича долго не было рецензий, пока в самом конце 1925 года не откликнулись Ю. Айхенвальд (Руль, Берлин, 1925. 30 дек.) и Н. Рыбинский (Новое время, Белград, 1925. 31 дек.). Для М. Осоргина такая неоперативность была недопустима. Чтобы возобновить разговор о творчестве

В. В. Попов

И. Эренбурга, он дождался его очередного зарубежного издания. Им оказался роман «В Проточном переулке». Первую рецензию на эту книгу написал Осоргин.

Данное произведение Эренбурга не показалось ему выдающимся, достойным автора «Хулио Хуренито» и «Треста Д. Е.», но Осоргин все же сумел разглядеть в нем новшества, что не преминул отметить в рецензии: «Эренбург стал писать простым языком, даже больше: с замоскворецкой развалкой». И еще: «Илья Эренбург, автор ядовито-слюнных "13 трубок" пытается полюбить маленького человека или хотя бы оправдать его».

Здесь же Осоргин подчеркнул два момента в творческой судьбе Эренбурга, к которым ему впоследствии еще не раз пришлось возвращаться. Во-первых, он попытался ответить на вопрос, почему роман Эренбурга вышел в Париже, где «не может рассчитывать на большое распространение». «Очевидно потому, — решил Осоргин, — что в России Эренбург не в фаворе; кажется, Госиздат наложил даже на него запрет и не издает рукописей, ранее у него приобретенных».

На это парижская газета «Возрождение» «разъяснила» Осоргину и читателям, «что все это не очень трогательно, что роман отпечатан здесь в количестве 1000 экземпляров ради закрепления за Эренбургом авторского права за границей, т. е. вовсе не потому, что большевики "отвергли" Эренбурга». «Тут же, — продолжала газета, — мы высказали уверенность, что "вслед за тем, в количестве нескольких тысяч, книга будет издана в СССР"». Это предположение подтвердилось, и вскоре та же газета с удовлетворением сообщила: «Вышло, разумеется, по-нашему. В качестве 7-го тома собрания сочинений И. Эренбурга роман уже появился в продаже в казенном издательстве "Земля и фабрика". На книжке значится: "Отпечатана в типографии «Печатный двор» в количестве десяти тысяч экземпляров"» (Возрождение. 1927. 29 сент.).

Ясно, что недружелюбная по отношению к Эренбургу газета была права, но Осоргин и в дальнейшем остался верен высказанной в этой рецензии точке зрения: «Непризнанный здесь и

отвергнутый там, Эренбург имеет все права считать себя гонимым писателем».

Второе, не менее важное, наблюдение, сделанное Осоргиным, заключалось в следующем: «Если автор "Хулио Хуренито" и "Треста" стоит в литературе почти особняком, то автор "Жизни и гибели Николая Курбова" и "Любовь Жанны Ней", как и последнего романа "В Проточном переулке", марширует в толпе ему подобных». К сожалению, и эту мысль Осоргину пришлось повторить в его последней рецензии на романы Эренбурга.

Рецензия на книгу «В Проточном переулке» за подписью М. О. была опубликована в париж-

ской газете «Последние новости» 21 июля 1927 года.

## Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца

Совсем небольшой, но, как всегда, емкой и содержательной рецензией Осоргин первым в печати откликнулся на книгу Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», вышедшую в берлинском издательстве «Петрополис». В последней фразе: «Любопытно, кстати, возможно ли будет эту книгу переиздать в России? «— чувствовалась убежденность автора рецензии в нереальности публикации романа Эренбурга на родине. Осоргин не мог, разумеется, знать, что не только перепечатать, но даже привезти в СССР книгу сразу же стало невозможным, ибо «заграничные издания книги И. Эренбурга "Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца" Главлитом не допущены. Эта книга проходила и через русский отдел Главлита, который также ее не пропустил» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 281. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 66). Заслон книге был поставлен настолько плотный, что даже не возникла необходимость прятать книгу в спецхран. Из всех советских библиотек только в главной, Ленинской, хранился единственный экземпляр «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца», да и тот в фотокопии, сделанной с личного экземпляра автора. В России роман был опубликован лишь в годы перестройки — сначала в журнале «Звезда» (1989. № 7—9: публикация и вступительная статья А. Рубашкина), затем несколькими отдельными изданиями.

Рецензия была напечатана за подписью Мих. Ос. в парижской газете «Дни» 5 февраля 1928 года.

#### «Заговор равных»

«Заговор равных» — уникальное произведение в творчестве Эренбурга. Это его единственный исторический роман и единственный роман, так и не вышедший в России отдельным изданием, это наиболее пострадавшее от цензуры произведение писателя и единственное из его крупных сочинений, не заслужившее по выходе ни одной рецензии в советской прессе.

Хотя роман был построен на материале Великой французской революции, тем не менее его содержание, как всегда у Эренбурга, целиком касалось дня сегодняшнего. Повествовавший, по сути, о сталинском перевороте, роман ставил советских критиков в затруднительное положение. С одной стороны, он рассказывал о событиях более чем столетней давности и трактовал их в духе современной году написания оценке этих событий большевистскими историками, с другой — ассоциации и параллели с текущей повседневностью были столь явными, что обойти их даже при простом пересказе романа не представлялось возможным. Гораздо проще было книгу не заметить и критикам отмолчаться. Обещанная журналом «На литературном посту» (1929. № 1. С. 72) рецензия на «Заговор равных» так и не появилась.

Свободные от цензуры зарубежные авторы (П. Пильский в рижской газете «Сегодня» (1928. 15 дек.), рецензент пражского журнала «Воля России» (1929. № 1. С. 117)) прямо писали об актуальности романа. «Не о Франции, не о 18-ом веке, а о СССР и последних днях Сталина говорит умный и ироничный автор», — утверждалось в «Воле России». Гораздо сдержаннее оказались критики из центров русской зарубежной литературы — Парижа и Берлина, никак не желавшие видеть в Эренбурге «своего». Они, как и советские рецензенты, от оценки нового романа Эренбурга укловились. И только один М.Осоргин выразил на страницах печати свое отношение к нему. Как обычно коротко, но всесторонне оценив роман, Осоргин еще раз указал на неприятие Эренбурга советской критикой и заметил, что «здесь, за рубежом еще более враждебен он местной путанной идеологии», о чем Осоргин уже писал в 1927 году. Он снова попытался «пробудить к Эренбургу интерес здесь, за рубежом».

Рецензия за подписью Мих. Ос. была опубликована в парижских «Последних новостях»

27 декабря 1928 года.

#### 10 Л. C.

В рецензии на книгу «10 лошадиных сил» Осоргин вновь возвратился к теме двойственного положения Эренбурга, которого «замалчивают потому, что он сидит между двумя стульями: один стул в кафе на Монпарнасе, а другой стул, колченогий, в Москве». «Его замалчивают и в настоящей и в зарубежной России: тем приятнее расписаться в чувствительной к нему слабости», — заканчивает Осоргин на этот раз пространную свою рецензию.

Интересно было бы ознакомиться и с мыслями Г. Адамовича насчет Осоргина и Эренбурга, о которых говорится в начале рецензии. В упомянутом в связи с этим журнале «Иллюстрированная Россия» Г. Адамович, согласно «Библиографии русской зарубежной литературы», составленной Л. Фостер (Boston, 1972), сотрудничал в 1929 году начиная с № 218, однако номеров этого журнала с обзорами Адамовича «Литературная неделя» в петербургских библиотеках не нашлось.

Рецензия за подписью Мих. Ос. опубликована в газете «Последние новости» 21 января

1930 года и была первым зарубежным откликом на «10 Л. С.».

# «Москва слезам не верит»

Малоизвестный роман Эренбурга, скромно отмеченный критикой и практически не замеченный историками литературы и биографами писателя, Осоргин, единственный зарубежный рецензент этого произведения, оценил достаточно высоко, в очередной раз заявив, «что если Эренбург не всегда захватывает, то он и не умеет быть скучным и утомительным; опытность и талант берут свее».

Продолжая тему об Эренбурге, не признанном ни в советской России, ни в русском зарубежье, Осоргин, пожалуй, первым замечает признаки необратимого перехода Эренбурга в статус «советского» писателя.

Рецензия за подписью Мих. Ос. опубликована в «Последних новостях» 6 октября 1932 года, через неделю после выхода романа в свет.

#### «День второй»

Историю первого издания романа «День второй» И. Эренбург достаточно подробно описал в книге «Люди, годы, жизнь». Когда советские издатели категорически отказались публиковать это произведение, писатель напечатал в Париже 400 нумерованных экземпляров и отослал книги Сталину, руководителям партии и страны, видным советским литераторам. Один экземпляр «Дня второго» был послан и в редакцию «Последних новостей», где сотрудничал М. Осоргин (Последние новости. 1933. 18 мая). Через несколько дней в газете появилась рецензия Осоргина, в которой он отмечал серьезные недостатки романа. Критика оказалась резкой, но это была резкость доброжелателя, почитателя, друга. Она оправдывалась серьезностью сделанных замечаний и обычным для Осоргина, присутствующим во всех рецензиях на эренбурговские произведения, выводом: «Новая книга И. Эренбурга, со всеми оговорками, должна быть причислена к его крупнейшим работам».

Больше в эмигрантской прессе никто «День второй» не рецензировал, а в советской печати отклики появились лишь год спустя, когда книга наконец была выпущена в Москве.

Рецензия за подписью Мих. Ос. опубликована в газете «Последние новости» 8 июня 1933 года.

#### Четырнадцатая трубка Эренбурга

Это последняя рецензия Осоргина на творчество Эренбурга и единственная — на книгу, опубликованную не за границей, а в Советском Союзе. По словам Осоргина, написана рецензия «без малейшей иронии, хотя и с большой грустью». На самом деле, иронии больше чем достаточно, но, конечно, главное здесь не ирония, а грусть. И причина этой грусти не в тех художествен-

ных слабостях, что в изобилии приводит Осоргин, а в потере любимого писателя, любимого за исключительную индивидуальность, неповторимость. Осоргин замечает, что в новом романе Эренбург «поет не соло, а в хоре. От его участия хор выигрывает, но, скажу откровенно, мне было жаль потерять солиста, писателя с отчетливой, не всем слышимой индивидуальностью. Для перехода в хор нужно отказаться от очень многого...»

После 1933 года книги Эренбурга за границей не выходили. Поскольку на советские издания Эренбурга Осоргин рецензий не писал («Не переводя дыхания» — исключение), может быть поэтому книги Эренбурга с тех пор перестали привлекать М. Осоргина? Возможно, причиной этого было почти полное отсутствие беллетристики в творчестве Эренбурга второй половины 30-х годов. Но допустимо и то, что, поставив Эренбурга в «рядовые» писатели, Осоргин просто потерял к нему интерес. «Больше нет злого и бичующего Эренбурга, автора "Хулио Хуренито", "Треста Д. Е." и "13 трубок", написанных свободным пером с предельной резкостью и дерзким издевательством».

Созданный Осоргиным творческий портрет Эренбурга был начат рецензией на «13 трубок» и завершен «Четырнадцатой трубкой». «Тринадцать» в 1923 году означало для Осоргина «очко», совершенство, абсолютный выигрыш. «Четырнадцать» в 1935 году — перебор, а стало быть, проигрыш. Игра закончена, интерес пропал. Это чувство оказалось взаимным. Может быть поэтому, работая в конце жизни над мемуарами, ни Осоргин, ни Эренбург друг о друге не вспомнити?

Рецензия за подписью Мих. Ос. опубликована в газете «Последние новости» 3 октября 1935 года.

Г. В. Обатнин

# ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ВЯЧ. ИВАНОВА ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА<sup>1</sup>

Позиция Вячеслава Иванова в первые годы советской власти выглядит весьма противоречивой. Действительно, он явно не симпатизирует новым правителям — и в то же время широко сотрудничает с ними, пытается эмигрировать<sup>2</sup> — и занимает пост в Наркомате просвещения. Его статьи в официальной прессе (во «Временнике Театрального Отдела Народного комиссариата по просвещению» и в «Вестнике театра» — не служебные отписки человека, получающего жалованье от государства (хотя последнее в условиях голода — несомненный резон к сотрудничеству), но насыщенные идеологические тексты, сопоставимые по кругу идей и

<sup>1</sup> В основу статьи положен доклад на международной конференции «Il symbolismo russo e la rivoluzione», проходившей в г. Гарньяно (Gargnano, Italia) в 1993 году.

<sup>2</sup> Иванов подавал прошение на выезд из Советской России в 1919 году (см. письмо на имя Фотиевой, секретаря Ленина: РНБ. Ф. 304. Ед. хр. 48). Разумеется, это было обусловлено не в последнюю очередь болезнью жены поэта, В. К. Шварсалон. По воспоминаниям Л. В. Ивановой, «все было уже организовано и даже назначен день отъезда» (Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 85). В письме к своей сестре от 1 апреля 1920 года Александра Н. Чеботаревская описывала подробности этого эпизода: •О выезде за границу я слышала, что здесь хлопотал и получил разрешение выехать А. Белый (первый по счету), затем подали заявления ваш питерский Браун (приезжал сам в Москву) и наш Вяч. Иванов. Для обоих порядок такой: комиссариат запрашивает Эстонию, могут ли данные лица выехать в Ревель и, получив утвердительный ответ, выдает паспорт лицу, кот(орое) выезжает в Ревель, а там снова консульства запрашивают ту страну, куда они едут, можно ли выехать дальше, а до того времени надо сидеть в Ревеле и ждать ответа. Браун и Иванов получили разрешение выехать в Ревель, теперь могут ехать и дожидаться дальнейших разрешений. Сейчас, однако, В. Иванов смотрит пессимистически на возможность продвинуться дальше из-за событий в Германии, через которую трудно, очевидно, пробраться иностранцам. (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 310. Л. 20, об.—21, об.). По словам дочери поэта, отъезд Ивановых не состоялся из-за безответственного поведения К. Бальмонта, начавшего, в нарушение собственного обещания Луначарскому, ругать советскую власть уже в Ревеле (Иванова Л. Указ. соч. С. 86).

<sup>3</sup> Атрибуцию воззвания от имени Наркомпроса в первом номере журнала см. в нашей работе: Обатнин Г. В. Заметки комментатора # Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 294—295.

пафосу со статьями 1905—1907 годов. Кажется, что Андрей Белый в известном очерке «Сирин ученого варварства» имел право укорять Иванова в надуманности и лживости его позиции.

Рассмотрим идеи и отклики Иванова на события 1917 года в аспекте его самосознания.

Февральскую революцию Иванов встретил, как и все русское общество, восторженно. 7 марта 1917 года он писал В. Ф. Эрну из Сочи: «Явно, что спасительная операция была произведена в минуту, когда уже начиналось заражение крови. Но сама операция — одна из тех, за последствия которой хирурги не ручаются... (...) А на дне волнуемой души великая радость, говорящая "ныне отпущаеши" волению и томлению целой жизни, и хватит этой радости на всю остальную жизнь. (...) 4-го марта, в день моих именин, вышли здесь телеграммы, содержащие манифест об отречении князя Михаила. Казалось, что "полюс" самодержавия, чтобы растопить который было не достаточно не только крови декабристов, как говорит Тютчев, но целых рек крови за целое столетие, — вдруг растаял сам собою, чудесно, уже бескровно. —

Нечеловеческим плугом Мир перепахан отныне... Вырвано с глыбою черной Коренье зол застарелых...

Страшно переживать исполнение того, что сам предвидел и в чем уверял других, потому что предвидел realiora, с полным математическим знанием, что они сильнее, чем realia; но когда они внезапно становятся на место "реалий", ты не удивлен, как другие, но изумлен больше других (...)».4 Отрадным чувством свершения надежд наполнены и первые два поэтических отклика на революцию — «Моление св. Вячеслава» и «Тихая жатва». 5 Ощущение себя пророком, предвидения которого исполнились, сказалось в постскриптуме к «Автобиографическому письму», не вошедшем в печатный текст: «Не чаял я, что это открытое письмо к Вам, беспристрастно-благожелательный летописец наших исканий и блужданий, глубокоуважаемый С. А. (Венгеров), закончу я в корректуре припиской: волю всей своей жизни вижу исполнившеюся, Россию — свободной! Не знал, хотя и чаял с первых дней войны, что она — порог новой эпохи и что под этим предлогом — могила самодержавия. Не чаял, хотя и был уверен, что "нечеловеческим плугом мир перепахан отныне", и еще три года тому назад говорил: "столь великим и всеобщим вижу я уже совершающийся сдвиг всех условий и отношений всемирной духовной и материальной жизни, что прежние корни неисчислимых и застарелых зол кажутся мне как бы выкорчеванными и вывернутыми из пластов земных, перепаханных нечеловеческим плугом"... Приписку же делаю, не только повинуясь велению сердца, но и чтобы прибавить к литературной автобиографии черточку, кое-что объясняющую в моих творениях; все, что писал я, вызывая насмешки трезвых наблюдателей действительности, о всенародном искусстве и о соборном творчестве, о будущем культуры, по-новому органической, о религиозно-самобытных энергиях русского духа, имеющих развиться в его окончательном историческом самоопределении, — имело ближайшей оговоренною или подразумеваемою предпосылкой державство воли народной. Я говорил, что мы, представители творчества келейного, мыслим и творим "про запас" для будущего, предуготовляя в духе народу-пришельцу горницу убранную, и что дело наше постольку нужное дело, поскольку оно организует народную душу. Есть, при всем том, огромная вероятность, что именно в ближайшее время умонастроение мое и моему

<sup>4</sup> РГБ. Ф. 348. Карт. 2. Ед. хр. 43. Л. 7, об. — 8.

<sup>5</sup> Иванов Вяч. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 55. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте; римской цифрой обозначается том, арабской — страница.

<sup>15</sup> Русская литература, № 2, 1997 г.

родственное будет казаться похороненным жизнью столь же глубоко, как и вчерашнее историческое прошлое России, и что келейничество, о котором я упомянул, окажется только теперь, явно для всех "отшельничеством духа" в полном смысле этого слова. Я же остаюсь при убеждении, что в переходные эпохи, подобные нашей, только из истинного келейничества открывается выход в истинную всенародность: чем келейнее духовное делание, тем ближе оно к духу грядущей всенародности. Вяч. Иванов. Сочи, май 1917».6

Этот текст проясняет, какие именно концепты собственного творчества прежних лет Иванов теперь интерпретирует как предвидение текущих событий. Цитирование в обоих приведенных отрывках стихотворения «Убеленные нивы» (IV, 26) и в последнем отрывке, что еще знаменательнее, статьи «Вселенское дело» (1914) заставляет нас обратиться к кругу идей Иванова периода первой мировой войны. С другой стороны, упоминание «келейничества» и связанных с ним концептов отсылает к эстетической утопии Иванова периода первой русской революции — идеалу «всенародного искусства», как он впервые был сформулирован в статье «Копье Афины» (1904). Заметим, что текст, который Иванов представил на конкурс нового гимна в апреле 1917 года, имел название «Хоровая песнь новой России» (IV, 60, 717), что отсылает к политическому аспекту эстетической утопии 1905 года — хоровому (соборному) государству. Эти две парадигмы и лягут в основу восприятия Ивановым дальнейших политических и культурных событий.

Для взглядов Иванова периода войны характерно приписывание особенного, мистического смысла политическим событиям. Война — «чудотворная», являющая «воочию тщету человеческого рассудка и расчета», в это — «поле Божьей брани», где все происходящее превращается в символ. 9 Подобный тип мышления сближает Иванова с русскими неославянофилами, группировавшимися вокруг журналов «Новое звено», «Отечество», «1914 год» (в первых двух он печатался), а также с правым крылом кадетской партии. Победа в войне как победа Христа над Люцифером, взятие Константинополя как осуществление русской национальной задачи, грядущее преображение Российского государства в теократию (или «агиократию \* в ивановском варианте)<sup>10</sup> — все это идеи, задающие ракурс зрения Иванова и в 1917 году. В этой связи, например, характерен отклик поэта на дебаты по вопросу о земле весной 1917 года, переданный Н. В. Недоброво, также жившим в Сочи в то время. 14 апреля 1917 года Недоброво писал А. Д. Скалдину: «Вячеслав Иванович (...) полон самого широкого оптимизма и фаталистически приветствует всякое свершение, т(а)к к(а)к по его вере, все, что теперь происходит, есть дело Архангела, представляющего собой соборную душу России, которая по природе праведна, и хоть и имеет свободу совершить грех, но не может того пожелать. В. И. кажется, что выдвинутый ныне лозунг "земли" выдвинут чудесно, и он видит в нем как бы выражение стремления, ныне охватившего Россию, к особенному почитанию Образа Богородицы — Матери Земли. Это, мне кажется, кратчайшее и существеннейшее изложение его взглядов (...) ... 11 Происходящее толкуется Ивановым посредством одного из наиболее значимых для него мифов, который неизменно обеспечивал едва ли не основной механизм утопического

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Цит. по: Иванов В. И. Избр. статьи по философии. Сост. Н. В. Котрелева. Подг. текста А. Доброхотова. Коммент. Г. В. Обатнина и А. Л. Соболева (в печати). Текст постскриптума был обнаружен и подготовлен к печати А. Л. Соболевым.

<sup>7.</sup> Музыку для ивановского текста написал композитор Б. Б. Тиц (см. письма Иванова к М. М. Замятниной от 27 и 28 апреля 1917 года: РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 34).

<sup>8</sup> Цитируем наброски к статье «Вселенское дело» (ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 126. Л. 19).

<sup>9</sup> Этот круг представлений подробно изложен в книге: Hellman Ben. The Poets of Hope and Despair. The Russian Symbolists in War and Revolution (1914—1918). Helsinki, 1995. P. 84—93.

<sup>10</sup> Термин введен в статье «Лик и личины России» (IV, 481).

<sup>11</sup> РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 16—16, об.

дискурса на протяжении всего творчества поэта. Сюжет о женщине, ищущей своего истинного мужа, использовался Ивановым в психиатрической утопии (статья «Ты еси», 1907), онтологической утопии (доклад «Евангельский смысл слова "Земля"», 1909)<sup>12</sup> и, наконец, в национальной утопии (статьи «Основной миф в романе "Бесы"» (1911) и «Лик и личины России» (1917)). В рамках последней женская сущность России ждет своего «Царевича» (использован сюжет с Хромоножкой и Ставрогиным), чтобы из этого союза явился миру Христос. Закономерно, что истинная революция видится Иванову как неминуемо религиозная («порыв к инобытию» — III, 192), а политическая демократия как часть грядущей соборности.

Следующие известные нам отклики на события в России относятся к осени 1917 года, когда Иванов вернулся из Сочи в Москву. Его статья «Революция и народное самоопределение», 13 дважды прочитанная в редакции журнала «Народоправство» в конце сентября и начале октября (под названием «Политика и религия»), являет собой полное крушение надежд на религиозную революцию. Иванов констатирует: «1) Революция протекает внерелигиозно. 2) Поэтому она не выражает самоопределения народного. 3) Поэтому она вырождается в анархию и полную разруху. 4) Для углубления и спасения революции необходимо ее религиозное осмысление и освящение; только проникнутая светом религиозного сознания, она воистину выразит и воплотит народную волю». 14 Происходящее, включая большевиков, Иванов интерпретирует как уклонение с правильного пути. Среди черновых записей поэта, видимо, во время прений по докладу, сохранилась следующая: «Если у вас сын блудит, вы скажете, что он самоопределяется, что это его лицо — "морда" и есть лицо России, "чудовище" (...) все равно, что говорить: "И большевики те же чудовища, морда, иконы прочь"». 15 Таким образом, по мысли Иванова, Россия все же воспользовалась своей свободой совершить грех, она блудит и рождает большевиков.

После октябрьского переворота поведение Иванова меняется, пророк становится деятелем, причем деятелем, настроенным резко негативно по отношению к новой власти. Писатель избирается членом Временного комитета Лиги русской культуры, объединившей праволиберальную и националистическую интеллигенцию, 16 ядро которой вошло в сборник «Из глубины», где Иванов поместил статью против реформы правописания «Наш язык»; читает доклады; участвует в акции протеста против Декрета о печати — однодневной листовке «Слову — свобода!». 17 В этот же ряд следует поставить политическую публицистику Иванова в газете «Луч правды» — статьи «Социал-макиавеллизм и культур-мазохизм» (под названием «Макиавеллизм и мазохизм» вошла в сборник «Родное и вселенское»), «Предательство», «Краеугольный камень» и «Ловушка». 18

Во всех четырех статьях критикуется внутренняя и внешняя политика большевиков, которая, как легко догадаться, разрушала символическую ткань событий,

<sup>12</sup> Иванов Вяч. Доклад «Евангельский смысл слова "Земля"». Письма. Автобиография (1926) / Публ., вступит. статья и коммент. Г. В. Обатнина // Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 142—154.

<sup>13</sup> В наборной рукописи статья называлась: «Роль религии и народа в революции» (РГАЛИ. Ф. 225. Ед. хр. 34).

<sup>14</sup> Цитируем повестку доклада, которая, впрочем, в целом повторяет положения последнего абзаца печатного текста статьи (ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 183; III, 364).

<sup>15</sup> ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Колеров М. А. «Лига русской культуры» в Москве (1917) // De visu. 1993. № 9. С. 55— 57.

<sup>17</sup> Галушкин А. Ю. В защиту свободы печати. «Газета-протест», «Слову — свобода!», «Щит». Указатели содержания // De visu. 1993. № 4. С. 80—83.

<sup>18</sup> Луч правды. 1917. № 2, 3, 4; см. также их перепечатку: «Совесть народная уже смущена...». Вячеслав Иванов о событиях семнадцатого года / Вступит. заметка и публ. Г. В. Обатнина и А. Л. Соболева // Независимая газета. 1992. 30 сент. С. 5.

т. е. надежду на эстетическую и государственную утопию. В «Предательстве» и «Ловушке» Иванов подвергает критике прогерманские симпатии большевиков, т. е. в первую очередь их намерение заключить сепаратный мир, в «Социал-макиавеллизме...» постулируется «культурный мазохизм» русского народа и интеллигенции — тайная открытость германским влияниям и пронизанность флюидами германской культуры. «Краеугольный камень» посвящен убийству красноармейцами царскосельского священника, что интерпретируется как разрушение религии. Удивление перед народом, продолжающим блудить, и надежда на чудо составляют эмоциональный ландшафт стихов этого времени (циклы «Песни Смутного времени» и «Утешительница» — IV, 68, 72).

Понимание исторического события как символа (или эпизода в разворачивающемся символическом сюжете — мифе) является следствием общесимволистского представления о тотальной знаковости окружающего мира. Эта общая характеристика в ивановском случае должна быть дополнена описанием его концепции истории. Очевидно, что если каждое событие — это символ, то смена этих событий имеет столь же высокий статус. Периоды катастрофической смены событий (война, революция) в рамках такого понимания истории создают пространство повышенной символичности, когда законы истории обнажаются, как обнажается суть человеческой природы в измененном состоянии сознания (например, в состоянии религиозного экстаза). Специфика позиции Иванова состоит в пророческой «покорности» истории, т. е. высшим, «водительным» силам, управляющим историческим процессом. Это представление мы находим вполне сформированным еще в эпоху первой русской революции.<sup>19</sup> В 1905 году в статье «Из области современных настроений. 1. Апокалиптики и общественность Иванов писал: «...должно (...) чтобы религиозное самоопределение мира и хора было имманентным и самопроизвольным».<sup>20</sup>

Экспликации этих переживаний посвящен доклад Иванова в Доме свободного искусства 19/6 мая 1918 года: «Революционные эпохи суть эпохи наименьшего творческого действия и наиболее стремительного становления. Возможно ли творчество форм, когда металл расплавлен? Возможно ли действие во время родов? Мы чувствуем, что жизнь нас творит, а не мы творим жизнь. Отсюда ощущение рока (...) Единственный возможный самовольный жест — схватить руку, протянутую из мрака. Это не творчество, а жертва. Для духа возможны только гадания по звездам, внушения Музы Урании (...) Да еще надежда! Текст доклада насыщен цитатами из стихотворений 1905-1906 годов и заканчивается словами: «Изложение статьи "Копье Афины" (1904)\*.21 Доклад написан после Брестского мира и после того, как Иванов приступил к работе в Наркомпросе, 22 поэтому может рассматриваться также как жест смирения со случившимся. Единство политической (взгляды периода войны) и эстетической (вера во всенародное искусство) утопий, которое определяло переживания Иванова периода Февральской революции, разрушилось. Как и в 1905 году, осталась только «надежда». Статьи Иванова первых лет революции, помещенные в органе Наркомпроса «Вестник театра», опираются на эстетические идеи эпохи первой русской революции, которые в переработанном виде теперь составляют программу писателя на государственной службе.

Поэт, оказавшийся в ситуации несбывшихся пророчеств, принужден осмыслять новые реалии. Следующий виток рефлексии Иванова относится к 1919—

<sup>19</sup> См. об этом: Доценко С. Н. Проблема историзма в цикле Вяч. Иванова «Година гнева» // Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сборник VIII. Тарту, 1988. С. 78—86.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Весы. 1905. № 6. С. 39.

 $<sup>^{21}</sup>$  Цит. по: Обатнин Г. В. Из материалов Вячеслава Иванова в Рукописном Отделе Пушкинского Дома / Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1991 год. С.  $^{44}$ —45.

 $<sup>^{22}</sup>$  Судя по всему, это случилось вскоре после переезда советского правительства в Москву.

1920 годам. Покорностью исторической удаче большевиков можно объяснить отзыв Иванова о новых правителях. В письме к поэтессе З. Д. Бухаровой, просившей у Иванова совета, как совместить революцию и церковь (\*Вы один можете мне дать сейчас успокоение и силу\*),<sup>23</sup> он писал: \*В эти дни я именно думал о Вас вследствие встречи с Раменской,<sup>24</sup> которая меня отвлекла, чтобы поговорить о Вашем soi-disant коммунизме, и я высказался за Вас. Вы пишете мне о том же, и вот мой простой ответ: в партию не вступайте (это не для Вас), но правду ее утверждайте, как если бы Вы были в партии. Ибо в ней соединены вместе правда и ложь. Критерий же правды, конечно, Христос. В нас он, Христос, и потому не может быть истолкован извне. Слово Его звучит в глубине нашей и истолковывает себя само.

Церковь же, здесь пребывающая, так же меняет кожу, как и всякая жизнь на земле в наши дни. Змея — символ жизни $^{25}$ 

Символ змеи, сбрасывающей кожу, является ключевым для статьи Иванова «Кручи. О кризисе гуманизма», в которой постулируется как свершившееся гораздо более крупное, нежели революция, событие — «изменение тканей явления» (III, 370). На базе этого Иванов выстраивает новую парадигму, используя концепты собственного творчества эпохи первой русской революции. 26 Гуманизм, тождественный индивидуализму, по мысли поэта, умер, на историческую сцену выступает антигуманистическая соборность, всенародность, в будущем — новый миф. Революция, антигуманистическая по своей природе, не является наследницей традиций эпохи гуманизма (к которым относится, например, «Декларация прав человека и гражданина»), но восстанавливает догуманистическую пору Древней Греции. Поэтому скрытая сила этой революции («закваска» — символ, заимствованный Ивановым из Евангелия) не подлежит однозначной оценке: «имя этой закваске — воля Адама — не благая и не злая сама по себе, скорее — благая и злая вместе, — к реализации своего единства, — тот же, стало быть, древний импульс, что сказывался еще в Платоновых прозрениях антигуманистического Града» (III, 376). Большевики оказались древнее, чем виделось сначала, и их роль интереснее, чем быть воплощением греха России — они предтечи нового человечества без гуманистических представлений.<sup>27</sup>

Особо следует отметить, что новая позиция Иванова не предполагает приятия конкретных проявлений этого «всеобщего сдвига», писатель наблюдает за ходом

<sup>23</sup> РНБ. 304. Ед. хр. 51 (письмо от 19 февраля 1920 года). Бухарова обращалась за помощью к Иванову не впервые, ее письма 10-х годов насыщены восторженными оценками творчества Иванова и экзальтированными благодарностями за возможность общения с ним (см.: РГБ. Ф. 109. Карт. 14. Ед. хр. 15).

<sup>24</sup> Видимо, имеется в виду Лидия Семеновна Раменская, в 10-е годы студентка московского Училища живописи, ваяния и зодчества, потом — библиотекарь Фундаментальной библиотеки Воронежского сельскохозяйственного института (публикацию писем Л. Андреева к Раменской см.: Русская литература. 1992. № 3. С. 148—154).

<sup>25</sup> РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 11 (письмо от 15 апреля 1920 года).

<sup>26</sup> Поэтому построение единого взгляда Иванова на «крушение гуманизма» должно начинаться со статей 1905 года (опыт такого построения см. в работе: Cuzemxu A. Кризис гуманизма и попытка его преодоления у Вячеслава Иванова // Vjačeslav Ivanov. Russische Dichter — europäischer Kulturphilosoph. Beiträge des IV Internationalen Vjačeslav-Ivanov-Symposiums. Heidelberg 4.—10. September 1989. Heidelberg, 1995. S. 307—313).

<sup>27</sup> Позиции Иванова и Блока, находящиеся в сложных отношениях друг к другу (об этом см. статью: Щербакова О. П. «Кручи» Вяч. Иванова и «Крушение гуманизма» А. Блока // Вестник Московского университета. 1990. № 2 (март—апрель). С. 21—27 (Сер. 9. Филология)), имели то общее, что предполагали приятие действительности (например, террора). Это могло интерпретироваться как идейное примирение с большевизмом (см., например, мнение Батюшкова: Батюшков Ф. Д. Гуманизм и революция / Публ. В. А. Прокофьева // Из творческого наследия советских писателей. Л., 1991. С. 274—275). С другой стороны, в риторику оправдания террора большевиками включалась именно ссылка на практику Французской революции.

истории, даже видит его через призму уже опробованных концептов, но не приветствует. Поведение Иванова-человека диктовалось совершенно иными переживаниями. Рецензируя в 1920 году сборник стихотворений К. Эрберга (Сюннерберга), писатель назвал его «ярким образчиком тех отвлеченно-вольнолюбивых идеологий, которым суждено было стать как бы метафизическими пропилеями реальной революции». В декабре 1919 года прозрачное стихотворение «Да, сей пожар мы поджигали...» Иванов не только посвящает Г. Чулкову, но и посылает текст его адресату отдельным письмом. Соннерберг и Чулков — ближайшие единомышленники Иванова по «мистическому анархизму», общественно-политический пафос которого теперь осознается им как одна из причин революции. Как и большинство символистов, Иванов оказался заложником собственной утопии.

<sup>28</sup> Жизнь искусства. 1920. № 529. 13 авг. С. 1.

<sup>29</sup> РГАЛИ. Ф.548. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 13. Это было сделано не случайно, Чулков в эти годы также пытался осознать свою роль в «подготовке» большевистского переворота — и приходил к сходным с Ивановым выводам.

# ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

# ЛИСТОК ИЗ ЕЖЕДНЕВНИКА М. А. КУЗМИНА

В Русском запасном фонде (РЗФ) Российской национальной библиотеки (РНБ) хранится книга одного из крупнейших русских поэтов XX века М. А. Кузмина «Осенние озера», выпущенная московским издательством «Скорпион» в августе 1912 года. Экземпляр РЗФ имеет владельческий переплет, изготовленный в переплетной мастерской А. Родионова (СПб., Басков пер., 9), о чем свидетельствует ярлык на форзаце. В коллекции автографов основного Русского книжного фонда РНБ находятся еще две книги М. А. Кузмина в идентичных переплетах, содержащие дарственные надписи автора его многолетнему спутнику прозаику Ю. И. Юркуну, — это «Комедии» (СПб.: Оры, 1908) и «Третья книга рассказов» (М.: Скорпион, 1913). Обе книги переданы в коллекцию автографов из РЗФ.

Автографы поэта расположены в том и другом случае на авантитулах изданий. В описываемом нами экземпляре «Осенних озер» отсутствуют три первые страницы, в том числе и авантитул, что позволяет предположить, что и эта книга также имела дарственную надпись, впоследствии утраченную.

Перечисленные особенности всех трех экземпляров книг М. Кузмина, хранящихся в РНБ, позволяют сделать вывод о принадлежности их одному и тому же лицу — Ю. И. Юркуну, библиотека которого была конфискована в связи с арестом владельца в 1938 году.<sup>3</sup>

Сборник «Осенние озера» имеет ряд владельческих помет:

- 1) знаком \*\* помечены стихотворения на с. 11, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 35, 37, 39, 40, 43, 47, 51, 57, 58, 60, 75, 77, 78, 84, 85, 87, 99, 101, 122, 123, 129;
- 2) в стихотворении на с. 22 «Когда и как придешь ко мне ты...» подчеркнута 9-я строка «И верный ход тугой узды» и отдельные слова 12, 16, 18-й строк:  $\langle \ldots \rangle$  закрытого  $\langle \ldots \rangle$  праздное похмелье  $\langle \ldots \rangle$  все на ставку  $\langle \ldots \rangle$ »;
- 3) в стихотворении «Что сердце? огород неполотый...» (С. 24) подчеркнута последняя строка: «Сам огород свой растоптал»;
- 4) в двух стихотворениях: «Снега покрыли гладкие равнины...» (С. 17) и «Не верю солнцу, что идет к закату...» (С. 19) вертикальной линией отчеркнуты две первые строки текста и возле черты сделана запись «Эпиграф», причем на 19-ю страницу указывает также инскрипт, находящийся в левом верхнем углу внешней страницы форзаца, прикрепленной к задней крышке переплета:

Страшные сны 19 сентябрь ×

Все надписи сделаны карандашом.

В книгу был вложен сложенный вдвое листок линованной бумаги (22 × 18 см), вырванный из тетради, представляющий собой рукопись М. А. Кузмина.

Оборотная сторона листочка содержит автограф стихотворения «Дождь моросит, темно и скучно...» 1911 года, вошедшего в цикл «Оттепель» книги стихов «Осен-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Текст автографа: «Милому Юрочке Юркуну на добрую память о начале нашего знакомства, которое, надеюсь, будет долго продолжаться. М. Кузмин∗.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Текст автографа: «Милому моему Юрочке первому да[рю] кн[игу] с любовью весь [...] М. Кузмин». Окончания слов, заключенные в квадратные скобки, срезаны при переплете.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Подробнее см.: Шумихин С. В. Из дневника Михаила Кузмина // Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7.

ние озера» и помещенного на 73-й странице сборника. В левом верхнем углу листка имеется рисунок пером, изображающий голову неизвестного. По сравнению с опубликованным текстом стихотворения рукопись имеет несколько разночтений:

- 1) 19-я строка слово «Ваших» написано с заглавной буквы;
- 2) 23-я строка имеет отличный от печатного текста порядок слов: «не сбросив хмель еще отважный»;
- первоначальный текст 30-й строки «О милый, милый телеграф» зачеркнут, сверху карандашом вписан окончательный вариант: «Смотреть в окно на телеграф».
   Под текстом стихотворения проставлена дата — 6 ноября.

Последние четыре строки, не уместившиеся в один ряд с предыдущими, расположены сбоку листочка, с левой стороны.

Лицевая сторона листка содержит беглые записи дневникового характера: «14 (среда) тел. Дягилеву, Сабинину, 42 р. Сомов, Потемкин. Веч(ером) письма. Рассказа 1/2. 5. Обед у Коршей. веч(ером) 8. Репет(иция) Мих(айловского) театр(а) заплат(ить?) за Саб(инина?). рестор(ан) 15 (четверг) веч(ером) Казино Мар(иинский) театр. Рассказ. 16 (пятница) веч(ером) Театр. 17 (суббота)».

Как видно, содержание записей имеет скорее перспективный, нежели ретроспективный характер. Наиболее подробно, по часам, расписана среда, 14-е число, а записи на субботу, 17-е, еще отсутствуют. Затруднение вызывает датировка этого документа, существующего в настоящее время вне контекста. Опираясь на дату написания стихотворения (6 ноября 1911 года), можно предположить, что дневниковые записи относятся к сентябрю 1911 года.6

В тексте записей не содержится каких-либо хронологических ориентиров, так как литературные занятия, обширная переписка, активное участие в музыкальной и театральной жизни Петербурга, ежедневные встречи, беседы со многими известными деятелями искусства являлись характерными и неотъемлемыми чертами повседневной жизни М. Кузмина.

Надеемся, что найденный нами документ будет представлять интерес при публикации полного текста «Дневников» М. А. Кузмина.

Т. Н. Суздальцева

# СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД РОМАНА Е. И. ЗАМЯТИНА «МЫ»?

Насколько мне известно, до сих пор достоверность редакционного примечания в пражском журнале «Воля России» не вызывала сомнения. Напомню его: «Одно из интереснейших произведений современной литературы, роман Е. И. Замятина "Мы", изображающий жизнь людей в 26-м веке, до сих пор еще не появлялся (...) на русском языке. Желая ознакомить читателей "Воли России" с романом, мы воспользовались тем, что в газете "Лидове новины", издающейся в г. Брно, помещен чешский перевод "Мы". С любезного согласия редакции помещаем извлечения из романа. Для большей точности и приближения к подлиннику мы постоянно сличали чешский перевод с английским, вышедшим в 1925 г. в Нью-Йорке». Из этого примечания несомненно следовало, что публикация —

<sup>4</sup> Телефонировать (телеграфировать).

<sup>5</sup> Театр в Петербурге (Крюков канал, 12).

<sup>6</sup> В 1911 году на среду приходились 14 сентября и 14 декабря.

<sup>1</sup> Воля России. 1927. № 1. С. 3. Цит. по: Замятин Евг. Соч. М., 1988. С. 527.

абсолютно «личное дело» редакции, и живущий в СССР автор никакого отношения к этому не имеет и никакой ответственности за эту «преступную», с точки зрения властей предержащих, акцию нести не может. Наивные люди!..

Дальнейшее в общих чертах известно. Вне поля зрения исследователей по необъяснимой причине оказалось предшествующее — публикация репрезентативного фрагмента авторского текста за три года до появления в вольной печати «обратного перевода». Я имею в виду эпиграф к статье «О литературе, революции и энтропии», опубликованной в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (под заглавием «О литературе, революции, энтропии и о прочем»), выпущенном в 1924 году тем же издательством «Круг», где планировалось издание романа. Вот этот эпиграф и соответствующий фрагмент 30-й записи:

- Назови мне последнее число, верхнее, самое большое.
- Но это же нелепо! Раз число чисел бесконечно, какое же последнее?
- А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, революции бесконечны.

(Евг. Замятин, роман «Мы»)<sup>3</sup>

- Так вот: назови мне последнее число.
- То есть? Я... я не понимаю: какое последнее?
- Ну последнее, верхнее, самое большое.
- Но 1, это же нелепо. Раз число чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее?
- А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, революции бесконечны. Последняя это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо чтобы дети спокойно спали по ночам...4

Если бы эпиграфом к статье была одна лаконичная фраза, совпадение можно было бы считать случайным. Но в данном случае несомненно: фрагмент является сокращенным авторским текстом, поскольку при переводе подобное совпадение исключено.

Следовательно, опубликованный в России в 1988 году<sup>5</sup> роман Е. И. Замятина «Мы» и является тем самым якобы «бесследно исчезнувшим» текстом, который «в свое время» разошелся во множестве копий — и, как я полагаю и постарался показать, уцелел.

М. Д. Эльзон

<sup>2</sup> См. очень подробную статью Евг. Барабанова в кн.: Замятин Евг. Соч. С. 526—541.

<sup>3</sup> Писатели об искусстве и о себе. Сб. статей. № 1. М.; Л., 1924. С. 67.

<sup>4</sup> Цит. по: Замятин Евг. Соч. С. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> См.: Знамя. 1988. Кн. 4. С. 126—177; Кн. 5. С. 104—154 (первая публикация).

# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

А. П. Дмитриев

# ПРИТЯЖЕНИЕ ОПТИНОЙ: АМЕРИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ОБ «ИКОННОМ ВИДЕНИИ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ\*

Профессор Луизианского университета в Батон-Руже Леонард Дж. Стэнтон достаточно известен на Западе своими работами по русской религиозной философии и теории языка. Последние годы ученый сосредоточенно занимается проблемой взаимосвязей церковности и светской культуры в дореволюционной России, главным образом вопросами воздействия духовно-аскетического и нравственно-практического опыта православного монашества на мировоззрение и художественную деятельность крупнейших русских писателей, прежде всего Ф. М. Достоевского.

Еще в 1984 году была опубликована диссертация Стэнтона «Оптина Пустынь в русской светской литературе», которую он защитил в Канзасском университете. Впоследствии в ряде научных изданий появлялись его содержательные статьи по духовной литературе XIX века. Новая книга ученого — «Монастырь Оптина Пустынь в русском литературном творчестве: иконное видение в произведениях Достоевского, Гоголя, Толстого и других писателей» — во многом обобщающий труд, в котором автор ставит перед собой непростые задачи.

Во-первых, он стремится всесторонне осветить историческую судьбу знаменитой обители, особенно же в тот период ее существования, который называется \*золотым веком Оптиной\* (1821—1891), и предлагает свой ответ на вопрос Н. А. Павлович: «Почему туда ездили великие? \*1 Во-вторых, Стэнтон останавливается на все еще недостаточно изученных проблемах воздействия христианского гнозиса на светскую культуру и вступает в область филологического исследования как собственно богословского языка, так и тех семантических обертонов, которые приобретает художественное слово, отражающее реалии духовного мира. Наконец, помимо теолого-эстетических,

лингвистических и исторических вопросов, все-таки в центре исследования американского ученого — вопросы сугубо литературоведческие: его интересуют моменты духовной биографии русских классиков, ознаменованные их встречей с оптинской святыней, изучение которых позволяет и по-новому осветить образный строй ряда их вершиных произведений.

Причем своему междисциплинарному труду, посвященному столь сложным проблемам, автор стремится придать доходчивую форму, чтоб увлекательным изложением материала привлечь к нему интерес читателей. Поэтому предисловие к работе он начинает с упоминания о собственном экзистенциальном опыте, личном отношении к потустороннему миру: вспоминает рассказы отца-моряка о демонических фантомах, делится своими впечатлениями о встрече ночью в одном монастыре с седовласым иноком, занимавшимся самобичеванием. И честно обозначает свою аксиологию. признаваясь, что если реальность бесплотных духов для него вопрос спорный, то онтологическая достоверность «русской религиозной идеи» несомненна, ее он и анализирует, опираясь, как сам утверждает, только на «практическую очевидность» изучаемого материала (c. VIII).

Книга состоит из восьми глав, только половина из которых посвящена творчеству отдельных, наиболее выдающихся писателей, посещавших Оптину. Куда важнее для Стэнтона проблемы религиозных исканий русской интеллигенции XIX века, отчетливо вырисовывающиеся на фоне интенсивного взаимодействия православной традиции и светской словесности, которую ученый и стремится изучать в широком христианском контексте.

В первой главе — «Пространство, время и язык в обратной перспективе: иконное видение и его путь в Россию» — исследователь ставит вопрос о границах, предустановленных человеческому разуму в постижении им трансцендентной реальности, и о возможностях богословского языка достоверно передавать этот мистический опыт «внезапных личных встреч с бесконечными измерениями Бога» (с. 21). Опираясь на работы своих предшественников (К. Барта, Т. Мертона, Т. Торранса и др.), Стэнтон кратко останавливается на важнейших принципах святоотеческого словоупотреб-

<sup>1</sup> Подзаголовок известной статьи поэтессы об Оптиной (Прометей. М.: Мол. гвардия, 1980. Т. 12. С. 84—91).

<sup>\*</sup> Stanton Leonard J. The Optina Pustyn Monastery in the Russian literary imagination: iconic vision in works by Dostoevsky, Gogol, Tolstoy, and others. New York; Berlin; Bern; Frankfurt/M.; Paris; Wien: Peter Lang Publishing, 1995. XVII. 309 p. (Middlebury studies in Russian language and literature. Vol. 3).

ления, анализируя язык Символа веры, молитвенное делание, исихазм и кенотическую традицию восточного монашества. Плодотворным представляется обращение ученого к идеям «обратной перспективы», «инверсии пространственных метафор» (восходящим к известным трудам о. П. Флоренского по иконологии) и широкое использование их не только при анализе духовных сочинений, но и — впоследствии — при исследовании идейно-образного содержания некоторых художественных произведений.

В этой же главе Стэнтон описывает ключевое для своей концепции понятие - «перихоресис» (греч. «сопроникновение»). Этим термином стоиков пользовались Святые Отцы IV-VIII веков (особенно св. Григорий Нисский и Максим Исповедник) для объяснения неразрывного взаимообщения во Христе двух природ: Божественной и человеческой, которое, однако, не приводило к их слиянию и образованию какой-либо новой природы. Чистая струя первохристианства — через посредство святоотеческой письменности и практики «умного делания» и «духовного трезвения» - питала оптинскую духовность. И могущественная влиятельность обители, по мнению Стэнтона, объяснялась верой многочисленных паломников и духовных чад старцев в их особую «перихоретическую функцию» — способность в апофегматическом строе их речи соединять («нераздельно и неслиянно») духовное и душевно-телесное, отчего окормление ими мирян являло собой осязательно-явственное наведение мостов между землей и небом.

В следующих двух главах исследователь излагает оптинскую историю, с одной стороны, в контексте церковного домостроительства Нового времени, а с другой — во взаимодействии с внутренними потребностями русского религиозно-общественного развития. Вторая глава («Тихая обитель: эстетика и церковные установления») и представляет собой краткий очерк исторического бытия знаменитого монастыря от его возникновения вплоть до наших дней. Но предварительно Стэнтон высказывается о значении Оптиной для русской церковной жизни, и некоторые его суждения на сей счет (впрочем, разделяемые ныне большинством зарубежных «специалистов по русской духовности») кажутся нам весьма спорными.

Автор справедливо утверждает мысль об особой значимости обители как духоносного ориентира в подвижничестве и благочестии: «Если домом старцев была Церковь, то Оптина Пустынь была духовным домом Церкви...» (с. 47) — и в то же время (вслед за известным исследователем русской церковно-общественной истории Грегори Фризом) излишне резко противопоставляет «оптинский явный недостаток институционной весомости» «громоздким синодальным службам». Ученый убежден, что именно личная харизма и особый дар проницательности старцев дали монастырю законную «независимость от потерпевших неудачу цер-

ковных образований», олицетворением которых у Стэнтона — в противовес старцам — выступают высокомерная иерархия и корыстолюбивое приходское духовенство (с. 47). Исследователь не раз возвращается к этой мысли о некоем антагонизме между оптинским старчеством — как бы зрелым, очищенным плодом христианства — и всей церковной организацией прошлого столетия, тогда как реальная картина была лишена столь выразительных контрастов и в институте старчества, пожалуй, правильнее было бы видеть необходимый орган Церкви, т. е. часть, не противостоящую целому. К тому же, например, «перихоретические \* способности старцев не могли восполнить для верующих или подменить собой других, более важных средств спасения, прежде всего литургийно-обрядовых.

Гораздо убедительней представляется характеристика Стэнтоном эстетического своеобразия Оптиной, в которой он следует главным образом таким знатокам православного иночества, как протоиерей С. И. Четвериков и священник П. А. Флоренский. Ученый показывает, что внешняя красота обители, удаленной от забот и треволнений, одолевающих остальную Церковь, была исполнена глубокого существенно-ценностного внутреннего содержания. Оптина предстает как место, где монах и природа находились в гармонии, а человеческая природа являла свой восстановленный образ.

«Убирается эффект первородного греха, — пишет Стэнтон, — и непредубежденному свидетелю (каковы и были в большинстве своем оптинские паломники) дается видеть в иноке-подвижнике человека, победившего власть греха и преображенного Божьей благодатью. •Он представляет собой совмещение противоположностей: материального и духовного, сиюминутного и вечности, пространственной ограниченности и бесконечности, свободы и послушания, жизни и смерти... и не хватает слов или естественной логики, способной постичь его» (с. 53). И только личная встреча со старцем приближает к пониманию этого «узла противоречий» и открывает «взыскующим Града небесного» пути возврата утраченного богосыновства. Этим, справедливо считает автор, прежде всего и объясняется, почему Оптина Пустынь (как и некоторые другие монастыри, в которых была возрождена традиция старчества) как-то неожиданно, но ощутимо для всех оказывается в эпицентре православного исторического бытия, и за каким духовным опытом, не довольствуясь мирской мудростью, ездили в обитель классики русской литературы.

Проблема социально-культурной роли Оптиной Пустыни — пожалуй, впервые на столь широком материале — ставится Стэнтоном в третьей главе исследования — «Оптинская интеллигенция: образования общественные и литературные». До сих пор изучение козельской обители имеет, как правило, лишь биографическую отправную точку: Оптина привлекает внимание исследователей как эпизод в жизни

известного писателя или в качестве мировоззренческого истока отдельных произведений, где возникает монастырская тема. Стэнтон же стремится показать, как «внутри оживленной и изменчивой атмосферы русской мысли» первой половины XIX века зарождалось это духовное движение по направлению к Оптиной, связь с которой одновременно означала и воссоединение с утраченным прошлым и с вечностью.

Предваряет же ученый свой исторический очерк знаменитым бердяевским афоризмом о том, что в начале XIX века «Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались . 2 Хотя, как показывают некоторые исследования самого последнего времени, церковная и светская литературы все же вплоть до второй четверти XIX века во многом самоощущались как единая культура, 3 давно ставший традиционным противоположный взгляд, которого придерживается и Стэнтон, позволяет ему сосредоточиться на процессе постепенного вызревания и развития «русской идеи» в среде интеллигенции этого времени, протекавшем в четырех основных структурных «образованиях .: в салонах, университетах, кружках и толстых журналах. Ученый справедливо полагает, что молитвенное делание оптинских насельников, а позже и их большая работа по изданию святоотеческого наследия не просто сопутствовали этим новым настроениям в образованном обществе, но и в известной мере становились их бродильным началом.

Начинает Стэнтон свой историко-философский экскурс с обращения к «Философическим письмам» Чавдаева. Между русскими шеллингианцами особенно выделяет он профессора Московской духовной академии протоиерея Феодора Александровича Голубинского (1797—1854), родоначальника отечественной традиции философского теизма и, как предполагал о. П. Флоренский, предтечу всех русских софианцев. Его регулярные собеседования со студентами, полагает Стэнтон, можно рассматривать как прообраз будущих собраний ученых, поэтов и философов в 20—30-х годах, прежде всего общества любомудров, кружков Раича и Станкевича (с. 88).

Первым вполне сформировавшимся самобытным русским философом американский исследователь по праву считает Ивана Киреевского, решающее влияние на литературную деятельность которого, как известно, имело духовное руководство со стороны старца Макария (Иванова). В лице И. Киреевского и происходит, по словам Стэнтона, «рождение оптинской интеллигенции». Далее автор емкими, выразительными штрихами набрасывает картину умственной жизни прошлого столетия, освещая те ее уголки, где щла напряженная работа национально-религиозного самосознания и вырабатывалось «перихоретическое понимание России». В поле зрения ученого представители славянофильства, молодая редакция «Москвитянина», почвенники, консервативные мыслители-государственники, «панслависты».

Стэнтон пытается дать наиболее важным, на его взгляд, фигурам (среди них — М. П. Погодин, С. П. Шевырев, К. К. Зедергольм, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, А. С. Суворин, о. П. А. Флоренский) лапидарную характеристику и оценить их вклад в «русскую мысль», осененную духовным попечением Оптиной. Большое внимание в этой главе уделяется Н. Н. Страхову, статью которого о «Войне и мире» (1869) Стэнтон называет «шедевром иконного видения» (с. 103). Он сближает то, как показывается автором романа (и его критиком) особое напряжение между конкретными образами и их идеальной сущностью, с изображением на иконе реалий здешнего мира и действительности по ту сторону пространственновременных границ.

Неубедительной, на наш взгляд, выглядит априорно-негативная оценка в книге такого выдающегося духовного писателя, как С. А. Нилус. Думается, неправомерно не только именовать эсхатологический элемент его сочинений «зловещим апокалиптизмом», но и противопоставлять его пророчествам оптинцев (см.: с. 108—109). Не вдаваясь в подробности, напомним о том, что на свое писательское служение он получил благословение старцев (а также о. Иоанна Кронштадтского), и, крометого, о той весьма авторитетной оценке, которую в свое время дал личности Нилуса о. П. Флоренский, назвав его «старцем в миру».

Последующие четыре главы автор посвящает трем писателям, которых — особенно в моменты острых творческих и духовных кризисов — неудержимо влекла к себе Оптина.

В четвертой главе — «Икар: Белинский и старец Макарий о духовном падении Гоголя» — Стэнтон излагает историю взаимоотношений автора «Мертвых душ» с оптинскими иноками, рассказывает о двух посещениях им Пустыни. 4 Личность Гоголя представляется исследователю исполненной трагизма, что он

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М.: Искусство — Лига, 1994. Т. 1. С. 172. Недавно этот тезис был серьезно оспорен Л. А. Краваль (см.: Пушкинская эпоха и христианская культура / Под ред. Э. С. Лебедевой. СПб., 1994. Вып. VI. С. 107—109; СПб., 1996. Вып. X. С. 26—30).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> См., например: *Бухаркин П. Е.* Церковная словесность и проблема единства русской культуры // Культурно-исторический диалог. Традиция и текст. Межвуз. сб. / Под ред. А. Б. Муратова, С. Б. Адоньевой. СПб., 1993. С. 3—15.

<sup>4</sup> Еще об одной достоверно известной поездке писателя в Оптину см.: Котельников В. Православная аскетика и русская литература: (На пути к Оптиной). СПб.: Призма-15, 1994. С. 164—165.

подчеркивает аллегорическим уподоблением писателя герою печального греческого мифа. Стэнтон говорит об определенной близости возрений Гоголя, с одной стороны, и старца Макария и Белинского, на которых писатель полагался в своей литературной деятельности, — с другой: все трое веровали в святое призвание русского народа. Но оба таких разных духовных наставника Гоголя парадоксальным образом оказываются единомысленны во взглядах на природу слабостей его религиозной проповеди.

Пожалуй, излишне сурово осуждая «шовинизм» писателя в его последней книге, «искажение им мистики "обратной перспективы" путем облачения Святого града Иерусалима в одеяния русской провинциальной столицы», Стэнтон в то же время сетует на то, что Белинскому, которого влекли идеалы христоподобной жизни, не довелось встретиться со старцем Макарием и в истории нашей литературы никогда не была написана «восхитительная страница» (с. 142).

В следующих двух главах осмысляется оптинская тема в романе Достоевского «Братья Карамазовы и — шире — в творческой судьбе писателя. В свое время, в 1984 году, Стэнтон первый указал на «Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва). (М., 1876) отца Климента (Зедергольма) как на важный источник романа Достоевского. 5 В пятой главе дальнейшее исследование заимствований писателя из книги о. Климента сопровождается углубленным изучением временного и пространственного контекста речи старца Леонида (и соответственно Зосимы). Любопытно, что «общий знаменатель между рассуждениями критиков-теоретиков и аскетов-созерцателей, погруженных в традицию перихоресиса и иконной перспективы», помогает найти Стэнтону инструментарий бахтинской школы, - в частности, понятие «проникновенное слово» (с. 151).

Шестая глава с эффектным названием «Блудный отец, милосердные сыновья и сестра Алеши Карамазова», — пожалуй, самая концептуально значимая в книге американского ученого. Здесь, анализируя образную структуру последнего романа Достоевского, Стэнтон и разъясняет, что означает «иконное видение» в русской литературе.

Способность писателя создавать «синтетические образы, в которых два мира — видимый и невидимый — показываются в пересечении», реализуется им прежде всего благодаря «способу искажения»: именно иконная эстетика, убежден Стэнтон, помогает Достоевскому широко использовать житейские сцены, где изо-

бражаются разного рода «безобразия» (скандалы, мерзкие пороки и т. п.). Романтическая вера писателя в преобразующую силу искусства приобретает «бесспорно православную и иконную окраску», и, представляя «без-образие» как искажение святого образа Божия, Достоевский предполагает у своих читателей готовность «видеть за искажением идеальную форму, первозданный образ» (с. 185-186). Стэнтон трактует «Братьев Карамазовых» как переосмысленную версию евангельской притчи о блудном сыне, которую называет «концептуальным, иконным источником романа» (с. XII).6 Добиться эффекта «перихоретического сопряжения» небесного и земного, возвышенной духовности и низовой действительности, по мнению Стэнтона, и позволяет иконописный прием перестановки «натуральной» перспективы.

Исследователь выдвигает и обосновывает оригинальный взгляд и на основную проблему романа. Нравственно-эстетический центр произведения, считает он, следует связывать не с образами Ивана Карамазова, Великого инквизитора или старца Зосимы, а прежде всего с Алешей, которому, для того чтобы осуществить свою судьбу и стать братом всему страждущему человечеству, надо сначала приобрести сестру в липе Грушеньки.

Исходит Стэнтон из уверенности, что «главная область конфликта для Алеши... сексуальная» (с. 195), но ученый принципиально отказывается от фрейдистских спекуляций. Радикальное и исключительное целомудрие Алеши, подобное чувству справедливости его брата Ивана», поначалу не позволяет Алеше стать всепрощающим братом грешнице. Он любит человечество «в его высшем, духовном аспекте, с исключением физического», и столь однобокое чувство может быть преодолено лишь милосердной братской любовью к падшей женщине. Алеша только этим путем может «прийти к соглашению со своей чувственностью», «благоустроить духовное внутри собственного сексуального» (с. 195). Такое прочтение романа, считает Стэнтон, «полностью совпадает с перихоретической целост-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> В нашей стране заметки В. Н. Криволапова и Б. Н. Любимова на эту тему появились позднее, но, судя по всему, независимо от публикации Стэнтона (см.: Русская литература. 1985. № 2. С. 177—179; Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1987. Вып. 7. С. 207—210).

<sup>6</sup> К слову сказать, американский исследователь напрасно полагает, что эти его рассуждения отличаются большой новизной: еще в 1881 году сходный взгляд был высказан знаменитым проповедником и богословом епископом Никанором (Бровковичем). В поучении, названном им «Мировое значение притчи о блудном сыне», он подчеркивал, что Достоевский «употребил свой гений» «не на что иное, как исключительно на глубоко художественное, на поприще поэтического творчества, разъяснение притчи Спасителя о блудном сыне, на создание многих трогательнейших образов блудных сынов и дщерей из среды нашего русского современного общества» (Никанор, архиеп. Поучения, беседы, речи, воззвания и послания: В 5 т. 3-е изд. Одесса, 1890. Т. 1. С. 221).

ностью, которая проповедовалась и осуществлялась в Оптиной» (с. XIII).

В седьмой главе ( «Лев Николаевич Толстой и проблема ухода») предлагается столь же интересный разбор повести «Отец Сергий». Анализируя «исихастские инстинкты» этого произведения, Стэнтон приходит к заключению, что великий писатель в своей жизни и творчестве (по крайней мере, в значительной степени) пытался воплотить «секулярную форму православной созерцательной духовности монашеского типа» (с. 222). Однако, сопоставляя Толстого с оптинскими старцами (особенно сближая их позиции в вопросе церковного «антиинституционализма»), исследователь, на наш взгляд, не всегда осторожен в выводах. Осмысляя влияние монастыря на душевную жизнь Толстого, Стэнтон видит в нем «яркое пятно на довольно темном поле борьбы писателя с Церковью и своей собственной верой» (с. XIII). В последнем, предсмертном посещении им обители скорее всего следует видеть поиски Толстым путей примирения с Церковью — таков главный вывод ученого.

В завершающей, восьмой главе — «Оптинская идея после Достоевского: ее литературнокритическая и философская рецепция. -Стэнтон возвращается к теме духовных исканий русской интеллигенции. Он показывает, как идейные наследники и оппоненты Достоевского оценивали воплощение оптинской духовности на страницах «Братьев Карамазовых». Помимо К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова, оставивших весьма разноречивые свидетельства о романе Достоевского, Стэнтон говорит о нескольких наиболее значительных религиозных мыслителях, связанных с Оптиной не столь тесно, а то и вовсе не бывавших в обители: Н. Ф. Федорове, Вл. С. Соловьеве, В. Ф. Эрне, о. П. А. Флоренском, Н. О. Лосском, А. Ф. Лосеве. Основополагающие воззрения этих православных философов, убежден ученый, произрастали в русле того духовного движения, в котором Оптина Пустынь, с возрожденным в ней духом первоначального иночества, была главным ориентиром, и потому все они могут быть объединены общим понятием — «оптинская школа».

С другой стороны, обращаясь к художественному творчеству, Стэнтон предлагает более строго определять характер и степень влияния исихазма и аскетической культуры в целом на мировоззрение писателей. Так, простое упоминание обители или имени старца (как, например, в тургеневском «Степном короле Лире») может не опираться «межтекстуально на апофегматическую литературную традицию. тогда как несомненное воздействие этой традиции обнаруживается в произведениях, где отсутствует прямая ссылка на Оптину (к примеру, у Н. С. Лескова и Е. И. Замятина). В заключение в главе рассматривается религиозная лирика Н. А. Павлович, в которой оптинская тема получила, по мнению Стэнтона, особенно глубокое литературное воплощение.

Завершается исследование американского ученого пространным библиографическим отделом (с. 265—299), в котором указаны как труды по литературной теории, философии языка (а также художественные произведения, имеющие отношение к Оптиной Пустыни), так и важнейшие святоотеческие творения, работы по патристике, русской духовности, церковной истории. Несомненную ценность представляет выделенная в отдельный список аннотированная библиография оптинских изданий за 1847—1882 годы.

Особо следует сказать о прекрасном оформлении книги, любовно подобранных эпиграфах и иллюстрациях, указателе имен и понятий, придающих труду Стэнтона значение справочного пособия по русской духовной культуре XIX—начала XX века.

Отрадное впечатление вызывает и общая концепция и методология американского исследователя (как тут не вспомнить поговорку, утверждающую, что «со стороны виднее»!), не блуждающего в тесном круге структурализма и семиотической культурологии, а серьезно изучающего мировоззренческие основания нашей литературы в присущей ей системе духовных координат и на вольном просторе существенноценностного понимания жизни.

#### М. А. Калашникова

# новое издание трудов А. н. афанасьева\*

Опубликованные в восьмидесятые годы сокращенные варианты знаменитого труда

\* Афанасьев А. Н. Происхождение мифа: Статьи по фольклору, этнографии и мифологии / Сост., подготовка текста, статья, коммент. А. Л. Топоркова. М.: Индрик, 1996. 639 с. А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» («Древо жизни» и «Живая вода» и не могли удовлетворить исследователей, поскольку за пределами названных изда-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово. М., 1988.

ний осталась огромная часть фактического материала, который является основной ценностью данной книги. В 1994—1995 годах издательство «Индрик» выпустило в свет репринтное переиздание этого известного труда, впервые увидевшего свет около ста тридцати лет назад (1865—1869) и являющегося уникальным памятником фольклористической мысли.

Общеизвестно, что концепция Афанасьева с годами претерпевала изменения, и ряд положений, высказанных ученым на страницах первого тома, корректировались им при конкретном предметном анализе в последующих томах.

Рецензируемое издание, подготовленное к печати А. Л. Топорковым, является дополнением к репринту «Поэтических воззрений славян на природу. Это сборник афанасьевских статей разного времени и разной тематики. В него включены работы, посвященные проблемам фольклора, мифологии и этнографии: «Ведун и ведьма» (1851), «Зооморфические божества у славян: птица, конь, бык, корова, змея и волк» (1852), «Несколько слов о соотношении языка с народными повериями» (1853), «Мифическая связь понятий: света, зрения, огня, металла, оружия и жолчи» (1854), «О значении Рода и Рожаниц» (1855), «Заметки о загробной жизни по славянским преданиям» (1861) и др.; рецензии на выходившие в то время сборники и статьи: «Рецензия на книгу "Малорусские и галицкие загадки, изданные А. Сементовским" (1851), «Рецензия на 1-й выпуск "Этнографического сборника" (1853). •По поводу статьи С. М. Соловьева "Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие" > (1855) и др.; полемика с видными учеными того времени (С. М. Соловьевым, К. Д. Кавелиным) по поводу выхода в свет статьи Афанасьева «Ведун и ведьма» (1851).

Рецензируемая книга получила свое название по одной небольшой статье А. Н. Афанасьева, опубликованной в 1860 году. Поводом для ее написания явился труд Д. М. Щепкина «Об источниках и формах русского баснословия» (М., 1859). Именно в этой работе Афанасьев высказывает свои теоретические взгляды на происхождение мифа; чуть позднее основные положения этой статьи будут включены в известную главу первого тома «Поэтических воззрений славян на природу».

В афанасьевской статье «Происхождение мифа» речь идет о новом способе мифотолкования, родоначальником которого считается немецкий ученый Яков Гримм. Специфика метода заключается в непосредственной взаимосвязи истории развития языка и мифотворчества. «Чтобы показать, как естественно и необходимо создается миф, надо обратиться к истории человеческого слова» (с. 282).

В современной русской фольклористике давно возникла необходимость пересмотра научного наследия А. Н. Афанасьева. В связи с этим выход в свет не переиздававшихся ранее трудов — возможность не только познакомиться с малоизвестными работами ученого, но и проследить эволюцию его взглядов. Все ранние статьи Афанасьева основаны на восточнославянском материале, тогда как в поздних трудах сравнительные данные играют чуть ли не самую главную роль. Почти все статьи, вошедшие в рецензируемый сборник, позднее были переработаны и в новой редакции вошли в «Поэтические воззрения славян». Например, работа «Колдовство на Руси в старину» легла в основу XXVII главы монографии; ряд положений, посвященных загадкам, из рецензии на книгу «Малорусские и галицкие загадки, изданные А. Сементовским» также повторены в ней.

Один из самых больших недостатков предыдущего (сокращенного) переиздания «Поэтических воззрений славян» — «Древа жизни - научный аппарат: во вступительной статье не была раскрыта мифологическая концепция автора, комментарии давались выборочно и не ко всем понятиям. 3 Репринтное воспроизведение «Поэтических воззрений славян» вообще не содержит никаких комментариев, поскольку задача издателей была иная: сделать более доступным текст, ставший библиографической редкостью. Рецензируемая же книга сопровождается общирным научным аппаратом. В предисловии составителем А. Л. Топорковым оговаривается, что настоящее издание — это первый том дополнений к «Поэтическим воззрениям славян», включающий непереиздававшиеся работы Афанасьева 1850—1860 годов. В настоящее время готовится к печати второй том, в состав которого войдет комментарий к отдельным главам «Поэтических воззрений славян» и справочные материалы.

Несомненным достоинством издания является помещенная в приложении статья А. Л. Топоркова «Творческий путь А. Н. Афанасьева и "Поэтические воззрения славян на природу"». Помимо чисто биографических сведений, в ней акцентируется внимание на особенностях становления концепции автора: подчеркивается значимость ранних работ, претерпевших некоторые изменения при включении их в «Поэтические воззрения славян», а также подробно рассматриваются основные категории мифологической теории (миф и поэзия, язык и мифология) и теории тропов (метафора, олицетворение, символ).

Те, кого интересует не только научная деятельность, но и личность А. Н. Афанасьева, могут познакомиться с письмами ученого к П. А. Ефремову — комментатору изданий русских классиков и издателю журнала «Книжный вестник» (статья и публикация З. И. Власовой). Из писем можно почерпнуть информацию о сфере интересов, круге чтения, научной

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> См.: *Иванова Т. Г.* [Рец.] // Русский фольклор: Этнографические истоки фольклорных явлений. Л., 1987. Т. 24. С. 161—166.

деятельности и частной жизни А. Н. Афанасьева.

Издание также включает библиографию трудов Афанасьева (составитель А. В. Юдин), комментарии (составитель А. Л. Топорков), список источников, цитируемых Афанасьевым, а также ряд указателей: Указатель мифологических, фольклорных и литературных персонажей, Предметно-тематический указатель, Указатель имен (составитель Т. А. Агапкина).

Рассматриваемое издание сопровождается обширным современным научным комментарием к каждой статье: указываются выходные данные первой публикации и рецензий на них, близкие по тематике работы, комментируется использование материала данной статьи в «Поэтических воззрениях славян». Приводятся библиографические сведения по истории вопроса, включающие в себя не только труды предшественников и современников Афанасьева, но и работы современных исследователей (например, в примечании к обряду опахивания дана ссылка на работу Э. В. Померанцевой, к жанру загадки — ссылка на последние работы В. Н. Топорова и В. В. Иванова). Основные теоретические положения Афанасьева подтверждаются или корректируются последними данными фольклористики и этнографии. Комментируются имена, топонимы, термины, неясные фрагменты текстов, использование Афанасьевым непроверенных источников, уточняются выходные данные цитируемых трудов.

Список источников, цитируемых Афанасьевым, крайне необходим ученым, поскольку система ссылок, принятая в XIX веке, отличается от современных норм. Издатели оставили ссылки Афанасьева без изменений, чтобы сохранить характерное для него отношение к материалу. Но необходимость оформления библиографии в соответствии с принятыми в настоящее время требованиями, уточнения выходных данных некоторых изданий заставила дополнить рассматриваемое издание Списком источников. Указатель мифологических имен в упомянутом выше «Древе жизни» в свое время вызвал нарекания фольклористов. Выгодно отличается от него справочный аппарат настоящего издания: наличие здесь Предметно-тематического указателя и Указателя мифологических персонажей делает более доступным поиск информации, полнота и точность отсылок практически исчерпывающая. Однако не со всеми принципами построения названных указателей мы можем безоговорочно согласиться. Так, хорошо известно, что в фольклоре существуют понятия, которые могут выступать как в качестве предмета или явления, так и в качестве мифологического персонажа. Например, на с. 295 в статье «Заметки о загробной жизни по славянским преданиям» помещен отрывок, приведенный Афанасьевым как пример олицетворения: «Следы олицетворения сна замечаем в колыбельной песне:

Ой ходить Сон по улоньце, В белесонькой кошулоньце; Слоняеться, тыняеться, Господоньки пытаеться...»

В рецензируемом издании «сон» помещен в Предметно-тематический указатель наряду с другими упоминаниями этого явления, хотя в данном случае целесообразнее эту лексему рассматривать как фольклорный персонаж и соответственно отнести в Указатель мифологических персонажей.

Основная трудность работы с многими классическими трудами по фольклористике XIX—XX веков заключается в отсутствии современных переизданий, снабженных научным аппаратом. При чтении некомментированного текста возникают коммуникационные проблемы, связанные с временным интервалом, отделяющим читателя от автора, исчезает понимание особенностей научной дискуссии того времени, возникают проблемы с устаревшей терминологией, для современного читателя труд оказывается вырванным из контекста предшествующей ему научной мысли. Примером удачного выхода из этого положения и является сборник «Происхождение мифа». Издания подобного типа, содержащие обширный современный научный комментарий, представляют большую ценность для фольклористов, этнографов, а также для всех, кто интересуется народной культурой.

# Г. В. Алексеева, В. А. Туниманов

# л. н. толстой на пороге двадцать первого столетия\*

В книгу «Лев Толстой и концепция братства» вошли материалы международной конфе-

\* Lev Tolstoy and the concept of brotherhood / Ed. by Andrew Donskov and John Woodsworth. N. Y.; Ottawa; Toronto, 1996. 228 p.

ренции, проходившей 22—24 февраля 1996 года в университете Оттавы. В конференции приняли участие ученые России, США, Канады, к которым с приветственным словом обратился вице-ректор университета Б. Филожен, подчеркнувший злободневность идей братства и

единения как для всего мира, где продолжают бушевать разрушительные и братоубийственные конфликты, так и для Канады, остро нуждающейся в мирном и свободном, гармоническом развитии всех составляющих страну этнических компонентов. В. Филожен выразил надежду, что внимательный анализ творчества Толстого, его гигантской просветительской деятельности будет способствовать сближению различных точек зрения, а в конечном счете и выработке истинной демократической формулы человеческого братства.

Эти мысли получили развитие и во вступлении к сборнику А. Донскова, организатора конференции и одного из редакторов книги. Донсков убежден, что «толстовская концепция братства, опирающаяся на веру в добро, вечные моральные ценности, провозглашенные в Новом Завете двадцать веков назад, особенно заповеди "Бог — это любовь", "Убийство всегда убийство" • (с. 2), является необходимым напоминанием человечеству, вступающему в новое тысячелетие, — человечеству, столь чудовищно отклонившемуся от истинных путей в двадцатом столетии, пережившему две мировые войны, множество самоубийственных революций и гражданских войн, познавшему насилие невиданных масштабов и сегодня пораженному циничной эпидемией террора.

Конференция проходила в стране, в которой благодаря усилиям Льва Толстого и его учеников нашли прибежище духоборы, гонимые за их особенную неортодоксальную веру в России государством и церковью. В 1995 году духоборы Канады отмечали знаменательную дату: сто лет назад их предки на Северном Кавказе сожгли оружие, решительно отказавшись от несения военной службы, чем и вызвали жестокие меры властей, попытавшихся усмирить сектантов-еретиков. Неравная борьба вызвала горячий отклик Толстого, многократно отразилась в его творчестве, особенно в пьесе «И свет во тьме светит», в публицистических статьях, дневниках и письмах. Потомки тех, кто в конце XIX века вынужден был эмигрировать, хранят благодарную память о великом покровителе духоборов. О духоборах Саскачевана и Британской Колумбии, верных традициям предков-переселенцев, говорил на конференции А. Донсков. Г. Галаган в статье «Идея обновления мира» отмечает, что Толстой сопоставлял движение духоборов с самыми значительными событиями духовной истории человечества, составляющими «turning points всего существующего»;1 устремления духоборов были осмыслены сразу же Толстым в контексте собственных творческих исканий, в частности в русле раздумий о духовном возрождении человечества в трактате «Царство Божие внутри вас. И заключает книгу речь писателя-духобора Ларри Ивашина (Doukhobor Museum, Castlegar) на банкете по случаю окончания конференции, в которой он коротко остановился на истории жизни нескольких поколений духоборов в Канаде и современной ситуации.<sup>2</sup>

То обстоятельство, что конференция проходила в Оттаве и подавляющее большинство ее участников было из Канады и США, сказалось на стремлении выделить многообразные контакты между религиозно-философским учением Толстого (его генезисом и эволюцией) и творчеством выдающихся философов, писателей, религиозных деятелей, ученых Великобритании и США. О большом интересе Толстого к Эмерсону, Чаннингу, Лоуэллу, Уитмену пишет Л. Д. Опульская-Громова («К философии и эстетике братства в художественных сочинениях Л. Н. Толстого»), в конце статьи приводя особенно дорогую Толстому мысль Эмерсона (он ее включил в «Круг чтения»): •Придет время и любовь станет общим законом жизни людей, и исчезнут все те бедствия, от которых теперь страдают люди, растают во всеобщем свете солнца». Сложное отражение некоторых идей и метафор Т. Карлейля в творчестве Толстого стремилась проследить Д. Орвин (Toronto University; «Толстой и патриотизм»), порой прибегая к гипотетическим построениям. Более всего Орвин интересует воздействие на Толстого книги Карлейля «О героях и героическом в истории» (в переводе В. П. Боткина) в период создания «Севастопольских рассказов», этих пролегоменов эпопеи «Война и мир». У. Смирнив (McMaster University) в статье «Открытие братства обездоленных: взгляд Толстого на проблемы городской бедности» много места уделил отношению Толстого к идеям американского экономиста и реформатора Генри Джорджа, влияние книги которого «Прогресс и бедность» он все-таки не склонен преувеличивать (очевиднее всего оно в таких произведениях, как «О переписи в Москве» и «Так что же нам делать?»), констатируя, что с целым рядом ее положений Толстой был в корне не согласен.

Заметим, что такого рода этюды («Толстой и Карлейль», «Толстой и Генри Джордж») случайными не являются, они органично связаны со сквозной и центральной темой книги — идеей братства и единства людей, которая, естественно, оказалась в центре статей Л. Опульской-Громовой и Г. Галаган — главных (кеупоте) докладчиков на конференции. Л. Опульская прослеживает мотивы братства, добра, солидарности на протяжении всего длинного пути Толстого-художника, от самых ранних произведений до «лебединой песни» — повести «Хаджи-Мурат». Последнее слово Толстого — прославление жизни, радостное ее приятие.

 $<sup>^1</sup>$  Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928—1958. Т. 28. С. 193. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Давно установились дружеские отношения между духоборами Канады и музеем Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Результатом совместных усилий ученых Канады и России явился выход книги «Л. Н. Толстой и П. В. Веригин: Переписка» (СПб.: изд. «Дмитрий Буланин», 1995).

Толстой глубоко веровал, замечает Опульская, что воскресение души в каждом человеке в конце концов приведет к созданию взыскуемого братства, к нравственному, духовному объединению всех братьев и сестер. Г. Галаган преимущественно обращается к публицистическим произведениям позднего Толстого, особенно выделяя работу «Царство Божие внутри вас», которой и сам писатель склонен был придавать чрезвычайное значение. Он признавался 13 июля 1893 года Н. Н. Страхову: «Пока я писал, я думал, что она изменит весь мир (66, 366). В центре внимания Галаган — концепция различных жизнепониманий, развитая Толстым в этой работе, и его анализ «метафизики лицемерия» (28, 266), освобождающей личность от внутреннего усилия, сводящей строительство человеческого братства к совершенствованию лишь внешних форм жизни (политических, социальных, экономических). Злободневно звучат приведенные Галаган мудрые слова Толстого из книги «Соединение и перевод четырех Евангелий» о необходимости активной воли каждого человека, без которой бессмысленна любая красноречивая проповедь: «Не рассуждать нужно о том, кто и как спасется, а нужно работать, внутреннею силою входить в двери... (24, 483, 557).

Статья Д. Метцеля (University of Ottawa), «Концепция братской любви в поздней прозе Толстого» перекликается с основными положениями работы Опульской. Поиски Толстым истинного пути (в «Хозяине и работнике», «Отце Сергии», «Воскресении») сопоставляются здесь с философскими трудами Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, С. Л. Франка, с Пушкинской речью и рассказом «Сон смешного человека» Достоевского. Толстой, считает Метцель, как и Достоевский, был глубоко убежден, что идеальное общество ( фай ) может быть создано на земле, в этой грешной и скорбной юдоли. Мысль справедливая, но и довольно-таки общая — самоочевидная истина. А. Фодор (McGill University) в статье «Эволюция толстовского взгляда на патриотизм» остановился на острой толстовской критике патриотизма, свойственной писателю в поздний период деятельности, ярко выразившейся, к примеру, в статьях «Патриотизм или мир?» (1896), «Патриотизм и правительство (1900), о которых в СССР предпочитали не говорить. Фодор пишет о долгом и извилистом пути Толстого, автора «Казаков», «Севастопольских рассказов», «Войны и мира», к тотальному отрицанию патриотизма после духовного переворота. Это несомненно. Но трудно согласиться с предположением автора, что патриотический пафос «Войны и мира» был следствием обыска в Ясной Поляне летом 1862 года, побудившего писателя реабилитировать свое доброе имя русского патриота в глазах царского дома (с. 188). Патриотические идеи Толстого в «Войне и мире» — неотъемлемая часть «мысли народной, главной художественно-философской мысли в величайшем произведении писателя и весьма далекой от демонстрации верноподданнических и монархических чувств, о чем проникновенно повествует Л. Я. Гинзбург в «Записках блокадного человека», к которым. кстати, обращается в своей статье Д. Орвин. Поздние инвективы Толстого в сущности не противоречат художественной концепции «Войны и мира». Они расположены в другой плоскости и потому-то не могут быть всецело объяснены анархистской позицией Толстого. И не так уж они однолинейно просты. Важно учитывать многочисленные нюансы, контекст «малого времени», дифференцированный подход Толстого к вечно острой и многосоставной проблеме. В статье «Патриотизм или мир?» Толстой, размышляя о разных видах патриотизма — «завоевательном», «удержательном», «восстановительном», — так характеризует последний: «Если же патриотизм даже и не удержательный, то он восстановительный патриотизм покоренных, угнетенных народов — армян, поляков, чехов, ирландцев и т. п. И этот патриотизм едва ли не самый худший, потому что самый озлобленный и требующий наибольшего насилия» (90, 48). Может быть, в этих словах Толстого заключена и некая доля истины, во всяком случае, к ним имеет смысл прислушаться.

В необычном ракурсе рассматривается идея братства в статье Р. Шилбаджориса (Ohio University) «Братство и одиночество смерти у Толстого. Опираясь на суждения Р. Густафсона о толстовском «иконном», «символическом» реализме, Шилбаджорис обнаруживает великое разнообразие состояния души перед смертью в произведениях писателя: от удручающего одиночества и страха перед неизбежной разлукой с земным существованием до примирения, успокоения и, наконец, слияния в беспредельной, космической плоскости с универсальной любовью, по отношению к которой мимолетная плотская жизнь призрачна, а смерть олицетворяет добро и освобождение. К бесспорному выводу Густафсона, что все произведения Толстого показывают читателю, как надо любить, Шилбаджорис делает одно весьма существенное дополнение: «Можно также сказать, что они учат нас искусству умирания, и чем лучше мы поймем, как надо умирать, тем ближе подойдем к всеобщему человеческому братству, обретающемуся в той неведомой стране, откуда еще не вернулся ни один путешественник (с. 101).

Г. Ян (University of Minnesota) в работе «Брат или другой» исследует толстовскую идею братства, которой писатель был очарован еще в раннем детстве (игра в муравейные братья), в самых различных произведениях как до духовного переворота, так и после него, в свете присущего Толстому (всех периодов) как «бинарному мыслителю» «кантианского» видения мира с непременными и постоянными антиномиями: «свобода и детерминизм», «совесть и разум», «я духовное и я плотское». Ян анализирует сложное и противоречивое бытование в творчестве Толстого оппозиции «я и другой», в значительной степени определив-

шей его идею братства, ясно очерченную уже в «Казаках» и в наиболее законченном виде сформулированную в повести «Ходите в свете, пока свет есть . Эпиграф из этой повести предпослан статье Яна и далее повторен в самом тексте: «Вы на словах проповедуете любовь, но если разобрать, что вытекает из вашей любви, то выходит совсем другое (26, 289). Ученый приходит к выводу, что даже в этом откровенно тенденциозном произведении позднего Толстого вечная антиномия «я и другой» не разрешается до конца; остается некоторое напряжение между личными, индивидуальными, в чем-то эгоистическими интенциями и почти идеальной моделью братства людей: и в самой христианской общине существуют градации и различия между братьями, размышляющими о том, сколь далеко каждый из них продвинулся к желанной и так трудно достижимой цели (с. 86). Ян считает, что обостренное чувство личности было свойственно Толстому и в самый последний период жизни, продолжая оставаться одним из главных источников его художественного творчества.

К. Тернер (University of British Columbia) в статье «Кровь гуще шампанского: узы родства и узы брака в романе "Анна Каренина" • анализирует важнейшие компоненты «мысли семейной» (проблемы брака, многообразных семейных и родственных отношений), логично полагая, что именно они составляют сердцевину романа и концепции братства, а не негативное отношение Константина Левина к русскотурецкой войне, дошедшего в полемическом задоре до отрицания родства с «братьями славянами». Текст романа «Анна Каренина» в центре и статьи Г. Морсона (Northwestern University) «Загадка Свияжского: Толстой и братство . Г. Морсон детально разбирает сюжет посещения Левиным Свияжского, главной целью которого было стремление разгадать его «секрет», заключающийся, по мнению главного героя романа, в каком-то специфическом, непонятном «образе мыслей». Левин тут, считает Морсон, ошибается, думая, что идеи, теории определяют человеческую жизнь, в то время как характерной чертой Свияжского является независимость от теорий; он никогда не пытается (подобно Левину) интегрировать свои мысли в систему, в единое целое, а просто доверяет привычкам бытия, бесконтрольному течению «живой жизни» (отчасти это близко к практической мудрости, к тому, что Аристотель называл phronesis). В конечном счете Левин самостоятельным путем приходит к убеждению, что необходимо больше доверять повседневному опыту, одновременно научившись не подчиняться его диктату. А это убеждение своеобразным образом корреспондирует с размышлениями большого поклонника Толстого Людвига Витгенштейна, которые приводит Морсон: «Решение проблемы видят обычно в ее исчезновении. (Не потому ли люди, обнаружившие после долгого периода сомнений, что смысл жизни стал им яснее, не способны объяснить, в чем он именно состоит?). Но есть явления, которые невозможно выразить словами. Они *сами* о себе говорят» (с. 48).

Эстетические воззрения Толстого, тесно связанные с его концепцией братского единения человечества и этической позицией писателя, рассматриваются в статьях К. Эмерсон (Princeton University) «Что такое заражение и что такое выражение в трактате "Что такое искусство?" • и Э. Манделкер (City University of New York Graduate Center) «Евхаристическая эстетика Толстого. К. Эмерсон, отталкиваясь от наблюдений американских коллег Р. Шилбаджориса и Г. Морсона, стремится объяснить парадоксальные, а иногда и нигилистические мысли, высказанные Толстым в трактате «Что такое искусство? . Эмерсон считает, что Толстой всегда был прежде всего художником, глубоко преданным творческому процессу; тем поразительнее, что в трактате он по сути обходит проблему творческого выражения, почти всецело сосредоточившись на проблеме восприятия. Несколько иначе, полагает Эмерсон, обстоит дело в ранних вариантах трактата «О том, что называют искусством» (1896) и «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» (1895-1897), содержание которых демонстрирует, что творческий процесс продолжал оставаться для Толстого главной проблемой. По сравнению с окончательным текстом, оба фрагмента гораздо толерантнее, не столь утопичны и догматичны; в них «творческое выражение» и «заражение публики способствуют приближению к «братству через искусство», которое мыслится еще как нечто незавершенное (диалог еще не вытеснен монологом, искусство не рассматривается в сугубо морализаторском плане). Толстой дает во фрагменте 1896 года предварительное определение искусства, в котором много говорится об удовольствии, необходимости отдыха после работы, и очень мало о братстве. Позднее Толстой отверг это определение, заменив жесткими и очень определенными формулировками. В конце своей работы Эмерсон приходит к парадоксальному заключению, что чем яростнее Толстой отрицал искусство («то, что мы называем искусством»), тем сильнее он чувствовал его очарование (с. 119), -- мысль, с которой можно согласится лишь отчасти. Э. Мэнделкер предположила, что Толстой, развивая свою эстетическую теорию в трактате «Что такое искусство? • , фактически исходил из взгляда на искусство как таинство; его эстетика может быть определена как иконологическая, сакраментальная, евхаристическая и евангелическая, в которой ощутимо то, что Ян назвал «тайной приверженностью православию». Толстовская эстетика участвует, по мнению Мэнделкер, в фундаментальном патристическом явлении обретении Святого Духа (обожествление христианского братства). Любопытная точка зрения, хотя, думается, автор затушевывает еретический дух и религиозное реформаторство Толстого, неизбежно приведшие его к драматическому конфликту с православной церковью.

С различными аспектами толстовской концепции братства связаны и другие статьи и обзоры, вошедшие в сборник: Кэтлин Партэ (University of Rochester) «Деревенская проза: от братства к братоубийству»; А. Ф. Звеерса (University of Waterloo) «Интерпретация Иваном Буниным толстовской идеи любви к ближнему»; М. Сендича (Michigan State University of East Lansing) «"Война и мир" в английской литературной критике 1884—1994 годов: реакция критики на толстовскую идею братства».

Коснемся в заключение обзора двух небольших, но весьма интересных эссе Р. Густафсона (Barnard College, Columbia University) и Д. Гибиана (Cornell University), выступивших с сообщениями на круглом столе «Толстой на пороге двадцать первого столетия. Густафсон с удовлетворением отметил, что конференция в Оттаве стала знаком изменения отношения к Толстому, которого, разумеется, на Западе уважали и читали в XX столетии, но отдавали предпочтение другим русским гениям — Достоевскому и — в меньшей степени — Гоголю как более созвучным духу нового времени. В России же Толстой был канонизирован и осмыслен в свете «учения» Ленина, называвшего его великим художником, но слабым мыслителем. Конференция зафиксировала отход от прежних стереотипов. Густафсон предположил, что в грядущем столетии эти наметившиеся перемены будут развиваться в двух направлениях: переоценке Толстого-художника, в частности его отношения к модернизму (Толстым восхищались не только Т. Манн, Р. Мартен дю Гар, Ив. Бунин, но и М. Пруст с Д. Джойсом), и переоценка идей Толстого моралиста и религиозного мыслителя. Густафсон убежден, что XXI столетию нужен не постмодернистский Толстой, но именно Толстой провидец наших бед, изобличитель зла, бескомпромиссный борец с любыми видами насилия: «Толстой призывает нас к обновленному чувству ответственности за зло в мире, побуждает нас прежде всего обратиться к себе, прояснить наши собственные чувства (...) Я думаю, что эта истина важна как для отдельных людей, так и для рас, этнических и религиозных групп, наций» (с. 145). Нас очень многое объединяет; все мы несвободны, так как принадлежим этому миру, вписаны в определенную культуру, живем в ограниченное историческое время. Тело, раса, класс, нация, сексуальная ориентация — все это приметы радикальной несвободы, определяющие наше сушествование и в чем-то объединяющие, «связывающие нас. Но мы, заключает Густафсон, не только вписаны в этот сложный, переменчивый и несовершенный мир: мы и в долгу перед ним, перед родителями, перед языком, культурой, народом, природой и космосом, в котором возникли и куда рано или поздно вернемся. Осознание этой истины укрепляет ту человеческую солидарность, которую Толстой называл «братством».

Д. Гибиан, не отрицая, что для многих людей и сегодня Толстой — проповедник и об-

щественный деятель значит не меньше, чем Толстой — автор великих романов, все же считает, что особенно важен на исходе второго тысячелетия Толстой-художник. Конечно, уточняет этот тезис Гибиан, современный читатель воспринимает Толстого уже во многом через призму исторического опыта жестокого и аморального XX века и достижений нового искусства, выдающиеся деятели которого (равно реалисты и модернисты — Джойс и Кафка, китаец Лу Синь, японцы Огаи Мори и Кавабата) испытали влияние мысли и литературной техники создателя «Войны и мира» и «Анны Карениной. Великие открытия Толстого (поток сознания, «остранение» и др.) давно уже стали всеобщим достоянием, утратив обаяние новизны. Но в то же время рядом с хорошо известным, знакомым, давно примелькавшимся в художественном мире Толстого существует таинственное, загадочное, неуловимое. Слово Толстого по-прежнему сохраняет притягательную силу для читателей, казалось бы, полярных культурных и ментальных традиций (не только для европейцев и американцев, но и для японцев, китайцев, арабов). Каждый из них чувствует, что голос Толстого может сообщить ему нечто важное, повествует ли он о старой Кавказской войне или наполеоновских войнах, о петербургском высшем свете или жизни русских крестьян. Толстой с гипнотической силой вовлекает читателя в свою орбиту (эффект «авторско-читательской соборности»): «Он окутывает покровом братства — общественного братства. Он заставляет читателей почувствовать, что "мы" не "они", а частица "мы" повествователя, что все мы тесно связаны одними узами. Он дает ощутить единство, существующее, несмотря на пропасти, разделяющие нас> (c. 151).

Таково содержание этой во многих отношениях значительной книги, запечатлевшей (хочется согласиться с Густафсоном) поворот к Толстому на исходе двадцатого столетия. Возможно, тут, на оптимистической ноте, было бы логично завершить наш беглый обзор материалов сборника, если бы не некоторые обстоятельства, упомянутые в эссе Д. Гибиана, и вопросы, несколько неожиданно и остро им сгруппированные: «Толстой в конце второго тысячелетия? Чей Толстой? Отмененный некоей неосюрреалистской кликой? В какой читательской аудитории почитаемый? В какой стране, в чьем переводе, на какой язык? Толстой, о котором спорят профессора русской литературы университетов Северной Америки? Или Толстой в восприятии школьников и школьниц аграрной Кении? (с. 147). С профессорами русской литературы США и Канады дело, похоже, обстоит весьма благополучно. Именно здесь в последнее время вышли, может быть, самые значительные и интересные книги о Толстом — художнике и философе, в том числе монографии Г. Морсона, Р. Шилбаджо-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Morson Gary Saul. Hidden in plain view. Narrative and creative potentials in \*War and

риса, 4 Р. Густафсона, 5 Э. Мэнделкер, 6 К. Тернера, 7 Д. Орвин, 8 сборники под редакцией А. Донскова. О других группах современных читателей Толстого судить труднее — как зарубежных, так и русских. Гибиан вспоминает, как он задал вопрос о Толстом Валерии Нарбиковой, выступавшей с лекцией «Учителя и ученики» в Колумбийском университете, чем, похоже, ее весьма удивил. Нарбикова ответила американскому профессору, что для нее и ее друзей Толстой существует только как миф, что они его не читают. Изучают, правда, в школе, но никто там не может дочитать «Войну и мир» до конца. Во все время этой короткой, но поучительно-ошеломительной беседы Лев Толстой пристально смотрел с большого портрета, украшавшего университетскую стену, на московскую писательницу приблизительно постмодернистской ориентации, перед эротически откровенными сочинениями которой ус-

Реасе. Stanford, 1987. См. рецензию на эту книгу А. Г. Гродецкой в «Русской литературе» (1991. № 3).

4 Silbajoris Rimvydas. Tolstoy's aesthetics

and his art. Columbus, 1991.

<sup>5</sup> Gustafson Richard F. Leo Tolstoy. Resident and stranger. Princeton, 1986. См. рецензию А. Г. Гродецкой на эту книгу в «Русской литературе» (1989. № 2).

<sup>6</sup> Mandelker Amy. Framing Anna Karenina. Tolstoy, the woman question and the Victo-

rian novel. Columbus, 1993.

<sup>7</sup> Turner C. J. G. A Karenina companion. Waterloo, 1993.

<sup>8</sup> Orwin Donna Tussing. Tolstoy's art and thought: 1847—1880. Princeton, 1993. См. рецензию А. Г. Гродецкой в «Русской литературе» (1994. № 4).

таревшими моралистами кажутся Гюисманс и другие «модернисты», сурово осужденные в трактате «Что такое искусство?». Ситуация, по правде сказать, с некоторым комическим оттенком, особенно приняв во внимание, что Нарбикова — явление столь, если позволительно так выразиться, летучее, что ни о каком превращении ее в близком или отдаленном будущем в «миф» даже подумать нелепо. Дунет легкий, свежий ветерок — и унесет пущинку. Вспомнилось, что школьные и университетские друзья с удовольствием читали и перечитывали «Войну и мир», хотя, пожалуй, больше любили «Анну Каренину». А ведь это было поколение очень несхожее с тем, к которому принадлежала Л. Я. Гинзбург. И блокада для нас была уже историей. Вспомнилось, и стало немного грустно. В современной «постперестроечной» России Толстого, как, впрочем, и других классиков, читают на удивление мало. Меньше уделяют Толстому внимания и профессиональные литературоведы. Россия, в начале XX века боготворившая Толстого, на его исходе несколько охладела к своему величайшему романисту. Будем надеяться, что это скоро пройдет и Толстой вновь займет подобающее ему место в духовной и культурной жизни России уже находящегося «в дверях» двадцать первого века. Уверены, что большую роль в деле «возвращения • Толстого к русскому читателю сыграет та грандиозная работа, которая началась под руководством Л. Д. Опульской-Громовой над академическим собранием сочинений и писем Л. Н. Толстого. В подготовке этого многотомного собрания трудов Толстого несомненно примут участие не только ученые Москвы и Петербурга, коллектив музея в Ясной Поляне, но и зарубежные коллеги, с которыми нас уже давно связывают «братские» узы.

Т. М. Двинятина

# О КНИГЕ Ю. МАЛЬЦЕВА «ИВАН БУНИН•\*

Книга Ю. В. Мальцева «Иван Бунин» вышла почти два года назад, накануне бунинского юбилейного года: 125-летия со дня рождения, широко отмечавшегося в России и за рубежом. Сейчас он уже позади, и эта рецензия — запоздалый постскриптум к юбилею. Бунинский год в значительной степени прошел под знаком новой книги о писателе. Отклики на нее появились как в печати, так и устные, в

ходе обсуждений различных проблем на бунинских конференциях. Мнения были различны; выскажем свое, понимая, что оно не вправе претендовать на общую оценку.

На наш взгляд, книга Ю. Мальцева «Иван Бунин» стала событием в потоке научных исследований о литературе конца XIX—первой половины XX века. В ней ясно и полно сказано новое слово о Бунине. Ее доступность (тираж 30 000) и ее научные достоинства способны утвердить мнение о Бунине не только как о холодном парнасце, верном классическим заветам (дореволюционная критика) и стойком художнике-реалисте, «строгом таланте» (советское литературоведение), но, в первую очередь,

<sup>\*</sup> Мальцев Ю. Иван Бунин. Франкфуртна-Майне; М.: Посев, 1994. 432 с.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См., например: *Мрамонов О*. Иван Бунин перед загадкой русской души // Новый мир. 1995. № 9.

как о выдающемся мастере, новаторски изображающем неповторимость и незыблемость человеческого бытия.

Конечно, это событие в известной мере подготовлено. Во-первых, статьями и рецензиями Ф. Степуна, чье понимание Бунина наиболее близко Ю. Мальцеву, В. Ходасевича, некоторыми положениями первой монографии о Бунине К. И. Зайцева (1934). Во-вторых, работами отечественных и зарубежных ученых, биографическими штудиями А. К. Бабореко и корректными и глубокими работами О. В. Сливицкой и др., а также научными изысканиями Д. Вудворда и Р. Поджоли. Наконец — и это, пожалуй, главное - вряд ли можно переоценить роль бунинского личного архива, результатом работы над которым явилась эта книга. и помощь хранительницы архива М. Э. Грин, благодарностью которой Ю. Мальцев предваряет свой труд.

Однако масштаб и неординарность работы Ю. В. Мальцева позволяют говорить о ней как о самостоятельном важном этапе в осмыслении личности и творчества Бунина. Прежде всего потому, что Ю. Мальцев первый — как это ни странно — исследователь, который поставил себе целью написать историю Бунина-художника, адекватную самому Бунину, его личностным свойствам, душевной организации. Не в подтверждение какой-либо теории и не для того, чтобы на основании бунинского творчества какую-либо теорию создать или какую-либо закономерность обнаружить. Перед нами, если угодно, путь Бунина-художника «изнутри» Бунина-человека.

Такая цель вовсе не отменяет собственной концепции, но диктует подход, при котором превыше всего ставится самосознание и самоощущение художника. Подход задает композицию.

Мальцев начинает не с появления «героя» на свет, его первых впечатлений и затем первых творческих опытов, что давно стало почти каноном для любой писательской биографии, а с того, что формируется задолго до рождения человека и что сам Бунин считал истоком и основой человеческого бытия. Идея памяти и идея рода, прочувствованные Буниным так остро, как никем другим в русской литературе, - главные составляющие его мира - связаны друг с другом теснее, чем может показаться на первый взгляд. Потому что память, по Бунину, не только духовна, но и биологична, физиологична: помнит не только душа, но и «кожа». Мальцев находит очень точные и верные слова: «Память (...) есть некий эквивалент (или прообраз) вечности, бесконечности и всеединства. Она есть особый инстинкт, так сказать — "инстинкт духовный" (с. 10—11). В случае Бунина следует ставить равное ударение на обоих последних словах. И также важны слова о памяти как «эквиваленте вечности», «вечном настоящем» (с. 12), ибо для нехристианского, неконфессионального сознания она действительно является залогом, или хотя бы надеждой, на спасение от самых страшных врагов — времени и смерти, — «Существование, лишенное памяти  $\langle ... \rangle$  равнозначно небытию» (с. 13).

Можно возразить, что значимость этих категорий в бунинском художественном мире общеизвестна, так или иначе без указания на нее не обходится ни один серьезный разговор о Бунине. Однако здесь (так отчетливо и подчеркнуто в литературе о Бунине впервые!) речь идет о признании памяти (личной) и прапамяти (родовой) абсолютными, верховными ценностями внутреннего и художественного мира писателя.

Для Бунина-художника память — непременное условие творчества. Память сохраняет прошлое, творчество одухотворяет его, наполняет живительной силой и утверждает равноценным (по крайней мере) реальности — именно прошлое: такой категории, как «будущее время», у Бунина нет.

Память в конечном итоге составляет и эстетическую программу Бунина, которую Мальцев определяет как «теорию» (как всякая теория у Бунина — в кавычках) регресса. Память отдает предпочтение интуиции и непосредственному знанию перед любым рационалистическим построением (отсюда, в частности, недоверие Бунина к социальным и прочим теориям его времени). Память заставляет молчать перед непостижимостью бытия (по Мальцеву, это главный пункт расхождения Бунина с модернистами). «На уровне языка эта остановка перед тайной и невозможность шагнуть через нее находят свое отражение в столь частых у Бунина оксюморонах» (с. 11).

На примере последнего предложения хочется обратить внимание на метод исследования Мальцева. Для него не существует границ между миропониманием и поэтикой. Рассмотрение внутреннего и художественного миров как органичного целого приводит к постоянной, ни на страницу не оставляемой демонстрации взаимообратимости их составляющих. Это придает в целом эссеистическому изложению характер системного исследования и является отличительной чертой образцовой современной филологической работы.

Если предметом рассмотрения в первой главе было бунинское «надвременное естество», как определяет память о. Павел Флоренский (выражение, приводимое Ю. Мальцевым), то во второй — «Состав души» — речь идет о «наследстве детства» в его творчестве. Это прежде всего «развитие у Бунина того качества, которое можно было бы определить как упоение красотой природы и которое в такой интенсивной степени мы обнаруживаем в русской литературе лишь у Фета и Пастернака. И только у Тютчева находим такое же торжественно иератическое изображение природы, переходящее в мистерию (с. 28). Вежливо-пренебрежительная улыбка читателя-интеллектуала по отношению ко всему пейзажному во многом объясняет и ныне встречающееся восприятие Бунина как реликтового растения классического заповедника -- это заведомо «неинтересно . Исследователь ставит вопрос иначе. Мальцев прав, говоря, что «с Буниным в нашу литературу в этой области ⟨...⟩ вошел профессионализм» (с. 28). Но этого мало. Описание природы было для Бунина не просто упражнением в точности оттенков и штрихов, а проникновением в единый могучий поток мировой жизни, малой частицей которой является человек.

С обостренным чувством природы связано различение и переживание Буниным двух великих мировых стихий, любви и смерти, ощущение их тайной и грозной связанности, что стало одним из самых сильных аккордов бунинского творчества. Щемящая тоска по красоте мира, чувство несбыточности гармонии, интуитивно и верно знаемой душой, онтологическое одиночество — все эти «знания», полученные в детстве, на всю жизнь остались яркими, характерными чертами бунинского миропонимания.

Ю. Мальцев весьма осторожен (в лучшем смысле слова), определяя отношение Бунина к христианству, и не торопится — наперекор современной традиции — выдать ему в этом плане «охранную грамоту». Чувства мистичности жизни и безграничности своего \*я» — не сугубо христианские переживания. Другое дело, что Бунину они были свойственны в необычно высокой степени, но это говорит скорее об их интенсивности, чем о качестве.

Выход из детства сравним для Бунина с утратой человечеством блаженного райского состояния, потерей им первозданной простоты и естественности. Тяга к своему детству — еще одна причина бунинского предпочтения прошлого будущему, которое выражается и в маршрутах его странствий (\*Все его путешествия — на Восток, к древности» — с. 40), и в его стилистике: «Такие эпитеты как "ветхозаветный", "первозданный" и проч. всегда означают у него качественное превосходство» (с. 41).

Две следующие главы, «Смутность» и «Перелом», носят главным образом биографический и историко-литературный характер. В них примечательны несколько моментов.

Первый из них — рассмотрение бунинской поэзии. Бунин начинал как поэт и проделал значительную эволюцию от юношеских насквозь подражательных опытов к зрелым и самобытным стихам 1910-х годов и далее к редким стихотворным миниатюрам, написанным уже в эмиграции. Как известно, Бунин неоднократно заявлял, что для него нет различия между прозой и поэзией, но при этом осознавал себя как «прежде всего поэт». 2 Тем не менее для большинства исследователей, и для Ю. Мальцева в том числе, Бунин — «прежде всего прозаик» (с. 154). Анализ лирики Бунина, убедительно подтверждавший рассуждения в первых главах, затем в самом общем виде вплетается в авторскую концепцию бунинской модерности (гл. 5) и в итоге главным образом дополняет те выводы, которые Мальцев делает на основании бунинской прозы. В дальнейшем следует замечание, что стихи Бунина «не столь оригинальны, как проза», и затем список уже известных черт бунинского поэтического стиля: приближенность к разговорной речи, сочетание намеренной традиционности с определенными новшествами в метрике и рифмах, разнообразие ритмического рисунка, пластичности описаний, наконец, «мужественная ясность стоицизма» и т. д.

Второй. На протяжении всей книги Мальцев не раз обращается к психологическим открытиям Бунина, точнее, к актуализации Буниным определенных психологических особенностей человеческого жизневосприятия: в этих главах данная проблема рассматривается на материале ранних бунинских рассказов (прежде всего это «На хуторе», «На Донце», «Перевал» и т. д.). Среди таковых особенностей Мальцев называет: 1) невозможность синхронного переживания и осознания каждого конкретного мгновения жизни («Пока живешь не чувствуещь жизни - фраза из юношеского письма Бунина); 2) ощущение жизни как сна, самодовлеющая самодостаточность жизненных процессов, в основе своей животно-растительных» (с. 46); 3) открытие Буниным «эмоциональной синхронности разных чувств» (с. 78), психологической антиномичности человеческой души, что на уровне стилистики выражается в обилии оксюморонов и типично бунинских контрастно составленных эпитетов, наречий и словосочетаний («печально-веселые песни», «грустно-празднично», «ужас восторга» или «сладкая мука счастья»). Позднее эти новаторские для русской литературы черты бунинского психологизма (ср. по контрасту «диалектику души» Л. Толстого) получили дальнейшее развитие в таких шедеврах писателя, как «Солнечный удар», «Чаша жизни», «Митина любовь и т. д.

**Третий момент** — историко-литературного свойства. Перечисляя испытанные Буниным влияния и представляя панораму культурной жизни Москвы и Петербурга 1900-х годов, автор затрагивает многие темы, которые, взятые по отдельности, уже не раз становились предметом специального изучения, как то: Бунин, Толстой и толстовство, Бунин и Чехов, Бунин и «Знание» и т. д. Но в отличие от двухчастных сопоставлений, здесь эти вопросы рассматриваются комплексно. Авторская задача состоит в том, чтобы обозначить место Бунина в многообразии художественных явлений рубежа веков, сориентировать по отношению к ним читателя и определить бунинскую «валентность». Тогда и восприятие Бунина как наследника русских классических традиций обретает историческую плотность и конкретность.

При этом Бунин представляется Мальцеву фигурой, недооцененной современниками, главным действующим лицом литературного процесса уже на рубеже 1890—1900-х годов. Он на голову выше всех, даже Чехов. «Чехов тусклее, рационалистичнее, он традиционно психологичен и моралистичен» (с. 90) — эти

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 251.

слова в устах автора книги имеют в том числе и оценочный смысл, и это несправедливо. Значительно хуже дело обстоит с Горьким. Его отношения с Буниным, точнее, то, как представляло эти отношения советское литературоведение, вызывает у Мальцева совершенно понятную, но все-таки слишком болезненную реакцию. Исследование такого уровня могло бы обойтись без сравнения Горького с Потапенко (с. 73). З Хотя переломить неверное, десятилетиями утверждавшееся положение вещей, без всякого сомнения, было необходимо.

Что касается советских литературоведов, то этот образ, когда собирательный, когда поименный, не раз возникает на страницах книги и не вызывает у Мальцева (за немногими исключениями) никаких добрых чувств. При тех выводах, которые делаются в книге, при способе рассмотрения, в ней принятом, «фигура умолчания» была бы, быть может, красноречивее самой блистательной полемики. Однако полемичность — выбор исследователя, его ответ социологизированному буниноведению и потому достойна уважения. (Заметим в скобках, что этот выбор, каким бы привлекательным он нам ни казался, сделан в середине 1990-х годов. Это вовсе не означает его невозможности в «года глухие», но все же накладывает некоторый отпечаток. Не забудем, что так называемым советским литературоведением были сделаны определенные шаги в осмыслении бунинского мира и увидены те его особенности, которые ныне являются предметом широкого и свободного обсуждения, в том числе и в книге Мальцева.)

Наконец, перечень отрицательных персонажей этой работы не будет полон без современной Бунину критики, особенно прогрессистской, и современного Бунину читателя, в угоду которым, по мнению Мальцева, художник зачастую вынужден был отказываться от смелых, новаторских идей (с. 62). Только после тяжелого внутреннего и творческого кризиса (1897—1900) Бунин ∢обретает наконец свое собственное писательское лицо и освобождается от конформизма» (с. 69). Вершинными произведениями Бунина этой поры становятся поэма «Листопад» и рассказ «Антоновские яблоки» (оба 1901), стилистику и сюжетную структуру которого Мальцев подробно анализирует (c. 84—86).

Концептуальным ядром исследования, безусловно, следует признать пятую главу —

«Модерность». Соотношение творчества Бунина с модернизмом (и соответственно с реализмом) представляет собой одну из важнейших, если вообще не важнейшую, и наиболее актуальную на сегодня проблему в буниноведении. Противоречивые суждения на этот счет: Бунин-реалист (чаще) и Бунин-модернист (в первую очередь, символист — реже) — и поныне удивительным образом соседствуют друг с другом. Разница между ними несколько сглаживается все нарастающей тенденцией, согласно которой считается, что Бунин осуществил своего рода «модернизацию реализма». Однако удовлетворительной ясности в этом вопросе, если таковая в принципе возможна, пока не наступило. Так или иначе, Мальцев не просто констатирует проблему, а решает ее на большом материале и на разных уровнях ярко, убедительно и красиво.

С его точки зрения, Бунин никак не может считаться реалистом. Во-первых, потому, что для него, как для многих художников XX века, субъективное всегда дороже, достовернее и подлиннее объективного. Парадокс и эффект такого предпочтения заключается в том, что именно субъективное оказывается воспринято читателем как его собственное ощущение или переживание, некое тайное знание о себе, точно угаданное писателем (с. 113—115). Вовторых, потому, что в отличие от эстетики реализма, для которой центральным является понятие «типического», для Бунина «очевидна уникальность и неповторимость жизненных проявлений» (с. 116).

С таким пониманием главного связано перемещение драматизма из сюжета в атмосферу и тон повествования и общая перестройка сюжетно-композиционного уровня произведения. Необъяснимость и непостижимость человеческой жизни находят свое отражение в разрушении сюжетной и причинно-следственной связи событий, отмене традиционной композиции как смыслообразующего механизма. Смысловая функция композиции сохраняется, но совершенно меняется ее наполнение: композиция открыта в вечность и бесконечность, как в вечность и бесконечность открыта сама жизнь. Бессюжетность и лиризм бунинских рассказов постепенно утверждают в русской литературе новый жанр — фрагмента, а в больших произведениях используется кинематографический прием монтажа, иначе говоря, то, что Дж. Вудворд квалифицирует как технику блоков и «сегментную структуру» (с. 103-109; см. также об отношении Бунина к романной форме — с. 129—134). Нет главного и неглавного, нет никакого завершенного действия, есть равенство и ценность каждого мига перед лицом бесконечной жизни и неминуемой смерти.

Важным вкладом в буниноведение, достойным дальнейшего исследовательского внимания, является определение Мальцевым бунинского творчества как феноменологического в своей основе. В художественном мире Бунина происходит переосмысление традиционных субъективно-объективных отношений, разру-

<sup>3</sup> Такой подход приводит к некорректному цитированию. Так, например, в примечании 35 к главе 4 (с. 366) Ю. Мальцев цитирует слова Саввы Морозова о Бунине: ◆Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев..., — не указывая, что столь высокая оценка известна со слов Горького (ссылка на книгу ◆М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов... ▶ таким указанием считаться не может). Сути дела это не меняет, но акценты расставляет все-таки иные.

шение местоименного строя, стирание граней между «я», «ты», «он» и слияние того «я», о котором повествуется, с повествующим «я» и с «я» авторским. В итоге создается обобщенная форма универсальной субъективности, выполняющей в художественном и внутреннем мире роль истинной реальности (с. 110-111). Исходя из этого строится, в частности, и самосознание писателя, то, что можно назвать его литературной позицией: «Художник не объясняет нам жизнь, а сам лишь старается ее понять и сообщает нам об этих своих попытках» (с. 112). При этом Бунин не комментирует свои впечатления и ощущения, а старается загипнотизировать читателя непосредственно передаваемым чувством и делает это столь впечатляюще сильно, что даже сближается в этом, по Мальцеву. с мистиками прошлого (с. 112, 11).

Все это совсем не похоже на традиционный реалистический психологизм. Не похоже ни принятым масштабом человеческой личности - исчезает антропоцентризм, господствовавший в литературе начиная с эпохи Возрождения, ни отношением к героям автора - с его стороны отсутствует какой бы то ни было этический императив по отношению к ним. Этику сменяет эстетика, морализм — удивление перед прекрасным, вечным и непознаваемым миром (с. 118-126). Продолжая Ю. Мальцева, можно сказать, что правда теперь сосредоточена не в понятии о должном, а в понятии о сущем, акцент перемещается с действия на существование, наступает новая эпоха, и герой — каким мы знали его от Прометея до Андрея Болконского — умирает.

Нерв концепции Ю. Мальцева образует постоянное, порой самое неожиданное сопоставление модернистских черт бунинского творчества с самыми различными явлениями XX века литературного, общекультурного, философского, научного плана. Так, смещение субъективного и объективного полюсов у Бунина обнаруживает параллели в творчестве Пастернака и русских футуристов (с. 113), значение открытия Буниным художественной феноменологичности сравнивается со значением открытия теории относительности для научного мира (с. 111) и сопоставляется с философией Гуссерля (с. 41, 148), прием монтажа находит соответствие в кинематографе (с. 108), фрагментарность вызывает в памяти «Опавшие листья» Розанова (с. 103), а «эффект тумана» (т. е. ничего не объясняющая, активизирующая воображение читателя манера письма) романы Фолкнера (с. 109). Конечно, речь в данном случае идет не столько о влиянии Бунина, сколько о его включенности в культурный контекст ХХ века. Если вспомнить об устоявшейся репутации «классика» и «традиционалиста», то потребность такого включения станет очевидна.

Наконец, особое внимание уделяется детальному сопоставлению творчества Бунина с художественной практикой и теоретическими построениями символизма, причем чаще всего в качестве параллели к бунинскому приводится творчество А. Белого, но также и Сологуба, 3. Гиппиус (!), Блока и др.; французских символистов. Перечислим только некоторые черты, одинаково близкие, по мнению Мальцева, и Бунину и символистам; их перечень, пожалуй, впервые заявлен так полно именно здесь. «От символизма» у Бунина не только символистские темы, образы, способы выражения, но и сходное с символистским понимание символа (в том виде, в каком он представлен в теориях В. Иванова и А. Белого); усиление роли подтекста; введение грамматически смещенных эпитетов и наречий; ритмизация прозы; типично «декадентское» ощущение страшной близости любви и смерти; поэтизация смерти; экстравагантность образов; кинематографическая смена планов и новая оптика в отношении деталей и т. д. и т. п. (с. 134—148).

Все так, но здесь были бы уместны некоторые уточнения. Во-первых, теоретическое построение символа символистами определено и ими же эксплицировано, бунинское понимание и практическое выражение его подвергается экспликации со стороны, что сразу же ставит вопрос о характере и мере актуальности эксплицируемого для внутреннего мира автора. Вовторых, степень конструирования, сугубо рационального выстраивания самого текста у символистов была, как представляется, значительно выше, что указывает, в частности, на то, что сходные на «выходе» черты могли быть результатом различного преломления различных по своей природе талантов и различных типов художественного творчества. В-третьих, как модернизм не исчерпывался символизмом, так и конкретное сопоставление бунинской поэтики с той, которая общепризнанна модернистской, может быть продолжено за границами символизма.

Ю. Мальцев близок к мнению Ходасевича, считавшего, что даже не символисты, а именно Бунин осуществил творческую мечту символизма (с. 137). Обращает на себя внимание, что исследователь ведет разговор как бы с позиций символизма и нередко на символистском языке. Например: «Если прибегнуть к терминологии Ницше, подхваченной русскими символистами, то можно сказать, что дионисическое начало Бунину было свойственно в той же мере, как и аполлоновское (...)» (с. 141). Конечно, Мальцев оговаривается: «если прибегнуть», но ведь нередко и «прибегает».

При этом он точно определяет причины — преимущественно внелитературного характера, — по которым принятие Буниным символизма было невозможно. Бунин критиковал модернизм, не различая ни направлений, ни масштаба фигур, за мудрствование в теории и неорганичность в практике, за попытки заменить жизнь \*второй природой\*, творимой искусством, т. е. за умаление жизни перед искусством. По верному наблюдению Ю. Мальцева, бунинская полемика велась не столько с эстетических позиций (они у него, как показано, скорее совпадают с модернистскими), сколько с этических.

«Таким образом, исключив морализм из своего искусства, Бунин выступал как моралист в жизни» (с. 150). (Следует, правда, оговорить, что морализм понимается в данном случае не в духе Толстого, как подчиение искусства внеположной ему задаче нравственного улучшения общества, а как соблюдение достоинства самим искусством.)

Глава шестая — «Загадки русской души» — в основном посвящена центральным произведениям Бунина рубежа 1910-х годов, поставившим его в центр всеобщего внимания, возбудившим в обществе горячие споры и актуальным до сих пор, — «Деревне» (1910) и «Суходолу» (1912), а также «крестьянским рассказам» этого времени.

Ю. Мальцев показывает, как разрушение Буниным мифа о добром и мудром народе-идеалисте расшатывает и миф о долге интеллигенции перед ним. В этом, как и во многих других узловых пунктах реалистической литературы, Бунин выступает как антитрадиционалист, выразивший новое видение русского характера и русской деревни, предтеча и самый яркий из «деревенщиков». Исследователь сопоставляет бунинское изображение русской деревни со взглядами на нее Чехова, Горького, Короленко, но при этом он каждый раз приходит к признанию превосходства и приоритета в этой области именно Бунина.

В этом контексте затрагивается и важная для Бунина тема вырождения, получающая в «Деревне» особое освещение. «Вырождение» для Бунина — понятие амбивалентное, оно тесно связано с «ненормальностью» и даже «безумием», но оно в то же время «в определенном смысле превосходство, преизбыток (а не недостаток) неких качеств, накопленных в длинном ряду существований (...) (с. 20), близкое к понятиям «родовитости», «породистости (на нем строится, например, бунинское видение Толстого и собственное «родовое» самосознание). В данном случае речь идет о двоящемся образе Руси: Бунин различал почти уже отошедшую в прошлое древнюю Киевскую Русь и Русь, поглощаемую Азией (не путать с Востоком!), и насколько любил и оплакивал первую, настолько и ненавидел вторую (с. 162-163). Символом наступающей на Русь азиатчины была для Бунина пыль, однородная и неизменная (см. одноименный рассказ), она же «последняя стадия энтропии, властвующей в мире» (с. 163). Следует заметить, что тема вырождения входит в более общую бунинскую «теорию регресса», которую Мальцев формулирует, но, к сожалению, не слишком распространенно (с. 21, 163, 226, 235 и др.).

На примере «Деревни» Ю. Мальцев детально рассматривает антитрадиционный тип русского характера, вводимого Буниным в литературу (с. 164—177 и далее). При анализе «Суходола», дополняющем изображение деревни изображением усадьбы, дающем ту же тему в новом преломлении, его внимание обращено главным образом на способ повествования — феноменологический, многоголосный

(«Суходол» — «музыкальное произведение» с. 193), обеспечивающий многослойную художественную структуру повести. В качестве элементов этой структуры исследователь выделяет воспоминание, которое тоже может быть многослойным (воспоминание о воспоминании), сон и мечту, воображение, способное вечно длить единый миг. С их помощью достигается то освобождение от «объективной действительности» и, главное, от времени, к которому Бунин стремился всю жизнь (с. 193—196). В «"Суходоле", — пишет Мальцев, — Бунин дал совершенно новое построение сюжета (без хронологии, с упраздненным реальным временем), новую повествовательную форму (многоголосие), новую обрисовку персонажей (импрессионистическими штрихами (...), новую трактовку темы "семейной хроники" и более широко — судьбы народа (не социологическую, не бытописательную, а исходящую из глубин народной души и ее подсознательной, метафизической жизни)» (с. 196). Следуя Мальцеву, можно сказать, что на примере «Суходола», а затем, конечно, «Жизни Арсеньева» видно, как проблемы, разрешение которых невозможно в реальности, получают разрешение в самой художественной ткани произведения - и это есть главная цель и, может быть, оправдание творчества.

В седьмой главе анализируются лирикофилософские рассказы Бунина 1913-1916 годов. В контексте «индивидуально-оптимистических , как определяет их Мальцев, концепций 1910-х годов теории «живой жизни» В. Вересаева и сходной с ним теории И. Мечникова об ортобиозе рассматриваются рассказы «Чаша жизни» и «Легкое дыхание». Исследователь показывает, как высмеивание теории ортобиоза (в образе Горизонтова) сочетается у Бунина как с неверием в смерть живой жизни (воплощенной в образе Оли Мещерской), так и с пониманием того, что само «сознание смерти исключает живую жизнь» (с. 206). Антиноизображаемого Буниным мичность огромного, непонятного мира», подчеркивает Мальцев, есть в то же время «антиномичность самого созерцающего субъекта», т. е. Бунина (с. 210). Эта антиномичность «придает его творчеству богатство, кажущееся неисчерпаемым, и сложность вполне современного взгляда» (с. 210).

Жажда «святой беззаботности» живой жизни и отказ от нее во имя осознанного существования и постижения законов мира приводят Бунина к поискам «третьей правды». Он пробует облечь ее то в библейские термины («Копье Господне», «Смерть пророка»), то в термины таоизма («Сны Чанга») и буддизма («Братья»), но все это лишь «"одежды", которые Бунин примеривает», чтобы выразить свое собственное стремление, сомнение, отчаяние (с. 213). Ибо ни буддизм, ни христианство, никакая другая религия, независимо от ее общепринятости и распространенности, не были для Бунина сильнее его личного человеческого мироощущения.

В предреволюционных рассказах Бунина о любви («Осень», «Сын», «Грамматика любви», «Игнат», «При дороге») уже состоялось то понимание этого чувства, которое с такой потрясающей силой выразится в «Темных аллеях . — на нем Мальцев подробно останавливается и здесь, и в последней главе книги. Главным в этом понимании, на его взглял, оказывается таинственное родство любви и смерти, которые в равной степени ведут человека к утрате своей индивидуальности и возвращают его к роду (с. 220, 336). Эффектом, усиливающим впечатление, Мальцев считает замену Буниным в самых драматических моментах повествования изображением, рассказа показом с устранением «психологии». Таким образом, читатель видит то, что не поддается ни объяснениям, ни толкованиям, которые неизбежно привели бы к упрощению и обеднению смысла (с. 225—22**6**).

Рассказы «Господин из Сан-Франциско» и «Петлистые уши» прочитываются Ю. Мальцевым, в частности, в свете оппозиции проза—поэзия. В этих рассказах, где выразилось бунинское восприятие начавшейся мировой войны как события в полном смысле слова апокалиптического, исследователь при виртуозности письма отмечает полное отсутствие поэзии («...не "поэтичности", а поэзии», — уточняет он), столь нехарактерное для Бунина, всегда синтезировавшего в своих произведениях обе стороны словесного искусства.

Ю. Мальцев ставит и такую важную проблему, как иерархия в художественном сознании писателя. Бунинский взгляд на мир с его неразличением «главного» и «неглавного», «важного» и «неважного» диктует здесь, казалось бы, однозначное решение: мир неиерархичен, внеиерархичен. Но в минуты слияния со стихией природы бунинский герой остро чувствует «строгую иерархию, которая царит в мире (слова Бунина), и в подчинении высшему порядку жизни ему открывается и глубинный смысл мира и радость своей причастности ему (с. 233-234). Продолжая Ю. Мальцева и условно разделяя авторский взгляд на объективную и субъективную составляющие, можно высказать предположение, что объективному художнику Бунину присуще внеиерархичное видение мира, субъективному же лирическому герою — ощущение иерархичности мироздания, полной высокого значения и красоты.

Тема «Окаянных дней» (глава 8) получила в последнее время самое широкое распространение и добавить здесь что-то новое пока трудно, нужна передышка. Поэтому ограничимся только одним замечанием: исследователь совершенно точно определяет отличие бунинского восприятия от иных выступлений постреволюционной поры — Горького, Короленко, Кропоткина, Бердяева, Блока и др.: «У Бунина (как и у Вл. Набокова) отвращение к большевикам носит, пожалуй, не только моральный, но и, так сказать, эстетический характер. В этом проявилось его коренное свойство: видеть

в основе трагизма мира не контраст добра и зла, а контраст красоты и уродства» (с. 249).<sup>4</sup>

«Элизий памяти» — так названа девятая глава, посвященная вершинным произведениям Бунина-новеллиста 1920-х годов. Здесь анализируются «Митина любовь», «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар» как произведения, в которых все громче и тревожнее звучит тема любви, и «Косцы» — своеобразный ключ к бунинским постреволюционным рассказам. В последних утверждается мысль, что «революция (...) уничтожила не только старый общественный строй, но даже саму ткань жизни как таковую (с. 287). С этой поры ∢сама память качественно изменилась (с. 271) и соответственно изменились мир и герой бунинского творчества. «Задержанный памятью (...) вещный мир, отрешенный от времени и пространства (...) обретал статус автономного существования в вечности» (с. 271). Изменились и герой (так Митя — не «бунинский» тип, раздвоенность вместо цельности — с. 294—295), и особенно его изображение. Мальцев отмечает в «Митиной любви» «совершенно новый психологизм, который скорее можно было бы назвать "психизмом" (с. 300). Герой более чем когда-либо растворен в мире. Картину его внутренней жизни составляют не внутренние монологи и не внешние детали внутренней жизни, а значимая деталь, динамизм повествования, музыкальность словесной ткани, символизация события, параллелизм разных уровней и т. д. Здесь особенности стилистики, рассматриваемые исследователем, вновь обращают нас к высказанному еще В. Ходасевичем положению, важность которого трудно переоценить: путь к бунинской философии лежит через бунинскую филологию.

•Первым русским феноменологическим романом∗ (с. 305) называет Ю. Мальцев «Жизнь Арсеньева» (глава 9), «самую замечательную» «в эмиграции» (с. 301) (но только ли?) книгу Бунина, подготовленную всем его предшествующим творчеством. Сравнение с М. Прустом ( В поисках утраченного времени.), Г. Флобером, мечтавшим написать «книгу ни о чем», В. Хлебниковым, давшим «одновременной всевременности», И.-В. Гете, сродни Бунину ощущавшему надиндивидуальную природу субъективных психических процессов, Р. Бартом, эксплицировавшим дробление и множественность пишущего «я», Бергсоном, чьей концепции ∢творческой эволюции» неосознанно следовал Бунин, не заслоняют особенности воссоздаваемого в книге собственного бунинского мира. В его основе — новый тип хронотопа, характерными чертами которого являются слияние прошлого и настоящего, переживание прошлого

<sup>4</sup> На эту тему см. также: Мальцев Ю. Забытые публикации Бунина // Континент. 1983. № 37. С. 337—360. Здесь речь, в частности, о том, что советская действительность была по самому своему стилю непереносима для Бунина.

как настоящего, присутствие будущего в прошлом и т. д. (с. 306—307). Сочетание двух-, а порой и треххронности и неуловимости/универсальности субъективного \*я\* определяет феноменологическую природу книги, а соедижаемого (\*ждущая тишина\* и т. п.) создает особый поэтический настрой. Образ прошлого, очищенный от всего случайного, обретает в памяти подлинную жизнь, \*и эта подлинная жизнь бессмертна\* (с. 311). \*Естественно, что время здесь (...) становится главным героем или, вернее, главным врагом, которого хотят побороть\* (с. 311).

В одиннадцатой, заключительной главе книги — «Сильна как смерть» — говорится о последнем, самом тяжелом периоде жизни писателя и одной из самых удивительных его книг «Темные аллеи». Ю. Мальцев уделяет больщое внимание бунинскому видению любви — катастрофическому вторжению в привычную земную жизнь подлинного метафизического бытия, осколка рая. Он также исследует повествовательную технику поздних бунинских новелл: синтаксическое построение, не сопровождаемые психологическими объяснениями переходы от прямой речи к 1-му и 3-му лицу, пунктирность сюжетного построения, ритмическую организацию, - отмечает лаконизм, экстравагантность образов, совершенство пластического рисунка, выразительность деталей (с. 329—331). Однако при этом все ситуации и коллизии, описываемые Буниным, считает Мальцев, индивидуально-неповторимы и универсально-общепонятны одновременно: «...сама подача материала предполагает в читателе то же самое понимание изображаемого и идентичность внутреннего опыта» (с. 329). Надиндивидуальность субъективности, феноменологичность остается и здесь основой художественной ткани. Полнее и точнее, чем кто-либо до него, Мальцев формулирует тот творческий и жизненный итог, к которому пришел Бунин: «Здесь (в «Темных аллеях . — Т. Д.) яснее, чем раньше, Бунин выражает представление о многослойности нашего "я", а главное, о его некой построенности и неподвластности нам. Мы, собственно, никогда не являемся субъектами нашей душевной жизни, а скорее чем-то (кем-то?) претерпевающим ее. Субъект, таким образом, вне нас, единственный и подлинный субъект лишь частично проявляется в нас. На разных уровнях нашего "я" и по-разному — постоянно проявляется некая универсальная и высшая, нам непонятная сила. А само наше понимание этого непонимания есть для Бунина самое удивительное свидетельство присутствия в нас некоего высшего сознания, наблюдающего наше собственное "я" как бы со стороны» (с. 327).

Этот вывод, обращенный к самому Бунину, обращает трагическое мирочувствование художника в личную трагедию человека. Вунин всегда ощущал себя главным образом «субъектом», весь пафос его восприятия мира сосредоточен в «я»: я помню, я люблю, я вижу,

я живу... Безнадежность и страх надвигающейся смерти доставляли ему жгучую боль, не утихавшую все последнее десятилетие. «Его конец был страшен - это рефрен последних страниц книги. От себя добавим: европейское и восточное «я» Бунина так и остались раздвоены: европейское «я» Бунина не смогло смириться с восточным выводом о призрачности всякого «я». Бунин именно через «я» хотел слиться с миром — мир же был готов слиться с ним, только отменив его «я». Жизнь оказалась сильнее и реальнее самого совершенного письма. В отличие от него, она не творила и не обещала ни гармонии, ни бессмертия, они остались — буквально — на бумаге. В этом великая побела художника и неизбежное и всегдашнее поражение человека.

Ю. Мальцев очень мало говорит о таких произведениях Бунина, как «Освобождение Толстого», «Воспоминания», «О Чехове», о двух последних он едва упоминает. Отнести это к упущениям и недостаткам не поднимается рука, цельность и свежесть общего взгляда искупают некоторую прерывистость изложения.

Книга снабжена обширными примечаниями, нередко представляющими собой отдельные экскурсы в те или иные вопросы буниноведения.

Самостоятельной частью книги является библиография. Она состоит из четырех разделов: собственно бунинской библиографии, мемуарной части, критики на русском языке и на других языках. К сожалению, в нее вошли только статьи и книги хорошо если до 1980 года и то с существенными пропусками и порой неточностями. Исправлять их уместнее не в рецензии — список будет длинным, и разговор тут особый. Лучше будет, если в буниноведении появится, наконец, полноценный бунинский библиографический свод, который учтет не только ошибки, но и главным образом опыт приводимой Мальцевым библиографии, являющейся, несмотря ни на что, одной из самых полных на сегодняшний день. В связи с этим следует отметить и то обстоятельство, что Мальцев вводит в научный оборот отечественного литературоведения большой ряд западных работ, посвященных Бунину. 5 На одни из них он опирается в своем тексте, с другими полемизирует. Мальцев, по существу, представляет русскому читателю западное буниноведение, его основных представителей и направления, и в этом еще одна его заслуга.

В рецензии невозможно отметить все удачные места, новые повороты, неожиданные решения, которыми полна книга. В ней есть парадоксальность и свобода. Ее автора отличает адекватная и исключительно точная, в «яблоч-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Предыдущая попытка была предпринята двадцать с лишним лет назад, см.: Лощинская Н. В. И. А. Бунин в английских и американских исследованиях конца 1960—начала 1970-х годов // Русская литература. 1971. № 3. С. 242—252.

ко», постановка вопроса, четкое, порой формульное определение тех или иных черт бунинского мира — плод вдумчивого прочтения и замечательной исследовательской интуиции. Такого «Бунина» читать не только стоит, полезно равно специалистам и неспециалистам, но и просто интересно.

В юбилейный бунинский год мы часто вспоминали о том, что именно Бунин был первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии. Книга Ю. Мальцева позволяет понять почему.

### **ХРОНИКА**

#### ТРЕТЬИ КАРАМЗИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

29-30 октября в Ульяновске состоялись Третьи Всероссийские Карамзинские чтения, организованные Карамзинской лабораторией при кафедре культурологии Ульяновского государственного университета (руководитель зав. кафедрой канд. филол. наук, доц... С. М. Шаврыгин). В чтениях приняли участие исследователи Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Пскова, Череповца, Ульяновска. Открылись они возложением цветов к памятнику Н. М. Карамзину. В приветственном слове к участникам чтений проректор по научной работе УлГУ проф. С. В. Булярский заметил, что творчество Карамзина — это вечно живой источник русской культуры, прикосновение к которому особенно важно в критические, переломные исторические эпохи. Декан факультета культуры и искусства УлГУ Т. Е. Никитина познакомила с широкой научно-просветительской программой недавно открывшегося факультета, частью которой являются традиционные Карамзинские чтения, и пожелала собравшимся успешной работы. Р. Б. Казаков (преподаватель ИАИ РГГУ, Москва) прочитал приветственное письмо академика РАО С. О. Шмидта. Несмотря на то что по разным причинам многие докладчики не смогли приехать, программа чтений была очень насышенной, были прослушаны и обсуждены одиннадцать докладов.

Работа первого дня началась с отчета С. М. Шаврыгина о деятельности Карамзинской лаборатории, созданной пять лет назад, в год празднования 225-летней годовщины со дня рождения Н. М. Карамзина. За истекший срок регулярно проводились Карамзинские научные чтения или конференции по проблемам изучения и преподавания русской литературы и культуры восемнадцатого века; их итоги отражены в изданиях, осуществленных лабораторией: выпущено три сборника научных доклалов и тезисов.

Р. Б. Казаков в докладе «Никоновская летопись в творчестве Н. М. Карамзина» обратил внимание на то, что историческое осмысление действительности формировалось у Карамзина задолго до начала работы над «Историей государства Российского», отметил возможную роль ранних симбирских впечатлений, связанных с устными преданиями о крестьянских движениях Поволжья. Деление наследия Карамзина на литературное и историческое представляется Р. Б. Казакову искусственным и недопустимым. Главная цель доклада — постановка источниковедческой проблемы: исполь-

зование Никоновской летописи Карамзиным — автором «Истории государства Российского».

Доклад главного редактора «Вестника гуманитарной науки» доктора филол. наук Ю. Б. Орлицкого (Москва) «Стиховое начало в "поэтической прозе" Карамзина выл посвящен анализу метрических фрагментов в художественных текстах писателя. Сравнение слога повести «Марфа Посадница» с журнальным «Известием о Марфе Посаднице» обнаруживает, что художественная проза Карамзина значительно чаще включает метрические фрагменты, чем его эпистолярий, критические и публицистические сочинения и «История государства Российского». Метрические фрагменты чаще всего располагаются в сильных начальных позициях текста. Рассмотрев метрические фрагменты, отсылающие к стихотворной стилистике и появляющиеся в эмоционально выделенных частях текста, докладчик пришел к выводу о том, что затруднительно говорить об их случайности. В то же время их относительная краткость не позволяет утверждать намеренный характер метрической организованности текста. В повышенно эмоциональных фрагментах прозы, таких как начало «Писем русского путещественника», можно наблюдать сознательный уход от метра, разрушение его, что позволило писателю формировать свой прозаический слог, противопоставляя тем самым его слогу стихотворному.

Тема доклада доцента Череповецкого пединститута канд. филол. наук Р. М. Лазарчук •Провинция и столица в романе Н. М. Карамзина "Рыцарь нашего времени" (на пути к диалогу)» связана с новым и важным для русской литературы конца XVIII-начала XIX века постепенным выделением двух сфер жизни в качестве объектов исследования, осознанием их специфики, уяснением их отношений. Раскрывая соотношение провинции и столицы через детальное исследование авторского повествования, композиционной симметрии романа, системы образов, темы семьи, Р. М. Лазарчук приходит к широким историко-культурологическим обобщениям. Семья для Карамзина — малый мир, воплощающий представления о больших мирах, провинциальном и столичном, а противопоставление двух характеров и двух семей означает одновременно и противопоставление двух жизненных укладов и двух культур. Отношения провинции и столицы не сводятся к противостоянию, наоборот, далекие миры уже стремятся к сближению, однако диалога культур пока нет, есть лишь влияние столичной (европейской) культуры, и оно плодотворно. Сознанию Карамзина равно дороги нравственные принципы и исконно русские традиции, хранительницей которых является провинция, и те просветительские прогрессивные основы, связанные со столицей, которые не несут пока разрушительного начала, а, наоборот, преодолевают провинциальную замкнутость.

Доцент Псковского пединститута канд. филол. наук Н. Л. Вершинина в докладе «Особенности беллетристической рецепции повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза" в эпоху 1830-1840-х годов» рассмотрела причины актуализации исследуемой проблемы, связанные с возросшей ролью «идиллического комплекса» в общественно-литературном сознании «переходного» времени и с усилением тенденций беллетризации идиллии как жанрово-стилевой структуры, обладающей широкой унифицирующей значимостью. Осознанная в этот период идиллическая основа «Бедной Лизы» обусловила особенности беллетристической рецепции повести. Анализ широкого круга беллетристических источников 1830-1840-х годов (Н. Полевого, И. Т. Калашникова, А. Глебова, М. С. Жуковой, Н. Мундта, В. А. Соллогуба и др.) показывает, что в них использованы три типологические разновидности идиллического компонента (комбинированные и смешанные): 1) тяготеющая к прообразу древней «наивной» идиллии — данности прошлого или настоящего времени; 2) стремящаяся к дорефлективному прообразу идиллии и осознающая ее невозможность; 3) воспроизводящая идиллию как мечту. Модель подобной классификации, как выявила автор доклада, просматривалась в учебниках риторики XIX века и соответствовала архаическим «наивным», сентиментальным и романтическим структурам. Идиллия в «Бедной Лизе» занимает маргинальное положение по отношению к сентиментальной и романтической модификациям «идиллического комплекса». Поиск жанровых первооснов в беллетристике 1830—1840-х годов обусловил осознание многопланового художественного впечатления от повести Карамзина как результат обращения автора к двум типам идиллии.

Аспирантка Ивановского университета Н. Б. Спектор в докладе «О "стерновской" и "карамзинской" чувствительности в интерпретации молодого Л. Н. Толстого» проследила роль художественного опыта Карамзина в преодолении Толстым стерновской «чувствительности». Изображение человеческих чувств в постоянной изменчивости и подвижности, соотнесение «внешней» действительности и внутреннего состояния героя в «Письмах русского путешественника» Карамзина можно считать зачатками толстовской «диалектики души».

Доклад доцента УлГУ канд. филол. наук Г. А. Лошаковой «Тема путешествия в малой прозе А. Штифтера» посвящен анализу традиций И. Гердера и И. В. Гете в новеллистике из-

вестного австрийского прозаика середины XIX века. Проследив становление «путешествующего» и познающего мир героя, Г. А. Лошакова сделала вывод о пантеистических корнях мировосприятия А. Штифтера.

Доцент УлГУ канд. филол. наук Г. В. Старостина в докладе «Жанр путеществия в творчестве Г. Успенского» рассмотрела очерки «Из путевых заметок» (1883). Писатель воссоздает в них пародийные элементы типологической модели жанра «старинного путешествия», гипертрофированная чувствительность вступления и заключения которого указывает на ретроспективные ориентиры — «Письма русского путешественника карамзина. Содержательный план основной части соотносится через систему реминисценций с гончаровским путешествием на фрегате «Паллада». Контаминируя разные литературные источники, автор выделяет в структуре модели жанра противопоставление «своего» пространства «чужому» и соответствующее ему сюжетно-композиционное строение: горестная разлука с родиной знакомство с чужими странами — счастливое возвращение. Изменившаяся действительность, когда «русская жизнь приняла такие негармонические краски и черты», вносит изменение и в традиционный жанр. Вместо большой повествовательной формы «старинного путешествия со систематическим изображением виденного и слышанного - «заметки», «мелочи», «отрывки», по которым даже нельзя определить маршрут. Они обретают целостность благодаря структурному стержию личности путешественника, обнаруживающего «болезненные» факты русского бытия.

Попент УлГУ канд. филол. наук Л. А. Сапченко выступила с докладом «"Письма русского путешественника" Карамзина и "Усыпальница без праха. Записки сентиментального созерцателя" Л. Бежина (к вопросу о карамзинских традициях в современной русской прозе) . В произведении Л. Бежина (сложном жанровом образовании - дневник, путешествие, записки, письма) сознательная установка автора на карамзинскую литературную традицию обнаруживается в проницаемости пространства и времени, во взаимном переходе времени и пространства друг в друга, в образе талисмана, останавливающего их текучесть. У Карамзина талисман — знак невозвратимого, у современного автора — это способ воскрещения прошлого.

Старший лаборант рукописного отд. ИРЛИ РАН Е. М. Аксененко (Санкт-Петербург) в докладе «Историческая проза Карамзина как источник русской исторической беллетристики второй половины XIX века» выявила карамзинские традиции в произведениях Д. Л. Мордовцева. В докладе аспиранта УлГУ П. П. Марченя были прослежены традиции готической литературы в повести Карамзина «Остров Борнгольм» и новелле Э. По «Падение дома Ашеров». Аспирант УлГУ Е. В. Зуева познакомила с наблюдениями на тему «Карамзин в эпистолярном наследии И. С. Тургенева».

Доцент УлГУ канд. философск. наук С. Б. Петров выступил с сообщением о работе по восстановлению и музеефикации некрополя Симбирского Покровского мужсюго монастыря— места захоронения ближайших родственников Н. М. Карамзина и других русских писа-

телей (Дмитриева, Языкова, Минаева). Справки более чем о полутора тысячах симбирян, захороненных здесь, будут приведены в создаваемом биобиблиографическом словаре.

Г. В. Старостина

### Уважаемые подписчики научной периодики издательства «НАУКА»!

В последние годы наблюдается падение подписки на академические журналы. Суммарный сбор экспортных заказов на 1997 год сократился более чем вдвое по сравнению с 1996 годом. Проведенные исследования и контакты с зарубежными фирмами и торгующими организациями показывают, что это никак не связано с падением реального спроса на российские академические издания за рубежом. Напротив, наблюдается очевидное перераспределение заказов на академическую периодику в пользу различных организаций и частных лиц внутри России, занимающихся перепродажей изданий РАН зарубежным контрагентам в обход нашего Издательства.

Главной причиной, создающей благоприятную среду для подобных операций, служат ножницы внутренних и экспортных цен на нашу периодику. Это позволяет закупать подписку по сниженным ценам, действующим внутри России, и далее перепродавать ее за твердую валюту по экспортным тарифам. Академия наук фактически дотирует из госбюджета частных лиц, не вкладывающих никаких средств в издание журналов.

Руководством РАН принято решение о резком сокращении ценовых «ножниц» путем приведения занижавшихся ранее цен на подписку внутри России к уровню экспортных цен на научную периодику начиная со II полугодия 1997 года. Одновременно РАН предоставляет российским академическим, библиотечным, вузовским, отраслевым научно-исследовательским организациям и учреждениям, их сотрудникам и аспирантам возможность подписки по специальным (сниженным) ценам.

Индивидуальные подписчики этих учреждений и организаций смогут оформить подписку по сниженным ценам на наши издания в редакциях соответствующих журналов либо непосредственно в Издательстве по предъявлении служебного удостоверения. Лица, желающие получать подписные издания прямо на свои почтовые адреса, или иногородние подписчики смогут оформить подписку по специальным абонементам, формы которых будут разосланы по библиотечным, научным и учебным учреждениям. Индивидуальная подписка будет проводиться по принципу «Один специалист — одна подписка».

**Коллективные подписчики** (научные учреждения, библиотеки, вузы, докторантуры, аспирантуры, некоторые другие организации) должны будут для оформления подписки направить в издательство «НАУКА» надлежаще оформленные бланк-заказы, формы которых также будут им разосланы.

При положительном рассмотрении Издательством полученных заявок оплата должна быть произведена через отделение банка или путем почтового перевода на основании полученного подписчиками счета ЗАО «Агентство подписки и розницы» (АПР) — официального распространителя изданий издательства «НАУКА» по подписке внутри России.

Специализирующиеся на комплектовании научных и вузовских библиотек академические организации (БАН, БЕН, ИНИОН, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН и др.) смогут осуществить подписку, как и прежде, непосредственно в Издательстве, предварительно согласовав с ним список пользующихся их услугами организаций и количество льготных подписок. Более подробную информацию о новых условиях подписки по специальным (сниженным) ценам с соответствующими формами абонементов и бланк-заказов Издательство готово выслать по запросам, направляемым по адресу издательства «НАУКА»: 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90, ком. 430, факсы — 334-76-50, 420-22-20

Надеемся, что научная общественность с пониманием отнесется к предпринимаемым нами вынужденным шагам и что все, кто имеет право на специальную подписку, своевременно воспользуются им.

Некоторые трудности с оформлением специальной подписки носят временный характер. При ее последующем возобновлении лицам и организациям, однажды получившим право подписки по специальным ценам, достаточно будет лишь подтвердить свой заказ.

Сроки подписки не ограничены.

Издательство «НАУКА»

## Российская академия наук • Издательство «Наука»

Заявка, подписанная руководителем и заверенная печатью организации, направляется письмом в издательство «Наука» по адресу: 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90. Для ускорения обработки Вашего заказа высылайте копию заявки по факсу (095) 420 2220 либо по электронной почте catalog@apr.msk.su

### Заявка

на специальную адресную подписку на журналы издательства «Наука» с доставкой по почте через Агентство подписки и розницы (АПР) во 2-м полугодии 1997 года

Химические науки • Биологические науки • Журналы РАН общего содержания

Местона	хождение: почтовый индекс					- обл	іасть	(KD	ай. респ.)		
	ул							•			
код+тел	ф	акс _						•	e-mail		
	ью почтовый адрес организац хождения)						оолеі	й (ес.	ли отлича	ется от	адреса
	оформить специальную адрес ля научно-исследовательской сии:										
Индекс	Наименование журнала	усков	со: числ	апи) Отвен О Зако Земпл	кземі шите іству ізываі яров	плярог в кол ющего емых	в юнке э меся подпи бранн	іца сных	лектов	блях)	<b>1</b>
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70008	Агрохимия	6								14800	
70112	Биологические мембраны	3								15000	

Индекс	Наименование журнала	пусков	со	: (впі отвеп 10-закі Земпл	экземі шите пству азыва яров	пляро в кол ющего емых	понке 9 меся подпи бранн	нца сных	илектов 11е	ублях)	11)
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	пекабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумия в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71151	Биология моря	3								14000	
71150	Биоорганическая химия	6								15100	
70054	Биохимия	6								14600	
70056	Ботанический журнал	6					i			19400	
70147	Вопросы ихтиологии	3								18900	
70178	Высокомолекулярные соединения	6								19800	
70211	Генетика	6								15900	
70219	Геохимия	6								14600	
70244	Доклады РАН	18								51000	
70284	Журнал аналитической химии	6								15900	
70286	Журнал высшей нервной деятельности им. И. Павлова	3								16600	
70293	Журнал общей биологии	3								16300	
70294	Журнал общей химии	6								24600	
70301	Журнал органической химии	6								24600	

Индекс	Наименование журнала	усков	со: числ	; enu omsen o зак земпл	экземі шите истау изыва яров	подп пляро в кол ющего емых на вы урнал	в понке э меся подпи бранн	ща сных	лектов	блях)	(1
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	лекабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена полписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70296	Журнал прикладной химии	6								24600	
70299	Журнал физической химии	6								20300	
70302	Журнал эволюционной биохимии и физиологии	3				4		1		17800	
70333	Зоологический журнал	6								15000	
70350	Известия РАН. Серия биологическая	3								17500	
70405	Известия РАН. Теория и системы управления	3								17500	
70430	Кинетика и катализ	3								19100	
70438	Коллоидный журнал.	3								16400	
71057	Координационная химия	6								15100	
70495	Лесоведение	3								15000	
70561	Микология и фитопатология	3								16500	
70540	Микробиология	3								18100	

Индекс	Наименование журнала	усков	со	впи) Отвеп 10 ЗАК Земпл	экземі шиите пству азыва эров	пляро в кол нощего емых	в понке э-меся подпи бранн	нца сных	плектов е	ублях)	(1)
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-с полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70562	Молекулярная биология	3				1				17900	
88744	Нейрохимия	2								13100	
70359	Неорганические материалы	6								17400	
70617	Нефтехимия	3								15800	
70669	Океанология	3								19600	
70676	Онтогенез	3								15300	
70690	Палеонтологический журнал	4								16500	
70743	Паразитология	3								16400	
70701	Почвоведение	6								18600	
70740	Прикладная биохимия и микробиология	3								16800	
70773	Радиационная биология и радиоэкология	3								15900	
70777	Радиохимия	3								21000	
70786	Растительные ресурсы	2								18600	

Индекс	Наименование журнала	пусков	со: числ	; (впи отвеп ю закі земпл	экземі шите іству изыва яров	подп пляро в кол ющего емых на вы урнал	в понке э-месэ подпи бранн	пуа сных	IIJACKTOB Ie	ублях)	(i
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	лекабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 мссяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70783	Русская литература	2								28100	
71024	Российский физио- логический журнал им. И. М. Сеченова	6								20200	
70981	Теоретические основы хи- мической технологии	3								16800	
71003	Успехи современной биологии	3								15400	
71007	Успехи физиологических наук	2								16200	
71025	Физиология растений	3								19500	
71152	Физиология человека	3								16500	
71068	Химическая физика	6								14600	
71051	Химия высоких энергий	3								14800	
71052	Химия твердого топлива	3								15000	
71063	Цитология	6								18800	

Индекс	' Наименование журнала	выпусков	со	впі) отвен по закі земпл	экземі шипто пству азыва эхров	пляро с в кол ющего емых	в понке э меся подпи бранн	ща сных	ано комплектов годие ;+9)	блях)	1)
		Количество вып в полугодие	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано подписных комп. на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 > 1
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71113	Электрохимия	6								17900	
71110	Энтомологическое обозрение	2								22400	

ВСЕГО заказано журналов на сумму:	
	(прописью)

НДС не облагается. Оплату гарантируем на расчетный счет ЗАО «Агентство подписки и розницы» в течение 5 банковских дней после получения счета-фактуры.

ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

м.п.

ВНИМАНИЕ. Оплата заказа производится только после получения счета от ЗАО «АПР». Издательство «Наука» не гарантирует исполнения подписных заказов на номера журналов, вышедших из печати до получения настоящей Заявки, и вправе исключить эти номера на заявки. Отправка заказанных и оплаченных периодических изданий производится Агентством подписки и розницы в течение 10 дней со дня выхода издания из печати заказными отправлениями на адрес, указанный Организацией в настоящей Заявке. Претензии по доставке периодических изданий направлять в АПР по адресу: 103009 Москва, Страстной бульвар, дом 4, офис 94; тел. (095) 200 6951/6968, факс (095) 200 6757, e-mail catalog@apr.msk.su.

# Российская академия наук • Издательство «Наука»

Заявка, подписанная руководителем и заверенная печатью организации, направляется письмом в издательство «Наука» по адресу: 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90. Для ускорения обработки Вашего заказа высылайте копию заявки по факсу (095) 420 2220 либо по электронной почте catalog@apr.msk.su

#### Заявка

на специальную адресную подписку на журналы издательства «Наука» с доставкой по почте через Агентство подписки и розницы (АПР) во 2-м полугодии 1997 года

Наименование организации (сокращенно и полностью) \_

Физика. Математика. Астрономия • Геология. Географические науки • Технические науки • Журналы РАН общего содержания

Местона	хождение: почтовый индекс					_ обл	асть	(кра	й, респ.)_		
город	ул						дом	1	F	орп	
код+тел,	фф	акс						ε	-mail		
	ью почтовый адрес организа сождения)				и ба	андеј	ролеі	й (ec	ли отлича	ется от	адреса
	формить специальную адрес научно-исследовательской (у										
Индекс	Наименование журнала	усков	со: числ	впи) Отвен О Зако Земпл	кземі шите істаў ізывае	плярог в кол ющего емых на вы	в понке э меся подпи бранн	іца сных	лектов	блях)	(1
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	лекабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001	Автоматика и телемеханика	6								16700	
70010	Акустический журнал	3								17100	

Индекс	Наименование журнала	пусков	со: числ	(ani omaen o sak semn	экзем шиите иству азыва ихров	пляро е в ко. ющего емых	понке о меся подпи бранн	іца сных	плектов	ублях)	13)
		Количество выпусков в полугодие	ноль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	лекабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена полински на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70237	Алгебра и анализ	3						:		21600	
70030	Астрономический вестник	3								16400	
70024	Астрономический журнал	3								17100	
70053	Биофизика	3								17100	
70134	Водные ресурсы	3								18200	
70162	Вулканология и сейсмология	3								14800	
70217	Геология рудных месторождений	3								16800	
70218	Геомагнетизм и аэрономия	3								16300	
70215	Геоморфология	2								15300	
70228	Геотектоника	3								17500	
70393	Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология	3								15400	
70253	Дефектоскопия	6								15100	
70239	Дискретная математика	2					•			17000	

Индекс	Наименование журнала	<b>тусков</b>	со: числ	; (впи отвеп о зак земпл	экземі шите азыва яров	пляро в кол ющего емых	понке э меся подпи бранн	іца сных	nnekto <b>b</b> ie	ублях)	(1)
		Количество выпусков в полугодие	июль	август	сситябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 ≻ 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 .	11	12
70244 70287	Доклады РАН Журнал вычислительной	18								51000 15300	
	математики и математи- ческой физики				i						
70290	Журнал научной и прикладной фотографии	3		<u> </u>		1		L		17500	
70298	Журнал технической физики	6								23900	
70303	Журнал экспериментальной и теоретической физики	6								20800	
70324	Записки Всероссийского минералогического общества	3								17800	
70335	Защита металлов	3								15800	
70406	Известия РАН. Механика жидкости и газа	3								17100	
70408	Известия РАН. Механика твердого тела	3								17800	
70351	Известия РАН. Серия географическая	3								16100	
70355	Известия РАН. Серия математическая	3								18100	

Индекс	Наименование журнала	<b>І</b> УСКОВ	C0 411C)	(впі отвеп 10 зак Земпл	экземі шинто пству азыва яров	пляро в кол ющего емых	тонке э меся подпи бранн	ща сных	плектов	ублях)	(11)
		Количество выпусков в полугодие	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	лекабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумия в рублях (10 × 11)
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70356	Известия РАН. Серия физическая	6								16800	
70360	Известия РАН. Физика атмосферы и океана	3								18900	
70407	Известия РАН. Энергетика	3								16300	
70405	Известия РАН. Теория и системы управления	3								17500	
70363	Известия русского географического общества	3								16400	
70420	Исследования Земли и Космоса	3								15600	
70459	Космические исследования	3								16300	
70447	Кристаллография	3								19100	
70493	Литология и полезные ископаемые	3								15500	
70560	Математические заметки	6								14200	
70512	Математический сборник	6								15300	

Индекс	Наименование журнала	пусков	со: числ	; (впи отвеп :0 зака земпл	экземі шите иству азыва яров	подп плярог в кол ющего емых на вы сурнал	в понке э месэ подпи бранн	пца сных	MIDIOEKTOB	ı эублях)	î
		Количество выпусков в полугодие	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-е полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70502	Математическое моделирование	6								15000	
70571	Микроэлектроника	3								15300	
70670	Оптика и спектроскопия	6								22200	
70642	Петрология	3								17400	
70760	Письма в «Астроно- мический журнал»	6								13500	
70768	Письма в «Журнал технической физики»	12								32800	
70304	Письма в «Журнал эксперимен- тальной и теоретической физики»	6								26600	
70748	Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейронные исследования	6								15300	
70706	Прикладная математика и механика	3								16000	
70556	Проблемы машиностроения и надежности машин	3								15500	
70741	Проблемы передачи информации	2								15800	

Индекс	Наименование журнала	усков	Количество подписных экземпляров (апишите в колонке соответствующего месяца число заказываемых подписных экземпляров на выбранные Вами журналы)						плектов е	/блях)	1
		Количество выпусков в полугодие	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано полнисных комплектов на 2-с полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70776	Радиотехника и электроника	6								16200	
70797	Расплавы	3								15600	
70783	Русская литература	2								28100	
70810	Сенсорные системы	2						:		16200	
73390	Стратиграфия. Геологическая корреляция	3								18200	
70083	Теоретическая и математическая физика	6								15800	
70965	Теория вероятностей и ее применение	2								40300	
70867	Теплофизика высоких температур	3								20100	
71002	Успехи математических наук	3								18700	
70361	Физика Земли	6								16200	
71034	Физика и техника полупроводников	6								24000	
71059	Физика и химия стекла	3								19600	
71033	Физика металлов и металловедение	6								15600	

Индекс	Наименование журнала	выпусков	Количество подписных экземпляров (впишите в колонке соответствующего месяца число заказываемых подписных экземпляров на выбранные Вами журналы)						лектов	блях)	- C
		Количество вып в полугодие	HOJIB	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего заказано подписных комплектов на 2-с полугодие (4+5+6+7+8+9)	Цена подписки на 1 месяц (в рублях)	ИТОГО: сумма в рублях (10 × 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71058	Физика плазмы	6								15100	
71023	Физика твердого тела	6								27900	
71036	Функциональный анализ и его приложения	2		•						15000	
71140	Ядерная физика	6								21400	

ВСЕГО заказано журналов :	на сумму:	
••		(прописью)

НДС не облагается. Оплату гарантируем на расчетный счет ЗАО «Агентство подписки и розницы» в течение 5 банковских дней после получения счета-фактуры.

ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

м.п.

ВНИМАНИЕ. Оплата заказа производится только после получения счета от ЗАО «АПР». Издательство «Наука» не гарантирует исполнения подписных заказов на номера журналов, вышедших из печати до получения настоящей Заявки, и вправе исключить эти номера на заявки. Отправка заказанных и оплаченных периодических изданий производится Агентством подписки и розницы в течение 10 дней со дня выхода издания из печати заказными отправлениями на адрес, указанный Организацией в настоящей Заявке. Претензии по доставке периодических изданий направлять в АПР по адресу: 103009 Москва, Страстной бульвар, дом 4, офис 94; тел. (095) 200 6951/6968, факс (095) 200 6757, e-mail catalog@apr.msk.su.

# Российская академия наук • Издательство «Наука»

на спе	индивидуальног циальную адрест дии 1997 г. с дос	іую под	писку	на жу	рналы :	издател	ьства •	«Наука»	
Ф.И.О.	(полностью)								
Место	работы и должно	ость							
Полны	й почтовый адре	с							
телефо	н	_ e-mai	l						
Индекс	Наименование журнала	На	Кол-во комп-	Итого сумма в					
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	лектов	рублях
									_
ļ į									

Заполните заявку (копию заявки, либо напишите в любой произвольной форме) и отправьте письмом в издательство «Наука» по адресу: 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90 или по факсу (095) 420-22-20, 334-76-50. Информацию о ценах можно узнать в Заявках на специальную адресную подписку, разосланную в организации, или по телефону для справок: (095) 334-74-50, 200-69-51, 200-69-68.

ВНИМАНИЕ. Оплата заказа производится через отделение банка или почтовым переводом только после получения подписчиком счета с банковскими реквизитами от  $\overline{3AO}$  «Агентство подписки и розницы» (АПР): официального распространителя изданий издательства «НАУКА». Адрес «АПР»: 103009 Москва, Страстной бульвар, дом 4, офис 94; тел. (095) 200 6951/6968, факс (095) 200 6757, e-mail catalog@apr.msk.su.

Технический редактор Е. В. Траскевич Корректоры О. И. Буркова, Н. И. Журавлева, А. Х. Салтанаева и Е. В. Шестакова Компьютерная верстка Т. Н. Поповой

ЛР № 020297 от 27.11.91. Подписано к печати 27.05.97. Формат  $70\times100\nu_{16}$ . Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22.1. Уч.-изд. л. 26.6. Тираж 1848 экз. Тип зак. № 210. С 107

Санкт-Петербургская издательская фирма РАН 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12